Г. Троепольский

Содержание

Во второй том Собрания сочинений лауреата Государственной премии СССР Г. Н. Троепольского вошли роман «Чернозем», рассказ и очерки. Издание сопровождено примечаниями И. Дедкова.

- Гавриил Троепольский
  -
  - ЧЕРНОЗЕМ
    -
    - Часть первая
    - Часть вторая
  - ЛЕГЕНДАРНАЯ БЫЛЬ
    -
    - Легендарная быль
    - Митрич
    - Дорога идет в гору
      -
      - 1. Старые места, старые друзья, давние дела
      - 2. Почему?
      - 3. Чувство ответственности
      - 4. «Фурманов и Чапаев»
      - 5. О золотых руках
      - 6. Корень вопроса
      - 7. Маленькая экскурсия
    - Город помнит!
  - Примечания
-
  - 1
  - 2
  - 3

Гавриил Троепольский
Собрание сочинений в трех томах.
Том 2

Роман, рассказ, очерки

ЧЕРНОЗЕМ

Роман

Часть первая

Глава первая

На село опускался вечер. Длинные тени тянулись все дальше и дальше от изб и деревьев. Солнце на прощанье заблестело багрово-красным огнищем. Казалось, оно притронулось громадным диском к краю земли, будто чуть-чуть постояло и потихоньку пошло на покой, туда — за курганы. На такое солнце смотри сколько хочешь. Днем оно не позволяет и глаз поднять, а в такие минуты смотри, пожалуйста, прощайся до завтра.

Вот уже тени расползаются во все стороны, тают в предвечернем дрожащем свете. В воздухе заструился аромат степных цветов, обежал вокруг и пропал куда-то. А потом снова появился, поласкал деревню струйками, расплылся над избами да так и остался здесь на всю ночь.

Под окошками уже пошла беспокойная гармонь. Сначала она тихо и грустно пела про любовь, потом умолкла, остановившись там, за садами, и вдруг разрезала тишину, выдавая дробную плясовую. Кто-то невидимый, выбивая «барыню», выкрикивал: «А, черт бы побрал лапотки с каемкой!» Потом вместо гармони — сдержанный веселый девичий смех. И снова тишина.

А над степью висела ласковая, нежная и спокойная синь, похожая цветом на крыло голубя. Хороши такие русские сизые вечера, голубиные крылья. Очень хороши!

Тот вечер в Паховке был тоже спокойным. Стадо коров медленно брело с пастбища. Впереди всех дородная, крупная, с большим выменем белая корова степенно отщелкивала копытами. А за нею — пестрые и красные, рогатые и комолые. Изредка какая-нибудь шустрая нетерпеливая коровенка промычит, остановившись и вытянув морду. Остальные шли молча, важно, по-деловому — несли молоко!

В конце улицы стадо овец втиснулось в село с блеянием, криком и гомоном, разбегаясь стайками по своим дворам. Только один беленький кудрявый ягненок кричал надрываясь и бегал туда-сюда — мать потерял, бедняжка. Он вытягивал мордочку, тряс хвостом и не унимался до тех пор, пока сама мать не отыскала.

Поскрипывали телеги с пахучими пышными возами сена и поочередно останавливались у колодца. Мужики, перегибаясь через сруб, доставали воду лошадям. Мальчонок лет пяти, без картуза, сидел на высоком возу и с достоинством держал вожжи в руках.

— Ишь ты, озорник! — крикнул он на лошадь, подражая тону отца.

Не спеша ехали верхом на лошадях два парня в ночное. Один из них, на вид постарше, свесил ноги на сторону. А когда встретились со стадом, он толкнул корову обеими ногами, отчего покачнулась лошадь, а корова шарахнулась в сторону от озорника. Это Петька Ухарь, заправила паховских ребят. На вид ему лет семнадцать. Из-под угла козырька широкого картуза торчал чуб; тупой и широкий нос задорно вздернут. Про таких-то и говорят «оторви да брось».

Второй, русоволосый Ваня Крючков, ехал смирно. На нем был измятый старенький картузишко и залатанный зипун с чужого плеча. Когда ребята поравнялись с подводой, на которой спиной к отцу сидел круглолицый Володя Кочетов, Ваня показал ему пустую коробку спичек, что означало: доставить огонь в ночное, для курева.

— К Рогатому яру поедешь? — спросил Крючков у Володи.

— Сейчас, сейчас, шаромыжники, — шутя ответил за Володю отец.

Выехали ребята за село, и лица их сразу оживились. В поле — две воли, говорят степные жители.

— А ну, мила-ай! — гаркнул Ухарь.

Мерин сразу взял галоп. Крючков нахлестывал свою клячонку концом повода и, размахивая руками, как крыльями, приговаривал в такт цокоту копыт:

— Вот и эдак! Вот и так! А наддай! А наддай!

Позади пыль закрывала дорогу. С версту скакали, как им казалось, быстрее ветра. Лошаденка Вани, конечно, отстала от породистого битюга. Петька подождал незадачливого кавалериста, и они поехали шагом.

С обеих сторон от них тянулись полоски хлебов с межами. Полоски, полоски, полоски! Межи, межи и межи! И на каждой меже густые сорняки, «питомник» сорняков. Кругом мощный чернозем — плодороднейшие в мире почвы! — а хлеба незавидные, тощие, наковырянные кое-как сохой.

На пригорке ребята остановились подождать Володю. С небольшой возвышенности открылась широкая равнина степи. Сумерки уже сгладили линию горизонта, — казалось, степь уходит в небо, сливается с ним так, будто и нет края могучей степи. Жаворонки уже умолкли. Перепела звонко начали свою незамысловатую песню «хвать вора! хвать вора!». В нескольких шагах от ребят забывшийся в своей страсти перепел-самец, приближаясь к самке, хрипел в траве: «Вжжа-вва! Вжжа-вва!» Майский жук с разлету ударился в грудь Вани Крючкова. Тот ловко схватил его и стал рассматривать на ладони. Жук опамятовался, пощекотал ладонь, расправил крылья и деловито зажужжал дальше, в ту же сторону, куда летел. Некоторое время Ваня задумчиво смотрел вслед жуку, а потом сказал:

— На работу полетел, должно быть… Куда захочет, туда и летит. — Он вздохнул и добавил: — Жуку хорошо.

— А тебе плохо? — спросил Ухарь.

Ваня не ответил. Он лишь ухмыльнулся, посмотрев на товарища. Не переспрашивая, Ухарь заговорил с оттенком бахвальства:

— А я вот тоже — куда хочу, туда и полечу.

— Ой ли? — недоверчиво произнес Ваня и засмеялся.

— А то как же? Думаешь, батькиного ремня испугался?.. Мне, брат, на днях батька-то вкладывал горячих. Ох и вкладывал! И сейчас спина ноет… Напоследок дугой по спине навернул.

— За что же это он так-то? — спросил Ваня.

— Не скачи, говорит, на мерине… Так вот и послушаюсь, думает. — И Ухарь посмотрел на Ваню так, будто хотел добавить: «Вот какой я!»

— Ты — такой! — с тонкой издевкой воскликнул Ваня. — Ты все можешь.

Но Ухарь, видимо, не понял иронии и самодовольно подтвердил:

— А то как же? Такой.

По всему было видно, что эти два парня не друзья, а просто так — вместе едут кормить лошадей в ночное. Они спешились у лощины, свернули цигарки и молча вглядывались вдоль полевой дороги, держа лошадей в поводу. Ждали Володю.

Когда тот подскакал, прикурили и поехали дальше.

С цигарками во рту они казались себе взрослыми, поэтому некоторое время молчали и сосредоточенно дымили, причмокивая и

смачно сплевывая в сторону. Но вот Ваня затянул чистым и приятным тенорком: «Потеряла я колечко, потеряла я любовь…» Пели нестройно, но зато громко (если бы не Крючков, то у них ничего бы и не вышло). В вечерних сумерках далеко разносилось их пение, заглушая перепелов. Им и хотелось кричать изо всех сил, чтобы слышно было на все поле.

Совсем уже темно стало, когда ребята подъехали к табору.

Около огонька сидели человек шесть мальчиков. Они повернули головы в сторону приехавших, а те трое быстро соскочили с лошадей, сбросили зипуны, заменявшие седла, отвели лошадей в сторону и подошли с уздами в руках к огоньку. Ребята сидели вокруг Виктора Шмоткова, парня с птичьим лицом. Он продолжал что-то рассказывать, а все остальные слушали, изредка вставляя замечания. Рядом с Виктором, накрывшись зипуном и поджав ноги калачиком, улегся Володя Кочетов. Когда он высовывал голову (в самых интересных местах рассказа), то светом костра озарялось его лицо. Больше четырнадцати лет ему дать нельзя. Русые, аккуратно подрезанные волосы свисали из-под картуза ровным кружком. Немного насмешливые глаза, прямой невысокий лоб, а в округлых пухленьких щеках было что-то девичье. Ребята постарше иногда так и обращались к нему: «Володька, красавица моя, — прикурить!»

Петька Ухарь неподвижно смотрел на огонь, положив картуз на колени. Его кудрявая голова возвышалась над всеми, а лицо выражало явное превосходство: он — самый старший из ребят и сын самого богатого на селе мужика. Петькину лошадь отгоняли от хлебов, даже прикуривали ему цигарку, когда он прикажет, и подчинялись беспрекословно. Только Ваня Крючков держал себя с ним как равный.

Ваня тоже слушал рассказ Витьки, потряхивая рваным зипунишком. Шестнадцатилетний Ваня — сирота. Но не было на его лице ни забитости, ни покорности, присущей деревенскому сироте. Наоборот, во всех движениях проскальзывала какая-то не юношеская степенность. Зато если он хохотал, то до слез. Если же в воскресные дни он играл с ребятами в казанки, то редко проигрывал. Но Ваня всегда недоедал, что видно было и по его бледноватому лицу. Еще десятилетним мальчишкой он продавал казанки на хлеб — казанок стоил кусок хлеба шириной в ладонь, — а потом их же и выигрывал. Глазомером, необходимым в этой игре, он обладал удивительным.

Была, впрочем, у него и другая расценка: сто горошин за казанок. Тогда он зарабатывал даже на полный суп для всей многочисленной и бедной семьи дяди, у которого жил с малых лет. А что стоило тому же Петьке Ухарю тайком от отца насыпать полный карман гороха из закрома, обменять на казанки и играть себе на здоровье целое воскресенье? Ничего не стоило.

Всякий человек по-своему зарабатывает. И русоволосый разбитной мальчишка прославился точностью глаза с детства.

В тот вечер Витькин рассказ казался Ване особенно интересным. И остальные слушали, открыв рты, то привставая, то опять ложась.

Узкое, почти безбровое лицо Витьки поворачивалось на тоненькой шее из стороны в сторону, а глаза, похожие на щелки, казались всегда прищуренными. Рассказывая, он хлопотливо жестикулировал, и руки никак не давали покоя замусоленному картузишке. Несчастный картуз то оказывался на затылке, то надвигался на ухо, прикрывая один глаз, то шлепался вдруг о землю. Редкий человек относится с таким неуважением к своему головному убору, как Витька. Картузом он дома бил кошку, картузом пил воду, в картуз же он рвал вишни и малину. Это был не просто картуз, а и хозяйственная посуда, и оружие защиты, и сумка. Черт его знает, что за картуз был у Витьки! Всем известен случай, когда сорвавшийся с цепи кобель Ухаревых бросился однажды на Витьку. Страшный был пес! Трусишка Витька, побледнев как полотно, бросил ему свой необыкновенный картуз и побежал, сверкая пятками. Кобель схватил картуз, мотнул его раз-другой и бросил. Видимо, разные запахи были настолько необыкновенны и настолько поразили собаку, что она оставила в покое и Витьку и картуз. Так вот этим-то знаменитым картузом и размахивал рассказчик.

— Сидим мы с Федькой Варягом, — продолжал Виктор. — Вдвоем, значит, ночевали в поле с лошадьми. — При этом он показал два пальца и плотно надвинул картуз всей пятерней. — Моя кобыла да Федькин мерин — только и лошадей. Да. Сидим и вдруг слышим: ка-ак лошади шарахнутся к нам! Матка храпит, дрожит… Глядь: сажень в двадцать — во-олк! Вот я испужался так испужался! Приподняв плечи, втянув в них голову и сдвинув картуз на глаза, Виктор показал, как он испугался. — Да. Волк! А луна светит, скажи, как днем! А Федька схватил дубину, да как вскочит на мерина, да за полком! Мне кричит: «Держи кобылу-у!» Я — к кобыле: узду надел да верхом. И только-

только сел, как она рванет в галоп да за Федькиным мерином. О! Как пошла, как пошла! — Виктор сбросил картуз и ударил им о землю. — Ка-артуз потерял, ботинок соскочил — утром уж нашли. Зажмурился, скачу. А сам, ей-боженьки, не знаю — куда. Слышу, Федька кричит на кого-то: «А, гадюка!» Открыл я глаза и вижу: Федька рядом с волком — скачет, скачет. Моя кобыла — за ними. Вдруг мерин передним копытом ка-ак даст по волку! А волк — в сторону! А Федька с лошади соскочил да ка-ак дубиной ему по башке стук!!! Ох, я испужался! Вот, думаю, съест волк Федьку. Вдруг мерин-то Федькин — ко мне, прижался к кобыле боком — и-и-и… понесли-и! Остался Федька с волком один. Беда… Прискакали мои лошади в село, сами прискакали, а я кричу: «Федьку во-олк ест! Карау-ул!» — Витька, забывшись, уже визгливо орал и потрясал картузом, изображая, как он скакал и кричал о гибели Федьки.

Все ребята захохотали. А Ваня Крючков сквозь смех сказал:

— Ты кричал: «Двенадцать волков Федьку съели!» Умора!

Виктор, не смущаясь, продолжал:

— Прискакали мужики на то место, а там нет никого — ни волка, ни Федьки. Мы — кричать, мы — звать. Слышим: свистит наш Федька в два пальца. — И Виктор пронзительно свистнул, вложив пальцы в рот. — Мы — туда! Подъезжаем, а Федька волочит волка за ногу. Убил дубиной!.. Елки-палки! Я тут обрадовался — нет спаса! А Федька — ко мне: «Ты куда ускакал?» Да ка-ак даст мне по спине! Хорошо ударил, прочно! — Виктор немного помолчал, потом решительно сдвинул картуз на затылок и закончил: — Ничего Федька не боится.

— А ты труса дал. Федьку бросил. Пти-ица! — вставил Ухарь.

Виктор попытался оправдаться, шмыгнув носом:

— Лошади ж понесли со страха. Куды ж денешься?

— «Со страха»! — передразнил Ухарь. — Лошадь, она, брат, чует, если хозяин боится. С Федькой мерин не боялся — на волка шел, а с тобой забоялся, как кролик.

Издали послышался конский топот. Ребята прислушались. Легко было определить, что всадник скачет полным галопом, приближаясь к табору. Ваня Крючков сказал:

— Должно быть, Федька скачет. Уж я-то знаю его повадку: кроме него, никто так не жарит в темноте.

— Варяг! — проговорили ребята, одни с уважением, другие со страхом.

Вскоре всадник подскакал. Лошадь с ходу остановилась почти у костра. С нее соскочил парень лет семнадцати — без картуза, с вьющимися волосами; разом пробежал глазами по всей компании и бросил ребятам гуся. Во всех движениях проглядывали смелость, ловкость и чуть-чуть наглость. Он был смугл. Широкие черные брови почти сходились у переносья, а из-под них — этакие напористые глаза, глубокие, умные. Нос сухой, как обточенный. Один уголок губ чуть глубже другого: будто на лице появилась однажды усмешка да так и осталась навсегда, словно обладатель ее хочет сказать: «А ну вас всех к чертям!»

— Где взял? — спросил Ухарь, указав на гуся.

— Ну! Жарить-парить быстро! — скомандовал Федька. И только после этого ответил Петьке: — У мельника спер, мимоходом.

Ребята принялись за работу, кроме Володи Кочетова, безмятежно заснувшего под зипуном. Кто щипал гуся, кто рыл ямку, кто побежал за водой. Мигом ощипали, то есть ободрали, гуся, обернули мясо тряпкой, положили в вырытую ямку и засыпали землей. Осталось перенести на это место костер. Но заснувший Володя мешал, похрапывая между костром и закопанным гусем.

— Э, Красавица! Володька! — обратился к нему Федька.

Но Володя так крепко заснул, что ничего не слышал. Тогда Федор приказал:

— Давай, ребята, узду. Привязывай, Витька. Быстро!

Высунув кончик языка на уголок губы, Витька Шмотков длинными и тонкими пальцами осторожно привязывал узду к ноге спящего. Остальные наблюдали в полном безмолвии.

— Раз-два, взяли! — крикнул Федька.

И все дружно потащили Володю в буерак. Спросонья и от обиды он кричал, ругался и смешно болтал свободной ногой, стараясь отцепиться, но — куда там! — это было совершенно невозможно.

— Хватит! — скомандовал Федька ребятам, хохотавшим до слез.

Над ямкой, где зарыт гусь, развели огонь и уселись кружком в ожидании вкусного ужина. А Володя всхлипывал и потихоньку ругался, потирая ногу.

— Не канючь, Володька. Хватит, — спокойно сказал ему Федька. — Так полагается: заснул до дежурства — тащи в яр. Хоть тебя, хоть меня — все равно. Заступит дежурный — спи. Так полагается.

— Да я знаю — полагается. А ногу больно, — хныкал Володя.

— А ты подуй на нее и приговаривай: «У собаки заболи и у кошки заболи…» Ну, как маленькому, с соской. Сразу пройдет.

И Володя перестал хныкать. В самом деле: маленький он, что ли!

— Про чего врал? — обратился Федька к Виктору.

— Не врал, а нонешний день правду говорил, про твоего волка, — ответил Виктор.

Федька шутя забрал в свою пятерню льняные жиденькие волосы Виктора, слегка потрепал, откинув его голову так, чтобы смотреть прямо в лицо, и сказал:

— Малый ты неплохой, Витька, но… душа у тебя заячья.

Виктор блаженно улыбался, а Федька спросил:

— Больно я тебя тогда по спине-то?

— Че-епуха-а! — протянул Виктор в ответ.

Он был очень доволен, что Федька так хорошо к нему относится. Федор и правда никогда не давал в обиду Виктора. Кто его знает, может быть, он и жалел о том, что сгоряча ударил тогда.

Петька Ухарь, не отрывая глаз от огня, знаком руки подозвал к себе Федьку.

— Поедем к девчатам? А? — спросил он тихо, когда тот пересел к нему.

Оба встали. Петька обнял товарища за поясницу и отвел от ребят. Разговор их перешел в шепот. Неожиданно для всех Петька громко воскликнул:

— Эх ты! Баба!

— Ну поедем, если так! — удальски воскликнул Федька. А ребятам крикнул: — Гусятины оставить на двоих!

Когда уехали заправилы, началась игра «в кол». Сначала поконались — кому гонять. Досталось Виктору Шмоткову. Ему привязали за ногу один конец узды, а второй конец — за вбитый кол. Виктору торжественно вручили чей-то плотный шерстяной чулок. Все сняли свои картузы и положили их к тому колу. По команде «тащи» каждый старался «украсть» картуз, не получив удара чулком.

Витька бегал как оглашенный и охранял кол. Стоило кому-то кинуться к колу, как Витька бросался в ту сторону, размахивая чулком. Если даже кто-то и успевал схватить картуз, но получал удар чулком, то он обязан был возвратить «украденное» на кон. Проигравшим считался тот, кто не вытащит ни одного картуза. Витька вспотел, расстегнул рубаху и метался из стороны в сторону. Бросится за одним — второй позади уже утащил. Наконец кон остался «пустым».

— Пустой кон! Пустой кон! — закричали все, когда Ваня Крючков выхватил последний картуз.

На этот раз проиграл Володя Красавица. Полагалось его «наказать». Все встали парами в две шеренги, лицом друг к другу, со сложенными армяками и дерюгами в руках. Между этими двумя шпалерами и обязан пробежать Володька, а его все будут лупить. Хотя их всего было четыре пары, но надо быть очень ловким, чтобы устоять на ногах, когда начнут хлестать изо всех сил. Да и силенка должна быть.

— Вот задача! — произнес Володька, почесав затылок и поправив картуз.

— Ты умеешь проскочить? — спросил у него Ваня Крючков.

— Може, проскочу, — неуверенно ответил Володя.

— Ты вот так делай. Смотри. А ну, ребята, готовьсь! Я покажу Володьке, а то вы его забьете, черти.

Все приготовились с поднятыми скатками. Ваня сбросил картуз и стремглав кинулся во весь рост. Перед первой парой он вдруг нагнулся почти до земли, отчего оба промахнулись и, потеряв равновесие, столкнулись друг с другом. Перед второй парой он свернулся калачиком и покатился вниз буерака шаром, а в конце так неожиданно вскочил на ноги, что приготовленные для удара скатки шлепнулись о траву. Лишь один какой-то счастливец зацепил Ванятку. И совсем не больно.

— Понял? — крикнул он снизу, куда проскочил из-под ударов.

— Попробую, — ответил Володя.

Хотя ребята стояли против костра, но последним было уже не так хорошо видно, как первым. Володя бросился от костра к шеренгам и неожиданно остановился. Ближайшие от него подумали, что он испугался. А он в этот момент юркнул между ними и шаром покатился, прижав голову к коленям. Никто не ожидал от него такой

прыти. Лишь перед последней парой он вскочил на ноги, но кто-то все же хватил дерюгой по заду. Володя упал, растопырив руки и ноги, как лягушонок. Но шеренги кончились — бить уже нельзя. Все обошлось хорошо. Володя гордо поднимался из буерака к костру, а ребята кричали наперебой:

— Молодец, Володька! Обманул, Красавица!

После игры все разбрелись посмотреть лошадей да согнать в табун. Виктор Шмотков и Ваня Крючков шли вместе, и им пришлось идти столба за два — так далеко забрели лошади.

Луна вышла из-за горизонта. В степной тишине она медленно осыпала росистую степь блестками серебра. Если смотреть против луны, то серебра немного, если же смотреть, повернувшись к ней спиной, то так и кажется, что вот-вот сейчас степь зазвенит. Ласковая такая тишина! Жизнь пройдет, а не забыть этой тишины тому, кто в далекие годы детства в июньскую полночь босыми ногами шагал по степи, зарабатывая хлеб наш насущный. Лошадь надо накормить ночью, чтобы она работала днем. А накормить лошадь — это тоже труд. Да еще какой труд! Надо уметь не бояться ночи в степи, где тебя видит не то что волк, а каждый суслик, где любой заяц может напугать, шарахнувшись из-под ног. И кто его знает: заяц это или кто-то другой — разберись, мальчишка! И даже в темную ночь надо знать, что истошный крик грудного ребенка — это совсем не крик ребенка, а это вопль зайца, терзаемого волком или лисицей. В темную ночь надо знать, что нечистая сила, вырвавшаяся неведомо откуда, из глубины темноты, и зацепившая тебя крылом, — это совсем не нечистая сила, а обыкновенная большая степная сова.

Даже в темную ночь, в ночном, мальчишка идет по степи, чтобы перегнать лошадь, и читает книгу земли по звукам, то еле уловимым, как писк летучей мыши, то раздирающим душу, как вой волка. И ничего! Идет себе и идет, шлепая по росе… Только вот в грозу разве. Тогда дело другое. Тогда лошади жмутся друг к другу, вздрагивают, всхрапывают и сами не отходят о; ребят, пока не пройдет гроза. А когда молния прорежет небо и ослепит ребятишек, когда вслед за этим в кромешной тьме прогремит оглушающий раскат грома, тогда… боязно! В такие минуты Виктор Шмотков крестился и шепотом читал молитву. Ему никто не возражал, если он, трясясь всем телом, говорил:

«Бог есть, ребята. Должно быть, есть. Гром есть — значит, бог есть. Куды ж денешься!»

Все-таки в темную ночь не очень-то уютно ребятам в открытой степи. Не очень. Правда, бывают теплые, прелестные и величественные темные ночи летом, после дождя. Тогда они торжественны и тихи. Это — когда земля дышит. Да, дышит. И тогда слышно, как падают от этого вздоха капли со шляпок и листьев подсолнечника; тогда же и можно услышать в могучей тишине, как поднимается трава в степи после ливня. Это бывает. Чернозем дышит. Только случается это очень редко. Чтобы все это услышать, надо вырасти в поле. А так — нет, нельзя. В такие часы, после дождя, мальчишки сидят у костра и сушат одежду — свитки, зипуны. И молчат. И слушают. Дышит!

А вот тихая, лунная, серебристая ночь — совсем-совсем иное дело. Воздух свежий-свежий! Тихо так, что если идет по степи человек, то шаги его слышно за полверсты. Разве изредка загремит лошадь железным путом или заржет матка, но тоже тихо-тихо, ласково, подзывая жеребенка. Хорошо в поле в такую ночь!

Именно в такую ночь Ваня Крючков и Виктор Шмотков шли по степи, отыскивая лошадей. Впереди мальчиков при свете луны встал на задние лапки молодой зайчик. Он доверчиво пошевелил ушами и неслышно исчез в траве. А роса все играла блестками, переливаясь и щедро рассыпаясь всюду.

— Ты не боишься ночью? — спросил Виктор.

— А чего в эту ночь бояться?

— Ну… чего? Нечистую силу какую-нибудь. Или волка, допустим.

— Нет. Не боюсь.

— А почему? — допытывался Виктор.

— Нету нечистой силы. В книжках читал. А волк летом не тронет человека — так дядя говорил. И все так говорят.

— А я боюсь. Я боязливый. — Виктор помолчал и добавил: — Вот беда! Беда мне с моим карахтером. Так и маманя мне говорит. Куды ж денешься!

После приезда Петьки и Федора все улеглись спать рядышком, чтобы теплее было на заре. Федька добровольно взял на себя дежурство: поел гусятины, отошел к лошадям, лег на траву и лежал

так, не накрываясь. Скоро все уснули. Один лишь Федька неподвижно лежал вверх лицом и смотрел на мерцающие звезды. Никто не видел, как он встал и пошел к своему мерину, как он прислонился щекой к лопатке лошади, положив руку на холку. О чем-то тосковал ли, жалел ли — неизвестно. Лошадь, повернув голову к хозяину, потрогала его мягкими губами за плечо.

Вдруг при лунном свете среди табуна лошадей Федька увидел силуэт человека. Он уже хотел поднять тревогу, подумав недоброе, но тот направлялся к табору. «Если идет к табору, не вор», — подумал Федька и окликнул:

— Кто идет?

Человек повернул к нему и ответил на ходу:

— Идет свой. А ты чей?.. И чего не спишь? На карауле, значит, стоишь. Это хорошо, хорошо.

По голосу Федька узнал Андрея Вихрова, которого не было в селе больше двух лет.

— Андрей Михалыч! — воскликнул Федька.

— Он самый, — отозвался подошедший. — Ну, здорово был! Ты чей?

— Земляков.

— Федька! Какой ты здоровенный стал за два года! Ну, какие дела дома? Рассказывай, — И Андрей присел на траву, приглашая жестом руки сесть рядом.

— Дома? О доме у меня нечего рассказывать, — угрюмо сказал Федька, присаживаясь около.

— Отчего ж — нечего? Батька приехал?

— Не-ет, — все так же мрачно протянул Федька.

— Да… Суровый твой папаша… Ну а на селе как? Землю делили в этом году?

— Делили. Ваша полоса так и лежит целиной — один пырей.

— Ничего. Теперь-то и я захозяйствую помаленьку. Первым делом — лошадь. Эх и соскучились руки!.. Вот в армии в партию приглашали, а я говорю: «Руки чешутся, на землю хочу, за сошку». Землю теперь добыли — можно и распорядиться.

Андрей сидел на траве, широкоплечий, с вещевым мешком за плечами, в сбитых солдатских ботинках; верх буденовки, освещенный луной, торчал шпилем над головой. Андрей казался Федьке богатырем.

Ваня Крючков, услышав разговор, вылез из-под зипуна и подошел к Андрею.

— А, Ванятка! Сиротская душа! — приветствовал тот первым, сразу узнав Ваню.

— Здравствуйте, Андрей Михайлович. А я вас тоже узнал.

— Ну, какие дела? Как дядя поживает? Лошадь, наверно, купили? Раз в ночное приехал — значит, купили. А?

— Купили. Поживаем вроде ничего, — степенно отвечал Ваня.

— А я вот тоже думаю купить.

Видимо, лошадь не выходила из головы Андрея, если он второй раз вспоминал о ней. Он и правда мечтал о лошади давно.

Ваня осторожно, тихо сказал:

— Андрей Михайлович, зря вы ночью ходите один.

— А что?

— Бандиты у нас завелись.

— Какие бандиты? — живо спросил Андрей.

— Кучум, Дыбин, Васька Ноздря и еще там человек пятнадцать. Все не нашего села, оглоблинские.

— О-то-то-то! — пропел Андрей. — Вот это — да-а…

— А что? — спросил Федька.

Помолчав, Андрей ответил:

— А то: если силу возьмут, то прибыли от земли нам опять не будет.

Андрей о чем-то задумался.

— Плоховато без отцов-то? — спросил он вдруг у ребят. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — Конечно, плоховато… Я вот тоже без батьки вырос… Да. И теперь изба пустая… Цела моя изба-то?

— Стоит, — ответил Федька. — Окна досками забиты.

Андрей вздохнул и уже решительнее сказал:

— Нет. Наверно, обождать придется с землей-то, ребятки… Вот черт! Как оно получается… Не дают за землю зацепиться, сволочи.

Петька Ухарь слышал разговор, но из-под зипуна не вылез. Он не разобрал всех слов, но после некоторого раздумья решил: «Надо батьке сказать — Андрюха Вихор пришел».

— А куда ж мне, скажем, заходить сегодня ночевать? — спросил Андрей.

— К деду Матвею Сорокину, — посоветовал Ваня.

— Пожалуй, верно, — согласился Андрей.

— Позвал бы к себе, — угрюмо сказал Федька, — но… дома у меня…

— Знаю, знаю. Ладно, — Андрей похлопал его по плечу. — Рановато на тебя все это навалилось. Ну, ты малый удалой — выдержишь. — Он встал, помолчал и произнес: — Вот так… Ну! Пошел я. Заходите, ребята, про Красную Армию рассказывать буду.

Вскоре он скрылся в яру.

— Ничего не боится, — сказал Ваня.

— А чего бояться? — спросил Федька и тряхнул головой. — Двум смертям не бывать, а одной не миновать.

Оба смотрели в ту сторону, куда ушел Андрей. А Ухарь завернулся в зипун поплотнее. Вскоре все стихло. Ребячий табор спал. Только Федор и Ваня до самой зари просидели, прижавшись плечом к плечу и тихо разговаривая.

Настало утро. Володе Кочетову надо было ехать домой раньше всех: отец велел до солнца. С рассветом он поднялся и пошел за лошадью. Заспанными глазенками он высматривал свою кобылу. Искал, искал — нет кобылы. Спустился в буерак: надо скорее, а кобылы нет. Что за оказия!

Ваня тоже пошел за своей лошадью. Он, сам того не замечая, любил утро. Солнце еще не вставало, а на горизонте уже загорелся пожар: скоро встанет. По буераку внизу туман, а вверху чисто и светло. В такое утро тело становится легким, а босые ноги розовеют от росы (не мочить же ботинки!). Роса такая бодрящая и приятная, чуть-чуть обжигающая легким холодком. Тишина стоит задумчивая и нерешительная. Все ждет солнца. Лошади стоят понурив головы — спят. Они любят поспать на зорьке стоя.

Шел Ваня и мурлыкал песенку, не нарушая тишины степи. Вдруг он услышал в буераке крик Володи. Ваня сбежал вниз и увидел: лошадь билась в трясине, а Володя стоял около нее и заливался слезами. Попробовали вытаскивать вдвоем, но ничего не смогли сделать. Пришлось бежать к табору, за ребятами.

— Ребята, у Володьки лошадь увязла, — говорил, волнуясь, Ваня. — Стал он переводить через водоток, и — увязла.

— А черт с ним! Глядел бы, где надо вести, — зло ответил Ухарь.

— Пойдемте поможем! Ей-богу, вытащим! Она неглубоко засела. Пойдемте, — просил Ваня.

Но все садились на лошадей и проезжали неподалеку от Володьки. Федька еще раньше ушел ловить мерина. В таборе осталась только одна телега, принадлежащая Виктору Шмоткову. Сам Виктор спозаранку ушел на межники накосить травы (для чего он и приехал в ночное на телеге).

Ваня снова прибежал к Володьке и сказал запыхавшись:

— Никто не идет. Каждому — своя шкура… — Он сплюнул и принялся вместе с плачущим Володькой вытаскивать лошадь.

Туман из буерака почти ушел, но солнышка внизу еще не было видно. Над обрывом показался Федька с лошадью в поводу.

— Эй! Что там у вас? — крикнул он.

— Федя-а-а! — заревел благим матом Володька.

— Ну чего орешь, Красавица! — строго крикнул Федька.

После этих слов он вскочил на мерина и рысцой затрусил к телеге. Там он надел на свою лошадь хомут, взял вожжи и вернулся к ребятам.

Через несколько минут завязнувшую лошадь заарканили под грудь, и Федькин мерин выволок ее из грязи. Ей надо было только помочь, а выкарабкалась она старательно сама.

— Хомут и вожжи положишь на Витькину телегу, — сказал Федька, когда вытащили лошадь.

Он уже хотел было ехать, но вдруг соскочил с лошади, взял в горсть грязи, обмазал Володьке щеки и, ухмыляясь, снова сел верхом и поехал шагом домой. Ваня смеялся, откинув голову и приседая, а Володька, смешно отфыркиваясь, умывался. Он ничуть не обижался на грубую шутку и сам себе говорил, подражая тону Федьки:

— Не води кобылу через трясину, Красавица! Не води!

Казалось, в черноземной степи стало все спокойно.

Федька ехал не спеша. Думал он о ночной встрече с Андреем.

Глава вторая

Андрей Михайлович Вихров пришел в село ночью. Идти к Матвею Сорокину, как советовали ребята, он раздумал: семья, бедность, каждый кусок на счету.

Огородами, напрямик, он шел к своей избе. Деревня, освещенная большой луной, спала крепким коротким летним сном. В светлые летние ночи и собаки не лают — спят.

Запахи огородов были родными и близкими. Картофельная ботва, немного опьяняющий ночью анис и укроп, запахи огурцов, помидоров, тыквы и цветущего подсолнечника — все смешивалось в неподвижном воздухе. Знакомые с детства запахи! Под ногами — пышный, богатый чернозем: на таком, говорят, сухой кол дает почки. Проходя задворками мимо какого-то сарая, он, услышав шорох, остановился: в сарае жевала жвачку корова и шумно вздыхала. «Корова, — подумал Андрей. — Хорошая скотина корова! Без коровы в деревне — не дом».

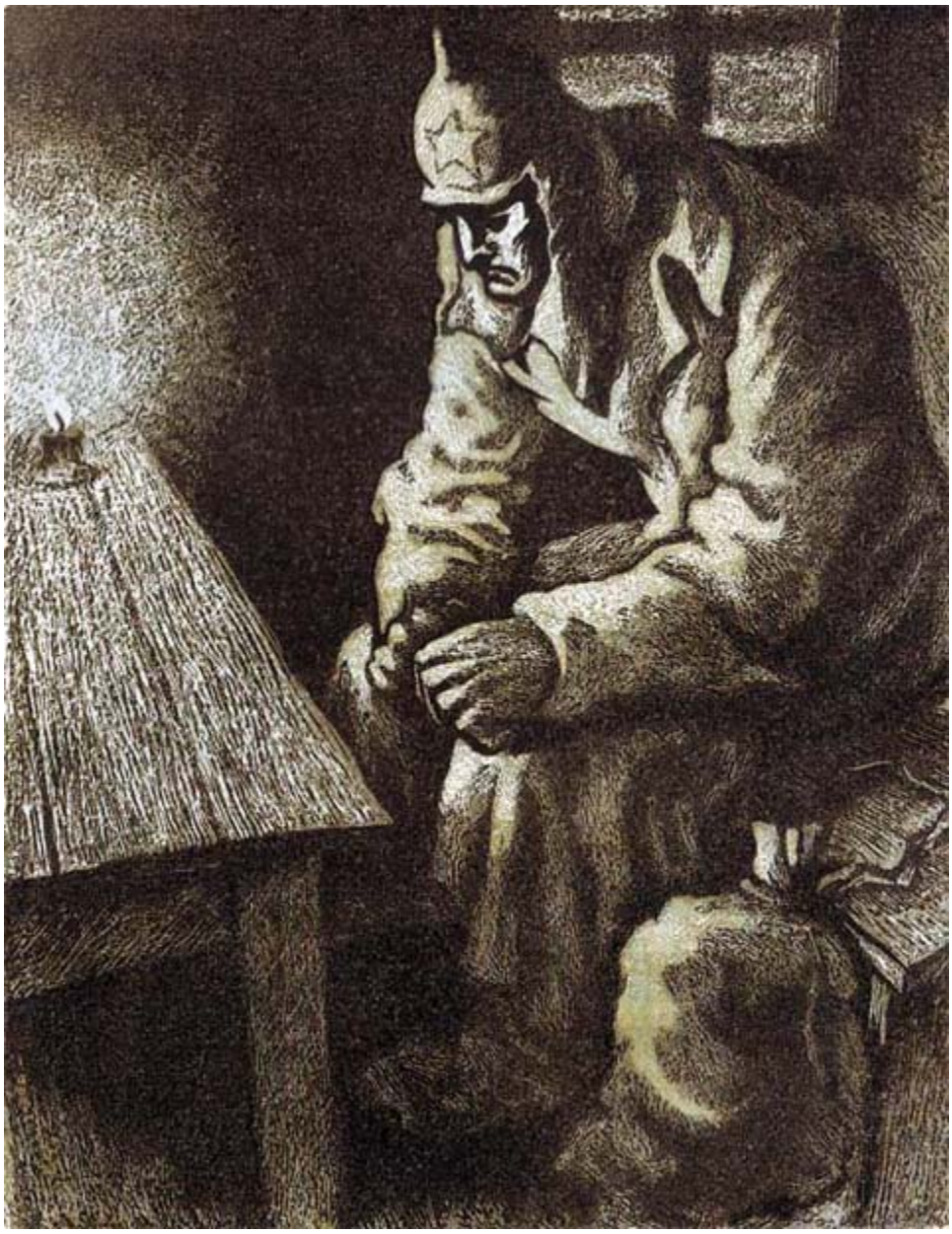
И вот подошел он к своей избе.

Дворик из двух смежных сарайчиков стоял с полуразваленными плетнями и осевшей седлом крышей. Сарайчики покривились в разные стороны — казалось, собирались расползаться, уходить от избы. На закрытых ставнях избы косыми крестами выделялись потемневшие тесины. Глина со стен отвалилась рваными пятнами. При лунном свете изба выглядела сиротливой, ободранной. Андрей немного постоял в раздумье, глядя на дверь, и сказал:

— Ну, встречай хозяина.

Гвозди, какими была забита дверь, сначала не поддавались. Но он вспомнил, что когда-то давно во дворе, под застрехой, положил негодный, без обуха, топор. Им он и открыл дверь. Тоскливо скрипнув заржавленными петлями, дверь пропустила хозяина.

В избе было темно, как в погребе. Андрей вышел на улицу, сорвал тесины с окон, открыл ставни и снова вошел. Лунный свет озарил заброшенное жилище: стол, лавка, два табурета, ухваты в углу, перед печью. Пахло пылью. Он разыскал в вещевом мешке огарок сальной свечи, зажег его, прилепив на середине стола, и сел на лавку. Вещевой мешок положил рядом, а буденовку, по привычке, на мешок.



На бледном лице Андрея играли блики от свечи. Прямой и в меру высокий лоб уже пересекли две морщины. Широкий подбородок, чуть-чуть выступающие скулы, неглубокие глаза и густые русые брови — все расположено на лице просторно и открыто. Ему не было двадцати семи лет, а сколько исхожено, сколько видано! Вот теперь опять дома.

Андрей обвел глазами избу. В углу висела икона. «Это надо убрать — она теперь ни к чему». Деревянная голая кровать навела на мысль: «Постель прибрал кто-либо из соседей или взяла себе на сохранение мать жены». Осматривая комнату, он мысленно повторял: «Один… Совсем один». Встали в памяти образы родных и любимых.

Он честно воевал более двух лет, до того дня, когда попал в госпиталь. И все было ясно: крестьянину-бедняку нужна была Советская власть, ему нужна была земля. И Андрею нужна земля. А без Советской власти земли не добыть. Было так просто и понятно, что не воевать с белыми нельзя никак. Именно поэтому Богучарский полк разросся до сорока тысяч красноармейцев, а Андрей и ушел туда добровольцем. И почти все там были крестьяне, те самые, которым нужна была земля, а следовательно — и Советская власть. Белые лезли со всех сторон. Они не брали в плен богучарцев, потому что никто из них не сдавался живым. А в Паховке свирепствовал тиф. Мертвых отпевали сразу по нескольку человек. И был жуткий голод. Люди питались лебедой. Кругом война, а дома голод и тиф… Умерла жена… и дочка. «Один. Совсем один», — шептал Андрей.

Жена, Маша! Какая она была любящая, трудолюбивая и всегда веселая, ласковая и незлобивая. Андрей вспоминал. Сирота и батрак, он нашел себе в соседнем селе подругу, слепил саманную избушку, огородил плетневый дворик. Бывало, приедет вечером с поля, а Маша уже и лошади корм приготовит, и ужин горячий сварит; а он войдет в избу — дочка бросается к нему и кричит: «Папашка, у меня жук в коробке!..» Она держит в одной руке куклу, а другой рукой подносит спичечную коробку к его уху и говорит уже тихонько, шепотом: «Послушай!»

Андрей забылся и наклонил голову, будто слушая шорох жука. И вдруг он увидел на полу, около кровати… ту самую куклу. Ту самую куклу. Он тяжело встал, поднял ее за руки и поднес к свече. Кукла была покрыта густым слоем пыли, старая и рваная. Андрей нежно стряхнул с нее ладонью пыль, погладил и… Сердце не выдержало! Он резко прижал тряпичную куклу к груди, обеими руками, как малого ребенка, и опустился на лавку, склонившись над столом.

…Огарок свечи давно догорел. Луна зашла за горизонт, и уже серый рассвет, крадучись, вползал осторожно в избу. А Андрей все сидел и сидел, прижавши куклу и положив голову на стол.

…Утром, с восходом солнца, Андрей пошел в соседнее село, Оглоблино, к теще: потянуло к родне. Избы он запирать не стал, а просто накинул петлю и вставил палочку, что и означало — хозяин пришел, но дома его нет.

Войдя в Оглоблино, Андрей осмотрелся кругом. Село было богатым и славилось на всю округу выделкой кожи и изготовлением сбруи и обуви. В центре села стояли мелкие лавчонки, большие лавки-магазины и торговые сараи, а дальше — хатки-развалюшки, убежища бедноты. Самый большой магазин, где теперь кооператив, раньше принадлежал богатому торговцу Дыбину, который недавно умер; остался после него сын, Игнат.

Проходя мимо бывшего дома Дыбиных, где висела вывеска «Сельсовет», Андрей вспомнил, как он еще мальчишкой года два батрачил у Дыбиных и как однажды Игнат, будучи гимназистом, на каникулах пробовал помериться с ним силой. Игнат был сильным парнем и старше Андрея года на три. Но и Андрей был крепышом. Боролись на поясах. Неожиданно, на виду у девчат, Игнат грузно шлепнулся на лопатки. Он встал и с размаху ударил Андрея в лицо. Это было подло, не по правилам, и Андрей ответил тем же. Игнат упал навзничь, немного полежал, очумев, вскочил и, под смех молодежи побежал домой. А вечером хозяин прогнал батрачонка, не заплатив за работу десять рублей.

…Мать покойной жены, Дарья Степановна, по-уличному Степаниха, встретила Андрея, как родного сына. Она увидела его из окна, выбежала на улицу, обняла.

А он молча поцеловал ее и смотрел в старческие глаза, полные слез. Долгие годы бедности исцарапали лицо старушки морщинами, и по самым крупным из них, вдоль щек, катились слезы, будто они-то и пробили эти полоски.

— Андреюшка, голубь. Сироты мы с тобой остались, — сказала она дрожащим голосом.

Он не отвечал. Было тяжко: грудь стала тесной, дышать трудно.

Они вошли в избушку. Старушка сразу засуетилась, приговаривая:

— Ой, да что же я, старая! Накормить надо гостя. — Вытирая передником слезы, полезла ухватом в печь. — У меня хлеб нонче. Уж готов — испекся. Вот картошечка. Молочко козье. Коровки-то нет, так я козочку выкормила. Садись, садись, голубь.

Она хлопотала по-матерински, и Андрею стало как-то теплее, и дышать стало легче. Только теперь он вспомнил, что не ел со вчерашнего утра: горе горем, а есть надо. Печеная картошка казалась лучшим кушаньем в мире. За обедом старушка вдруг забеспокоилась:

— Андрюша, как же ты пришел! Бандиты у нас, а ты в буденовке. И гимнастерка, и мешок этот… Кучум приехал, Васька Ноздря — тоже.

— С оружием? — спросил Андрей.

— С ног до головы, — шепотом ответила она. — Фроська, уборщица из кооператива, говорила: по ночам сидят у Игнатки Дыбина, а он им книжки какие-то читает.

— Так. Читает, значит. А в сельсовете кто председателем?

— В сельсовете никого нет. И власти никакой нету. Как приехали эти-то, то председателя увезли ночью.

— Куда?

— Кто ж их знает, антихристов, куда они его. Должно, убили. Не наш он, из Козинки, и председателем был всего два месяца. Хороший был человек, партейный, царство ему небесное! — Степаниха перекрестилась мелко и торопливо. — Фроська говорила: Кучум-то воевал у Мамонта, а теперь вроде привез бумаги — командиром назначен. А Васька Ноздря, говорят, золота привез целый кувшин. Вот они дела-то какие, голубь.

— Плохо, мамаша. Дела плохие.

— Плохие, голубь.

На улице послышался конский топот и сразу затих около избы. Степаниха и Андрей одновременно посмотрели в окно.

— Васька Ноздря! — воскликнула она, всплеснув руками. — Андреюшка, беги!

— Поздно бежать. Хуже будет — пристрелит, как куропатку. Встречаться надо.

Старушка задрожала мелкой дрожью, постукивая зубами и крестясь.

— Спокойно, мамаша. Не волнуйтесь. Не то бывало, — утешил он Степаниху.

Она и правда вся подобралась, отошла в угол, к печке, и спрятала дрожащие руки под передник.

Человек-туша огромного роста, с винтовкой за плечами, привязал коня к плетню, размял ноги и, помахивая плетью, вразвалку, не торопясь, направился к двери, положив руку на эфес шашки. Силища в нем была редкостная. Солдатская гимнастерка туго обтягивала мускулы — трудно на такую махину подобрать по размеру.

Широченные галифе тоже тесны. Открыв дверь, он пригнулся, чтобы не задеть головой притолоку, втиснулся боком в избушку, выпрямился прямо перед Андреем и басом, как из бочки, сказал презрительно:

— А! Добровольцу непобедимой рабоче-крестьянской привет!

Андрей отвечал, хитря:

— Здорово, если не шутишь.

Васька снял винтовку, пожевал толстыми губами, выкатив совиные, тупые, без выражения глаза, высморкался с трубным звуком на пол и пробубнил:

— Не до шуток. Собирайся к командиру. Приказано.

— А кто же командир? Я ведь только вчера пришел — не знаю. И что за армия тут — не знаю.

— Там узнаешь.

— Это что ж: и картошки доесть нельзя? — спросил Андрей, глядя в окно, будто ничего и не случилось. Он заметил: лошади из окна не видно, — значит, у плетня привязал. — А ты садись, — продолжал Андрей, — гостем будешь. Садись.

Ноздря почмокал губами. Он, видимо, сомневался: садиться или не садиться? Он привык к тому, что его все боялись, а тут — «садись»! И никакого намека на страх. Люди знали, что у Васьки никаких убеждений нет и не было, его дело — грабить. Был он в каком-то отряде анархистов, оттуда подался к Мамонтову, а после разгрома белых шлялся по лесам с бандой грабителей. Правда, «воевал» он за то, чтобы не было коммунистов и чтобы вольно было грабить, а главное, чтобы боялись. И все везде боялись. И вдруг — на тебе! — «гостем будешь»!

Сел грузно — лавка затрещала. Андрей уставился на бандита и сказал, указывая на стол:

— Еда есть, а выпить нечего.

Васька осклабился, показав крупные зубы, и прорычал вопросительно:

— Потребляешь?

— Теперь выпил бы: лошадь думаю купить, хозяйствовать начну. Хватит, повоевались, походили по чужим краям. Вот бы новую жизнь и обмыть. — Он обратился к Степанихе: — У кого тут есть поблизости, мамаша?

— Да у Фроськи самогонка всегда есть, — ответила та.

Ноздря пробубнил:

— Пить мне с тобой нельзя… К нам пойдешь? — попробовал он «агитировать» Андрея.

— К кому — к вам?

— В зеленые.

— А-а-а, — протянул Андрей, — в зеленые! В зеленые можно. Отчего не пойти в зеленые. В зеленые можно.

— Ты — правду?! — удивился Васька такому сильному действию своей немудреной «агитации».

— Ну вот! Говорю — значит, думаю, — ответил Андрей. — Иначе зачем бы я пришел в Оглоблино?

— Тогда выпьем! — заржал Ноздря. — Раз свой в доску — выпить можно.

Андрей встал из-за стола и направился к двери.

— Ну, я — к Фроське, за бутылочкой. — И кивнул Ноздре уже совсем-совсем дружелюбно.

Он вышел из сеней, осмотрелся по сторонам, бесшумно отвязал коня, тихо отвел его за угол дворика. Там торопливо вытащил из кармана гимнастерки листок желтой бумаги и написал на нем: «Богучарцы не сдаются! Привет!» Бумажку наколол на сучок плетневой стены, вскочил в седло и по мягкому огороду, чтобы не слышно было, скрылся за садами в сторону Паховки.

Васька несколько минут спокойно сидел и ждал самогонку. Но, одумавшись, забеспокоился и медведем вывалился на улицу. Глянул: лошади нет! Он бросился, рыча, за двор, обежал его кругом и в ярости застучал кулаком по плетню, в том месте, где висела бумажка. Несколько минут подряд он матерился, объединяя тамбовский, царицынский, борисоглебский и одесский жаргоны, и, не переставая лаять, поджег избу.

Было тихо. Изба горела жарко. К вечеру, уже без пламени, она только дымила. Дохнул ветерок, и дым сизой пеленой потянул по селу. Вокруг пожарища прошла, сгорбившись, хозяйка. Она не плакала. Дождавшись козу из стада, Степаниха привязала ее на веревочку и пошла с нею в Паховку, в Андрееву избу. Вечернее солнце, багрово-красное, как пламя пожара, уходило за курганы. А по зеленому цветущему лугу брела старушка со своей послушной козочкой.

Андрей не стал заезжать домой — знал, будет погоня. Он поскакал прямо в волостное село Козинку. Приближаясь к волости, поехал шагом. «Вот тебе и земля, — думал он. — Не дают. А что сделаешь один? Убьют».

У волисполкома он привязал коня к коновязи, погладил, по-хозяйски пощупал бабки и вслух сказал:

— Хороший конь!

В дверях часовой в гражданском спросил:

— Откуда?

— Из Паховки.

— По какому делу?

Андрей замялся.

— Ну? — уточнял часовой.

— Скажи: доброволец Вихров, из Паховки.

Часовой вместе с Андреем вошел в дом. В большом зале бывшего волостного правления, теперь волисполкома, неуютно и пусто. На полу валялись окурки и клочки бумаги. Все прокурено. Окна потемнели от пыли. Влево дверь — «Волкомпарт», направо — «Председатель волисполкома», прямо — «Канцелярия». В углу сено и солома: видно, люди здесь и ночевали все вместе, опасаясь налета. Часовой повернул налево и постучал в дверь. Из комнаты ответил густой баритон:

— Заходи!

— Товарищ Чубатов! Доброволец какой-то…

— Давай его сюда.

Андрей вошел, по-военному отдал честь, остановившись за три шага от стола, и доложил:

— Доброволец Богучарского полка, Вихров. Прибыл вчера из госпиталя, по чистой. Сегодня отнял коня у бандита и прибыл верхом.

— Стой, стой! У какого бандита?

— У Ноздри.

— У Ноздри! — воскликнул секретарь волкомпарта. — Да как же это ты?

Когда Андрей рассказал, секретарь несколько минут смотрел на него удивленно, а потом раскатисто захохотал:

— Ноздря!.. Васька-бандит с ума сойдет от матерщины… Умора! «Кувшин золота»! Самогонку сидит ждет, скотина!

Потом встал из-за стола и подошел к Андрею.

— Ну, будем знакомы: Чубатов Тихон. Садись.

Андрей рассматривал секретаря волкомпарта. Чубатов, уроженец Козинки, был матросом, уже несколько лет не плавал, но бескозырку с ленточкой продолжал носить. Вышитая кремовая рубаха была расстегнута и обнажала татуировку. Стоял он, расставив ноги, в черных брюках-клеш, широкий, среднего роста, прочно сбитый, и смотрел прямо на Андрея, как давно знакомый, улыбаясь округлым лицом. Глаза у него задорные и умные. Весь он казался каким-то спрессованным. Таких не собьешь с ног. Правду говорят: у матроса четыре ноги.

— Мамонтова бил? — спросил он.

— Бил.

— Очень хорошо. Краснова бил?

— Бил.

— Очень хорошо! Деникина бил?

— Бил.

— Оч-чень хорошо!!! — И он хлопнул Андрея по плечу так, что у того остро кольнуло в больном боку. — Вот, браток, теперь кучумов надо бить разных. И тогда — все. Как ты думаешь?

Андрей некоторое время не отвечал, а потом, как бы в раздумье, сказал:

— А я на землю хотел. Отвоевали, мол. Вот тебе и отвоевали… А чем бить? Где оружие? С кем бить? Они-то мелкими отрядами от любой армии уйдут. А мужики боятся. Кто пойдет бить? Мужики не пойдут.

— Э! Да ты, браток, как тыловик. А сейчас тыла нет — фронт кругом. Мужики пойдут, — твердо сказал Чубатов. — Сейчас разверстки нет, хлеб есть, бандиты грабить будут, так что мужику они не с руки. Даже середняк пойдет — посмотришь! Да ты постой, постой: ты член партии? — спросил Чубатов и уперся в Андрея взглядом.

— Нет.

— Да ты, браток, с ума сошел! Как же так: бил, бил и — не член партии? Дома кто есть?

— Никого.

— Ой какой ты несуразный! Беднота, всех бил, кого надо, и — не член партии. Не постигаю! Право слово, несуразный…

— Да вот, совсем было собрался вступать, а потом ранили. Может, считают убитым. А потом в госпиталь. Лежу, бывало, и думаю: куплю лошадку да и захозяйствую на земле помаленьку. А оно, выходит…

— Понимаешь, а волынишь! — рубил Чубатов.

— Так не агитируют. «Волынишь»!

— Знаешь что: пошел-ка ты… с агитацией. Пойдем-ка ко мне обедать. Тебе ж Ноздря не дал… Кстати, сегодня заседание волкомпарта: побудешь там.

— Куда же мне теперь? Больше некуда, — подвел итог разговору Андрей.

— Ясно: больше некуда и больше не с кем, — весело подтвердил Чубатов.

…Вечером Андрея Михайловича Вихрова, добровольца знаменитого Богучарского полка, как «проверенного в боях и предъявившего о том соответствующие документы», приняли в партию большевиков без кандидатского стажа.

А в полночь он сидел с Чубатовым в его кабинете. Говорили они об организации отряда самоохраны. Свои указания Чубатов называл «инструкциями». А выдумывал он их здесь же, сам, без каких-либо указаний свыше, но при горячем участии и содействии того, кому они давались. Как только собеседники приходили к какому-либо решению, Чубатов заключал:

— Вот. Это тебе еще одна моя инструкция. — А на прощанье сказал так: — Живи пока тихо. Не попадайся им на глаза, скрывайся. Готовь людей тихо: так, чтоб — ни звука. Работай ночами. День спи. Подготовишь людей, дадим оружие.

Коня Андрей оставил в волости — не нужен пока и некуда девать, да и скрываться пешему лучше. Глубокой ночью он пошел в Паховку, уверенный и уже спокойный. Он знал, что надо делать.

С того часа, как он встретился в степи с Федором и Ваней, прошло немного более суток. И вот он снова в степи, исхоженной вдоль и поперек еще мальчишескими босыми ногами. Но в эту ночь думы были уже не о покупке лошади, не о своем клочке земли, а совсем о другом. Надо было обмозговать, где скрываться днем и что делать ночами. Он еще раз мысленно отметил наиболее надежных людей, и среди них — двух парней, Ванятку Крючкова и Федьку Землякова.

В село он вошел через огороды около двух часов ночи. Наган, врученный Чубатовым, переложил за пазуху, для удобства: так в случае чего можно держать руку за пазухой и незаметно для другого быть готовым в любую секунду. Он тихо постучал в окошко Федькиной избы.

— Кто? — спросил заспанный женский голос.

— Свои. Федор дома?

— В ночном. А кто спрашивает?

Но у окна уже никого не было. Андрей Михайлович ушел.

В свою избу в эту ночь он тоже не заходил.

А за двором Андреевой избы всю ночь просидел в засаде Васька Ноздря. Только перед рассветом он ушел в Оглоблино.

Глава третья

Солнце в дуб не поднялось, когда Федька приехал из ночного домой. Он осторожно вошел в избу. На полу, на соломенном матрасе, спал брат Миша, на печке — восемнадцатилетняя сестра Зинаида. На столе, вымытом до желтизны, нехотя, спросонья, ползала муха. Кроме стола, двух лавок вдоль стен и одной деревянной кровати, ничего не было. Но все чисто, даже окна и подоконники выскоблены, будто наждаком. В бедности всегда трудно соблюдать чистоту в жилище, а мать Федора умела.

Она стояла у печки с ухватом в руках, в домотканом переднике, с засученными по локоть рукавами кофты, как всегда аккуратная, опрятная.

Федька присел на лавку и смотрел на мать.

Ей еще нет и сорока лет, но нужда уже избороздила смуглое лицо — три полоски поперек лба и лучики от глаз. И все-таки она еще стройная, сильная женщина. Взгляд ее всегда немного печальный, и она редко смеялась. Трудная жизнь досталась ей! Смолоду бросил муж, оставив троих детей. Билась с нуждой, мучилась… Мечтать было не о чем и не о ком, кроме детей и их будущего. Случилось само собою: вдовец Герасим присмотрелся к ней, и они поладили, полюбили друг друга. Но пожениться нельзя: первое — живой муж есть, второе — Федор заявил: «Из дома уйду, если будешь жить с

Гараською». Не мог Федор переносить этого «Гараську» — всегда ждал отца. Да и мать любила Федора больше своей жизни, не хотела обижать. А если и виделась с Герасимом, то только тайком. Поэтому-то их дом был полон недомолвок, недоговоренностей и одновременно большой, суровой, молчаливой любви.

Федька рано понял безотцовскую заброшенность. Этим дразнили ребятишки, это вызывало злобу на все и на всех. Жалость к матери смешивалась со жгучей ненавистью к Герасиму. Так и рос Федька, раздвоенный внутренне, отчаянный и, со стороны казалось, злой. За то и прозвище — Варяг.

Мать спросила его ласково, как всегда:

— Что-то нонче рано приехал, Федя?

— На рассвете трое бандитов рыскали по степи. Кого-то ищут. Мы сразу и уехали, пока лошади целы.

— А тебя кто-то ночью спрашивал.

— Кто? — насторожился Федор.

— Не сказал. Спросил и ушел. Голос-то вроде похож на Андреев, да ведь я его вряд ли узнаю — давно не видала.

— Нет, не он, — сказал Федька. — Его вчера видали; проскакал в волость. — А в мыслях решил: «Он. Значит, жив».

— Ну садись, выпей парного молочка, — предложила мать.

Федька сел за стол и увидел на лавке, рядом с собой… кисет. Гараськин кисет! Он резко встал, смахнул кусок хлеба со стола и выбежал из избы.

Мать недоумевающе посмотрела ему вслед. Потом подняла с пола хлеб, положила его на стол и только тогда увидела кисет. Она всплеснула руками и тихо заплакала. Заплакала над тем, что брошенная, с детьми женщина должна отречься от жизни, а она вот не сумела, не осилила себя; заплакала от жалости и любви к детям. Плакала тихо, без всхлипываний, о погибшей своей жизни.

Федька вышел во двор. Он злился на все: на избу, на курицу, что хлопотливо и надоедливо вертится перед глазами. На все! Прошел на гумно и лег около канавы.

Перед глазами голубое небо. Небольшие белые облачка плыли чуть заметно. Солнце начинало пригревать. Невидимо, в необъятной высоте, зазвучал колокольчиком жаворонок.

— Погодите: приедет отец! — сказал Федька.

Кому он так сказал? Никому. Себе сказал.

«Что же это отец-то не едет?.. А какой мой отец: как у Витьки или как у Володьки? Нет, наш другой — черный, говорят…»

Заснул Федька около канавы, подставив лицо солнцу.

До семнадцати лет Федька прожил без отца. Правда, видеть он его видел, но был в то время пятилетним и помнит плохо. Слышал, что у него своя слесарная мастерская, что изредка присылает матери деньги, как подачку нищему, а ее не любит и жить с ней не хочет: сам живет в городе богато, и рабочих-батраков пять человек, а семья здесь в бедности.

Спал Федька и увидел во сне, будто летел с колокольни, а рядом с ним отец. Оба такие легкие-легкие. Отец полетел быстрее. Нужно было его догнать обязательно, иначе он разобьется. Если Федька догонит, то снова будут легкие и не разобьются. Но руки, которыми он махал как крыльями, отказывались работать. Вот и земля! Ужас охватил Федьку — страшно за отца. «Папашка!» — закричал Федька и проснулся. Под глазами мокро. Внутри обида. И стал он снова смотреть в небо. Теперь ему захотелось полететь вверх. Нарочно не оглядывался по сторонам, чтобы не видеть траву, и от этого казалось, что к небу стал ближе.

— Федя-а! Поросенок в огороде! — кричала со двора Зинаида.

Федька вскочил и погнался за поросенком. Догнал, ударил его кирпичом по ноге и вернулся. Поросенок пронзительно завизжал. А соседка закричала:

— Ай-ай! Да что ж ты делаешь, зверюга! Варяг! Безотцовщина! Ну за что ты животную изувечил?! Бросил вас отец, а вы тут и разбойничаете! Ух, управы на вас нету-у!

Федька снова лег около канавы, вверх лицом, и смотрел в небо, будто ругань соседки совсем не касалась его. Через некоторое время он услышал около себя шаги, но не пошевелился, а лишь скосил глаза и увидел подошедшего Ваню Крючкова. Ваня сел рядом, подогнув ноги и опершись одной рукой о землю. В другой руке он держал книжку.

Молчали несколько минут.

Русоволосый, голубоглазый Ваня всегда смотрел открыто и бесхитростно, то поднимая брови вверх, будто считая в уме (и тогда бантик губ чуть открывался), то вопросительно всматриваясь в человека или вещь, будто хотел что-то узнать (тогда бантик плотно

закрывался). А знать он хотел обо всем на свете: о земле, о небе, о машинах, о растениях и о людях. Никто так толково не прочитает газету, как он, и книжку рассказать лучше него никто не умеет. Сирота круглый, живет в большой семье у дяди, с хлебом у них — кое-как, работает не меньше взрослого с малых лет, а — поди ж ты — все бы ему знать.

— Ты чего пришел, Ломоносов? — угрюмо спросил Федька.

— Так. Ничего… Читал в вишняке. Слышу — крик. Пришел посмотреть.

— Чего посмотреть? — буркнул Федька.

— И поросенка и… самого «героя». Тут нужна большая смелость — с поросенком сражаться.

— Да хватит тебе! — вспылил Федька.

— Ты за что его? — все так же спокойно пилил Ваня.

— Со зла. Отстань.

— Со зла укуси себе локоть или считай до тысячи. Поросенок тут ни при чем.

— Отвяжись, — проговорил Федька, все так же угрюмо, не меняя положения, смотря в небо. Неожиданно он повернулся на локоть и с озлоблением стукнул кулаком о землю: — К черту все на свете!

— А что? Опять?

Федька не ответил. Видно, у них с Ваней много переговорено ранее и они понимают друг друга без слов. Характеры разные, а дружба крепкая. Федьку ребята уважают за смелость, побаиваясь его решительности, а Ваню за то, что он больше других знает и никогда не связывается с драчунами и грубиянами. С Ухарем у Федьки дружба уличная, а с Ваняткой — другая, тихая и прочная. Федьке семнадцать лет, старше Вани на год, а в дружбе равны.

— Тебе, Ванятка, лучше, — задумчиво сказал Федька.

— Чем?

— У тебя все просто: ни матери, ни отца не помнишь… Дядя Степан — хороший человек. А у меня, видишь…

— Нет, Федя, лучше твоей матери нет.

Федька и сам знал — в мире для него нет никого дороже матери. И Ваня знал это, поэтому и продолжал:

— А ты все — «Гараська, Гараська»… Тебе не десять лет — пора понять. Герасим — неплохой мужик, трудолюбивый.

— Не могу, Ваня, не могу! — Федька вырвал из земли пучок мягкой травы и, рывком прижав ее к груди, крикнул: — Замолчи!

— Ну, ну, ладно. Замолчу. Надувайся пузырем.

Разговор совсем расклеился. Федор отломил палочку сухой полыни и ковырял ею землю. Ваня поджал ноги калачиком и раскрыл книжку. Сегодня воскресенье, в поле не ехать, можно посидеть вот так, молча.

Вдруг Ваня, не отрываясь от книги, спросил:

— Знаешь, какой длины корень у тыквы?

Федор не ответил, но вопросительно посмотрел на друга так, будто хотел сказать: «Не мерил». А Ваня прочитал ему:

— Если положить все корневые волоски в одну линию, то будет около двадцати пяти километров.

— Что-о?!

— Двадцать пять километров.

Бесшумно подошел сзади брат Федьки, Миша, и наклонился над плечом, заглядывая в книжку. Ваня положил книгу на траву, быстро поднял руки над головой, схватил, не вставая, Мишу за шею и притянул к себе.

— Пусти, — просил Миша, извиваясь.

— А ты чего подслушиваешь? Подслушивать стыдно, — шутил Ваня.

— Я не подслушиваю. Читать хочу.

— Ну садись.

Но Миша, заложив руки за спину, широко расставил босые ноги и начал одной пяткой вертеть ямочку в земле. Волосы у него короткие, кудрявые, глаза голубые; черные, блестящие брови удивленно приподняты. Ему уже двенадцать лет, но картуз он не мог носить на голове — жарко! — поясов не признавал никаких, ворот рубахи душил его, как петля, и был всегда расстегнут. Загорел Миша так, что был похож на негритенка.

— У кого, Миша, уши на ногах? — неожиданно спросил Ваня.

Миша заразительно засмеялся, приняв вопрос за очередную шутку. А Федька хотя и без улыбки, но уже мирно сказал:

— Глупости.

— На, читай, вот. У кузнечика слуховой аппарат расположен на ногах. — И Ваня сунул пальцем в книжку.

— Что за оказия! — воскликнул Федька. — А ну-ка, дай. — Он взял книгу и стал перелистывать, просматривая.

— Дай, Ваня, почитать, — проныл Миша.

— Иди в избу-читальню — там дадут. Вечером пойдем и перепишем ее на тебя.

— А я взял — про Пугачева, — сказал Федор. — Вот книжка так книжка! Пушкин…

— Ой, Федя! — забеспокоился вдруг Миша. — Меня же мама послала за тобой. Завтрак готов. А я… забыл.

— А что ж ты рассусоливаешь? Что ж матери — стоять у печки целый день? Ку-узнец ты с ушами на ногах, — пошутил Федька.

И они с братом поспешили к дому.

Ваня, заметив высоко в воздухе коршуна, долго следил за ним, защищая глаза от солнца книжкой.

…Больше двух лет не было вестей от Ефима Андреевича Землякова, отца Федьки. Слышно, голод там, где он живет. Потом прошел слух: мастерскую отобрали за налог, а сам отец собирается ехать в Паховку. Слухи оказались правильными — пришло письмо от отца. Читали вслух. Федька потихоньку радовался. Отец писал, что скоро будет в Паховке и опять желает сойтись «с супругой, если она попросит прощенья, при соседях, у законного своего мужа».

Недели через две после этого приехал отец.

В день приезда Ефима Андреевича собрались соседи. Мать стала на колени перед мужем, склонила голову и тихо сказала:

— Прости, Ефим Андреевич…

У Федора кольнуло сердце. За что «простить»? Зачем она так? И тут же мелькнула мысль: «Ради нас она — так. Ради нас».

Ефим отвернулся в сторону и не смотрел на супругу — выдерживал линию, как и полагается.

— Видно, чего же… Дети есть, Ефим Андреевич… Чего ж тут, — говорили соседи.

Ефим сдался и «простил»:

— Ладно. Христос прощал. И я прощаю.

Мать встала. Лицо ее было сурово и непроницаемо. С этого дня она стала молчаливой и, казалось, покорной.

А потом, по ночам, Федька и Зинаида иногда слышали, как отец тишком, хладнокровно бил в темноте мать. Она никогда не кричала.

Разве только застонет.

Не такого отца ждал Федька. Сначала думал, что вот-вот будет по-другому, а потом стал снова таскать гусей в ночное и даже дебоширить. Посыпались жалобы. Два раза вызывали в сельсовет, пригрозили милицией.

— А что мне ваша милиция! Плевать я на нее хотел, на вашу милицию. Не пойманный — не вор, — отвечал Федька в сельсовете и пояснял председателю: — У тебя тоже гуси есть. Скажем, их завтра украдут. Что ж, значит, я буду виноват? Так?

Председатель, пожилой и хозяйственный односельчанин, отмахнулся и сказал:

— Иди.

Но он после этого побаивался: а ну-ка и вправду Варяг покрадет его гусей. Все может быть. И стал два-три раза за ночь выходить во двор, как только начинали гоготать гуси: на кошку загогочут — выходит, зорю отбивают — выходит.

Однажды получилось так. Сидел Федька вечером в вишняках, один. Неожиданно пришла в голову мысль: «Если бы не Гараська, может быть, все было бы хорошо». Он даже вскочил от этой мысли. И вот дождался глубокой ночи и пошел во двор к Герасиму. Тихо вошел в курник, нащупал насест, взял на ощупь курицу за голову и зажал в кулак. Вышел из курника, бесшумно свернул шею курице и повесил ее на бельевую веревку, петелькой за лапку. Снова вернулся в курник и проделал то же самое со второй курицей. Так он повесил на «просушку» всех кур до единой.

Утром Герасим вышел во двор и ахнул. Он чуть не заплакал от горя. Вдовый человек, смирный, трудолюбивый, — а сделали вон что. «Он, — решил Герасим. — Больше некому». И заявил в милицию в тот же день.

На другой день приехал милиционер из волости. Вызвал Федьку.

— Ты — Земляков Федор Ефимович? — задал он первый вопрос.

— Раз знаешь — зачем спрашиваешь, — сказал вместо ответа Федька, глядя прямо в глаза.

— Ты зачем кур подушил у Герасима Полынкова?

— А ты видал? — спросил Федька.

— Люди видали, — утвердительно сказал милиционер.

— Какие люди?

— Это я потом скажу, на суде. Не я, а свидетели.

— Ну, когда скажешь, тогда и разговаривать будем. А свидетелей давай сюда: поговорим.

— В каких отношениях с Полынковым? Ругались ли когда? Были ли споры или драки?

— Очень я его уважаю, Гараську. Очень! — притворялся Федька. — До того уважаю, что хоть сейчас полбутылку за него выпью, не моргну глазом.

— Где ночевал той ночью?

— Какой такой ночью?

— Да когда кур подушили?

— А я почем знаю, когда подушили.

— Позавчера.

— Позавчера спал на печке. А все-таки это правда, что подушили?

— Ты не притворяйся. Сядь.

Федька сел и уставился в потолок.

Милиционер, молодой человек лет двадцати, неопытный в следовательском деле, но уже обстрелянный бандитами, тоже спешил закончить разговор: свидетелей нет, оснований для привлечения к ответственности нет, бандиты не дают покоя ни днем ни ночью — до кур ли тут? Да и парень сидел перед ним какой-то смелый и, пожалуй, симпатичный чем-то. Разве ж пролезешь к нему в душу?

— Ты вот что, Земляков: кур-то покрал, наверно, ты. Но ничего не поделаешь: забрать тебя нет оснований. Но, — милиционер погрозил пальцем, — смотри! Брось! Недавно вора расстреляли. Нам некогда сейчас возиться с ворами. Бандиты кровь пьют народную, а ты…

— Не крал, — мрачно врал Федька.

— Ну подушил.

Федька не ответил и не возразил. Он стал мрачным и угрюмым. А смотрел уже себе под ноги.

— Иди домой, — сказал милиционер.

Федька встал, чуть помялся и вышел.

На крыльце его поджидал Ваня Крючков.

— Пойдем к Андрею, — шепнул он на ухо.

В этот момент из-за церкви выскочили два верховых. Федька прыгнул через перила, схватил лошадь милиционера и спрятал ее за стену. Ваня кинулся в сельсовет и крикнул:

— Бандиты!

Милиционер прыгнул с крыльца, вскочил в седло и поскакал. Цокот копыт услышали бандиты. Они заскочили за церковь, несколько раз выстрелили по милиционеру. Но тот юркнул в переулок и скрылся. А Федька и Ваня быстро перешли улицу и спрятались в огородах. Когда бандиты проскакали из села, Ваня еще раз сказал:

— Пойдем, Андрей Михайлович зовет тебя.

— Где он?

— Увидишь, — коротко ответил Ваня.

С тех пор как Федор начал куролесить, Ваня, казалось, охладел к другу. Но это только казалось. Он все время помнил о Федоре и с горечью думал о том, что ничем уже не может помочь другу. Так и в тот раз: они шли и молчали. Только сегодня утром Ваня разговаривал с Андреем Михайловичем о Федоре. И вот он велел привести его.

Они пришли к заброшенной, полуразрушенной мельнице-колотушке, стоявшей на окраине села, на отшибе от дворов, почти в поле. Сразу же за мельницей начинался подсолнечник. Место выбрал Андрей очень удобное: и наблюдать можно вокруг, и скрыться хорошо — сразу в подсолнечник, а там — яр. Они вошли в мельницу через пролом. Ваня тихонько свистнул. Андрей еще и раньше видел их сверху. Теперь он спустился вниз и стал перед ними. Он сказал первое слово строго:

— Та-ак.

— Привел, — сказал Ваня, поглядывая то на Федора, то на Андрея Михайловича.

Федор вскинул на Андрея глаза и сразу их опустил. Он заметил во взоре Андрея колючую злобу.

— Ты что же это? А? — спросил Андрей.

Федор молчал.

— Ты подушил кур? — еще строже спросил Андрей.

— Я, — тихо ответил Федор и снова поднял глаза.

И вдруг Андрей ударил Федора по лицу, ударил изо всей силы. Федор покачнулся, но не упал. Он не сводил глаз с Андрея.

— Ну? — спросил Андрей, сжав челюсти до боли.

— Ударь еще, — тихо попросил Федор.

— Не надо! — крикнул Ваня и стал между ними. Андрей отстранил Ваню, нерешительно шагнул к Федору и срывающимся

голосом сказал:

— Федя… Ты думаешь, один кругом, на всем белом свете… А ведь я… люблю тебя, подлеца! — И он обнял Федора, положив его голову на свою грудь.

Федор стоял покорно, чуть вздрагивая.

— Больно? — спросил Андрей.

Федор ничего не ответил. Он только поднял глаза. Андрей рукавом смахнул с его лица капельку крови и сказал:

— Ну… идите, ребята. Бандиты рыщут. Надо мне в подсолнухи залечь… Вечером приходите за сады.

Федор и Ваня ушли медленно, тихо, взявшись за руки, как в детстве. Но они были уже большими, взрослыми. Шли и молчали. Говорить было не о чем: все было сказано там, в мельнице.

И покатилась бы Федорова жизнь рассохшимся колесом, виляя из стороны в сторону, если бы не было в то время Андрея в селе.

Потом они все чаще и чаще встречались с Андреем, слушали его рассказы о Красной Армии, толковали о делах сельских и волостных. О многом переговорили они темными ночами.

После таких бесед Федор много размышлял.

Однажды он поил лошадь у колодца. Сзади подошел Герасим Полынков. Федор оглянулся, увидел его и хотел уйти. Но лошадь только начала пить — оторвать ее от ведра в таком случае невозможно, разве только ударить по морде.

— Пущай допьет. Не тяни, — сказал Герасим. Он постоял, посмотрел на лошадь, потом на Федора и со вздохом проговорил: — Зря ты, Федя… Зря — курей-то. Они не виноваты. Да и я не виноват. У меня тоже, малый, сердце…

Простецкий, открытый и бесхитростный, с маленькой аккуратной и плотной бородкой, он смотрел на Федора беззлобно. В глазах Герасима Федор увидел тоску. И подумал: «Ведь любит мать. А я вон что». С этого часа стала мучить Федора совесть. И он не выдержал.

В один из воскресных дней он запряг лошадь, посадил с собою Ваню и поехал в Козинку на базар. Вернулся оттуда с корзиной кур, купив их на последние сбережения. Ночью отнес их к Герасиму во двор, высыпал в курник и закрыл дверь. Жить стало легче. Все знали, что он подушил кур, все знали и то, что он же купил кур, но никто не понимал, что же такое делается с Варягом.

Только одна мать все понимала. Она всегда смотрела на Федора благодарным и любящим взглядом. А Федор любил мать, как ему казалось, больше, чем когда-либо раньше.

И вот через несколько месяцев после приезда отца мать заболела и слегла в постель. Сильно заболела.

— Пить… — попросила она.

Ефим подал кружку с водой. Мать отпила глоток и подала кружку обратно.

— Ты что же: пить не пьешь, а колготишь людей? — грубо спросил у нее муж.

— Поверни на другой бок, — произнесла она еще более слабым голосом.

— Ну, повертывайся, — так же грубо, хотя и тихо, сказал он, помогая ей.

Мать застонала.

Федор стоял в дверях и, не мигая, расширенными глазами смотрел на отца. До боли в сердце жаль было мать. Отец обернулся, увидел Федора и крикнул:

— Чего рот разинул?

Федор, вне себя, прохрипел:

— Св-волочь!

Ефим побледнел, губы скривились, он сжал кулаки и неистово выкрикнул:

— Вон из моего дома!

— И уйду. Уйду, — твердо повторил Федор. — Мы нищими выросли без тебя… А теперь бить!.. Прощевайте, Ефим Андреевич! — Последние слова Федор проговорил уже зло, с дрожью в голосе.

Мать страдальческим взглядом посмотрела на сына и прошептала:

— Федя… Не надо так…

И сын ушел в поле. Бесцельно прошел он до самого Рогатого яра и только там вспомнил: идти-то некуда. На краю буерака остановился и закурил. С запада вылезла зловещая грозовая туча. Потянул настойчивый свежий ветер, зашумела трава, тоскливо заныли сухие бурьяны на межах. От надвигавшихся сумерек и оттого, что туча закрыла половину неба, сразу стало темно. Ветер все усиливался.

Федор ни о чем не думал, да и думать в тот момент не мог. Но когда грянул отдаленный раскат грома, он понял: скоро пойдет

дождь… и надо куда-нибудь идти. Немного постояв в раздумье, пошел в соседнее село, к тетке.

Не успел он пройти и сотни саженей, как услышал конский топот. «Кто бы это мог быть в степи в такую погоду?»— подумал он и лег в траву. Трудно было рассмотреть всадника, хотя он был уже близко от Федора, но по скрипу седла догадался: кто-то из бандитов оглоблинской шайки едет вслед за ним. Кто же, кроме них, ездит на седле да ночью в глухой степи.

— Варя-аг! — протяжно, басом прокричал верховой. Как бы подумав, он вернулся обратно.

«Э! Была не была!» — Федор встал и свистнул в два пальца.

— Гоп-го! — откликнулся бандит. Он подъехал и сказал: — Узнали, что пошел ты через поле. Догнать было надо: Василь Вадимыч Кучум поговорить велел с тобой… по душам. — При этих словах бандит снял винтовку с плеча и добавил: — По душам…

Матерщина пересыпала речь седока. Теперь смутно было видно в темноте Ваську Ноздрю.

— Чего скачешь по ночам? — равнодушно спросил Федор.

— Нужен ты, — ответил Ноздря.

Молния осветила обоих, а вслед за нею грохнул гром. Ветер разыгрался и уже визжал в траве. Какая-то былинка, казалось, стонала около. После молнии некоторое время не было видно ни земли, ни неба — все слилось в черной пустоте и летело в невидимое и неощутимое пространство. Два человека стояли в степи: вооруженный силач и безоружный юноша. Васька приблизился вплотную, Федор ощутил дыхание лошади. Крупная капля дождя ударилась о козырек картуза, за нею застучали другие. Приближался ровный напористый шум, смешанный с визгом ветра: опускался дождь и вдруг ливнем ринулся на землю. Перестала ныть трава, не визжали уже межники. Дождь прижал их, придавил, прибил, заставил замолчать. Черная пустота стала ощутимой и скользкой.

— Дождь намочит. Садись со мной, поедем в Оглоблино, к Василь Вадимычу, — сказал бандит.

— Если нужно, то и на дожде поговоришь. Зачем звал?

— Пойдем к нам, в зеленые.

— Зачем? — все так же безразлично спросил Федор.

— Власть новую надо.

— Ты, что ли, править будешь? — спросил Федор и засмеялся неожиданно для Васьки, нагло, с вызовом.

— Не гогочи, а толком говори: желаешь к нам — приходи в дубовые кусты. Брось дурака валять. Пойдем. Отец-то твой за нас: говорит, помогать буду.

— Пошел к черту, гад! — крикнул Федор.

Васька лязгнул затвором и зарычал:

— А! «К черту»?! Как собаку уложу — не пикнешь. Приказано мне: или к нам пойдешь, или на небо, к господу богу. Две путевки тебе — выбирай. И ни с места!

Снова сверкнула молния. Федор на секунду увидел Ваську. И в ту же секунду он изо всей силы хватил кулаком по морде лошади и крикнул:

— К чертовой матери поди ты со своим Кучумом!

Лошадь шарахнулась в сторону. Но Ноздря удержался — не упал. Федор отбежал и шагах в тридцати распластался в грязи. Темь — глаз коли: не увидишь. Пуля пискнула мимо. А бандит прорычал куда-то в бурю:

— Подожди, сделаем решку, если не успеешь сам сдохнуть, как твоя мать давеча…

Федор как сквозь сон слышал топот отъезжающей лошади. Хотелось догнать, задушить, истоптать. Он пробежал шагов десять, не соображая, и упал вниз лицом.

Гром уже непрерывно раскатывался по черному и мокрому и, казалось, твердому. Небо гудело и грохотало так, будто вдали кто-то гигантскими гирями играл на огромном полу. Тяжкой гирей стучало сердце в груди так сильно, что дышать невозможно. А в ушах стояло: «Твоя мать давеча…» Нет матери, нет ее и не будет уже никогда.

И вот Федор встал и, шатаясь, мокрый и разбитый, пошел обратно в Паховку. Иногда он останавливался, прикладывал ладонь ко лбу и, запрокинув голову, шептал:

— Мама, мама!

…Войдя в избу, услышал Федор монотонное, непонятное и тоскливое нытье монашки, читающей псалтырь над покойницей. В переднем углу лежала мать, накрытая до скрещенных рук белым. Две свечи тускло освещали избу, а в сумерках строго смотрел из угла ни на кого не похожий бог. Отец сидел у печки на приступке, понурив голову

и свесив ладони между коленями. Он не взглянул на вошедшего сына, а поднял лицо к покойнице и с минуту смотрел на нее неподвижно. Сутулая спина, густо нависшие брови, почти седая, недлинная, окладистая борода, в которой черные волосы изредка пробивались между белыми, крупные извилистые морщины на лбу — все это сразу бросилось в глаза Федору. В этом суровом лице, сутулой спине и беспомощно повисших ладонях Федор почувствовал большое горе. Ведь он не знал своего отца. Он и сейчас его не знает.

Миша всхлипывал, утирая глаза кулаком. Зинаида не вопила так, как обычно вопят бабы, а только стонала, сдерживая рыдания, будто хотела спрятать от людей тяжкие мучения. Несколько баб перешептывались и усердно крестились, смотря на сурового и в то же время чем-то доброго бога Саваофа.

Утром Федор видел мать, страдальчески смотревшую на него, а теперь она лежала с гордо-уверенным лицом, непохожая на себя. Показалось ему, что не мать это лежит, а кто-то другой, кого боится Федор, боится отец, боятся все, все… А матери нет! Ее убил вот этот угрюмый, объятый горем человек, пришедший откуда-то обиженным, злым, ворвавшийся в их бедную семью. И все-таки… хотелось подойти к этому человеку, взять его беспомощную большую и узловатую руку…

Монашка все тянула, просила кого-то, кому-то жаловалась дрожащим голосом, словами непонятными и упоминала «новопреставленную рабу божью Василису». Бог все так же смотрел сверху вниз и, казалось, хотел затрясти бородой. А раньше Федор и не замечал этого старика бога: думалось, что он — такая же хозяйственная принадлежность, как ведро, кувшин или чугун. Все стало не так. Что-то новое врезалось в жизнь. В глазах мелькали Андрей Михайлович, бандит Ноздря, отец, Ваня Крючков. Почему-то Федор подумал, будто без всякой связи: «В прошлом бедность, впереди бедность. Так жить нельзя». И еще: «Как же теперь — без мамы? Как?»

Федор вышел на крыльцо. Андрей Михайлович перегородил дорогу и положил ему руку на плечо:

— Держись, Федя. Не падай духом. Что ж теперь поделаешь…

А Федор как сквозь сон сказал:

— Я… убью Ваську Ноздрю. Убью.

Андрей Михайлович понял состояние молодого друга. Он сказал:

— Осторожней, Федя. Не горячись. Приходи завтра в мельницу, после ужина…

— Буду, — твердо ответил Федор.

…На следующий день хоронили мать.

А ночью кто-то тихо и одиноко шел по кладбищу. Остановился у свежего холмика могилы, опустился сначала на колени, а потом упал ничком. Это был Федор. Никто не видел — плакал он или нет.

Ночь была темная и тихая. Невдалеке сверкнули два волчьих глаза. Завыла собака, почуяв волка. Вдали прозвучал выстрел. Может быть, убили волка, а может быть — человека. В тысяча девятьсот двадцать первом году все могло быть.

Глава четвертая

В селе Оглоблино тишина. Огней не видно: Кучум приказал не зажигать ламп «до особого распоряжения».

На краю села, в тесной избе, отряд бандитов обсуждал «текущий момент». За столом — Кучум, Дыбин и Ноздря, около них, сбоку, винтовки. Другие бандиты расположились на лавках, на полу. В плотном табачном дыму лиц почти не видно. Изредка кто-нибудь ругнется или нечаянно стукнет прикладом винтовки о пол. Но все слушали Кучума внимательно.

Командир отряда бывший подпрапорщик Кучум произведен Мамонтовым в капитаны. Он весь черный: усы и брови — смола. Глаза — исподлобья. Сухой, жилистый и высокий, с отточенными острыми скулами, в полной офицерской форме, он говорил стоя, обводя острым взглядом «солдат зеленой армии»:

— Сколько коммунистов в любом селе? Один-два, от силы три. Если мы уничтожим коммунистов в селах, то Советы будут в наших руках. Наша задача: ни одного коммуниста не оставлять, ни одного активиста, ни одного бывшего добровольца! Вот так. Они — предатели крестьянского сословия! — Жилистые сильные ладони он вдруг сжал в кулаки и продолжал сухим, чуть хриповатым голосом: — Андрюха Вихор собирается против нас. Паховка вся за коммунистов. Гараська Полынков к Андрюхе шляется каждый день. Этих в расход! Никакой

пощады никому, кто против нас! — Он чуть передохнул и закончил: — Задача эта неотложная. Это — приказ. — И стукнул кулаком о стол.

— Зажечь Паховку! — выкрикнул кто-то.

Загалдели одобрительно.

Дыбин поднял руку. Все притихли. Когда он встал, маузер в деревянной кобуре стукнулся о край стола. Игнат был в офицерском френче английского покроя, перетянутый широким ремнем с портупеей. Густые волосы зачесаны назад, губы тонкие, прямые, глаза глубокие, серые, красноватые, как от бессонницы. Весь он какой-то выхоленный, выглаженный. Только ямочка на подбородке будто выжжена жигалом. Здесь он умнее всех и хитрее. Со стороны казалось: он не командовал и не хотел командовать, но на самом деле руководил и самим Кучумом.

— Главное, — начал Дыбин, — не дать мужика коммунистам. Беспощадность к коммунистам надо сочетать с агитацией за новую власть.

Какая эта «новая власть», вряд ли кто знал из этой шайки, и Дыбин это понимал.

— Ошибкой Краснова, — продолжал он, — было то, что он прозевал Царицын. Раз. Вторая ошибка: дал раздробленным отрядам объединиться в Красную Армию. Два. Третья и главная ошибка: в тылу у коммунистов не было боевых, подвижных, мелких отрядов для уничтожения продотрядов. Три! Теперь обстановка требует организации новой, зеленой армии, неуловимой. Никогда нельзя будет уничтожить такую армию, ибо она будет находиться в своей крестьянской стихии, как рыба в воде. Это не то, что отряды, которым надо было обязательно объединиться. Эта армия — вооруженный народ! Вот что такое будущая зеленая армия из мелких групп… На днях, — продолжал он после короткого раздумья, — приедут к нам из других сел еще тридцать восемь партизан. Это точно. Будет большой отряд. При надобности он будет рассыпаться мелкими группами или объединяться для удара по приказу нашего храброго командира, — он посмотрел на Кучума. — Мужики пойдут за новую власть. Пойдут потому, что мы, социалисты-революционеры…

При этих словах кто-то шумно зевнул, с потягом. Дыбин помолчал, посмотрел в сторону зевавшего и снова продолжал:

— Мы, социалисты-революционеры, не разъединяем мужика на классы, а объединяем в одно крестьянское сословие. Этим мы защищаем русское крестьянство. И только нам, нашей власти, будет помощь от Америки и Англии. Много мужиков — за Советы. Ладно. Мы тоже за Советы, но… без коммунистов. Таким образом, быстрое уничтожение коммунистов…

— Что мы размусоливаем! — неожиданно для всех рыкнул Васька Ноздря. — «Ошибки, ошибки, новая власть да новая власть…» К черту ошибки!.. — Он засыпал матерщиной. — Мы тут митинги разводим, агитацию всякую, а там Андрюха Вихор с Федькой Варягом. И еще будут. Изничтожать надо. — Он положил увесистые кулаки на стол, сел и сказал в добавление: — Я уж пробовал агитировать. Черт их сагитирует. — И выкрикнул: — К чертям там о всякой власти! Хватит нас обрабатывать!

— Вот это дает! — поддержали его сразу двое от двери.

Дыбин развел руками, а Кучум, незаметно толкнув его в бок, приказал:

— Гараську за агитацию — в расход, завтра. Взять Варяга, завтра же!

Все шумно одобрили приказ. Когда загалдели про Варяга, то один из бандитов, еще безусый парень лет девятнадцати, встал с пола и прокричал в общем гвалте:

— Федьку к нам надо тянуть!

— Заткнись, Ухарь! — гавкнул Ноздря. — Ничего не знаешь! Варяг голодранцем вырос, с голодранцами и пойдет. Тут политика! Понимать надо. Если мой батька был волостной старшина, то они при любых Советах мне зад будут драть. Давить их надо, чтоб боялись! «Сословье»! — презрительно прорычал он и посмотрел на Дыбина.

— Ну ладно, ладно, Вася, — примирительно сказал Дыбин и похлопал Ноздрю по плечу. — Ну поспорили — только и того.

Ноздря уже благодушно расплылся в улыбке и самодовольно сказал:

— Мы тоже кое-что понимаем.

Ухарь сразу умолк и снова сел на пол: он-то уж ничего не понимал ровным счетом. Но знал он, что означает «взять Варяга». Это — смерть. В общем гомоне Ухарь опустил голову и думал: «Сказать Федьке или не сказать?»

…С рассветом четырнадцать всадников подскакали к дому Герасима Полынкова, налетели неожиданно, и начали расправу. Одни зажигали ригу, другие очищали сундуки, третьи били Герасима. А он в ужасе стонал:

— Братцы! Товарищи! Побойтесь бога!

— А ну-ка прибавь ему за «товарищей»! — крикнул из раскрытого окна Васька Ноздря. — Подложи и от господа бога! В наказанье за грехи.

Избитого, окровавленного Герасима погнали на площадь, к церкви, чтобы убить на глазах у всех только за то, что он позволил себе беседовать с Андреем Вихровым, а после где-то сказал: «Хороший человек Андрей. Он им, бандитам, задаст, подождите!» Больше не было за ним никакой вины.

На площади в Паховке собралось человек двадцать крестьян, насильно пригнанных сюда. Пьяный вдребезги Ноздря развязал руки Герасима и отвел его на десять метров от Ухаря.

— Готовьсь! — скомандовал он Петьке.

Тяжелые думы проскочили в Петькиной бесшабашной голове: «Как? Я должен убить человека?! Я никогда не убивал. Неделю назад записался в партизаны. Хотел кончать тех, кто разорил отца, взял хлеб. А заставляют стрелять в Герасима Полынкова. За что?» Руки у Петьки дрожали. Он не мог стрелять. «Не выстрелю — и все», — решил он.

Односельчане, понуря головы, крестились и плотно, маленькой отарой, жались друг к другу.

— Эх, баба! — сказал кто-то из бандитов.

— Сперва всегда так, — полушутя поддержал кто-то из них же.

Герасима подвели к Ухарю поближе. Между ними оставалось всего три шага. Окровавленное лицо дрожащего в предсмертной тоске и не повинного ни в чем человека смотрело на Ухаря. Петька с жгучей ненавистью глянул на Ваську Ноздрю. Тот увидел его взгляд, уперся совиными, навыкате, глазами в Ухаря и рявкнул:

— Пли!!!

Зажмурился Петька Ухарь и выстрелил…

Петька Ухарь убил человека. Вот Герасим перед ним мертвый… Все завертелось, закружилось, затуманилось в глазах. С кем шел Ухарь к лошади, как сел на нее и как очутился перед бутылкой самогонки — он не помнит. Но он помнил глаза Герасима, смертельно-удивленные в

великом страдании. Ухарь пил самогон, а Герасим все смотрел и смотрел на него.

Крестьяне понуро разбрелись по домам. Внутри поднималась злоба. И думалось каждому: «Как люди дошли до такого зверства? Зачем заставили Петьку? Страшно. И терпеть нельзя больше».

Площадь опустела. Лишь один Герасим лежал на середине, раскинув руки. К нему подбежала собака — нашла-таки хозяина! — села на задние лапы и, поднявши нос к небу, завыла, надрывно и безнадежно. Потом и она замолкла.

В жуткой, необычной для села тишине процокотали копыта лошадей. Бандиты рыскали в поисках Федора (дома его не оказалось).

А в это время на другой стороне улицы Семен Сычев опускал в колодец Федора на бадье. Весь день он просидел у Семена в погребе, а теперь решил перейти в колодец на время, пока уедут бандиты: Васька Ноздря злопамятен.

Федор расставил ноги, оперся ими о бревна сруба и прижался к стене.

Он слышал, как Кучум подъехал к колодцу и весело проговорил:

— Здорово, Семен Трофимыч! Дай-ка лошадям воды по ведерку.

Семен вытащил бадью с водой и поднес к морде лошади.

— Варяга не видал? — спросил Кучум.

— А на кой ляд он мне нужен, ваш Варяг.

— Тогда за кого же ты — за нас или за красных? — спросил шутя Кучум.

— Василь Вадимыч! — добродушно отвечал Семен. — Я — середняк вечный: ни тому, ни другому! Не обидишься, если правду скажу?

— Нет. Валяй говори.

— Если бы, — начал с расстановкой Семен, — вот сейчас расступилась земля и вы, обе власти, провалились в тартарары, то — лучше было бы.

Кучум резко повернулся от Семена, не ответив на «правду».

— Ты гляди: не заезжай дальше! — выпалил Ноздря, ударив Семена плетью, и рысью поехал за главарем.

Семен передернул от боли плечами и, зло посмотрев вслед бандитам, твердо сказал:

— Конец. Бить надо.

Андрея Михайловича бандиты тоже не смогли обнаружить. Каждый раз, как только они заявлялись в Паховку, он исчезал — как проваливался в землю. А сегодня он весь день пробыл в волости, получал оружие для отряда самоохраны.

К вечеру Ноздря с Кучумом подъехали к избе Андрея. Ноздря грузно слез с седла и, пошатываясь от выпитой без числа самогонки, ударил в окно прикладом. Посыпались стекла. Выбежала старушка Степаниха и будто окаменела в дверях, увидев бандитов.

— Чего стала, ведьма! — зарычал Ноздря. — Выходи из избы совсем. Грелку будем делать.

Он поднялся на носки и чиркнул спичкой под крышу. Пламя сначала мигнуло кумачовым лоскутком, потом лизнуло крышу длинным языком и с треском поползло вверх ярко-красным многоголовым змеем.

Старушка вдруг быстро, не по-старчески, юркнула в избу. Так же торопливо вышла обратно с иконой в руках и, согнувшись, просеменила к Ноздре. Она стала перед ним, держа икону перед собой, и скрипучим от горя голосом, с дрожью, но резко сказала:

— Богу верите, несчастные?!

Ноздря подбоченился и сквозь зубы промычал:

— Ну! Пр-роваливай, карга!

И вот она, седая, со сбитым на сторону платком, торжественно подняла высоко над головой икону, немного подержала ее так и со всей старушечьей силой ударила Ваську иконой по голове, крикнув:

— Я — первая!

Икона Николая-угодника рассыпалась вдребезги. Ноздря выхватил клинок. Но в тот момент подскакал Дыбин Игнат, с ходу рванул Ваську за руку. Кучум обхватил сзади. Так они задержали удар Васьки. Дыбин зашипел:

— Старуху рубать! Да тебя разорвут, бычина чертова! Дело портишь, скотина! — И вдруг он дико выкрикнул: — Пристрелю!!!

Ноздря тряхнул плечами. Оба от него отскочили. Дыбин чуть не упал с лошади — так она пошатнулась от рывка силача. Пьяный Ноздря быком пошел на Дыбина с обнаженным клинком. Но Кучум вплотную подскочил к Ваське и приставил к его груди пистолет.

— Только чуть и — готов, — спокойно приказал он.

И Васька, как ручной лев, обмяк сразу. Повиновался он только одному Кучуму.

Степаниха медленно опустилась на землю. Умерла она здесь же — не выдержало сердце.

…На рассвете следующего дня Андрей, Федор и Ваня подошли к пожарищу. У каждого — винтовка на плече, в кармане — наган. Улица была пуста. Дым еще тянулся струйками от черного пепелища, щекотал в носу. Андрей сел на землю и положил голову на колени, обхватив их руками. Уже две ночи он не спал. Болели ноги в коленях, стучало в голове, давило грудь. Так он сидел недолго. Потом поднял голову и тихо, с глубокой горечью проговорил:

— И кукла сгорела… Последняя память.

Федор и Ваня ничего не поняли из этих слов. Они с недоумением посмотрели на Андрея и переглянулись.

— Отдохнуть бы тебе, Андрей Михайлович, — сказал Федор.

Андрей промолчал. Он снова опустил голову на колени и так сидел. Отдыхал. Отдыхал ли?

…А днем хоронили Герасима и Степаниху. Почти все население Паховки шло за двумя гробами. Безродный, тихий и смирный Герасим да старушка из чужого села. А все шли на кладбище провожать их.

Похоронную процессию охраняли десять вооруженных самоохранщиков. Впереди шли Андрей, Федор и Ваня, тоже с винтовками.

Когда насыпали холмики земли, постояли около них, помолчали. А Федор у могилы Герасима думал: «Он любил мать. Может быть, я сейчас хороню свою судьбу?»

— Отряд, стройся-а! — скомандовал Андрей.

Все десять вооруженных стали в шеренгу.

— Готовьсь! Пли!

Траурный салют далеко прозвучал по степи, как сигнал к бою.

…Вечером отряд самоохраны собрался в церковной караулке на первое собрание. Набралось пятнадцать винтовок, три нагана и два обреза. А бойцов оказалось двадцать шесть. Оружия всем не хватало.

— Какой же я, — к примеру сказать, вояка, если у меня в руках вилы? — первым спросил Семен Сычев, — Бить, то уж бить, как и полагается.

— Будет всем, товарищи, — утешил Андрей Михайлович. А Сычеву выдал последнюю винтовку здесь же. «Надежный мужик», — подумал он.

Крючков громко и отчетливо прочитал документ волостного комитета партии о назначении Андрея Михайловича Вихрова командиром отряда. Не было ни речей, ни лишних разговоров, ни шуму. Все было ясно: бить!

Матвей Сорокин и Семен Сычев, с винтовками в руках, подшучивали друг над другом:

— Ты, Семен Трохимыч, с этой штукойто на лыцаря похож. Только чугунной шапки нету. У лыцарей шапки чугунные. Во! — И Матвей показал, какие бывают шапки на рыцарях.

— Я-то что! Я в ерманской воевал, — добродушно отшучивался Семен. — А тебе в твоем обмундировании к винтовке-то метлу бы приделать: любой бандит в портки напустит от страху.

— И то правда, Трохимыч, — уже серьезно сказал Сорокин Матвей. — И метла стрельнет, если нутро того захочет.

— Хороша речь, Матвей Степаныч, — поддержал Андрей Михайлович.

— Землицу-то опять хотят к рукам прибрать. А она у нас должна быть, потому и стрельнет метла-то, — пояснил Матвей Степаныч.

— У нас, — уверенно и решительно подтвердил Сычев Семен.

Он сидел у стола, перед огнем, в новом коричневом пиджаке из домотканого халатного сукна. Картуз надет глубоко, прочно. Полные щеки выступали из окладистой бороды. Взгляд у Семена решительный.

В таком возрасте, от сорока лет, как Семену, и до пятидесяти пяти, как Сорокину Матвею, было в отряде пять человек. Остальные моложе. А самые молодые — Федор Земляков и Иван Крючков.

Андрей Михайлович объявил всем инструкцию секретаря волкомпарта Чубатова:

— Товарищ секретарь волкомпарта приказал: в Паховку не пускать ни одного бандита — уничтожать! Дожидаться из города отряда по борьбе с бандитизмом. А до этого не давать покоя бандитам. Чтоб земля у них горела под ногами! Жечь у них хаты, у сукиных сынов! Такая инструкция от товарища Чубатова.

— Инструхция хорошая, — одобрил Сорокин Матвей. — И еще бы добавить: когда поймаем Ваську Ноздрю, то посадить его голым задом на ежа, на трое суток, а потом уж прикончить. Как думаешь, Андрей, даст такую инструхцию товарищ Чубатов?

— Думаю, даст. Только поймай живьем, — ответил Андрей Михайлович.

— Поймал бы я его, братцы, — мечтательно заговорил Матвей, приподняв клиновидную бородку, — поймал бы его и посадил бы так, как сказал. И ходил бы к нему кажный час и спрашивал: «Ну, как жизнь идеть, паразит?» А ежаков-то подложил бы покрупнее, трех аль четырех сразу, чтобы ворочались.

— Убить — и все, — мрачно сказал Федор.

Он произнес эти слова так, что все повернули к нему головы, и каждому показалось, что перед ними не тот Федька Варяг, какого они знали.

Матвей тоже посмотрел на Федора и задумался, глядя в пол. Думал ли он о Федоре или рассчитывал, сколько ежаков надо подложить Ваське Ноздре, — кто его знает.

С того вечера Паховка была объявлена на военном положении: расставили посты, появился караульный начальник, Сычев Семен; распределили дежурство на постах, приготовили шесты с пучками соломы для сигналов.

Кучум часто наскакивал в Паховку, но никогда не заставал врасплох. Заскочит с крайних дворов — из окон стреляют. Ночью пробует тихо въехать со стороны садов — немедленно загораются сигналы и сразу же из невидимых окопчиков стрельба. Стал он подсылать бандитов-одиночек — то пожар учинить, то скотину зарезать для снабжения отряда. В ответ на это «красный петух» ходил из Паховки в Оглоблино, и тогда бандитская изба вспыхивала, освещая окрестности.

Так продолжалось несколько месяцев. За это время не одна рига сгорела, не одна корова была прирезана бандитами, но и самих бандитов недосчитывалось шесть человек. Похоронили и двух самоохранщиков. За последнее время шайка уже не заглядывала в Паховку, но каждый знал: самое главное впереди — Кучум умеет мстить, умеет воевать и смел как черт.

Хотя и в других селах появились отряды самоохраны, трудно было разобраться, какое село за кого идет. А в некоторых селах создавалось два лагеря — бандиты и самоохрана. Много разных слухов носилось: одни говорили, что все село сожгут, потому что от Паховки состоит в банде только один Петька Ухарь; другие утверждали, что идет в эти края большая банда Колесникова — плохо будет. И все-таки отряд все увеличивался, уже насчитывалось сорок человек.

Прошел слух: на соединение с отрядом Кучума в Оглоблино приехала большая банда в шестьдесят человек. Нужно было срочно узнать, верно ли это, не «утка» ли, пущенная Кучумом. Федор вызвался разведать.

Пошел он в Оглоблино ночью. До окраины села провожал его Андрей Михайлович. Когда они прошли последний пост Паховки, остановились. Командир положил руку разведчику на плечо и сказал:

— Ты, Федя, осторожней. Берегись. Сам на смерть не лезь — помереть успеешь.

Федор чуть прикоснулся к руке, что лежала у него на плече, и ничего не ответил. Андрей Михайлович еще некоторое время стоял в темноте, прислушиваясь к удаляющимся шагам Федора.

…Осень. Грязь. Ветер. Как из мелкого сита, моросит дождь, похожий на водяную пыль.

В селе Оглоблино, огородами, на отшибе от дворов, Федор бесшумно пробрался к зданию школы, где собрались бандиты. Вот он уже в двадцати шагах от нее. Присел в вишнячке. По всхрапыванию догадался: у плетня привязаны лошади. «Есть ли часовой?» — думает. Темь — глаз коли. Ветер свистит в ветках вишняка: не разберешь и не расслышишь — есть ли кто… Кто-то кашлянул… Может быть, просто показалось?.. Нет — еще кашель… Кошкой пополз Федор по грязной и липкой земле. Он услышал отчетливо: шлепали сапоги возле лошадей. «Против ветра зайти», — подумал он и пополз еще осторожней, с остановками, прислушиваясь. Вот уже услышал и шум в школе. Часовой прохаживается. Идет от Федора — Федор ползет. Идет к Федору — Федор недвижим. Потом стукнула наружная дверь школы, а часового не слышно. Мысль огнем: «Заметил. Стрелять будут — не попадут в такую темь, а догонят — живым не возьмут». В руке у Федора наган, за поясом нож… Кто-то вышел из школы. По шагам

определил: часовой не тот, другой — значит, смена. Знакомый голос выругался на погоду. «Ухарь! — подумал Федор. — Он ли?.. Да, он». На секунду вспомнил дружбу с Ухарем, ночное, но… Прямо, на полшага от него, шлепнул о грязь сапог и повернул обратно.

Сильные и цепкие руки сдавили горло. Разве ж можно выдержать железную хватку Федора! Ухарь захрипел, беспомощно выронив винтовку. Все произошло почти бесшумно.

…Федор взял винтовку Ухаря и тихонько подкрался к окну. Первого увидел Игната Дыбина — он что-то объяснял приезжему по карте. Федор сосчитал всех: банда приехала не маленькая. Снова так же тихо отошел к лошадям, отвязал любимую лошадь Кучума, Араба, и, немного отъехав шагом, поскакал галопом в Паховку.

На другой день прибыл отряд по борьбе с бандитизмом. Он шел по пятам за той самой бандой, что вчера вошла в Оглоблино. Вместе с отрядом приехал секретарь волкомпарта Чубатов и собрал паховских самоохранщиков. Все ожидали долгих разговоров и обсуждений, но получилось не так.

Когда все были в сборе, Чубатов встал, осмотрел собравшихся, заметил знакомые лица, кивнул Сорокину Матвею и сказал:

— Матвей Степаныч, здорово!

— Здорово, товарищ Чубатов, — ответил Матвей и гордо посмотрел на прочих: дескать, сам секретарь со мной на короткой ноге.

— Ну как: пора кончать с бандой? — спросил он.

Все ответили хором:

— Пора.

— Так. Тогда слушайте мою инструкцию. Товарищи! — начал он свою речь. — Красная Армия разогнала свору белых. — Он пристукнул кулаком по столу. — Банду Колесникова разгромили за Новой Калитвой. Остались отдельные шайки разбойников, такие, как оглоблинская. Они как чесотка на Советской России. Вот. Вы охраняли свое село. Благодарность вам от партии. Теперь надо уничтожить этих гадов! Понятно? Такая моя инструкция.

— Так точно, понятно, — ответил Семен Сычев за всех.

— Всё, — сказал Чубатов. — С этого часа отряд ваш вливается в прибывший отряд по борьбе с бандитизмом. Командиром объединенного отряда назначается товарищ Вихров. Понятно?

— Ага, понятно, — сказал теперь Сорокин.

— Вот так, — сказал Чубатов.

На этом и закончилось совещание. Очень не любил Чубатов длинных разговоров.

С рассветом оцепили Оглоблино. Запели пули. Заметались бандиты, не ожидавшие внезапного окружения. Кто и откуда стрелял — сразу и не понять.

Только Кучум и Ноздря не мечутся по селу в поисках выхода и не сдаются, как некоторые. Это они выглядывают из-под кручи реки и ждут кого-то; они не подозревали, что позади них замаскирована засада, занявшая позиции еще ночью. Им казалось, что эта сторона села открыта, свободна для выхода; через мост уже проскакали двое бандитов, за ними — несколько красноармейцев во главе с Андреем Михайловичем.

Позади, от центра села, вслед за Вихровым мчалась ватага бандитов: он заманивал их в излучину, «тянул» на засаду. Но сам-то скакал прямо на Кучума и Ноздрю. Не видел он в разгаре боя, как два дула сразу направились на него из-под кручи: сам скакал на свою смерть.

Вот он уже совсем близко! И вдруг — два выстрела один за другим, почти залпом! И… Ноздря Васька покатился в воду. Это Федор с Ваней выследили их из засады, с тыла, и первого свалили Ноздрю.

Оглянулся назад Кучум и видит: Федька Варяг юркнул в канаву — не достать. Впереди, за амбары, рассыпались красноармейцы. Не в кого стрелять Кучуму. А он весь на виду у Федора и Вани.

Вскочил Кучум из-под кручи да — к саду: лошадь там. Пули над ухом. Одна в спину попала, другая — в живот. Добрался до лошади, истекая кровью, сел кое-как верхом и помчался вдоль улицы. Еще ранило в руку, потом — в ногу. Свернул он в переулок и упал с лошади.

Кто-то с красным флажком в руке проскакал галопом к переулку, где упал Кучум. То Дыбин обманул победителей: он нарочно забинтовал лицо, чтобы не узнали, и проскакал невредимым через улицу. Взвалил он Кучума на свою лошадь, вскочил сам и поскакал на гумна. Там он опустил его около омета соломы, положил поудобнее и встал перед ним на колени.

— Ну, что ж, конец, Василий Вадимыч? — спросил он.

Кучум открыл глаза, пристально посмотрел на Дыбина и тихо сказал:

— Конец… Мужики против нас… Ясно… Конец… Скачи. Прощай.

Дыбин встал, перевернул на Кучума кучу соломы, сел в седло и поскакал.

А в Оглоблине, уже почти без стрельбы, вытаскивали бандитов из погребов, риг, стаскивали с потолков, выволакивали из-за печек и из всех дыр, где они могли приткнуться. Больше половины их прижали в селе. Но Кучум пропал — как в воду канул. С ног сбились, а его не нашли.

Андрей решил остаться здесь же на ночь, чтобы на следующее утро двинуться на лес, за двадцать километров. Чубатов собрал в Оглоблине сходку на площади, встал на табуретку и произнес такую речь:

— Вот что: завтра к четырем часам утра — шестьдесят подвод для отряда. Сбор вот тут, на этом месте. Корму взять на три дня. Такая моя инструкция. Всё. Расходитесь.

Но никто не двинулся с места. Все ждали еще чего-то. Чубатов обвел глазами сходку и ухмыльнулся. Потом все-таки добавил:

— Вы, что же, хотите, чтобы я вам грамоту дал за то, что у вас под носом развелась банда? Не дам грамоту. Нельзя жить — ни туда и ни сюда. Ленин сказал: «Кто не с нами, тот против нас». Понятно? Такая моя инструкция. Подумайте. А митинг проведем, когда банду прикончим.

— А нам говорили — село наше сожгут, — несмело сказал кто-то из задних.

— Брехня. Репрессий не будет ни селу, ни членам семей бандитов. А кто из них будет сдаваться добровольно, останется жив. Всё. Мне некогда. Расходитесь.

Теперь разошлись все.

Вечером в избе, где собралось человек двадцать самоохранщиков и красноармейцев, дед Матвей Сорокин с глубоким сожалением сказал:

— Убили Ваську Ноздрю. Жалко-то как!

— Бандита жалко? — удивился красноармеец.

— Вишь оно какое дело-то: шесть штук ежаков заготовил и кошелку большую сплел. Пропала моя работа.

Односельчане Матвея грохнули смехом. Под смех же они и объяснили красноармейцам, что все это означает. Матвей продолжал:

— Ежаков жалко — придется выпустить на волю. Ну что же. Ладно. Все равно, слава тебе господи! Покончили с кровопивцами… — И дед выругался.

— Ты чего же господа с матюгом мешаешь? — спросил молодой парень из приезжего отряда.

Все опять засмеялись.

— А что же поделаешь, ежели она сама выскакивает? Нешто кто тут виноват? Вы, ребята, за бога не цепляйтесь. Он все видит, до тонкости. Ох-хо-хо! — закряхтел Матвей и стал укладываться на солому.

Это покряхтывание, и напускная степенность, и набожность были показными, ироническими и очень шли деду. А так, в жизни, Матвей был юрким, подвижным не по годам. Старенькую шапчонку он вряд ли снимал и летом. Овчинный залатанный кожух с короткими полами вечно у него шуршал при малейшем движении. Бородка была реденькая и остренькая. Глаза веселые и насмешливые.

— А говорят, — продолжал парень шутливо, — бог-то стар стал, не видит ни хрена.

— Что оскалились? — спросил всех Матвей. — Больно рьяны стали, вот и хулите понапрасну… Бога-то, его примером можно доказать. — И нельзя было понять, шутит он или говорит серьезно.

— Ну-ка, на факты налегни, папаша. Чего это они, в самом деле, смеются, — послышался из угла сочувственный голос.

— Вы не шутите! — строго сказал Матвей. — Знаете Поликарпыча Седогорлого? Не знаете. Помер он годов с двадцать назад. Вот и был с ним случай. Пахал он однова в поле. Глядь: идет молодой мужик. Незнакомый. Идет это он прямо к телеге и говорит: «Ночевать можно с тобой, добрый человек?» — «Отчего ж, говорит, нельзя? Можно». Дело было к вечеру. Ну. Хорошо — не плохо. Легли они, значит, спать. Да. Только гость-то не спит никак, а Поликарпыч заснул сразу. Знамо дело, наработался! Прошла ночь. Рассвело-бело, ребятушки. Жаворонки поют. Солнышко того… играет. А пахарь наш спит: сон на него бог напустил. Ну. Конечно, просыпаться надо. Встает

это он, глянул округ телеги, а лошади-то нету-ути-и! Глянул назад, а она стоит, бедняга, вся в мыле. И сидит на ней тот самый, какой ночевал, и голову свесил. Удивился наш старик! «Слазь, говорит, добр человек». — «Прости меня! — говорит гость. И заплакал. — Бога я увидал ночью». — «Что ж, бога — это хорошо. Ну только с кобылы слазь, к такой матери!» — и обложил его тройным-припечатным. «Не могу, милай. Хотел я у тебя украсть лошадь, а бог не дал. Двенадцать разов отъезжал, говорит, от телеги и двенадцать разов, говорит, назад приезжал. Животную замучил, а слезть не могу: прирос я к кобыле. Прочитай, пожалуйста, „Отчу“ три раза да „Царю небесны“ однова». Прочитал Поликарпыч так, как сказано было, а этот сразу соскочил и — в ноги: «Прости, говорит, не буду больше! Бога увидал!» — «Ну, бог простит. Иди ты к такой матери! Только брось это дело». Вот они дела-то какие бывают. Вы за бога, ребята, не цепляйтесь. Право слово, не цепляйтесь, — закончил дед.

При последних словах кто-то в тесноте нечаянно наступил на руку Матвею. Тот добродушно выругался, ничуть не сердясь.

— Дед! А ты «Отчу» прочитал бы, если к твоей лошади прирос бы человек? — шутливо спросил кто-то из приезжих.

Все ожидали чего-то смешного, судя по самому вопросу и по тону. Думали, дед сейчас еще что-нибудь сморозит. А Матвей сказал, вздохнув:

— Нету у меня лошадки, ребята. Нету. Не к чему прирастать-то. Вот землицы дождался, теперь и лошадку, того, можно. А «Отчу»? «Отчу» прочитал бы. Я ему, наоборот, пять раз отчеканю. Меня бабка-покойница еще мальчишкой выучила. За кажну молитву небось по сто подзатыльников дала. Наизусть все знаю.

— А как же матерки-то выкинешь? — спросил все тот же голос.

— Глупой ты! — проворчал Матвей и накрылся кожухом. А уж из-под одежды, высунув голову, добавил: — Может, придет время — сами собой отпадут и матерки и боги. Видали мы бога аль не видали, да он-то нас не баловал.

— А дед подвел правильно! — воскликнул один из красноармейцев.

Молчавший все время Семен Сычев сказал:

— Ничего тут правильного нет. Одна болтовня, И глупости.

Начавшийся было спор прервал вбежавший самоохранщик. Еле переводя дух, он выпалил:

— В омете соломы… хрипит по-страшному. Сам слыхал. За кормом пошел — слыхал.

Все выскочили гурьбой и побежали к омету.

Через несколько минут приволокли полумертвого, истекшего кровью Кучума и посадили на лавку. Он прислонился к стене и поник, свесив руки. Сидел он неподвижно, не открывая глаз.

— И черт тебя дернул, — наконец сказал первым Сорокин Матвей. — Куда шел? Зачем шел? Землю хотел вернуть, милай? Не-ет. Тю-тю землица-то! У нас, брат, портки-то колючие: сел на землю — не оторвешь. То-то!

Вошел Федор и сразу к Кучуму:

— Ну? Как дела?

Кучум поднял мутные глаза на Варяга и пристально, не отрываясь, смотрел в упор. Жалкий и в то же время страшный был в тот момент Кучум: лицо в крови, одежда в крови, на губах запеклась кровь с белым налетом. Только черные густые брови были все те же и еще плотнее сходились друг к другу. А из-под них все оживленнее выглядывали черные глаза. Он пришел в сознание.

Не сводили глаз друг с друга ни Федор, ни Кучум. Один смотрел, обопрись на винтовку, другой — полумертвый. Тишина. И крепче сжимал каждый винтовку, видя человека, совсем недавно наводившего ужас на всю округу. Губы сдвинулись у него на сторону — он что-то хотел сказать. Чуть слышно произнес, все еще не сводя глаз с Федора:

— Ух-а-гр…

Все поняли — «Ухарь».

Вдруг случилось то, чего никто не мог ожидать. Кучум вскочил, вцепился здоровой рукой в одну из винтовок, стоящих у коника, и медленно, с огромным усилием, попробовал поднять ее над собой, чтобы ударить Федора. Но… винтовка выпала у него из рук. Он зашатался и грохнулся на пол замертво.

Все молчали. Федор медленно вышел из избы. Он внутренне уважал последний безнадежный порыв храбрости непримиримого врага.

…Наступила зима. При первых морозах убили последних двух бандитов прямо на печке, сонных. Остался один Игнат Дыбин.

Скрывался неизвестно где. Уже не дрожали жители Паховки от ужасов убийств и грабежей, прекратились пожары. Вечерами зажигали лампы в избах, не боясь, что на огонек заявятся незваные гости. Жизнь потекла своим чередом.

Самоохранщики сдали оружие и занялись своим всегдашним делом. Переделили землю полосками, с бурьянами на межах. Мощный чернозем, искромсанный межами, засоренный, запущенный, оставался таким же.

Только Федор не сдал винтовку. Он хотел покончить с Дыбиным сам, без правосудия. Но Дыбин хитер. Федор знал, что иногда Игнат бывает у отца, а не мог укараулить бандита. Знал и Ефим, что Федор не бросит этого дела, поэтому и не велел являться в дом. Но Федор все чаще и чаще заходил и требовал:

— Не поможешь поймать — расскажу в волости.

— Донесешь — пожалеешь! — угрожающе ответил отец.

— Не пугай ты меня, — сказал Федор, ухмыляясь.

— Куска хлеба не дам. В дом не пущу!

— Не требую хлеба, — продолжал тем же тоном Федор.

— Ух! — заскрипел Ефим зубами. — Кто Ухаря придушил?

— Та-ак. Ну прощевайте, Ефим Андреевич.

Зинаида заплакала, всхлипывая. Миша подошел к брату и смотрел ему в глаза снизу вверх. Миша не хныкал. Он плакал так, как плачут иногда взрослые мужчины, сильные духом: лицо будто спокойно, а слезы текут горошинами.

…Ночью Федор вырыл во дворе яму, засыпал винтовку сухой мякиной, а потом землей.

В Паховке делать нечего. Получать надел земли и жить одиночкой — бесполезно: лошади нет. А кроме как на земле, нигде не заработаешь. Есть хлеб Андрея Михайловича становится стыдно. И еще мысль: нельзя же жить с отцом вот так, врозь. А вместе жить невозможно.

И ушел Федор на заработки.

Глава пятая

Прошло два года. Канула в прошлое кучумовщина. Лишь один холм на горе, за селом, где зарыто несколько бандитов, напоминал о былых в Паховке днях.

Хотя и в мирную колею вошло село, но беспокойства все-таки много. Новое и непонятное появлялось с каждым днем.

— Что-то мне невдомек, — сказал как-то Семен Сычев, сидя на завалинке рядом с Ефимом Земляковым. — К примеру, Ванька Крючков. Какой был хороший малый — весь в покойника отца. А теперь — комсомолец. «Секрета-арь»! Скажи пожалуйста! Заведует избой-читальней. И везде свой нос сует, старших «учит». Новая учительша с ним вместе — против бога. В школе печь выломали, стену разломали и спектакли выставляют.

— Да-а. То понаслышке знали, а теперь и у нас заварилось, — процедил Ефим. — Ломают все, ломают.

— Дожили — и самим не понять, что делается. А тут — за сапоги, за одни сапоги, два воза хлеба вези. А не хочешь — в лапти полезай… И старики некоторые перебесились. Сорока, старый хрыч, на спектакли ходит. Да еще у дьячка подрясник выпрашивает на сцену… Мужики землю стали делить каждый год. Ну и ну!

Оба задумались.

— И отчего бы это все могло быть? — размышлял вслух Семен. — Ну, скажем, земли дали, прибавили. Отвоевали мы ее сами. Мы! — сказал он твердо и искоса посмотрел на Ефима. — Ну и сидеть бы теперь смирно. Нет ведь…

— Вы отвоевали? — спросил Ефим с усмешкой в бороду.

— А кто же?

— Так, так. Отвоевали.

Беседа расклеивалась. А еще хочется Семену спросить Ефима про Федора, давно хочется, да все как-то к случаю не приходилось. Ефиму тоже желательно кому-нибудь сказать о том, что он надумал. Поэтому-то и с Семеном иногда стал беседовать. Люди говорили: «отходить» стал Ефим, а то ведь от него и слова никто не слыхал. С тех пор как уехал сын, молчит и молчит Ефим.

— Про Федора ничего не слыхать? — спросил Семен.

— Слыхать… Сидит. Пропадает малый. — Ефим говорил медленно, угрюмо. А в голосе звучала искренняя жалость к сыну. — Дело-то какое случилось, Семен Трофимыч. Нанялся он к богатому

мужику в батраки. Пожил с год… Да. Пожил с год… Хозяин ударил своего сына кнутом, а Федор — хозяина. Кулаком в ухо. Оглох хозяин и — в суд. На суде сын и сказал: «Не бил, дескать, меня отец»… Вон, смотри, Трофимыч, какие подлюки-то бывают! Не бил и — все. Ну и… конечно, присудили Федору шесть месяцев тюрьмы. — Ефим вздохнул и закончил свой скупой рассказ: — Пропадает малый… А умница. Только горяч.

— Дело прошлое, Ефим Андреевич. Взял бы ты его домой.

После раздумья Ефим ответил:

— Как отсидит — позову. Долю дам. И нехай сам как хочет.

Вскоре все село узнало о намерении Ефима. Одни говорили: образумился отец, другие прямо утверждали, что не пойдет Федор к отцу, а третьи были убеждены и убеждали других в том, что обязательно выйдет что-то недоброе, если Федор придет в Паховку.

Обсуждался этот вопрос в каждой избе.

О том же размышлял и Семен Сычев. Ему казалось, как и многим в селе: если Федька бросил хозяйство, ушел в батраки на сторону да еще попал в тюрьму, то дело неладно. «Как это так — бросить дом, когда земля наша стала. Теперь только и богатеть, никто не мешает, а он — вон что: в тюрьму угодил». Сычев с недоверием отнесся и к рассказу Ефима о Федьке: «Сын набрехал через людей, а отец повторил: отец же все-таки! Видно, жалеет. Да толку что от жалости… Вернется в село оторвибашкой и пойдет куролесить, как раньше. Горбатого одна могила… Каков в колыбельке, таков и в могилке… Знамо дело, карахтер!.. Тогда-то, у Герасима, курей-то изничтожил кто?.. А гусей у мельника кто перетаскал?.. То-то вот и оно». Так постепенно Семен Сычев пришел к убеждению: Федьку в село не надо. В Паховке, по мнению Сычева, все стало на, свое место, люди живут тихо. Сам он недавно купил вторую лошадь, рысачку кровную, такую, какой и в селе никогда не было. А две лошади и две коровы — уже полный хозяин: дай бог управиться одному-то.

Семен всю жизнь хотел быть богатым, как, впрочем, и каждый середняк. Но ему желательно быть не просто богатым, а богаче всех в селе. Иной раз, лежа на печи в темноте, он подумывал и так: «Построил бы три амбара, насыпал бы полным-полно хлеба… А на масленой неделе запряг бы тройку рысаков, разнарядил бы лентами… А шуба суконная! А шапка боярская!.. И-и-и! Расступись, народ,

Семен Трофимыч едет… Мотька Сорокин остановится, потрясет полами сухой шубенки, снимет облезлую шапчонку и поклонится: Семену Трофимычу!.. А потом дам ему, Сорокину, и Витьке Шмоткову Семенов на посев, а они, тот и другой, проценты отработают. Все будут довольны, если Сычев будет богатым…» И вдруг он задавал себе мысленно вопрос: «А как тогда Федька? Федька не Матвей Сорокин, он зубы будет скалить да зенки пялить на богатство… Такой уж человек уродился».

Но иногда приходили сомнения и другого порядка. «Скажем, так, — рассуждал он, — дадут или не дадут богатеть мужику? Допустим, я хочу заарендовать десятин пять: можно или не можно? Раньше было можно — Ухаревы имели тридцать десятин. А сейчас?» Этот вопрос оставался неясным. Тогда Семен звал в гости Андрея Михайловича Вихрова, председателя сельсовета, ставил бутылку на стол и мирно беседовал, стараясь издалека, вроде мимоходом, выяснить «новую политику».

На одной из таких бесед Семен спросил:

— Как это понимать, Андрей Михалыч, слова «укрепить сельское хозяйство»? В газете читал такое, а соображаю не шибко.

— Как понимать? — переспросил Андрей Михайлович. — Очень просто: чтобы хлеба было больше, чтобы жить богаче… К примеру, есть излишки хлеба в хозяйстве — продай как тебе желательно.

— А до какого разряду можно это самое — «богаче»?

— А так, чтобы у каждого мужика был достаток полный: есть, пить, обуться, одеться…

— А государству-то кто хлеб продавать будет?

— Мы же.

— Та-ак, — протянул Семен, не то соглашаясь, не то сомневаясь. — А если мы все будем жить, как Ухаревы, то кто же у нас будет работать? Ведь большое хозяйство одному правдать нельзя? Нельзя. Тогда что: нанимать?

— Батраков не будет.

— Значит, одни середняки останутся? — донимал Семен. — Значит, так: «есть, пить, обуться, одеться…» Сами на себя, значит, и — только?

— Это дело надо промозговать, — неуверенно сказал Андрей Михайлович. — Тут дело большое… Вопрос государственный…

Но он и сам не понимал, как надо дальше жить. Вверху шел спор, а кто прав — не сразу разберешь. Только признаться в этом Сычеву он не хотел.

В те дни, когда народ заговорил о Федоре Землякове, Андрей Михайлович стал его ждать. Уже два года он ходил в председателях сельсовета. Он старался жить со всеми в ладу, за что, как ему казалось, его уважали. Все бы ничего у Андрея Михайловича, да вот иногда стал выпивать крепко. Крестьяне стали жить лучше, приглашали его то на свадьбу, то на праздник (как и водится всегда на селе), то просто угостить и побеседовать, как, например, Сычев. Их много, а председатель один: не проходило дня, чтобы кто-то не зазвал к себе. Чаще других приглашал Сычев. Так и стал привыкать к этому зелью Андрей Михайлович. Чувствовал — не надо, но как не уважить хорошего человека! Обидится. А тут еще задача: плохо он понимал, как надо дальше жить мужику. Часто задумывался после таких бесед, как у Сычева: «Воевал, боролся, потерял все, а оно идет как-то не так. Богатеют-то не все, а некоторые, и — за счет других. Вот тут и подумай».

Когда же он стал теперь все чаще вспоминать о Федоре, те же мысли, что и раньше, забеспокоили его еще больше. А Сычев-то и сам решил поговорить с ним о Федоре — не терпелось ему с этими думами о будущем, с мечтами о трех амбарах, полных хлеба.

— Зашел бы, Андрей Михалыч, вечерком как-нибудь.

— Да был же три дня назад. Не каждый же день.

— Все как-то так получается — поговорить не с кем… С умным человеком побеседуешь, оно и проясняется в мозгах-то. А кто у нас тут в селе может рассудить лучше тебя, Андрей Михалыч? Да никто.

Так Сычев уже льстил председателю. И он пришел. Но на этот раз был молчалив и угрюм.

— Слыхать, Федор-то Земляков собирается приехать? — спросил Сычев за столом.

— А ты откуда знаешь? — не очень-то приветливо задал вопрос и председатель.

— Сам Ефим говорил: «Долю дам».

— А тебе-то что?

— Как — что? Соседи же: супротив живем, через улицу.

— Ну и что же? — грубовато опять же переспросил Андрей Михайлович.

На такой вопрос отвечать нечего. Но Сычев не такой уж простак, чтобы не понять, что председатель не желает с ним разговаривать по этому делу. Однако хозяин не мог объяснить замкнутость гостя, такого открытого и прямого раньше. Он и не подозревал, что Андрея Михайловича точили думки тяжелые, может быть, непосильные для его головы.

«Ну, не хочет — не надо», — решил Семен и, чтобы «замять», предложил:

— Еще по чарочке?

Андрей Михайлович выпил, но оставался молчаливым. Пил и думал. Пил и думал. Мысли скакали в беспорядке, взбудораженные водкой, а высказывать их Сычеву не хотелось. Он сидел, то подперев ладонями лоб, то поднимал взгляд на Сычева и смотрел на него в упор, не говоря ни слова, то ударял кулаком по столу.

«Захмелел совсем, — решил Сычев. — И выпил немного, а упился начисто». Потом сказал:

— Может, переспишь, Андрей Михалыч? Полежи-ка… У меня — ни кот, ни кошка, никто не узнает. Не идти же пьяному по селу.

Андрей Михайлович смотрел, смотрел на Семена и вдруг вытянул руку на столе, положил на нее голову и зарыдал. То ли он увидел себя в последних словах Сычева, то ли понял, что в мучительных сомнениях теряет веру в то, за что отдал половину своей жизни, но такого с ним не было никогда.

Потом он стучал кулаком по столу и кричал в исступлении:

— Федя, голубь! Не ходи ты сюда. Скушно у нас стало. Скушно! Ой, ребятушки, убейте меня, уж лучше убейте!.. Ух!.. Вылезают богатеи!..

Всегда он ладил с Семеном, а тут — вот что сказал, Семен хотя малость и струхнул, но похлопал его по плечу по-отцовски и сказал:

— А их теперь нету, богатеев-то. Нету, Андрей Михалыч. Ежли же я, скажем, думаю купить третью лошадку, дак это ж не богатей, а чистый середняк советский, от новой экономической политики, значит. Не надо говорить против Советской власти, Андрей Михалыч. Не надо. Не надо. Мы ж ее сами с тобой воевали… Ай-яй-яй! Как вас разобрала рыковка!.. Хороша-а, нечистая, хороша! От как она,

проклятая, разбирает. Хороша! — подзуживал Сычев. — А ну-ка еще стакашку дербани, Андрей Михалыч. Одну. Стакашку. За новую экономическую. А? — И он подносил стакан.

— За черта! За черта пью! — крикнул Андрей. Опрокинув водку в рот, он царапал пальцами стол. Потом затих и, как показалось Сычеву, будто задремал сидя, уже откинувшись спиной к стене. Но неожиданно он открыл глаза, уперся взглядом в Сычева и зло выпалил:

— Ты что на меня зенки пялишь? Ну!

Покачиваясь, он вышел на улицу. Да так и побрел на виду у всех. Каждый встречный, по обычаю, делал вид, что ничего не замечает, но многие увидели Андрея Михайловича совсем пьяным.

Семен постоял-постоял у окна, провожая взглядом председателя, и решил после раздумий:

«Дело неладное. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. С ним надо осторожней… Только вряд ли, Андрей, от бутылки отстанешь… Должно быть, поздно. Она, брат, нутрё выжигает… А Федьку-то он, значит, ждет. Так и сказал: „Федя, голубь!“ Ишь как ласково… Да-а… Теперь, пожалуй, одному надо мозговать».

После такой «беседы» с Андреем Михайловичем настроение у Сычева стало скверным. Он вышел во двор. Крапчатый, большой уже и совсем ручной цыпленок подвернулся под ноги, вытягивая шейку и ожидая подачки. Семен пнул его носком сапога с озлоблением:

— Кыш, дерьмо!

Цыпленок забился на месте, затрепыхал крыльями, теряя перья. Сычев схватил его, повертел в руках, пощупал и сказал:

— Никак я тебя убил?.. Убыток наделал… со зла-то.

Он подошел к дровосеке и уже спокойно отрубил цыпленку голову — добру не пропадать.

…Зимой тысяча девятьсот двадцать третьего года Федор пришел в Паховку, оборванный, тощий. Зима холодная в тот год была, а он тридцать верст шел от станций в ботинках и легком пиджачишке. В сумерках он подошел к избе отца. В проталинку оконного стекла увидел: Зинаида расчесывала волосы, Миша читал книгу, отец лежал на печке вверх лицом.

«Вот и пришел я, — подумал Федор. — А зачем? Выгонит опять, если чуть что…»

Прислонился лбом к переплету оконной рамы. Закоченевшие руки не сгибались, ноги одеревенели. От усталости и холода он уже не мог идти в избу. Мил ему сейчас брат, мила сестра. И на отца нет злобы. Взглянуть на них хочется.

Скрипел колодезный журавель. Мела легкая поземка. А Федору стало теплее. «Лучше сяду», — подумал он и опустился на снег около окна. Что-то знакомое творилось с Федором… Вот голубое-голубое небо. Опять он летит с отцом по воздуху. Опять ударил поросенка. А соседка не ругается, а целует Федора и обнимает, гладит по голове. Так гладила когда-то мать, ласково и нежно. От радости покатилась по щеке горошинка из глаза. Вот и дома. Хорошо!

А колодезный журавель все скрипел и скрипел.

Мимо избы шел пьяный и орал песню, понятную только ему одному. Он подошел к избе, увидел свернувшегося калачиком человека и стал его толкать, приговаривая:

— Холодно тебе, добр-р-чилоек? Замерзнешь. Ей-богу, замерзнешь, говорю. Ты вставай… Ефим! Черный дьявол! — заорал он, барабаня в окно.

— Кто там? — откликнулся Ефим.

— А тебе какое дело, кто я? Открой!

— Нечего пьяной роже делать. Проваливай.

— Чила-авек замерз! — заорал пьяный тонким пронзительным голосом.

Ефим узнал Виктора Шмоткова.

— Чила-аве-ек!.. Заме-ерз! — надрывался Виктор, крича на всю улицу. — Под окном! Чила-аве-ек! Заме-ерз!

Ефим выскочил на улицу, чтобы проучить Витьку, и увидел сына.

…Федора отходили, но одного пальца на левой руке не стало: отморозил — в больнице отняли.

*** * ***

Сердитый «Никола зимний» был в том году — старики ждали хороший урожай по этой примете. Всю ночь мело, вертело, выло, заносило избы до труб, заметало дворы, проносилось вихрем, гоготало, трещало. Повихрит-потрещит — и вдруг затихнет. И в ту

секунду казалось, кто-то плачет. И опять налетал, запускал ворохом снега в окно, плясал, тоненько пел. В трубе беспрестанно выло и выло. Колодезный журавель стонал, вторя скрипу ворот. Ох сердитый был Никола в том году!

На колокольне звонили в большой колокол, чтобы не заблудился кто, редко и размеренно. Казался этот звон далеким-далеким, чуть слышно его. А метель в дикой пляске то выла зверем, то плакала младенцем, то шипела ведьмой. Горе тому, кто в степи!

Недолго прожили мирно отец с сыном. В ночь под Николу под звуки метели у них шел спор.

— Не могу я так жить, — рубил Ефим. — Никола — престольный праздник, а мой сын в избе-читальне — против бога! Тогда с винтовкой ходил — «за землю», а теперь против бога. Срам! Начитались там со своим Крючковым всякой дряни.

— Тогда мы боролись за землю, — мрачно сказал Федор, — а теперь надо жизнь изменять, папашка.

— Не ты боролся за землю. Боре-ец!

Федор вскочил.

— А кто? Кучум? Дыбин? — уже резко спросил он у отца.

Ефим помолчал чуть, опустил голову и ответил:

— Они. Да проиграли, не сумели.

Федор крикнул:

— Где Дыбин?

Ефим ответил так же угрюмо, не поднимая головы и, казалось, спокойно:

— Сам в милицию явился. Податься некуда. — Вдруг он возвысил голос: — У меня в доме не орать!

В избе стало тихо. Вой метели слышнее. Изба дрожала от порывов бури. Молчание казалось долгим и было тяжким для каждого. Но вот Федор подошел к отцу. Постоял немного около него, глядя на взъерошенную голову, которую Ефим опустил еще ниже, и тихо сказал только два слова:

— Папашка… отдели.

— Ничего не поделаешь, — процедил Ефим.

И вот пошла дележка: Федору лошадь, остальное отцу и Мише. Зинаиде доли не полагалось — небось выйдет замуж. Федор не

противоречил, он согласен был на все, но только очень хотелось ему, чтобы Миша пошел с ним. А Ефим не пускал.

— Не слыхано нигде, чтобы меньшой от отца уходил, — убеждал Ефим.

— Папашка, не обижайся, что скажу правду: изуродуешь ты его вдребезги. Характер у тебя…

Отец не дал закончить Федору:

— Ты-то не изуродуешь? Шлялся-шлялся, а теперь и Мишку хочешь так. Мало доли даю? И этого не стоило бы…

У Федора затряслись губы. Он хотел сказать, что отец больше шлялся, но сдержался. У Ефима все ходуном заходило, но и он старался не показывать виду. И Федор решился.

— Вот что, папашка, — сказал он твердо. — Давай Мишину долю и Мишу, а все — тебе. А хочешь так: и его долю возьми, но Мишу отпусти со мной. Нам земли дадут. Проживем.

— Быстер! — возразил отец. — Да ты спроси его, спроси-ка, с кем он пойдет.

— Миша, с кем пойдешь? — спросил Федор.

— С кем пойдешь? — повторил, как эхо, отец.

Решалось. Под силу ли Мише! Он помолчал и чуть слышно ответил, глядя в пол:

— С Федей.

— А! — закричал отец неистово. — На старости лет одного отца оставить захотели, прощелыги! — Он затряс поднятыми кулаками и еще раз крикнул: — Прощелыги!..

За окном, в звуках метели, будто запищал ребенок.

Миша медленно пошел к кровати, постоял около нее несколько секунд, лег вниз лицом и, вздрагивая, глухо прокричал в подушку:

— Я-то… вам… разве виноват?!

Ефим несколько минут стоял не двигаясь. Потом медленно, в бессилии подошел к печке и так же медленно влез на нее. Там он лег вверх лицом и закрыл глаза.

Федор, решительно тряхнув головой, вышел в сени. Через полчаса он вернулся обратно с винтовкой в руках, сел на коник, осмотрел затвор, прочистил суконкой и заложил обойму. Потом вынул ее и, подумав, вложил снова, сказав тихо:

— Э! Да все равно в ночь идти.

Метель свирепела. В трубе плакало.

— Федя, ты чего? — спросил Миша.

— Так… Ухожу, Миша.

Ефим не открывал глаз. Думал ли, дремал ли — не разобраться. Казалось, не в трубе выло, а Ефим плакал.

— Страшно, Федя, — прошептал Миша. — Замерзнешь.

Буран ударил в окно со злобой и оставил на стекле ком снега, а потом вихрем завернул и начал бить крышу. Изба опять затряслась. Миша, лежа, закрыл глаза.

Федор пристально посмотрел на отца и ласково, как никогда, проговорил:

— Ну, папашка… Ухожу. Не надо мне доли… Другую жизнь пойду искать. Прощай, папашка.

Ефим открыл глаза. В первые секунды он еще не понял, еще не осмыслил слов сына. Но вдруг резко повернулся на бок, посмотрел поочередно на сыновей, спрыгнул с печи, как молодой, и стал против Федора.

— Неужто… не помиримся? — промолвил он с горечью.

В голосе слышалась дрожь. Брови дергались. Борода сбилась на сторону. Он стоял, опустив руки. Голова его медленно поникла, будто он рассматривал что-то на полу.

— Неужто… Федор?.. Ты послушай, что скажу… Мне помирать скоро. Все скажу — поймешь. Всю жизнь хотелось быть богатым. Сначала середняк был, потом бедняк, потом в город ушел… Все расскажу — слушай. Ушел в город, чтобы заработать и вернуться к вам. Маленькие вы были с Зинаидой, а Миша без меня родился, через полгода, как я ушел. У купца сперва работал. Нечестно заработал триста рублей. Большие это были деньги… Мне бы домой ехать, а я мастерскую открыл свою — думал заработать еще больше. А оно все дальше и больше. Батраков заимел. А про мать услыхал, что она с Герасимом, — и вовсе не поехал. Богатым хотел быть… И всю жизнь, Федя, всю жизнь в одиночку, волком… Виноват я или нет? Виноват. Ты говоришь, жизнь корявая… Корявая была, Федя. Другую надо… Осилил ты меня, сынок. Твоя правда! Я… пойду за тобой. Да разве ж изба и все в ней — мое? Твое это, твое! Не тебе надо уходить, а мне. Мне.

Последние слова он произнес тихо, печально. Федор стоял не двигаясь. Он смотрел на отца не сводя глаз, забыв о винтовке, которую уже небрежно держал в правой руке. Что-то легкое вошло внутрь Федора и задрожало светлой радостью. Миша подошел к брату, взял его за локоть и смотрел в глаза, молча, просяще. А отец продолжал:

— Не уходи. Тяжко. — Потом он встряхнул головой и подошел к Федору. — Э, да чего там! Давай-ка твою винтовку да раздевайся. Ты тут хозяин. — С этими словами он решительно взял за дуло винтовку обеими руками и так же решительно дернул на себя…

В радостном оцепенении Федор не почувствовал, как гашетка при резком рывке отца зацепила за палец.

И… выстрел!!!

Отец опустился на пол, несколько секунд лежал на боку, обопрись на локоть. Потом медленно повернулся на спину.

— Папашка! — дико вскрикнул Федор и бросился перед ним на колени.

С расширенными от ужаса глазами Миша прислонился щекой к руке отца.

Отец был еще в сознании. Он тихо, почти шепотом проговорил:

— Федя, сынок… Миша… Вот… мы и помирились… Слава тебе господи! — Ефим медленно перекрестился.

Рука его беспомощно упала на пол. Умер он тихо. Лицо осенила нежная радость, какой не было ни разу. Ни разу за всю суровую жизнь человека, прожившего в одиночестве, хотя и окруженного людьми.

Долго стояли сыновья перед отцом, прижавшись друг к другу.

Было жутко и непонятно.

Потом они положили отца на широкую лавку, под икону головой, скрестив ему руки; накрыли чистой, из сундука, дерюгой.

…Миша бредил без сна:

— Кто там? Федя, кто там?!

— Никого нет, Миша. Никого.

Миша бросился к брату и спрятал лицо у него на плече.

Метель гудит, гуди-ит. Стонет метель.

На колокольне не перестают звонить:

«Бом-м… Бом-м… Бом-м…»

Федор сидел за столом и курил, курил, курил беспрестанно. Сознание временами мутилось — предметы плыли перед глазами,

останавливались, снова плыли.

Обычный стук в дверь показался Федору орудийным выстрелом.

— Кто? — спросил он, вздрогнув.

— Я, Семен, — отозвался Сычев, уже войдя. И опешил: — Ай преставился?!

Федор посмотрел на него невидящими глазами и безнадежно махнул рукой, не изменив позы. Сычев же, увидев на полу винтовку, забегал по избе глазами. «И кровь, — мелькнуло в мыслях. — Тут дело нечисто». А вслух сказал:

— Царство ему небесное! Все там будем… — Он размашисто перекрестился, постоял-постоял, переминаясь с ноги на ногу, взялся за ручку двери. — Лампадку-то зажги, Федор… — Еще раз перекрестился, теперь уже торопливо, и вышел.

Зинаиды весь вечер не было дома. Когда она пришла с посиделок, Федор, глотая ком в горле, сказал глухо:

— Папашка… Умер…

Она бросила взгляд на лавку и метнулась к отцу… Когда она пришла в себя, ей рассказали все. Она молчала. Тихо плакала.

Федор, прижавшись щекой к груди отца, прошептал:

— Папашка… Папашка… Ведь я тебя любил.

Миша обнял брата. Зинаида, в бессилии прислонясь к стене, еле шевелила губами, запрокинув голову:

— Папашка… Как же так?

И вот Федор встал, выпрямился, погладил Мишу по голове и сказал надорванно и хрипло:

— Пойду расскажу Андрею Михалычу.

А к утру отец лежал уже на двух столах, приставленных рядом, вымытый, с расчесанной бородой, накрытый до рук белым. Все это сделали заботливые руки Матрены Сорокиной и соседок.

В ту ночь, перед тем как увидеть Ефима на лавке, Семену Сычеву не спалось. Метель выла. Изредка побрякивала вьюшка в трубе. Мысли были невеселыми.

— Спишь? — окликнул он жену.

— Где там спать! Ишь как бушует. Господи боже ты мой!.. А ты чего не спишь? Бывало, гром не будил, а теперь… беспокойный.

— Нету покою. Нету… Отчего бы это так? Как ты считаешь?

— Не управляешься — вот и покою потому нету… Летом нанимаешь, а зимой один.

— И то, пожалуй, правда: надо бы человечка нанять на круглый год. — Семен самодовольно добавил: — Батрачок, значит, требуется. Так, так. — А потом уже совсем мрачно: — Только не оттого беспокойство.

— А от чего же еще?

— Разве не слыхала, что на селе толкуют?

— Слыхала малость.

— Что? Рассказывай.

— Ну-ка да осерчаешь…

— Все равно говори.

— Будто Федька с Крючковым в избе-читальне при всем народе кричали: Сычев, дескать, кулаком становится, осаживать его надо. Андрей Михалыч, дескать, не видит.

— Вот оно что, Лукерья! Не дадут они мне ходу. Тогда эти самые кулаки не давали развороту — что ни затей, из рук вырвут, теперь эти… «читальщики». На дороге будут стоять. Не пускают.

Семен первый раз высказывал такие мысли жене. Да и некому больше сказать и нельзя: разбогател — стал одинок, перестал доверять людям. Люди для него стали другими. Постепенно всех их он разделил незаметно для себя на два лагеря: не мешающих жить и мешающих.

— Ты подумай, — продолжал он. — Им резону нету поддерживать богатство. Сами-то голыши: Федька — отчаюга, Крючков — бездомник. «Бедноту» читают и с глупа ума кричат без понятия. А не соображают того, что есть кулак. Кулак — это раньше был, другому богатеть мешал. А я никому не препятствую. Пожалуйста!.. Теперь, Лукерья, не кулаки мешают мужику — кулаков нету, а эти самые… партейные. Конечно, Андрюха Вихров, этот ничего. А Крючков вырастет — будет заворачивать. — Последние слова он произнес почти шепотом.

— А Федька?

— Федька — не знаю… И черт его принес сюда, лешего!

Семен долго молчал. «Вот тогда-то, в колодец-то, не надо бы было». Но жене об этом не сказал, а строго предупредил:

— Ты смотри, кому-нибудь не ляпни о нашем разговоре.

— Да что ты, Семен. Разве ж можно!

Но он не успокоился. В голову лезло: «Вот еще разболтает где-нибудь». Перестал и жене доверять.

Некоторое время он ворочался с боку на бок, потом надел шубу и вышел во двор, к лошадям.

Метель сразу залепила глаза снегом. Пучок соломы ударил в лицо. Семен отвернулся от ветра, подняв воротник, и решил: «Солому-то, наверное, у Земляковых сорвало с крыши. Хозяева! На крышу не разживутся». Зайдя в конюшню, он поправил корм в яслях, погладил ласково лошадь.

Вдруг он услышал в вое метели глухие удары о землю: ясно — кто-то вырубал яму. «Наверняка у Земляковых во дворе. Что-то тут не так», — решил он. В темноте прищурил глаза, наклонил ухо в сторону Земляковых, а через некоторое время убежденно сказал сам себе: «У них. Надо узнать». Он закрыл рот и нос рукавицей и пошел через улицу. Крадучись обошел двор Земляковых и остановился у полуразрушенного плетня, напряженно всматриваясь в отверстие.

Между двумя сарайчиками, под навесом, Федор вырубал топором и ломом яму в мерзлоте. Сычев так же осторожно отошел и вернулся в свою избу. Там он посидел на лавке, не раздеваясь. Снег обтаивал на одежде и шапке, и капли потекли по лицу. Но он этого не замечал. «Зачем ему яма в глухую полночь? Зачем?» Он не мог знать, что Федор в тот час откапывал винтовку.

Наконец любопытство взяло верх — он встал и тихо сказал:

— Пойду-ка узнаю доподлинно.

И вышел во двор.

С полчаса, а может быть, и больше он стоял, прислушиваясь, потом направился вновь ко двору Земляковых. Но только-только выйдя за ворота, услышал сквозь метель… выстрел. Звук был глухим — будто в хате. Сычев вздрогнул, и у него вырвалось:

— У них! Кроме негде. Ругаются все время… Уж не Ефима ли он, азиат?.. Пойду.

Теперь он почти бежал через улицу.

Стукнул в дверь… Тогда-то он и увидел уже мертвого Ефима, винтовку на полу и такого странного и страшного Федора.

Обратно он вошел в свою хату тихо, чтобы не разбудить Лукерью, и снова сел на лавку. Мысли точили: «Сперва, значит, яма… Зачем яма?.. Потом выстрел… И винтовка валяется… Ужли ж хотел

закопать?! Свят, свят! Не может того быть… Человек же он, Федор-то. Не может быть… А вдруг?..»

Посидел еще, подумал, а затем решительно встал, разделся и твердо сказал:

— Та-ак. Теперь посмотрим, что будет дальше. В такие дела вмешиваться негоже: в чужую петлю не суй свою шею.

На следующий день приехали милиционер, врач, следователь. Допросили всех соседей и Земляковых. А после составления акта разрешили похоронить Ефима Андреевича Землякова.

Все доказательства подтвердили «факт неумышленного происшествия».

Из соседей на похоронах не было только Семена Сычева. Он и на следствии не давал никаких показаний: еще на рассвете уехал куда-то, чтобы не попасть в свидетели. Так никто, кроме Сычева, и не знал, что Федор ночью рубил землю во дворе. Он прибрал этот факт в памяти, как в свое время, после разгрома банды, утаил наган, засунув его под застреху на всякий случай. Может, еще пригодится.

Глава шестая

А зима вихрила и морозила. Иной раз метели по трое суток мутили белый свет. Тогда за кормом корове можно было идти в ригу только держась за веревку, привязанную к задним воротам. Иначе пропал: собьет, закрутит и заведет за ригу, а там — поле, степь, погибель. Так ведь и замерзли в Паховке в ту зиму два человека. А то морозы нажимали на землю так, что коровьи мерзляки подскакивали вверх, звучно, с выстрелом. В иной вечер такая тишина стоит на селе, что скрип чьих-нибудь валенок слышно за километр. Ну и морозы были в тот год! Бывало, в хате неожиданно так треснет бревно, что любая хозяйка вздрогнет, испугавшись, перекрестится и скажет:

— Свят, свят! В бревно нечистый залез.

— Зима снежная да холодная — десятина плодородная, — говорили старики.

А дед Матвей Сорокин говорил так:

— Что зима! Разве ж это зима! Вот в старину были зимы так зимы. Ворона на лету мерзла! Во! Летит, летит и — шлеп! — во двор.

Подойдешь: готова! Замерзла начисто. Каюк вороне. Вот то — зима!

Сколько в этом правды, трудно сказать. Но дед Матвей так говорил. Он любил вспоминать, удивляя молодежь.

К избе-читальне и в ту зиму тропки вели со всех сторон паутинкой. Молодежи идти больше некуда — вот и протоптали. Кстати, кроме чтения там и пели, плясали, декламировали стихи. Заправлял этим делом Ванятка Крючков, секретарь РКСМ. Зимой, в пургу и морозы, в избе-читальне всегда горел огонек.

Неизгладимый в памяти милый огонек! Он и теперь, спустя много лет, все так же дорог каждому — и тому, кто взрослым приносил к нему букварь с первой строкой «Мы не рабы. Рабы не мы», и тому, кто учил других по этому букварю. Ой как много сделал этот огонек для целого поколения!

— Ну, Матвей Степаныч! — восклицал шестнадцатилетний Володька Красавица. — Я ж написал на доске «рабы», а ты читаешь «бары». Это ж «бы», а не «ры». Вот: видишь?

— А как же — вижу, — отвечал Матвей Степаныч Сорокин. — Вижу. А губы не дружны. — При этом он теребил большим пальцем губы. — Одна — на «ры», а другая — на «бы». Вот так, — и он показывал, как это все у него происходит. И вздыхал. А потом, вдруг просветлев, догадывался: — Дак у «ры» хвост вниз, а у «бы» — вверх, и серпочком. Чего ж ты мне не сказал, Володька, заранее?

— А я тебе учитель, что ль, какой? Я — шеф, и больше ничего. Обучу тебя — грамоту мне дадут, не обучу — срамота нам обоим. Ты уж учись, дед Матвей, пожалуйста.

— Ты мне скажи точно: газеты буду я тогда читать?

— Будешь, — уверенно отвечал Володя.

— Ох! Труда-то, труда сколько! — вздыхал снова Матвей Степаныч. — Ну, давай. Начали: «Мы-ы не… ба-а-ары-ы»… — потянул он.

— Да «не рабы»! — воскликнул Володя.

— Не буду так читать! — осердился совсем Матвей.

— Ну почему же?!

— А потому: лично я, Сорокин Матвей, никогда рабом не был. И об чем речь. Бар знавал, а рабом у них не был. В тряпках всю жизнь проходил, а — не был. Чего ты понимаешь, Володька, — чего читать, а чего не читать!

— Тебе ж надо сначала научиться читать, а потом думать, — беспомощно убеждал Володя.

— А я буду сперва думать, а потом читать.

Володя становился в тупик. Но старался, старался.

Когда же кончался урок, то Матвей Степаныч говаривал так:

— Трудно нам с тобой обоим, Володька.

Этой фразой он заканчивал почти каждый урок. Однажды Володя так и сказал ему:

— Конечно, трудно. А как же? Ты ж темный, как… сурок.

— Ну, ну! Ты! — возвысил голос Матвей. — А то вот дам подзатыльник — и грамоту забудешь. — Потом все-таки проворчал: — Завтра-то приходить вечером аль днем?

И все это было. И все тянулись вверх. С громадным усилием, но тянулись. Серая, рваная черноземная Россия стояла у ворот своего будущего. Только-только встала она на ноги после войны, бандитизма, голода и разрухи.

Был январь.

Во второй половине месяца помягчело, сдало. Уже можно стало показать нос на улицу, не боясь его отморозить, а в иной день даже и без рукавиц пойти. Дед Матвей так и определял температуру:

— Так, примерно, на полградусника, не больше. Вполне допустимо.

Он, конечно, знал, что градусник существует, но никогда ему не приходилось им пользоваться. Если у него спрашивали шутя: «Какая температура у человека?», то он отвечал: «Я не больной». Он был убежден, что температура бывает только у больных, а морозы градусник показывает частями — в полную силу, в полмороза, в четверть мороза. Володя, может быть, был прав: «Темный, как сурок». И Матвей Степаныч страстно захотел не быть темным. Так человек, проснувшись, вдруг видит, что проспал, и начинает спешить, спешить, чтобы не опоздать, наверстать. Но можно ли наверстать уже прожитую жизнь?

А жизнь шла. Со стороны могло казаться, что глухое селишко, заметенное метелями в степи, жило спокойной жизнью, люди вставали рано, ели, работали и потом снова ложились спать. И только. Ребятишки катались на салазках с крыш, засыпанных снегом доверху, так же, как и сто лет тому назад. Но это только казалось. Знали, болел

Ленин. Вот выздоровеет — скажет: может Матвей наверстать прожитую жизнь или не может, и будет у него лошадь или не будет; или так и надо, чтобы у Сычева было несколько лошадей, а у Матвея ни одной. Выздоровеет — скажет.

Думал об этом и Федор. Думал и Андрей Михайлович. А Сычев рассуждал так: «Он им скажет, Ленин, этим „разным“. Выздоровеет — скажет. Без богатого мужика с голоду подохнуть можно».

Внутри село волновалось, беспокоилось. Так вода задолго до кипения уже движется в сосуде, беззвучно, незаметно.

А зима шла, как и обычно.

Однажды Федор сидел дома и читал. Зинаида чинила одежду. Они только-только зажгли керосиновую лампу и принялись каждый за свое вечернее дело. Миши дома не было. Вдруг кто-то беспокойно затопал валенками в сенях и рванул дверь. В избу вместе с клубами морозного пара ворвался Андрей Михайлович Вихров. Федор подумал, что он болен: лицо осунулось, потемнело, шапка сползла набок. Он чуть постоял у двери, медленно подошел к Федору и беспомощно опустился на лавку.

— Что с тобой? — спросил Федор, предчувствуя беду.

Андрей сразу не ответил. Он зашевелил губами, стащил непослушной рукой шапку. Зинаида подошла к нему. Федор встал в недоумении. Андрей наконец выдавил из себя три слова:

— Федя… Ленин… умер!

Умер Ленин.

Федор стоял на одном месте и смотрел в темное окно. А в темном окне ничего не было видно. Он смотрел в свою душу, обернулся назад, на свою жизнь, полную страданий и отчаяния.

Ленин умер!..

Откуда же послышался такой незнакомый голос?.. Зинаида и Андрей повернули голову к Федору: это он сказал, сипло, придушенно, с выдохом:

— Как же теперь?! Андрей Михайлович, а?!

Зинаида зарыдала.

Вошел Ваня Крючков. Сел. Опустил ладони меж коленями. И он вспомнил свою сиротскую и безрадостную жизнь. И почему это у молодого и сильного избача так заболело, закололо сердце! Но избач

не должен забывать, что он — избач. Поэтому Ваня встрепенулся и спросил у всех сразу:

— Что будем делать?

— Утром народ надо собрать, — ответил Андрей Михайлович.

И никто больше ничего не сказал. Сидели до полночи. А в полночь Ваня опять спросил:

— Пойдемте?

И все знали, куда надо идти: все пошли в избу-читальню.

Зинаида обшивала черной каймой красный флаг. Федор с Володей украшали портрет Ленина искусственными цветами и черными большими бантами. Ваня писал на красной материи черными буквами: «Вечная память, великий человек!» В эту ночь они делали то, что подсказывало сердце.

Андрей ушел к себе, в сельсовет, сел за председательский столик и думал, думал. Потом вернулся в избу-читальню и сказал Ване, присмотревшись к его работе:

— Неправильно написал — «великий человек». Надо — «великий вождь народа».

— Не надо, — возразил Федор. — «Великий человек» — это всё.

Подумали. Решили писать заново так: «Вечная память великому вождю и любимому человеку!» Эти слова и написали. Потом полотнище нашили на два древка.

Близился рассвет. Замигали огоньки в избах. Андрей Михайлович сказал ребятам:

— Идите. Скажите каждый в двух-трех хатах и — назад.

— Кто будет выступать? — спросил Ваня у Андрея Михайловича. Он, как председатель сельсовета, должен это решить.

— Тебе, Ваня, должно быть.

— Я, Андрей Михайлович, не выдержу… заплачу…

— Тебе надо, Андрей Михайлович, — сказал Федор. — Ты — коммунист.

— Ладно. Буду говорить. А от женщин кто?

Решили: пусть говорят те, кто пожелает, а Андрей Михайлович только начнет.

Не успели ребята вернуться, как народ пошел к избе-читальне и к сельсовету. Каждый заходил к соседу, стучал в окошко и говорил:

— Беда, сосед!

— Что там такое? — спрашивал хозяин.

— Беда. Ленин помер.

И шли вместе. Шли молча. И каждый надеялся: «А может быть, это — неправда».

Дед Матвей так и сказал Володе, постучавшему в окно:

— Не может того быть! Это — неправда. Проверить надо, — и выскочил на улицу.

— Правда, Матвей Степаныч, правда. Телеграмма вечером, с нарочным.

И дед затрусил рысцой в сельсовет, приговаривая: «Проверить надо. Обязательно проверить». Но в душе уже ныла тоска. В сельсовете он увидел Андрея Михайловича и спросил, запыхавшись:

— Правда?!

— Да, — коротко ответил председатель.

И тогда Матвей Степаныч повернулся к портрету Ленина, заморгал, сморщился и сказал тихо-тихо:

— Ильич… Ильич! Что же это ты? А! Бросил?!

Слезы текли у него по морщинам, скатывались по бороде. И он не вытирал лица. Он не знал, что он плачет. Разве ж знал он сам, Матвей Сорокин, что Ленин так ему дорог! Он узнал это только теперь. Стоял старик перед портретом Ленина и плакал, не замечая слез.

А валенки скрипели по селу вразнобой, беспокойно, тревожно. В сельсовете народа — битком. В избе-читальне — полно. На площади люди группами. И все молчали.

Семен Сычев стоял в сельсовете, в углу. Он опустил голову, так, что борода изогнулась. Шапку он держал обеими руками, опустив их вниз. Волосы у него не причесаны (забыл, должно быть) и торчали пучками. Семен ни на кого не обращал внимания. А казалось ему, будто был он один на всем белом свете. О чем он думал, понять невозможно, а мыслей своих не высказывал. Только и на его лице было великое горе.

Но вот Андрей Михайлович встал из-за председательского стола и сказал:

— Давайте выходить, товарищи.

И все пошли.

На трибуне, сбитой наспех, ночью, из двух бричек и ворот, возвышался портрет Ленина, а над ним слова:

«Вечная память великому вождю и любимому человеку!» Около трибуны, впереди всех — Ваня Крючков, Миша, Володя Кочетов, Зинаида и Матрена Сорокина с мужем. Андрей Михайлович взошел на трибуну. Снял шапку. И все как один сняли шапки. Было очень тихо. Изредка бесшумно опускались на землю снежинки. Они крапинками лежали и на головах людей. Андрей Михайлович смотрел на Ленина. Все видели: стоит Вихров рядом с Лениным и что-то думает. А он думал в те минуты об одном: никогда вот так, за всю свою бедняцкую и боевую жизнь, не приходилось отвечать перед Ильичем, отвечать своим сердцем за все, что сделал хорошего и плохого, отвечать под пристальным взглядом народа. Он даже и не знал, о чем он будет говорить, но он скажет что-то очень сильное, необыкновенное, на что в обыденной жизни не способен. И Андрей повернулся к собравшимся.

Лица крестьян были обращены все чуть вверх, на Ильича и на Андрея. Над непокрытыми головами — легкий парок от дыхания. И сколько печали увидел Андрей в этих лицах! Матрена Сорокина смотрела на Андрея сквозь слезы. Крестьяне шапками, будто украдкой, проводили по лицу сверху вниз, не отрывая взора от трибуны. И было всем тяжко.

Но вот Андрей вскинул голову, потрогал себя за воротник рубахи, как бы стараясь расширить его, и начал:

— Дорогие мои, товарищи!.. — Он долго молчал, собираясь с силами, чтобы сказать следующие слова, — Умер… Ленин!!!

Эти два слова он выкрикнул с такой тоской, что вложил в них всего себя, без остатка, все свои мысли. Губы у него задрожали, лицо заходило в судорогах, и он тихо, так, что услышали только передние, сказал:

— Ильич… умер… — И вот на виду у всех закрыл он ладонью глаза и зарыдал.

Потом он стоял уже с открытым лицом и смотрел куда-то вдаль, над головами. И плакал безудержно и безутешно.

Вместе с ним плакали старики и дети, юноши и девушки, стоя неподвижно под открытым синим необъятным куполом неба, подставив головы под мороз.

И все поняли, что Андрей Михайлович сказал все.

Матвей Сорокин подошел к трибуне, потрогал Андрея за валенок. Тот посмотрел вниз. Тогда Матвей сказал:

— Пойдемте по селу.

Андрей подал портрет Ленина. Его взяли Матрена и Матвей Сорокины и понесли вдоль улицы. За ними Ваня и Володя понесли полотнище с прощальными словами, обращенными к Ильичу. Андрей поднял над собой траурный флаг. И все тихо пошли. Все. Взрослые и дети.

Зинаида запела сначала одна:

Вы жертвою пали в борьбе роковой.

Потом подхватили Ваня и Андрей:

Любви беззаветной к народу…

Все пели. Пели кто как мог. Печальные звуки песни поплыли над селом. Так прошли улицу и вернулись назад.

— Еще надо — по нашей улице, — просил дядя Степан Крючков.

Все пошли по второй улице. Так и шли: пели или шли без слов, молча, медленно и торжественно. Потом повернули и на третью улицу, самую короткую. Больше никаких улиц в Паховке не было. Снова вернулись на площадь.

За все время пути по селу Матрена Сорокина не произнесла ни слова. Даже тогда, когда кто-то сказал: «Ильича надо носить по очереди», она молча передала дорогую ношу кому-то из детей. А когда в последний раз пришли на площадь, когда все уже надели шапки, она произнесла первые слова:

— Матвей, надень шапку.

Тот покачал отрицательно головой. Тогда она сняла с себя ситцевый нижний платок, оставшись в старенькой шали, и подала ему. Матвей Степаныч сложил его вчетверо полоской, и подвязал через уши, под бороду. Да так и стоял. А Матрена подошла к Андрею Михайловичу и сказала:

— Хочу… говорить. — Казалось, она берегла слова, боялась расплескать переполнившее ее чувство.

Андрей Михайлович кивнул.

И вот она вышла на трибуну, могучая, высокая крестьянка. Ей пятьдесят три года, а можно было дать на десять лет меньше.

Она подняла голову вверх и увидела пасмурное небо, увидела порхающие снежинки, чуть помолчала. И заговорила протяжно, уныло, как траурное причитание, плач:

— Ой ты солнышко, солнце красное! Что ж померкло ты, тепло-ласково? Не тобой ли, свет, земля теплилась? И не ты ль для людей хлеб и соль несло! А легла зима да суровая; холодно душе да без солнышка. Аль не видишь ты, любо-солнышко, как капель пошла да в мороз лютой? То не дождь идет на снега зимой, то слезу ронит из очей народ. Он уж раз вздохнет, то буран пойдет, а слезу ронит, то — поток горюч. — Матрена уже не говорила, а почти пела, страстно, всем сердцем. Она обратила одухотворенное лицо к портрету и спрашивала: — Ой Ильич ты наш, наше солнышко! Что ж покинул нас посередь путей? Где тропу искать из нужды лихой? Как нам выбраться на белой тот свет из заплат отцов да из бедности?

И пели ее слова в душе многих стоявших с поникшими головами. И многие повторяли ее слова в себе: «Где тропу искать из нужды лихой?» А Матрена продолжала, будто отвечая на свои вопросы:

— Зимним вечером да свет горит в окне, и видать его далеко в пути. Заблудился кто — на огонь пойдет, уморился кто — обогреется. Кто зажег огонь для всех добрых людей? Кто прорезал тьму светом праведным?.. — Матрена подняла руку вверх. — То горит для нас… сердце Ленина! — воскликнула она и протянула к людям обе руки. — Дай бог каждому не терять в пути тот огонь могуч, что Ильич зажег… — Она увидела на рукаве снежинки и продолжала тем же возвышенным тоном: — На руках моих снег студен лежит, а на сердце плач горше горького… Умер наш отец, светел батюшка, умер Ленин наш, светло солнышко. Но не гаснет свет — огонь пламенный, что принес Ильич ко мне на сердце. — И она поклонилась Ленину в пояс, прикоснувшись пальцами к доскам. Потом обернулась к народу и так же поклонилась, по-старинному.

А все стояли потупив головы. Никто не заметил, что последние слова Матрена сказала уже в сумерках.

Огоньки замелькали по селу — в каждой хате огонек.

Огонек горел и у Федора. Он сидел за столом, подперев ладонями подбородок.

Ваня Крючков и Володя Кочетов зашли к Сорокиным. Они потоптались у двери, не решаясь начать разговор.

— Вы чего, ребята? — спросила Матрена, вытирая передником руки.

— Матрена Васильевна, — попросил Ваня, — прочитайте нам в избе-читальне плач. Может — вечером. У нас будет теперь неделя Ленина: каждый день про него будем читать или говорить.

— Ванятка, милый! Да ведь я уж все забыла.

— Как же это так? — спросили оба сразу.

— А так: забыла. Теперь уж не получится.

Ребята ушли. Они сели в избе-читальне и старались записать слова Матрены Васильевны. Но это было очень трудно.

А Андрей не находил себе места. Он пришел к Федору домой. Федор все так же сидел и смотрел в одну точку.

— Сидишь? — спросил Андрей. — Я с тобой побуду. Бобылю и в светлый день в хате пасмурно. А сейчас…

— Ну что ж, побудь.

В ту ночь огни на селе не гасли до рассвета.

За окном уверенно и четко проскрипели валенки, а на крыльце тот же скрип стал нерешительным. В избу вошел Сычев Семен. Федор встал, поднял голову в удивлении, будто хотел сказать: «А этот зачем ко мне?» Но он ничего не сказал и сел снова. А Семен, шурша полушубком, устроился на лавке рядом с Андреем и заговорил:

— Тяжко, братцы… Тяжко… — Он долго молчал. Потом еще сказал: — Напиться, что ли, с горя? А? — и повернул лицо к Андрею.

Андрей ничего не ответил. Семен понял это как знак согласия и вытащил из полушубка полбутылки. Он поставил ее на стол и обратился теперь к Федору:

— При таком горе и нам с тобой, Федор, надо выпить… За согласие.

Федор встал. Он смотрел прямо на Сычева, глаза заблестели, уголок губ презрительно дернулся.

— Пить в такой день! — воскликнул Федор. Он выскочил из-за стола, стал против Сычева, прищурил зло один глаз. — Ты… Семен Трофимыч… уходи. Сразу уходи…

— Что ж, можно, — обидчиво сказал Сычев. — К тебе с добром, а ты опять… — и вышел, захватив с собой водку.

Когда ушел Сычев, Федор снова сел за стол, обхватил голову руками и будто застыл, окаменел. И почему именно в этот день было так жаль отца и так без него тоскливо?

А Андрей через некоторое время сказал:

— Зря ты, Федя, Семена выгнал. Такой день… Пить бы не стали. Пусть бы сидел.

Федор промолчал, не пошевелившись.

С этого дня Сычев Семен и Земляков Федор уже не кланялись друг другу при встрече. Семен проходил мимо гордо и, казалось, спокойно. А Федор, встречаясь с ним, злился.

…Прошло два месяца.

Разрыв между Федором и Семеном все углублялся, хотя прямых разговоров между ними и не было. Правда, ходили слухи, что Семен где-то сказал: «Пожалеет Федька. В ноги будет кланяться». А Федор будто бы передал на эти слова: «В ноги? Да ему их скоро подсекут, ноги-то». Может быть, это все — неправда, а слухи такие ходили. На чужой роток не накинешь платок — люди разговаривали.

Но однажды у них произошла открытая стычка при народе. На собрании пайщиков сельпо выбирали правление. Семен был уверен, что его снова выберут, на третий срок. Он хорошо подготовил все заранее. Но при обсуждении его кандидатуры, когда, казалось, исход уже решен в его пользу, вышел к столу Федор и мрачно сказал:

— Сычев становится кулаком. Имеет наемную рабочую силу… Батрак есть… Три лошади, три коровы…

Кто-то перебил Федора, крикнув:

— Это какие теперь кулаки!

Стоило только одному крикнуть, сбить Федора, как сразу заработали сподручные Сычева:

— Экономическая новая политика, не кулаки!

— Это тебе не с винтовкой ходить!

— Ленинская, экономическая!

Федор возвысил голос:

— А я говорю, будет Сычев таким же кулаком, как и Ухаревы. Вы ему потребиловку всю отдали на откуп, а его нельзя выбирать.

Начался обычный на сходках гвалт. Но в общем гомоне Семен заметил: получилось два лагеря, и нельзя понять, за кого больше.

Момент может быть упущен. Сычев взял слово. Он вышел к столу, хотя и был от него на два шага, дождался тишины и сразу бросил Федору:

— Это ты насчет Ухаревых — к чему? И меня — как Петьку? Или — как своего… — но он не произнес слова «отца». Достаточно было намека, чтобы все поняли, о чем речь. — Так ты и скажи при народе. На стороне-то уж говорил: «Отрублю, дескать, Сычеву ноги». Как это так — «отрублю»? Граждане! Аль уж мы не в Советской власти живем?

Федор стал вплотную перед Семеном. Видавший виды, могучий, сухой парень и широкоплечий, внешне уверенный, краснощекий и крепкий хозяин в упор посмотрели друг на друга.

— А что? — зло спросил Федор. — Что значит — «своего»?

— Тебе виднее, — ответил Сычев. Эти слова он произнес уже усмехаясь.

Собрание притихло.

Федор еще раз с ненавистью посмотрел на Сычева и повернулся, чтобы выйти. Как ни тесно было, а ему дали дорогу, расступились, проводив глазами. Федор ушел домой.

Собрание загудело, заволновалось, загалдело снова.

Крючков встал и прокричал, прерывая шум:

— Тихо!

— Тихо! — сразу закричало несколько голосов, увеличивая гвалт.

Потом все кричали «Тихо!» и наконец поняли, что надо молчать, опомнились. Избач стоял уже у стола.

— Федор говорил правильно, — сказал Ваня Крючков в общей тишине. — Кандидатура Сычева неподходящая. Выбирать его, конечно, не надо: не по той дороге пошел. Комсомольская ячейка возражает: в протоколе записано — «за Сычева не голосовать».

— Нечего нас тут агитировать! — попробовал кто-то перебить.

Но Крючков хладнокровно ответил:

— А я все сказал, не волнуйся, Виктор. Боишься, не отработаешь здесь водку Сычева?

Многие сразу догадались, о чем речь: ведь перед собранием три дня шло пьянство. А Крючков еще спросил с этакой иронией:

— Шмотков! Виктор! Что же ты не отвечаешь? Выходи вот сюда и «агитируй». — Легкая усмешка не сошла у Вани и после того, как он

сел.

«Убил» он Сычева, скромненький секретарь РКСМ, сильнее всего этой репликой. Сычев посмотрел на Ваню: «И когда они выросли, черт бы их побрал!»

Конечно, шумели и еще, спорили, наскакивали друг на друга. Наконец стали голосовать, предварительно потратив добрый час на выборы счетной комиссии.

Провалили Сычева — не провели в правление сельпо.

А всего-то против Сычева было на десять рук больше… Но ничего уже не поделаешь.

— Так, та-ак, — сказал тихо, себе под нос, Сычев. — Значит, «неподходящая»… — А потом отчетливо, для всего собрания: — Кому поверили! — И вышел из помещения.

Но домой он не пошел. Сел на бревна около магазина кооператива. Закурил.

«Значит, затирают… не пущают… Пожалуй, надо обороняться… — зло подумал он. — Я ж тебя спасал, сукин ты сын. Ну смотри! Пожалеешь», — угрожал он мысленно.

Вскоре закончилось собрание. Крестьяне выходили на улицу, закуривали, присаживаясь на бревна или стоя. Сначала курили, лениво переговариваясь:

— Ишь как теплынь взяла…

— Парит.

— От весна дак весна!

— Одно слово — парит землю.

— Парит.

— Да-а… теплынь.

Но из головы каждого не выходили слова, сказанные Сычевым о Федоре, и каждому хотелось спросить, узнать. А Сычев сам затеял разговор, будто продолжая мысли других:

— Н-да… Весна уж так весна!.. Речка тронулась, граждане. Сеять скоро…

«Не о том начал», — подумал каждый из присутствующих.

— А Ефиму Землякову… сеять не придется, — добавил Сычев медленно, завораживая слушателей.

Все насторожились, выжидая, молчали.

— Пропал мужик зазря, — продолжал Сычев после некоторого перерыва. — Ай-яй-яй! Сын — и мог это сделать! — с деланным возмущением и горечью воскликнул он. — Отец же его и в люди вывел — приютил, можно сказать, вора, все простил, а он — вон что… Боже мой, какой зверь — малый!

— Это как понимать? — спросил кто-то сзади.

— А так понимать: Федька ночью яму рыл. Вот и понимай теперь. Хотел, значит, папашу-то зарыть, да, видно, помешал кто-либо… Если б без умысла, то зачем же яму готовить в ту ночь?.. А?

Виктор Шмотков соскочил с бревна, дернул плечом и, сдвинув шапку на ухо, сказал:

— Не может того быть! Я тебя, Семен Трофимыч, уважаю. Конешно, уважаю… Этого… Как его… Куды ж денешься. Но только не будет Федька яму рыть. Я его смалу… — Виктор не докончил, смутился, потому что Сычев посмотрел на него строго, и глаза его говорили: «Ты ж, мразь, вчера у меня водку лакал, на выборах не защитил и теперь возражаешь».

Все встали и сгрудились около Семена. Кто-то сказал:

— Следствие было, — значит, без умысла.

Из толпы голос:

— А докажешь, Семен Трофимыч? А то за поклеп-то по головке не гладят.

— Да хоть сейчас! Яму хорошо видно — снег потаял. Пошли! — Сычев решительно встал и закончил твердо: — Докажу!

Беспорядочной гурьбой направились к избе Земляковых, шумно переговариваясь на ходу.

Брат Петьки Ухаря, Степка Ухарев, крепкий задорный курносый парень в треухе набекрень, громко спрашивал у Сычева:

— А случаем, если взаправду убил, то что же ему, зверюге, за это?

Сычев дернул за рукав Степку, отстал с ним от толпы.

— В суд подавать — замнут, — зашептал Сычев, — Они все за него. А тут и проучить. Петьку вспомнишь. Понятно?

— Оч-чень понятно!

Они быстрым шагом догнали толпу и слились с нею, следуя в самой задней группе.

Сорокин Матвей пришел с собрания и сел обедать. Но, увидев из окна народ, вышел узнать, в чем дело. Толпа все росла и пухла;

женщины, ребятишки, мужчины, узнав, в чем дело, вливались в толпу и шли к Земляковым. Матвей подозвал Виктора Шмоткова и спросил:

— Что случилось?

— Говорят, Федька с умыслом убил отца — яму готовил. Идут узнать.

Матвей заволновался и зачастил, взяв Виктора за пуговицу рваного пиджака:

— Витька, не верь! Неправда, Витя! Недоброе затеял кто-то. Помнишь, цыгана убили зазря? Где Ванятка Крючков?

— Он прямо с собрания ушел с ребятами на речку. Там вся молодежь. А что, дядя Матвей?

— Так, ничего… Неправда, Виктор, не верь.

— Ей-боженьки, не верю, дядя Матвей. Я ж Федьку знаю смалу.

И вдруг Матвей Степаныч сорвался с места и, как был, без шапки, в одной рубашке, распоясанный, побежал к речке.

Глава седьмая

А весна разыгралась. Таял снег. Веселей чирикали воробьи. Теплынь на дворе такая, что так и кажется — разомлело село, расквасилось. Земля стала пегая — пятна чернозема вылупились проталинами. Оставшийся снег стал рыхлым и беспомощно расползался во все стороны от проталин. Чернозем выпирал, парился, казалось, дышал, когда припарит солнышко. Будто чувствовал чернозем, что подходит освобождение, хотя по ночам морозы еще прижимали его, обнимая ледяной кромкой. Но солнце настойчиво и ежедневно помогало чернозему. А он, вздыхая полной грудью, расталкивал, распирал снег.

Бабы возились с холстами, расстилали на день, выбеливали. Перед каждой хатой полоски холстов. Зиму-зимскую журчали прялки, а теперь перестали. Теперь весна — белить надо. Утром появится несколько серых полосок перед окнами, на улице, а к вечеру, смотришь, они уже не серые, а белесые. Через несколько дней лежат уже белые-белые, как ровные дорожки снега, полотнища холстов.

Весна наступала на зиму быстро, напористо. Только бы и веселиться, а с Зинаидой творится неладное: похудела сильно, девчат в

дом не пускает и сама никуда не ходит. Всем заметно — тоска у нее. Вскоре слух был: будто из петли вытащили. Удавиться хотела. Может, и врут. Но народ заволновался, заговорил по закоулкам: «Не к добру это. Ох, не к добру!» Никто ничего не знает про тоску Зинаиды, а болтают.

А она стояла в тот день в избе, смотря перед собой в одну точку невидящими глазами.

Ей уже за двадцать перешло — в деревне считается под годами. Смуглая брюнетка, как и все Земляковы, с высокой грудью и резко очерченными, почти не изогнутыми бровями и длинными ресницами. Парни заглядывались на нее, но она всегда какая-то задумчивая, недоступная. С нею не пошутишь, как с некоторыми, не обнимешь, не пришлепнешь шутя ладонью по лопаткам. Сватались — отказала. В богатую семью, и отказала. А все дело в том: сидит у нее в сердце Андрей Вихров. Любит она его, а он ее не замечает, считает, видно, девчонкой. А какая же она девчонка, если и всего-то только на восемь лет моложе его. Но разве ж скажешь ему об этом! Разве ж можно девушке открыть такую тайну. Во всем селе только она одна знала о своей безнадежной любви, никому не открывалась и не показывала виду, даже — Андрею.

Разве до сватов ей. А ее стали считать гордой: женихов отшивает, ни с кем не гуляет. Зато уж если она запоет грудным чистым голосом «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина» да заставит девчат подпевать хором, без слов, с закрытыми ртами, то никому она тогда не казалась гордой. Бывало, с матерью на сенокосе, вечером, запоют в два голоса эту песню, то не одна женщина всплакнет в передник. А косарь остановится, потупившись, опершись на рукоятку косы, и подумает: «Земляковы поют, брошенные»… От матери у Зинаиды не было секретов. Ах, если бы она была жива! Спрятала бы Зинаида у нее лицо на плече, выплакалась бы и все рассказала. Кому расскажешь? Кого пустишь в свое сердце?

После смерти матери отец стал ласков к Зинаиде. Хотя эта ласка была суровой, как и он сам, но она чувствовала, что в отце большая перемена, другим становится. Ждала, старалась помирить их с Федором, надеялась на ладную жизнь. И вдруг сразу: убит! Все кончилось.

…Когда Федор пришел с собрания, Зинаида стояла посреди избы и неподвижно смотрела куда-то перед собой. Внутри у нее тягостная, знобящая боль. И казалось ей, что изба наполнялась мощными и мучительно тоскливыми звуками. Она заломила руки так, что хрустнули пальцы, и прошептала:

— Папаша! Федя! Мои родные!

Федор подошел к ней, положил руки на плечо и ласково сказал:

— Зина… Плохо тебе?.. Зина!

Она молчала.

— Поезжай в город. На фабрику устроишься, легче будет.

Молчала Зинаида.

Федор видел — недоброе творится с ней. Жаль сестру — пропадает. Он сел на лавку и сказал:

— Поди погуляй. На речке молодежь. Поют. Сходи, Зина, сходи.

Она низко опустила голову и тихо пошла к двери. Федор посмотрел ей вслед и закрыл лицо ладонями.

А весна разгуливается все больше. Вода бежит, спешит, журчит, позванивает. Земля парит, дышит. Вторит этому дыханию и Паховка. Дрянненькое это селишко: избушки — из глины да соломы, леса нет на десять верст кругом, поля, да равнины, да буераки глубокие. Но зато есть речка Лань — маленькая, вилючая, быстрая; бежит она в крутых бережках, вечно беспокойная и неунывающая. А в половодье все веселье на речке. И тогда берега ее полны народа: там и молодежь, и старики, и дети — всем хорошо смотреть на весеннюю воду. В тот памятный для села день на реке много было молодежи, много радости и веселья, так много, что, казалось, не вода разлилась, а звуки песен и смеха дрожат мелкой рябью. Шумит водичка, шелестят малюсенькие льдинки, стучат друг о друга, спешат-спешат, толкаются, беспокойные. Шумит и молодежь — поет, балагурит, топочет каблуками.

Над кручей «разрезала дух» балалайка, а он и она выхаживали «барыню». Помаленьку все стянулись к плясунам.

— Ух ты! Смотри: Анютка-Змей пошла плясать! — .крикнул кто-то. — Бежим туда!

— А с ней кто?

— Володька Красавица, браток ее.

— Эти сделают на горé грязь.

А Змей под дробь каблуков припевала:

Я любила, я любила
Все четыре месяца —
Январь, февраль, март, апрель,
Теперь хочу повеситься.

— Наддай! — слышались одобрительные голоса. — Володька! Дай!

— Ух, ух, ух! — разламывался, разминался Володя Кочетов, выхаживая перед Анюткой.

А та притопывала и задорно вызывала его, выговаривая в такт:

Двух любила —
Ваньку, Степку.
Мать узнала —
Дала трепку!

— Тра-та-та! Тра-та-та! — затараторил Володя и сквозь дробь бросил частушку:

У Сычева три коровы,
Три лошадки, три свиньи:
На кулацкую дорогу
Его черти занесли!

Частушки в такт «барыне» сыпались беспрерывно. Плясали поочередно и не переставая: умеешь — не умеешь, а очередь подошла — выходи.

Несколько парней гурьбой приближались к плясунам. Один из них, Ваня Крючков, затянул:

Как родная меня мать
Провожа-ала-а!

Другие подхватили:

Как тут вся моя семья набежала-а-а…

Голос Вани выделялся из всех. Хороший голос! Далеко отдавался гомон людской, эхом летели по речке выкрики и песни и где-то там сливались с водой, будто вместе с нею убегали туда, где еще теплее, где в море широком незаметны капельки Лани. Молодежь радовалась весне, воде, радовалась друг другу. Юность никогда нельзя поместить в берега, как речку: все равно где-то прорвет и берег.

А на излучине реки, где стояло несколько больших ветел, сидела Зинаида и неподвижно смотрела на разлив. До нее с берега доносились звуки бурного веселья, и от этого еще тоскливее становилось на душе… И вот она сначала тихо-тихо, потом громче и громче запела:

Не брани меня, родная,
Что я так люблю его,
Скучно, скучно, дорогая,
Жить одной мне без него.

Бархатный, сильный, полный горечи и тоски голос плыл по воде, дрожал в воздухе и замирал где-то далеко-далеко.

И всем-то эта песня была знакома, но так ее никто не мог петь душевно, проникновенно, как Зинаида. На берегу услышали песню. Остановилась пляска, прекратились частушки, замолчала, смутившись, гармонь.

А Зинаида пела. Она вспоминала мать, жалела Федора, тосковала об отце, мучилась безысходностью горя. Перед глазами, затуманенными слезами, стоял Андрей, как живой. Стоит, смотрит на воду и не замечает Зинаиду. В тот опьяняющий весенний день она смутно сознавала, что это мираж, но… он стоял и не замечал. И жизнь показалась ей пропащей и никому не нужной. Выхода не было.

Зинаида не слышала и не видела, как Матвей Сорокин пробежал к молодежи, запыхавшись, бежал без шапки. Все произошло без нее.

Матвей еще издали, увидев Ваню Крючкова, кричал:

— Беда-а! Беда!

Ваня побежал ему навстречу. Ребята — за ним. Все забыли про Зинаиду и уже не слышали ее песни.

— Идут! — кричал Матвей. — Ваня, идут! Федю бить идут. Скорей! Ребятушки, скорей!

Все бросились бежать к Федоровой избе.

Берег опустел.

Только одна Зинаида осталась под ветлами. Она пела, обхватив руками колени, не замечая ничего вокруг:

Мне не надобны наряды
И богатство всей земли…
Кудри молодца и взгляды
Сердце бедное зажгли…

И плыла ее песня, наполняя все вокруг тоской и отчаянием, просила любви и ласки, жаловалась. Звуки песни донеслись и в село, но застряли в соломенных крышах и в рокоте толпы, ворчащей, чавкающей сапогами по навозной грязи, веками накопленной у надворья.

На бегу Ваня что-то кричал ребятам.

Но он не знал, что у избы Земляковых уже сгрудилась толпа.

Над селом висел гвалт. Около крыльца несколько мужиков напирали на милиционера, настойчиво выкрикивая:

— Узнать пришли! Не мешай!

— Народ сам знает, без тебя!

— Сторонись!

— Не могу! — старался перекричать милиционер. — Нельзя! Р-разойди-ись!

На крыльцо поднялся Сычев Семен и обратился к толпе:

— Товарищи! Пущай сам Федька покажет. Може, врут про яму. Поклеп-то на человека недолго навести. А може, и ямы нету никакой. Ежли есть яма, тогда другое дело. А може, ее нету!

— Пока-ажь!!! — завопили сразу несколько человек.

Вплотную к милиционеру приблизился Сычев и тихо ему сказал:

— Ты уходи, мил человек. Народ сейчас сурьезный: могут тебя того… Душевно говорю, жалеючи.

Милиционер растерялся. Толпа завыла:

— Сла-азь! Сла-а-а-а! А-а-а-а!

— Бей милицию! — орал Степка Ухарев.

Толпа хлынула к крыльцу. Милиционер подался в сени, оттуда — во двор и верхом — в волость. С крыльца уже командовал Сычев:

— Сперва, граждане, надо разобраться. Пущай закон решает.

— Как это закон?! — заорал Степка.

— Самого будем спрашивать? Аль как? — крикнул Сычев в толпу.

— Само-о-о-а-а!!! — рявкнула толпа.

Благожелатели Федора хотели, чтобы он рассказал сам. А врагам только того и надо было, чтобы он вышел из избы. Поэтому так дружно и рявкнули в ответ на вопрос Сычева.

Сычев скрылся в дверях. Он распахнул дверь в избу и сказал Федору, сидящему неподвижно за столом:

— Выходи. Народ требует.

Через минуту, не больше, вышел на крыльцо Федор.

Он — в одной рубахе, с расстегнутым воротом, без шапки, с цигаркой во рту.

Сразу в толпе стало тихо. Кто-то позади сказал шепотом:

— Господи!

Совсем тихо сказал, а всем слышно.

Федор повел глазами по толпе, выбросил цигарку и спросил:

— Вы чего собрались, товарищи? — А сам на Семена оглянулся.

Семен в него уперся взглядом. Опять встретились!

Федор повернулся снова к толпе и ровным, спокойным голосом сказал:

— Я расскажу всю правду… Промежду сарайчиками ямка накопана. То — я копал… Но только…

Сразу прорвалось. Никто не дослушал. Толпа хлынула во двор, наперла сотней тел. Смотреть яму! Плетень сбили, курник свалили. Вылетели куры. Кто-то оторвал голову курице и пустил пух над толпой. Передним видно яму, задним не видно — прут, теснятся, душатся. Кто-то крикнул:

— Пущай и сам идет!

— Нехай доскажет! — надрывался Виктор Шмотков. — Не может того быть! Пущай доскажет сам!

Над толпой повис рев Степки Ухарева:

— Убивца давай!!!

— Сторонись! — зычно гаркнул Сычев в ответ на рев Степки.

Расступились. Сычев шел впереди, за ним — Федор.

Федор стал спиной к ямке, лицом к толпе. Прямо перед ним — Степка Ухарь. Позади — Сычев.

Тишина жуткая.

Федор поднял руку и что-то хотел сказать, но вдруг его обожгла догадка: «Неужели кто-то подумал, что ямка эта для папашки готовилась?» Лицо его загорелось, в висках застучало: «Кто же, кто придумал такое?..» Неожиданно он резко повернулся лицом к Сычеву и дико закричал:

— Что же ты!!!

Но… не успел сказать того, что хотел. Степка из всей силы ударил Федора кулаком в затылок.

Ткнулся Федор лицом к ноге Сычева, а тот — пинком в живот, чтобы никто не видел удара. Чуть слышно Федор крякнул, встал и резким, страшным голосом, какого от него никто не слышал никогда, прокричал:

— Не убил!!! Все расска…

Третий удар Степки оглушил его совсем. Федор упал. Степка с размаху прыгнул обеими ногами на грудь — хрустнуло… Били. Топтали.

Били только человек пять, а вся толпа шевелилась в недоумении, плотно окружив их, стонала, кряхтела, женщины вопили. Казалось, все нарочито мнут друг друга, напирая на середину. Так продолжалось не более минуты. Но ведь в минуте — шестьдесят секунд! Это страшно много! Только одна минута, а как удивительно долго.

Именно в ту минуту и прибежали ребята с речки.

— Что они делают, сволочи! Не дава-ай! — крикнул Ваня Крючков.

Поднялся гвалт снова, хотя Федора уже не били, — он лежал недвижимо где-то внутри месива толпы. Драка пошла уже между собой, а казалось — все еще бьют Федора. Ребята бросились к средине, расталкивая баб. Сорокин Матвей тряс бородкой и кричал, пробиваясь к центру круга:

— Что вы делаете, зверищи! Ахальники! Мужики, тащите их за шиворот, подлецов! — Пробившись все-таки в средину, он набросился

сзади на одного мужика, вцепился, как клещами, сухими пальцами ему за шиворот рубахи и рвал на себя изо всей силы, крича: — Идолы! Анчихристы! Разбойники! Что вы делаете?!

Ворот рубахи подался, рубаха разорвалась пополам. А тот мужик, уже с обнаженной грудью и животом, повернулся к Матвею и ударил его наотмашь. Падать было некуда: Матвей стукнулся спиной о ближайших и снова впился ногтями в шею, но уже — Сычеву. Тот, не глядя, рывком толкнул могучей рукой в грудь Матвея. Старик зашатался, осел в толпу, охая. А через несколько секунд с трудом, поднялся и вновь бросился защищать Федора.

Ваня Крючков кинулся в избу Федора, он что-то, видимо, придумал. Бежал он туда бешено. Он тоже был страшен. На бегу нечаянно сбил двух баб.

Виктор Шмотков пробился в гущу толпы и молотил длинными руками всех, плача и выкрикивая:

— Не тронь! Не тронь Федьку!

Трусишка и врун, он был смел только в пьяном виде. А в ту минуту совершенно трезвый, он забыл, что драка жестокая.

Женщины кричали:

— Витька! Тащи его за шею! За глотку его, за глотку оттаскивай!

Но Виктор ничего не слышал и не видел — лупил сверху вниз сразу двумя кулаками. Его ударили пинком в живот. Он скрючился и пронзительно завизжал по-бабьи.

В центре толпы все смешалось: Степку кто-то бил, Степка Ухарев снова топтал Федора.

Вдруг сверху, будто с облаков, дикий крик:

— Разойдись!!! Стреляю!

И прямо в толпу — выстрел! Бабы ахнули и побежали в разные стороны. Мужики попятились и невольно подняли головы. Еще выстрел! В слуховом окне избы торчало дуло охотничьего ружья и лицо Вани. Стрелял он холостыми патронами, без дроби. Первый выстрел был настолько неожиданным и резким — над ухом! — что все сразу отхлынули. Степка в последний раз ударил сапогом — по мягкому, красному — и побежал прочь.

Несколько комсомольцев бросились за Степкой.

Толпа быстро таяла. Миша стоял над Федором, слегка пошатываясь, и безумно смотрел на него без слез, в ужасе.

Оставалось всего несколько человек, стоявших поодаль. По улице бежал мальчик лет семи и надрывно кричал:

— Мама-а! Мама-а!

Ваня тихонько тронул оцепеневшего Мишу и пошел. Тот молча последовал за ним.

Несколько мужчин во главе с Матвеем Сорокиным перенесли Федора в амбар. Матвей приложил ухо к его груди, послушал и сказал:

— Кажись, бьется. Не пойму. — И побежал трусцой за подводой, чтобы отправить в больницу. На бегу он повторял: — Може, жив, може, жив! — Потом заплакал, вытирая рукавом слезы: — Може, жив! Може, жив!

Никого не осталось на месте страшного происшествия. Лишь разоренный, сплющенный курник валялся безмолвным свидетелем. Да куры вышагивали вокруг хаты, осторожно оглядываясь по сторонам, выискивая место для ночевки.

В тот день Андрей Михайлович был в волисполкоме. Ему позвонили по телефону в самый разгар самосуда, и он прискакал на взмыленной, лошади тогда, когда все уже кончилось. Он обошел вокруг Федоровой избы и понял все. Застучало в висках… Распахнул дверь амбара, нагнулся над Федором и, отшатнувшись, схватился за голову, воскликнув:

— Пропал Федя! Пропал малый! — Потом стал перед ним на колени и проговорил: — Вот тебе и земля… Не такая нам земля нужна… Не такая.

Позади него послышались тихие, неуверенные шаги. Он обернулся. К дверям амбара подошла Зинаида. Расширенными глазами она смотрела на Андрея. Он вскочил и метнулся из амбара, прикрыл за собою дверь и прижал спиной, не спуская глаз с Зинаиды. Он не хотел, чтобы Зинаида видела Федора сейчас, окровавленного, но… Она подошла к Андрею близко-близко, и он увидел в ее глазах великое страдание. Легонько и, как показалось Андрею, нежно она отстранила его и распахнула дверь.

Зинаида подошла к Федору. Стала над ним, недвижимым, чуть-чуть покачиваясь, еле держась на ногах. Потом вышла из амбара к Андрею. Андрей увидел ее почти безумные глаза. «Пропала девушка», — горько подумал он.

— Зина… Зина, — и, положив руку ей на плечо, старался утешить: — Зина, не надо так. Побереги себя-то. Ты еще нужна Мише.

А она, ослабев совсем, стала медленно и беспомощно опускаться на землю. Он подхватил ее под мышки, стал на колени, поддерживая ее, и смотрел на побледневшее, почти серое лицо.

Она припала к груди Андрея, вздрагивая от рыданий.

— Зина, не надо так… Не надо. Девушка ты моя несчастная, — сказал он, не придавая словам значения. Других слов не находил, потому что было тяжко.

Вдруг она встрепенулась, глянула ему в глаза, встала и пошла в избу. Но, не дойдя до крыльца, обернулась и спросила:

— Где Миша?

— У Крючковых, — ответил Андрей.

— Я пойду туда. — И она повернула обратно — пошла вдоль улицы. Андрей проводил ее взглядом и подумал: «Кажись, отошла — соображает». И ничего-то он не понял. Того, что он мог бы уменьшить ее боль, не понял ничуть. Не мог догадаться, какое место он занял в сердце девушки.

Андрей долго стоял над Федором. Дробный стук колес вывел его из оцепенения. Подъехала подвода. Федора положили на телегу, накрыли дерюгой и повезли в больницу, в Козинку. Жив не жив, а везти обязательно: наверно, вскрывать будут, если даже и мертвый.

Вечерело. Солнце ниже спускалось. Спускалось и краснело. И с одного бока поджаривало облачко. Легонький ветерок предвечерней дрожью пробежал и остановился, задумавшись. С колокольни разбитый субботний колокол чахоточным лаем кашлял: дррян-нь… дррян-нь… дррян-нь…

От солнца полкруга осталось. Вот оно и совсем скрылось. Краснота сползала с неба и заслонялась синим. С востока уже лезло темное. Вот уже и вечерняя звезда появилась и несколько времени мерцала одна… Через полчаса много загорелось звезд. Небо хорошим стало. Смирное-смирное небо. Опустился на беспокойный чернозем сизый вечер, наполненный горем.

Тишь.

Две старухи последними прошли, как тени, из церкви. Великий пост. Семь недель пили «кровь Христову», исповедовались. А сегодня

выпили всю кровь у Федора. Молитесь, замаливайте! Сычев тоже пойдет говеть, обязательно.

Опять ветерок пробежал и затих уже на всю ночь.

На реке льдинки шушукались, всю ночь толкались, беспокойные.

В полночь завыли наперебой собаки, перекликаясь, напоминая селу о позоре.

…А утром нашли Степку Ухарева: он лежал в густом лозняке, связанный, весь в полосатых синяках, выпоротый до полусмерти розгами. Измочаленная лоза валялась тут же.

День в Паховке был мрачным. После тихой ночи погода резко изменилась. Сплошные облака затянули небо, к середине дня заморосил дождь, подул холодный, пронзительный северный ветер. Казалось, небо негодовало.

Глава восьмая

Андрей с глазу на глаз поставил перед следователем вопрос так:

— Не раскопаешь — до губернии дойду.

Следователь, тощий, морщинистый старичок, спокойно объяснял, глядя поверх очков:

— Все оказалось очень сложно. Тут не один самосуд, а два. Это — во-первых. Все, кто утверждает, что это дело рук Сычева, отсутствовали… Вас не было? Не было. Крючкова не было? Не было. Он прибыл на место происшествия, когда драка пошла сплошная, между собой. Это — во-вторых. Из всех допрошенных очевидцев только один гражданин и показал против Сычева, но и тот гражданин не видел, как началась драка. Это — в-третьих… Очень сложно. Очень… Я — следователь дореволюционного закала, многое видел, а все-таки считаю это дело очень и очень запутанным.

— Кто показал против Сычева? — спросил Андрей.

— Не имею права разглашать, — ответил следователь, разводя руками. — Не могу.

— Все равно знаю: Матвей Сорокин… Он? — угрюмо допытывался Андрей.

— Между нами: он, — вполголоса ответил следователь.

— А Шмотков Виктор? — не унимался Андрей.

— Шмотков? — Следователь стал копаться в бумагах. — Шмотков… Посмотрим… Шмотков… — Он нашел в деле нужный лист. — Та-ак… Шмотков… Ничего существенного. Вызываю второй раз.

— Сам-то ты уверен, что Сычев виноват?

— Нет. Не уверен. Всякий самосуд — круговая порука. Это — во-первых. Фактически, Земляков вновь вызывает подозрения в умышленном убийстве. Это — во-вторых. Понимаете?

— Ничего не понимаю! — воскликнул Андрей.

— Тогда к вам еще один вопрос: вам лично Земляков говорил тогда о яме или нет?

— Не говорил, — настороженно ответил Андрей.

— Вот видите! От всех скрыл… Дело сложное.

— Не может он — умышленно. Голову мне руби — не поверю.

— А мне мало — просто верить. Мне нужны факты. Вот если бы Земляков был жив… и его бы допросить, тогда… — Следователь осекся, замолчал.

— Куда там… — тихо, с горечью сказал Андрей и глубоко вздохнул. Потом добавил: — Если бы только остался жив… — Он подумал и, не поднимая головы, спросил: — Что — «тогда»?

— Тогда так: если только Земляков подтвердит, что его ударил первым Сычев, то сделаю очную ставку. И снова придется допросить обе стороны.

— Пошла волынка! — раздраженно воскликнул Андрей.

— Да что же вы, товарищ председатель, не поймете! — разгорячился следователь. — Ведь «сторона» против Сычева состоит из одного человека! Все обвинение падает главным образом на Степана Ухарева. А он сам на ладан дышит.

— Ну и каша! — усмехнулся Андрей.

— Вот она и каша.

В дверь просунулась всклокоченная, жидковолосая голова Виктора Шмоткова.

— Заходите, — пригласил следователь.

Виктор вошел и стал у двери, переминаясь с ноги на ногу. Андрей вышел.

— Садитесь, — равнодушно сказал следователь.

— Постоим, — ответил Виктор, — Не господа… сидеть-то.

— Садитесь, — повторил следователь тем же тоном.

Виктор сел на край стула.

— Гражданин Шмотков! Вы уже предупреждены об ответственности за дачу ложных показаний. И еще…

— Так точно. Мы всё понимаем.

— И…

— Я — как на духу.

— Подождите. Отвечайте на вопросы… Вы поддерживали гражданина Сычева на выборах в правление кооператива?

— Так точно.

— Почему?

— Хозяйственный мужик… И вопче…

— Водкой он вас поил перед выборами?

— Никак нет, — соврал Виктор, — не поил. Что я, без него не могу выпить? — А потом сказал правду: — На собрании я был трезвый.

— Это верно?

— Во! — И Виктор торопливо перекрестился, — Совсем трезвый.

— Теперь расскажите по порядку: как начался самосуд?

— Самосуд?.. Драка, значит. Так… Сидим мы с Аленой дома, завтракаем.

— Кто это — Алена?

— Жена же моя! Да. Сидим, завтракаем.

— Да вы о драке давайте, — направлял следователь.

— Так мы ж о драке. Сидим, завтракаем, Алена мне и говорит: «Ты бы, Виктор, сарай перекрыл. Течет ведь, как решето». Ну и, конешно, давай меня ругать.

— Я прошу еще раз: о драке говорите.

— А мы о чем? И я — о драке… И давай меня ругать. Такой да сякой. Одно слово — баба. А я ей говорю…

Следователь встал. Он уже начинал волноваться. Потом сел и спросил:

— На собранье вы с кем шли?

— Дак я дойду до этого. Вы ж просили — по порядку рассказать… О чем уж я?.. Да! А я ей и говорю: «Не до крыши мне. Собранье нонче». И в ту пору ж десятский стучит в окно: «На собранье!» И я пошел. Ну, пришел. А там покурил… Оно и началось.

А об собранье чего ж говорить: обнаковенное дело. А Сычева не выбрали.

— Это вы все уже говорили. Записано. И то, что Земляков выступал против кандидатуры Сычева, записано в ваших показаниях.

— И Крючков выступал, — добавил Виктор. — «Не надо его», — говорит. Ну, мы пошумели, пошумели и… не выбрали. А мне что? Не выбрали и — ладно. Небось. Кого бы ни выбрать, абы выбрать.

— А потом?

— А потом я поспорил с Сычевым. Он говорит…

— На собранье?

— Да нет же! После собранья. Он говорит: «Федька убил умышленно», а я говорю: «Не может того быть». Ну, спорили, спорили да и пошли ямку смотреть — есть она или нет ее. И встречается мне дядя Матвей Сорокин. И говорит: «Здорово, Виктор! Далеко?» — «К Земляковым», — отвечаю. «Зачем?» А я ему толком: «Будто Федька ямку того»… Ну он не пошел со мной. А я Федьку смалу знаю. Брешут, думаю. Вот я вам расскажу, как он волка убил. Дело было…

— Не надо про волка. Не надо!.. Ну, пришли вы к избе Землякова…

— Пришли. Точно.

— Кричал Сычев слова: «Пусть закон решает»?

— Кричал. Точно, кричал.

— А кричал он так: «Поклеп на человека недолго навести»?

— Кричал. Врать не буду: кричал.

— А когда шел к яме Земляков, то кто был впереди: он или Сычев?

— Сычев был впереди. А Федька сам шел, за ним.

— А кто Землякова ударил первым?

— Не видал. Ей-бог, не видал. Куды ж денешься! — Виктор тут говорил чистую правду — он действительно не видел.

— А вы лично тоже дрались?

— Так точно. Дрался.

— Кого вы били?

— Я?

— Вы.

— А уж и не припомнишь… Кого? — Виктор задумался, вспоминая. — Сычев меня ударил — помню. Я его ударил — тоже

помню. Пожалуй, я ему разов несколько давал тумака… Я если уж дам — так да-ам! У меня, брат…

— А почему вы дрались?

— Мы?

— Вы, лично вы.

— Я — за Федьку. А кто — и за Степку Ухаря. Ну и пошла! Мне под микитки двинули, я и скопытился. А как опамятовался, то Степка последний раз ударил ногой Федьку.

— Значит, гражданин Ухарев бил Землякова много?

— Бил. Точно. Видал. И я ему, Ухарю, за это самое нос расквасил. Не тронь Федьку! Я его смалу знаю… Да и мне попало… Бок вот болит — дыхнуть невозможно… Куды ж денешься — драка!.. Он и Степка-то помрет, наверно. Совсем плохой. Одно слово — драка. А Федьку жалко… — Виктор зашмыгал носом, забеспокоился, почесал голову и опустил взгляд в пол. — Жалко Федьку… Пропал.

Следователь пристально посмотрел на него и совсем ласково спросил:

— Товарищ Шмотков! Вы уважали Федора Землякова?

— Ага. Уважал.

— Так скажите начистоту: Сычева это рук дело? Не подговаривал ли он кого? Не слышали ли вы такой слух от кого-либо?

— Не-ет, не слыха-ал, — удивленно протянул Виктор.

— А за кого же дрался Сычев? — в упор спросил следователь.

— За Степку, что ли… Аль разнимал да и сам бился… Тут уж я не пойму. Оно ведь там один момент и был: склубились и сразу — раз-раз! Глядь: человека убили! Вот ведь какое дело.

Не заметил Виктор вгорячах, что Семен Сычев в той свалке защищал то самое место, где Степка мстил Федору. Сычев грудью своей заслонил Степку и Федора. И Виктор говорил следователю только то, что знал. Выходя от следователя, он угрюмо повторял:

— Жалко Федьку. Жалко… Куды ж денешься!

Так по ходу следствия все шишки упали на Степку Ухарева, а Сычев остался в стороне.

Трудно было добиться, кто «распорядился» над Степкой, кто вывернул руку Сычеву. Бабка-костоправка утверждала, что «вывернута была наоборот». К тому же Степка пролежал всю ночь на сырой холодной земле и теперь все равно не жилец на белом свете. Он,

Степка, даже и следователю не сказал, кто устроил над ним расправу. Сколько тот ни сидел у его кровати, Степка долбил одно и то же: «Не помню. Память отшибли». Семен Сычев еще и перед следствием, кое-где пускал в ход большие деньги, бегал вечерами по избам, хлопотал. В результате следователю в большинстве отвечали: «Не знаем» или: «Разве ж в такой драке разберешь?» Кроме того, в «деле» оказалась кипа показаний, среди которых чаще всего повторялось: «Гражданин Сычев первым кричал: „Пущай закон решает“…» «Гражданин Сычев крикнул перед всем народом: „Поклеп-то на человека недолго навести“…»

Так незримо Сычев держал село в своих руках, оставаясь в стороне.

Но Андрей Михайлович снова пришел к следователю и снова угрюмо спросил:

— Кто виноват, по-твоему? Говори прямо.

Следователь отвечал так же спокойно:

— По ходу дела выяснилось: первое — за начало самосуда виноват гражданин Ухарев. Его надо привлекать. Второе — виновных за избиение гражданина Ухарева не установлено. Обвинение против гражданина Сычева пока не подтверждается. Вот пока и все.

— Что же делать?

— Ждать выяснения состояния здоровья гражданина Землякова и гражданина Ухарева.

— Значит, дело отложить?

— Временно.

— Ты ж мне душу царапаешь! — крикнул неожиданно Андрей, стукнув кулаком по столу.

— Вы успокойтесь, успокойтесь. Не надо так волноваться. Если оба противника останутся живы, то выясним. Обязательно выясним.

— А если помрут?

— Дело закроется.

Андрей встал. В его глазах была неприкрытая злоба.

— Сейчас выясняй. Сейчас, — потребовал он.

— Но вы понимаете, что я не могу возбудить уголовное дело против гражданина Землякова, так как его самого-то нет?

— Как так — «против Землякова»? — удивленно спросил Андрей, привстав.

— Обязательно. И против Ухарева — за самосуд, и против Землякова — за умышленное…

— Пошел бы ты… к черту! — раздраженно перебил Андрей. — Никакого дела против Федора возбуждать не будешь. Понял? Следствие было тогда: все правильно. Не было умысла. Ручаюсь.

— Вот видите, как вы не понимаете простых вещей в законах. «Ручаюсь»! Докажите. Дайте свидетелей, дайте факты.

Андрей был бессилен против таких доводов. Но он в тот же день сам вызвал Сычева в сельсовет. Разговор был у них наедине.

— Ты все состряпал? — рубанул Андрей без обиняков, глядя ему в глаза, пронизывая насквозь.

Семен Трофимыч стоял перед ним понуро и молчал.

— Ты?! — уже крикнул Андрей. — Душу вытрясу, а допытаюсь! Пристрелю! Тут же, на месте, сейчас! В тюрьму пойду, а не брошу этого дела! Ну?

И Семен Трофимыч поднял взгляд на Андрея. Тот увидел, как крупные слезы катились из глаз Сычева, стекали по бороде и падали на пол. Андрей опешил, не сводя с него глаз.

— Андрей Михалыч, — начал тихо Сычев, — Ужели ж ты… мог подумать?.. Господи боже! Что же это такое… Да рази ж я… — Он закрыл ладонью лицо. — Рази ж я пойду на это?.. Аль уж я — убивец! За что же я его стал бы убивать? А? Я ж — христианин… — Он отвернулся в угол и вздрагивал всем телом. — За что? За что ты так? Андрей Михалыч?.. Я к тебе — всей душой, а ты… — И вдруг он круто повернулся к Андрею, рванул ворот рубахи, выставил обнаженную грудь и крикнул: — Стреляй! Бандиты не убили, так ты убей! Стреляй!!! — И совсем тихо сказал, не изменяя позы: — Лучше смерть…

— Ты… что? — только и нашелся что сказать растерянный Андрей.

— Убей, — твердо сказал Семен Трофимыч. — Тяжко жить… Или… Или дай наган — сам себя прикончу. А ты… не будешь виноват.

— Постой! — вдруг крикнул Андрей, будто о чем-то догадавшись, — Клянись, что не виноват! Клянись!

— Клянусь — не виноват, — твердо и не раздумывая, сказал Сычев.

— И не хотел ты этого… самосуда?

— Не хотел. В мыслях не было. А так… получилось. — Вдруг он упал на колени, приложил лоб к полу и заговорил: — Андрей! Андрей Михалыч! За что?! Андрей Михалыч! — И рыдал.

Андрей поднял его за плечи, усадил на стул, дал воды, не говоря ни слова. Когда Сычев опомнился, то Андрей сказал коротко:

— Иди.

Семен Трофимыч ушел. Андрей заперся на ключ изнутри, сел на стол и, глядя в одну точку, просидел несколько часов. Наконец он решил: «Конечно, Степка отомстил Федору за брата». И так стало Андрею жаль Федора, такая тяжкая тоска навалилась, что вечером он напился.

…В тот же вечер Сычев отвез следователя на станцию. Никто не видел, как следователь «дореволюционной закалки» положил в карман пачку червонцев в пять тысяч. Большие это были деньги! Никто не слышал, о чем шел разговор.

Дело затянулось, потонуло, закрылось. Степка Ухарев, встав с постели, еще больным уехал из села куда-то в Сибирь. Втихомолку шептались, что скрылся и живет по чужому паспорту. Бывает. Так бывает, что одни следователи распутывают, а другие запутывают. Иногда распутывают запутанное, а иногда запутывают уже распутанное. Бывает.

По селу шли разговоры и о Федоре.

— Може, и будет жив, — нерешительно сказал как-то Виктор Шмотков, сидя на бревнах в группе крестьян.

— Ну что там! — возразил Семен Трофимыч. — Не может того быть. Его же измяли на прах.

— Не, не! — не согласился Матвей Степаныч Сорокин. — Сам видал — голова дела… И дышал.

Его перебили несколько голосов сразу:

— Заткнись!

— Разве ж может после этого человек жить?

— Небось и ребер-то никаких нету.

— Конечно, — заключил Сычев, — мужичий суд крепок: после него никто не воскресал. Может, день какой аль два и пожил. Но только — крышка Варягу. — А помолчав, добавил: — От народ какой! Забили малого насмерть. Нет чтоб ударить раз аль два, так давай до смерти. Ну и народ… И Степку забили.

Тогда и Володя Кочетов вступил в разговор. Он этаким невинным тоном, с деланным сожалением задал Сычеву вопрос:

— А кто же Степку-то так искорежил? — и, подражая тону Сычева, добавил: — Ну и народ.

Сычев бросил на него презрительный взгляд. Все знали, что ватагой ребят, побежавших за Степкой, руководил он, Володька Кочетов — Красавица. Глядя на него, Сычев подумал: «И морда-то у него девчачья, а как вступил в комсомол, так осмелел, чертенок: старших подковыривает. Ну и молодежь пошла — не дай бог». А вслух сказал:

— Вы-то, молокососы, не лезли бы в разговор к старшим.

— Извиняюсь, Семен Трофимыч. Я ведь так: Степку жалко, вот и вступился, — ответил Володя и отошел, бросив на Сычева прищуренный взгляд.

Но какие бы там ни шли разговоры, а Федор был пока жив.

Когда его Матвей Степаныч привез ночью к больнице, то фельдшер, осветив фонарем и посмотрев на Федора, покачал головой и безнадежно махнул рукой по направлению к мертвецкой.

— Должно быть… туда, — нерешительно произнес он.

Некоторое время он постоял около подводы, еще раз поднял фонарь, отвернув край дерюги, открыл Федору веки, пристально посмотрел ему в глаза и вдруг решительно сказал, обращаясь к Матвею:

— Нет — не туда! — и торопливо пошел в больницу.

Несколько минут Сорокин Матвей оставался один около подводы и снова повторял про себя: «Може, жив. Може, жив». И вдруг он отчетливо услышал что-то похожее на вздох. Он Не испугался, а просто оцепенел: прислушался, наклонился и повернул ухо к Федору. В таком положении и застали его санитары, пришедшие за Федором с носилками.

— Папаша, посторонись. Приказано — быстро-быстро! За врачом поскакали. Слышишь?

С больничного двора действительно прогремел тарантас. Но Матвей Степаныч ничего не заметил и не услышал. Осмотревшись вокруг и найдя того фельдшера, он крикнул громко, как глухому, только одно слово:

— Дыхнул!!!

— Вздохнул, говоришь? — участливо спросил фельдшер.

— Дыхнул. Ей-бо, дыхнул! Сам слыхал. Однова дыхнул…

— Ты ему кто же будешь? Папаша, что ли?

— Нет, не папаша. Сорокин я, Матвей Сорокин. А он — Земляков Федор Ефимович. Так и запиши: Федор Ефимович, из Паховки.

— Так, так. Значит, ты ему — никто. А что ж так убиваешься? — И фельдшер поднял фонарь, рассматривая Сорокина.

— Как вам сказать?.. То есть, двистительно, никто…

Матвей Степаныч заторопился, заморгал, снял шапку и так, с обнаженной головой, вслед за носилками вошел в приемную. Здесь он стоял молча, торжественно, как стоят в церкви очень богомольные люди. «Дождусь доктора», — думал он.

Вскоре торопливо вошел врач. Не глядя ни на кого, он приложил трубку к груди Федора. Через несколько секунд сказал, не отнимая уха от трубки:

— В третью палату. Камфары.

Затем носилки унесли. И только теперь врач заметил Сорокина.

— Зачем посторонние здесь? — сердито спросил он, обращаясь к фельдшеру и на ходу надевая халат.

Матвей Степаныч сделал шаг вперед и обратился к нему:

— Я слово хочу сказать вам, доктор. Прошу прощенья, но сказать должон обязательно…

Врач был еще молодой, с мягкими русыми волосами, с английскими усиками. Сочные, как у юноши, губы он слегка выпятил, будто сердясь на деда. Но сердился он уже только для вида.

— Товарищ доктор! — продолжал торопливо Сорокин, боясь задержать врача. — Малый этот, Земляков Федор, Федор Ефимович, особливый человек. Сила человек. Бандитов бил… Ему помирать никак невозможно. Вы в науках понимаете. Наука, она должна сделать. Никак нельзя помирать… Очень просим!

Нет, Матвей не был жалким никогда. Он всю жизнь проходил в заплатах, но жалким никогда не был. И сейчас врач понял, что дед верит ему, что он высказал надежду, что в словах его звучала благодарность науке, которая «должна сделать». И он ответил уже совсем душевно:

— Я постараюсь. Но… трудно, дедушка.

Матвей Степаныч поклонился и вышел.

Около двух часов ночи он приехал в Паховку и застал у себя Ваню Крючкова и Мишу.

— Как? — спросили они в один голос, как только он вошел.

— Дышит, конечно, как и полагается… Вот… Доктор сказал: наука, она все может. Дескать, не помрет. Так что вы не убивайтесь, ребята… Оно обойдется. Право слово, обойдется. — Матвей подумал, посмотрел на убитых горем ребят и добавил: — Дорогой-то Федор и спрашивает меня: «Доедем, Матвей Степаныч, до больницы аль нет?» — «Доедем, говорю, обязательно доедем».

— Он разговаривал? — встрепенувшись от радости, спросили оба.

— А как же? Разговаривал. Маленько, но разговаривал.

Жизненная мудрость подсказала Матвею, что в тот момент хорошая ложь — лучше плохой правды. Кто знает, может быть, он и не врал, а сильно верил в жизнь, не отдавая в этом себе отчета.

…А врач сидел около умирающего Федора до утра. Повреждена кость ноги, перелом ребра, кровоподтеки на затылке — все это было очень опасно. Федор не приходил в сознание, но уже дышал, прерывисто, хрипя и захлебываясь.

«Ну, сутки, от силы — двое суток, — думал врач, — А потом все равно конец… Но… „Наука должна сделать, и помирать ему никак невозможно“». Слова Матвея стояли в голове врача. А что же можно сделать в такой больнице с тремя койками? Мелькнула мысль: «Вот если бы в губернскую больницу!»

Он порывисто встал, направился в кабинет, к телефону, и заказал Белохлебинск.

Переговора надо было ожидать до девяти часов утра, до начала занятий в учреждениях. Молодой врач волновался еще больше, когда Федор открыл глаза, пошевелил губами и… замер.

Еще укол… Ожидание начала или конца жизни!.. И снова Федор вздохнул с хрипом, снова появился слабый пульс. Жизнь и смерть боролись на глазах врача в жестокой схватке. А он в нужную минуту поддерживал жизнь. «Надолго ли?» — подумал он. Побледневшее от бессонницы лицо с красными припухшими веками не отрывалось от умирающего.

Незаметно подкрался рассвет. Взошло солнце. Началась утренняя, тихо шелестящая жизнь больницы. А врач не уходил, потому что

наготове стояла смерть. Врач и смерть. Кто — кого?

— Окружном… Окружном… — ритмично выкрикивал фельдшер. — Товарищ секретарь?.. С вами будет говорить наш врач.

Врач вышел из палаты и взял трубку.

— Я — врач Козинской больницы, Кернов. Спасите человеку жизнь… Нужен срочно самолет… Необходимо, да… Как?.. Обыкновенный человек… Бил бандитов… Надо — в губернскую больницу. Что?.. Свяжетесь с летной школой?.. Через час, не раньше?.. Плохо. Надо скорее. Возможно скорее… Спасибо.

В Паховке узнали, что за Федором прилетал самолет и доставил его в губернскую больницу.

…А через неделю, ранним утром, Матвей перевез на лодке через Лань Ваню и Мишу. Ребята поправили котомки за плечами и вышли на берег. Матвей поднялся за ними.

— Ну, ребятки, — сказал он и поочередно поцеловал Ваню Крючкова и Мишу Землякова, по-отцовски, ласково. — Выбивайтесь в люди и приходите. Обязательно приходите.

И они ушли. Дед оперся на весло и долго смотрел в предрассветную мглу вслед ребятам. Потом повернулся лицом к селу, погрозил туда кулаком и тихо произнес:

— Они придут.

Туманным весенним утром Ваня и Миша ушли в город, туда, где друг и брат боролся со смертью.

А Федор лежал в больнице. Стали появляться проблески сознания. Но он и в такие минуты еще не понимал, где находится. Незнакомые лица, сосредоточенные взгляды, молчащие люди — все это было как во сне: появлялось и уплывало куда-то в туман. Как только приходило сознание, так возникало ощущение жестокой боли во всем теле и будто кто-то в ту секунду ударял по голове. Наступало вновь состояние, граничащее с небытием. Так провел он несколько дней. Федор не знал, не помнил и не чувствовал, как и когда затянули в лубок ногу ниже колена. Когда он впервые пришел в сознание, то не сразу понял все. Он открыл глаза, обвел взглядом комнату, не шевелясь. У постели сидел человек. Федор остановил на нем взор: чисто выбритое, сильно загорелое лицо, седые, совсем белые, густые

волосы, строгая вертикальная морщина на лбу, к переносью, сосредоточенный взгляд, широкие плечи. Что за человек?

Федор не знал, что перед ним сидел хирург Васильченко Василий Васильевич. Тот самый врач Васильченко, который и зимой ходит без шляпы, с открытой головой. Это о нем говорят, что он в шестидесятилетием возрасте выжимает одной рукой двухпудовую гирю и теми же могучими руками делает тончайшие операции.

— Не узнаешь? — спросил этот человек. — Лежи, лежи, не ворочайся, не то — снова в черноту провалишься. — Он говорил, казалось, строго. — Ну вот. Значит, мы и ожили… Не сообразишь, где находишься?

— Где? — еле слышно произнес первое слово Федор. А от этого кольнуло в затылок, как шилом. — Ой! — простонал он тихо.

— Вот видишь: и говорить тебе пока нельзя… В больнице ты. Больной. А я — врач. Будем знакомы… Вместе жить придется не один день.

Василий Васильевич сделал знак рукой, и медсестра Тося подала порошок. Врач, не сводя глаз с Федора, открыл широко рот, кивая головой, показывая, как надо сделать, и осторожно высыпал Федору порошок. Дал ему воды запить. Глотать было почти невозможно — каждый глоток вызывал боль.

— Ничего, ничего, парень… Держись. Вот сейчас ты снова заснешь… Заснешь… Заснешь…

Федор вскоре заснул.

Василий Васильевич обратился к Тосе:

— Спать ему надо еще сутки. Может-двое суток. Ни на минуту не отходите. — Он пристально посмотрел еще раз в лицо Федора и тихо сказал: — Так-то вот, Тося. Считай, отвоевали мы его… у смерти. Вам поручаю — шефствуйте над ним.

Тося Жилина недавно окончила фельдшерскую школу. Это была русоволосая, с кудряшками у висков, светлоглазая, стройная девушка в белом больничном халате. Она осталась с Федором одна. Присела на тот стул, где только что сидел Василий Васильевич, и долго смотрела на спящего. «Какой чернокудрый парень! Как было страшно, а он даже и не стонал… Мог бы умереть… А у него, наверно, отец и мать есть, ждут небось…» — думала девушка.

Вечерело. Багрово-красный закат окрасил стены палаты в светло-красный цвет и отблесками лег на посиневшее лицо Федора.

Потом бесшумно накрыл землю сизый вечер. Потом была ночь. Федор спал.

Девушка сидела, наклонив голову. Дежурила.

…Утром следующего дня Федор открыл глаза. Теперь он уже понимал, что находится в больнице. Но сразу врезался вопрос: «Почему я здесь?» Некоторое время он напрягал мозг. И вдруг в памяти возник рев Степки Ухаря: «Убивца давай!» Хлынула злоба — хотелось бить кулаками о стену. Он пытался встать, но боль прорезала тело. Что бы он сделал в таком состоянии, неизвестно, но внезапно услышал тихий говор за дверью.

— Тося, детка моя! — дрожал старушечий голос. — Такие не остаются живыми. Помрет он. Его же истолкли на котлету. Помрет.

— Он такой сильный, такой сильный… Может быть, выдержит, — не соглашалась Тося.

— Помрет, — авторитетно заявил все тот же голос.

«Про меня», — подумал Федор. Он с громадным усилием высвободил руку из-под одеяла, взял стакан со стула и… бросил его на пол.

Дверь распахнулась. Вбежала растерянная Тося и замерла, глядя на Федора. Он презрительно смотрел на нее, со своей улыбкой «А ну вас всех к чертям!», в глазах искрилась злоба, губы вздрагивали. Он с усилием проговорил:

— Врача!.. Того… седого черта.

Тося не хотела оставлять его одного: она приоткрыла дверь и негромко сказала в коридор:

— Василия Васильевича. Скорее!

Очень быстро вошел врач и сел у кровати.

— Ну? Как дела? — спросил он.

Врач заметил решительный взгляд Федора, злобу и что-то такое, чего еще не мог понять. А больной тихо, но утвердительно сказал:

— Я… не умру. И пошли вы все к чертовой матери…

— Никто и не думал, что ты умрешь. Глупости!

— Они думают, — Федор указал глазами на дверь. — Не умру.

Василий Васильевич смерил взглядом Тосю так, будто рассек ее пополам. А к Федору обратился тем же ровным и спокойным тоном:

— Будешь жить. Такие не умирают.

Василий Васильевич знал, что все это очень опасно для больного. Но он почувствовал большую волю в этом человеке. Положил ему ладонь на лоб и тихо говорил:

— Ничего, ничего!.. Ничего, парень, держись…

Рука Василия Васильевича чуть-чуть дрожала и была теплая, нежная, казалось, знакомая с детства. В затуманенном сознании возник, как живой, образ матери.

— Здравствуй, мама… — прошептал Федор.

Тося вздрагивала всем телом, отвернувшись в угол. Плакала она беззвучно.

*** * ***

Федор жил. Жил, вспоминая о начале кошмарного самосуда. Жил молча уже около месяца, не заговаривая с медсестрой, иногда даже не отвечая на ее вопросы. Если же и отвечал, то коротко, одним словом. Однажды она спросила:

— Отец есть?

— Нет.

— А мать?

Он не ответил.

— Вишни зацвели, — сказала она после некоторого молчания, глядя в окно.

— Хорошо, — сказал Федор и повернулся лицом к стене.

Тося рассказывала Василию Васильевичу о нелюдимости Федора. А тот слушал, барабанил пальцами по столу и неопределенно, как бы про себя, произносил:

— Да-а… Так, так… — и спрашивал: — Стонет?

— Нет. Никогда.

Однажды, когда Тося докладывала о больном, Василий Васильевич сказал:

— Мне надо знать всю его жизнь. — Он задумался и через некоторое время продолжал: — Здесь надо какое-то другое средство… Другое лекарство… Знать всю жизнь больного! Настоящую его жизнь, не анкетную… Кто знает, Тося, может быть, в этом и есть главный

секрет медицины. Скоро ли мы дойдем до этого? Но дойдем, Тося, обязательно дойдем… Пси-хо-ло-гия!.. Будущий врач должен быть сначала психологом, а потом уж врачом… Дойдем. Помаленьку дойдем.

— Вчера приходили два комсомольца, со значками, — будто без всякой связи с мыслями Василия Васильевича сказала Тося, — Очень просили пропустить их к Федору. Но вас не было, а сама я не могла. Вы же сказали…

— Так-так! — живо перебил ее Василий Васильевич. — Что за комсомольцы?

— Я с ними разговаривала. Рассказала о больном. Вежливые такие оба. «Мы, говорят, ему близкие: этот — брат, а тот — друг». Их губком комсомола командировал — одного сюда, в Тамбов, в совпартшколу, а другого — в сельскохозяйственное училище, в Белохлебинский уезд. Завтра придут снова. Пускать?

— Сначала — ко мне, — еще более оживленно сказал Василий Васильевич, — Так, так. Друг и брат. Это оч-чень хорошо!

— Обоих пускать?

— М-да-а… Мне бы надо поговорить с другом отдельно. Ты так сделай: брата, мол, могу пустить сразу, а друга — к врачу. Так мы их и разъединим. Федора приготовь к встрече.

— Как?

— Ну, скажи ему так, весело: знаю, мол, у тебя есть брат. Он уж тут не промолчит. Может, спросит что, а ты ему продолжай: брат-то приходил, а ты спал. Врач, мол, не разрешил будить — на меня все сваливай… Так. И скажи: завтра еще придет. Там смотри сама, чувствуй больного. Чтобы Меньше волнений, меньше волнений. Издалека приготовь.

Вечером того же дня, после сдачи дежурства, Тося осталась в больнице, вошла в палату и села у кровати Федора. Он все так же неподвижно смотрел в потолок, не поворачивая к ней головы. Свет настольной лампы падал на лицо больного, и он слегка щурил глаза. Тося заметила это, отошла к столику и, глядя на Федора, некоторое время возилась с абажуром, то наклоняя, то поднимая его так, чтобы свет не падал на лицо.

— Помню, лет шесть тому назад, — заговорила она, — лежала я в больнице. Бывало, все жду подружку. Лежу и жду — придет или не

придет?

Федор повернул к ней лицо и пристально посмотрел на нее. А Тося села к кровати и спросила улыбаясь:

— Ну? Что букой смотришь?

У Федора блеснул в глазах лучик улыбки.

— А я вот знаю, — продолжала она весело, — у тебя брат есть, комсомолец.

— …

Тося вздрогнула и широко открыла глаза: Федор сел! Сел, опершись руками, сел, хотя ему больно от этого нестерпимо. Ведь он только что думал о Мише, о его судьбе. Он каждый день о нем думал. Он не знал участи Миши; иногда ночью он просыпался и с ужасом воображал его избитым, окровавленным. А из слов Тоси он понял, что Миша здесь, в городе.

Тося наклонилась к нему, поддерживая за плечи и ласково говоря:

— Нельзя так, нельзя. Василий Васильевич не разрешал… вставать.

А он уже смотрел ей прямо в глаза, ясные и открытые, сочувственные и такие чистые, что не заговорить уже не мог.

— Миша… Миша здесь, — произнес он.

— Здесь он, в Тамбове. Завтра придет… Придет. Ложись, ложись тихонечко. Вот так. Ложись.

Она осторожно уложила больного вновь и как бы нечаянно скользнула рукой по его голове.

Ой какие спутанные волосы!

Она сняла свой гребешок и стала расчесывать ему волосы. Федор послушно лежал, глядя в лицо медсестре.

— А еще друг твой приходил с ним. Вежливый такой… и губы бантиком.

— То — Ваня Крючков, «Ломоносов», — чуть слышно, слабым голосом сказал Федор, а лучик счастливой улыбки снова скользнул по его лицу.

— Почему — «Ломоносов»?

— Умный сильно.

Вот так она сидела, расчесывала волосы, рассказывала о ребятах. От нее Федор узнал, что Ваня поступил и Тамбовскую совпартшколу, а Миша — в сельскохозяйственное училище, оба — в разные места.

Каждое слово Тоси о них ложилось внутри Федора ласковым нежным лекарством и заглушало боль.

Федору захотелось говорить.

— У тебя-то есть отец? — спросил он.

Тося ответила, грустно усмехаясь:

— Вот возьму и буду молчать, как ты. — А потом с горечью, наклонив голову, сказала: — Нет отца… Антоновцы убили… в продотряде.

Федор видел наклоненную голову девушки и кудряшки, печально свесившиеся к щекам. Смотрел он на нее, и в памяти всплыли Кучум, Дыбин, Васька Ноздря. Потом — Сычев перед самосудом. Возникла ненависть, смешалась с жалостью к Тосе. И тогда взгляд его стал уже решительным. Он осторожно, как чужую, тяжело протянул руку, положил ее на плечо девушки и тихо сказал:

— Надо выздоравливать.

Федор возвращался к жизни: непокорный дух победил смерть!

…О вечернем разговоре Тося рассказала Василию Васильевичу. Умолчала лишь о том, что ей не хотелось уходить из палаты.

А когда на следующий день пришли Ваня и Миша, то она встретила их, как давно знакомых, и распорядилась:

— Мишу — можно, а Ваню — к врачу.

Ребята догадались, что имена их она знает от Федора, недоумевали, зачем одного — туда, а другого — сюда.

Василий Васильевич встретил Ваню в дверях:

— А, здрасте, молодой человек. Это вы — Крючков-Ломоносов?

— Я, — ответил Ваня, чуть смутившись.

— Так, так. Садитесь. Друг, значит?

— Друг.

Василий Васильевич, изучая взглядом Ваню, еще раз пригласил:

— Да садитесь же, молодой человек, садитесь.

Ваня сел на белый деревянный диван. А Василии Васильевич вышел из-за стола, сел рядом с Ваней, как хорошо знакомый, и сказал:

— Вот что, Ваня: буду говорить прямо. Чтобы вылечить вашего друга, мне надо его знать. Расскажите мне о нем все. Все, все! Я изредка буду задавать вопросы. Сейчас я закончил обход — свободен на час. Целый час в нашем распоряжении.

Василий Васильевич обращался к Ване просто и душевно. Это сразу расположило парня к врачу. А главное: только-только увидел человека, в первый раз, и сразу — «Вот что, Ваня!».

И Ваня рассказал все. Час ли, два ли просидели они так — оба не заметили. Но Василий Васильевич, провожая молодого собеседника, уже держал его за плечи и горячо говорил:

— Такие, как вы с Федором, — новое. Сычев — старое, но в новой форме. Федору надо знать свое место, понять свое место. Да, это точнее — понять свое место. Это — тоже лекарство: найти свое место! — воскликнул он.

…В то время как Ваня вошел к Василию Васильевичу, Миша открыл дверь в палату Федора и остановился. Перед ним лежало неподвижное тело, покрытое одеялом. Лицо, в иссиня-черноватых кровоподтеках, было неузнаваемо. Но глаза, эти смелые и решительные глаза брата, с застывшей мучительной болью, все-таки улыбались. Как редко видел Миша такую улыбку глаз Федора! У Миши задрожали губы. Он силился что-то произнести. И вот он почти шепотом произнес:

— Федя!.. — и, опустившись на колени перед кроватью, спрятал лицо в складках одеяла.

Федор гладил его волосы непослушной рукой, с трудом передвигая ладонь. Боли не было. Нет такой боли, которая была бы сильнее настоящей любви и преданности!

Тося неслышно подходила на цыпочках к двери, прислушивалась, удивляясь тишине в палате.

Вот наконец Миша поднял лицо. Теперь он гладил волосы Федора, лежавшего все так же, и спросил:

— Федя! Как же теперь?

— Я буду жить, — ответил Федор шепотом. — Было хуже, теперь лучше.

— Больно?

— Бывает.

Помолчали.

— Ты придешь еще?

— Завтра приду. Послезавтра уеду в училище.

— Зине напиши: все хорошо — выздоравливает.

И снова помолчали.

Федор стал забываться. Закрыл глаза. Снова открыл на секунду, но тяжелые веки опустились. Сил больше не хватало.

Он уснул. Миша тихо вышел.

В коридоре стояла Тося.

— Уснул, — тихо сказал ей Миша.

— Это хорошо! — обрадовалась она. И сразу же направилась в кабинет Василия Васильевича.

Тот стоял посреди комнаты, положив руки на плечи Вани.

— Уснул Федор, — сообщила Тося.

— Ну вот, и не пришлось вам, Ваня, увидеть друга. Будить нельзя. Вы не огорчайтесь. Будете ходить часто. Установлю вам ежедневный час встречи. Идет? — спросил Василий Васильевич.

— Спасибо, — ответил Ваня, благодарно глядя на седого врача.

А когда оба парня зашагали по коридору к выходу, Василий Васильевич, стоя рядом с Тосей, произнес:

— Новая деревня. Новая, сильная!.. Молодая.

Глава девятая

Полгода пролежал Федор в больнице.

Ежедневно он видел Тосю и Василия Васильевича, привык к ним, как к родным. На третьем месяце лечения ему разрешили читать.

Федор начинал жить сызнова, шире и шире раздвигались стены его палаты.

Ваня Крючков входил со свертком гостинцев в одной руке и пачкой книг — в другой: таким его и видели в больнице. Ни санитарки, ни Тося, ни сам Василий Васильевич не называли его по фамилии, а чаще всего — «Ломоносов».

— По твоей милости и здесь перекрестили в Ломоносова, — сказал он однажды Федору, входя в палату.

— А ты чего обижаешься? Ломоносов тебе позавидовал бы: в его времена совпартшколы не было. Пешком от Архангельска шел, а ты приехал на поезде.

— Тоже шел. Не в этом дело. Великий ум был, Федя. Нехорошо шутить его фамилией.

— Пожалуй, правда. Придется изменить. Это я перестрою… Ну, какие новости?

И друзья располагались рядом. Обычно Федор лежал, опершись на локоть, а Ваня садился на стул. Против всяких правил Ване разрешено было приходить вечером. Этот час стал у них часом задушевных бесед. Все, чему учился Ваня в школе, он пересказывал другу, а тот схватывал на лету и запоминал. Тося всегда была тут же. Но она была неумолима. Как только кончался срок, она брала у Федора книгу, подавала Ване фуражку и легонько направляла его к двери. Никакая сила не могла заставить ее нарушить режим, утвержденный Василием Васильевичем.

Ваня шел по коридору нарочито медленно. Ему очень хотелось побыть подольше не только с Федором, но и с Тосей. Однажды у двери он взял ее ладонь в свои ладони и задержал, пожимая, ласково глядя в глаза.

Тося высвободила руку и сказала:

— Я тоже рада, что у Федора такой… хороший друг.

Подходила осень тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Федору уже разрешили выходить во двор больницы, но с двумя костылями. А вечерами он бродил по коридору с одной палочкой, упорно тренируясь.

Однажды Тося увидела, как Федор, держась руками за стену, пытался идти без палки.

Она с укором воскликнула:

— Ах, самовольник! — обхватила его за поясницу, и лицо ее оказалось близко-близко. Помогла дойти до кровати. — Неугомонный… Без палки пока нельзя — хуже себе же сделаешь.

— Получается, Тося! — сказал он весело. — Нога будет!

— А куда же она денется… Ты, наверно, и без ног будешь такой же.

Он улыбнулся. Но Тося осталась грустной. Она подошла к окну и посмотрела в больничный садик. Там желтая листва покрыла землю. Отдельные листья подпрыгивали и шевелились от ветра. Желтый закат, желтые листья, голые ветви — желтая осень.

— Ваня сегодня придет? — спросила она, не оборачиваясь.

— Нет, — ответил Федор и, проскрипев костылями, тоже подошел к окну. — Осень, — сказал он задумчиво.

— Осень, — повторила Тося, не отрывая взгляда от окна.

— Вы чего стали такая? — неловко спросил Федор, хотя он не раз уже хотел задать этот вопрос.

— Какая?

— Ну… печальная.

Она отрицательно покачала головой и посмотрела на Федора. Лицо у него худое, с желтизной, на щеке шрам, глаза запавшие, но… чистые и блестящие, умные. Один уголок губ пониже другого — будто презрительно или снисходительно усмехается. Она рассмотрела его как бы в первый раз. Потом сказала:

— Через неделю тебя выпишут из больницы. Так сказал Василий Васильевич.

Федор думал об этом и раньше. Он уже списался с заведующим двухгодичными бухгалтерскими курсами в Белохлебинске, куда собирался поступить. Знал, скоро выходить из больницы, и все-таки сообщение Тоси показалось неожиданным.

— Что так смотришь? — спросила она.

Он смотрел не отрываясь, будто видел ее в последний раз, и не ответил.

— Или снова замолчал, как прежде?

— Мне нечего сказать, Тося.

— Так уж и нечего?

— Не «нечего», а… нельзя. — И он отвернулся в сторону..

— Ну хотя бы скажи, почему нельзя.

Федор нахмурил брови, уголок губ вздрагивал, Он резко и решительно отрубил:

— Все. Нельзя. Отойдите, — А потом — тихо: — Я вас никогда не забуду… Никогда, Тося. Больше нечего говорить.

Тося легонько повернула его за плечи к себе и тепло сказала:.

— И не надо говорить.

Она еще раз посмотрела на него в упор, положила руки ему на плечи и вдруг рывком поцеловала его и выбежала из палаты.

Федор не двигался. Сердце сначала остановилось на секунду-другую, потом забилось часто-часто. Он, запрокинув голову, прислонился к стене и прошептал:

— Любит… За что? Зачем?

…Через несколько дней Василий Васильевич зашел к Тосе на квартиру:

— Проходил мимо — заглянул.

— Спасибо.

Он осмотрел комнатку-одиночку. Аккуратная коечка, столик с безделушками, шкафчик книг, маленькие застекленные портреты Горького и Ленина; единственное окошко выходило во двор; на полу половичок… И — все.

— Ну так как же? — спросил он, будто продолжая разговор.

Тося молчала, перебирая пальцами конец фартука и глядя вниз.

— Правильно ли вы поступаете, Тося? Обдумали ли все?.

— Я не могу думать — я полюбила.

— Хуже будет, если думать придется после… Знаете ли вы что-нибудь о Федоре?

— Знаю: он хороший…

— Вот видите… А ведь его жизнь — трагедия.

И он рассказал ей со слов Вани все.

— Такие натуры могут любить один раз в жизни. Но… они и умеют защищать свою любовь. Знаю, Тося, прожил уже жизнь, видел много. Федор уже не может вас разлюбить. А вы?

— Думаю, нет.

— Оказывается, можете думать. А говорили «не могу», — шутя сказал Василий Васильевич. — Вот и хорошо, что думаете. — А уходя, он уже весело сказал Тосе: — Итак, завтра Федор Ефимович Земляков будет выписан.

Тося проводила его в сени, а там припала к его руке щекой и шептала:

— Вы — как родной отец…

Он двигал бровями, часто моргал и; ласково отстраняя ее, сказала;

— Ну вот… Экие горячие оба… Мне пора уходить… Некогда.

А утром следующего дня, когда выписали Федора, Тося вошла к нему в палату и просто сказала:

— Пойдем ко мне.

— Ладно, — ответил он, — Пойдем.

Василий Васильевич прошел с ними до выхода из больницы молча. Около двери остановился. Эти седые густые и мягкие волосы,

белые брови и такие ласковые глаза, эта вертикальная морщина на лбу, от которой все лицо всегда сосредоточенно, и легкая грусть в глазах запомнились Федору на всю жизнь.

Василий Васильевич обнял их за плечи:

— Немножко жаль… И хорошо… Но я — не об этом… — Он что-то хотел добавить еще, но только похлопал каждого по плечу и полушепотом произнес: — Ну, идите…

Федор порывисто и благодарно сжал его руку.

Они ушли.

Василий Васильевич некоторое время постоял в раздумье, вздохнул и сказал самому себе:

— Продолжаем.

Но весь этот день он ходил задумчивый, угрюмый.

Бывает иногда так: идет человек по жизни и вдруг встретит на пути другого человека, встретит ненадолго, поживет с ним рядом совсем немного и больше уж никогда не встречает его. Но оставляет иной раз такая встреча неизгладимый след у того и другого. Жаль было Василию Васильевичу расставаться с Федором. Что-то такое внес он в жизнь старого врача, одинокого, похоронившего уже всех родных и любимых, но оставшегося таким же страстным в труде, как и в годы юности.

Он сел в кресло в своем кабинете и вспоминал… Вспомнил ссылку в томской деревне. Вспомнил отца, мелкого помещика, отказавшегося от своего сына за то, что тот пошел против веры и царя… И все-таки Василий Васильевич любил своего отца и сейчас, после его смерти. «Что же это такое? — думал он, — У нашего поколения дети спорили с отцами. Сейчас еще сильнее этот спор. Может быть, жизнь-то и движется тем, что дети лучше отцов?» И только после раздумий он пришел к выводу: есть что-то общее в юности Федора с его юностью. Это — великий спор детей и отцов, доходивший в пашу эпоху иногда до трагизма… «И не сильнее ли теперь этот протест молодых, чем в наше время? — задал себе вопрос Василий Васильевич. — Трудно будет Федору в деревне. Трудно». Василий Васильевич не заметил, что последние слова он говорил уже вслух.

Старшая медицинская сестра тихо вошла в кабинет, посмотрела на врача и так же тихо вышла. Она-то слышала слова «Трудно…

Трудно», но не стала беспокоить Василия Васильевича. А он ее не заметил.

Федору пришлось пожить у Тоси всего только неделю. Он получил извещение с курсов о зачислении его и о начале занятий. Надо было собираться.

— А чего собираться-то? — спросил он у Тоси. — Сел в вагон и поехал.

— Вот это — здравствуйте! «Сел и поехал»! Белья надо две пары, тужурку, рубашек две-три, чемодан или баул какой-нибудь.

— Ничего мне не надо — не привык я так, — возражал Федор.

Но в душе у него была тихая, теплая благодарность к Тосе. А она два дня бегала, покупала и потом уложила все так, что чемоданчик, который удобно было закинуть за спину на двух ремнях, оказался набитым самым необходимым.

Она провожала его до вокзала. Почти все время пути они молчали. Но Тося заметила его прерывистое дыхание и маленькие капельки пота на лбу. Она сказала:

— Отдохнем, Федя, — и села на первую попавшуюся скамейку.

Они немного посидели. Тося погладила его руку у плеча, спросила:

— Почему мы молчим? Ведь — целых два года…

— Два года!.. Много.

И шли дальше.

На вокзале, уже у двери вагона, после третьего звонка, они так же молча смотрели друг на друга. Потом он погладил ее кудряшки у виска, поцеловал, взял под мышку палку и на руках подтянулся на подножки, а затем. — в тамбур. Сделал он это быстро и так ловко, будто и на этом деле тренировался. Там он повернулся и еще раз посмотрел на Тосю.

— Прощай, Тосенька, — сказал он тихо.

— Нет, до свиданья!

Оба улыбнулась с грустинкой.

— А Ваня так и не пришел, — сказал Федор. — Наверно, что-нибудь случилось.

Но в тот момент, когда раздался гудок отправления, показался Ваня Крючков, он мчался, задевая провожающих, вдоль вагонов, и на бегу извиняясь.

— Федя! Федя! — закричал он. — До свидания, Федя!

— До свидания, Ваня!

Ваня говорил, ускоряя шаг вслед за отходящим вагоном:

— Письмо получил от дяди Степана: Андрей Михайлович опять водочкой стал забавляться. Ты ему напиши письмо. А я поеду домой на каникулы, посмотрю там. Потом напишу.

Ваня отстал. Федор крикнул ему:

— Пришли мне дядино письмо! Почитаю…

И Федор снова смотрел на одинокую Тосю и прощально мелькающий в ее руках платочек. Он сорвал с головы фуражку и махал ею до тех пор, пока Тосю не стало видно.

— До свиданья, до свиданья… — шептал он. — До свиданья, Тосенька!..

Поезд уже скрылся за поворотом, а Тося все еще стояла и смотрела в ту сторону, куда уехал Федор. Ваня подошел к ней. Она торопливо вытерла глаза и по привычке поправила волосы у висков.

— Ну что ж… пойдемте, Тося? — спросил Ваня.

— Пойдемте, — ответила она.

С вокзала они пошли рядом. Пожилой извозчик крикнул им с козел:

— Молодых супругов могём прокатить! До центра — один полтинник!

Ваня посмотрел на него уничтожающим взглядом и погрозил кулаком. Извозчик презрительно махнул кнутовищем, сплюнул в их сторону и произнес тихо, но так, чтобы они услышали:

— Должно, в кармане вошь на аркане да блоха на приколе.

— Не надо связываться, — сказала Тося Ване и взяла его за руку, — Не надо.

Ладонь Тоси была теплой и мягкой. А своя грубая рука казалась Ване твердой, как кусок подошвы. Он осторожно высвободил свою ладонь, но теплоту Тосиной руки ощущал еще долго. Они пошли по Советской улице, не по тротуару, а краем мостовой, чтобы не толкаться среди людей.

— Вам жаль Федора? — спросила Тося.

— Федора? — удивленно переспросил Ваня, — Его жалеть нельзя. Таких людей не жалеют.

— Я вас не понимаю, Ваня, — удивилась и Тося.

— Не всякая жалость хороша. Уверен: Федор терпеть не может жалости к себе… Жалеть можно мокрого котенка или утопающего щенка. А раненого льва — нельзя. Таким львом можно только восхищаться, его смелостью, силой, любовью к свободе. И его…

— Вы хорошо говорите, Ваня, — с легкой усмешкой перебила Тося. — Я спросила о другом: жаль расставаться с Федором? Я просто не сумела точно выразиться. Я всегда не умею выражать мысли хорошо. А вы умеете.

— Куда там! — презрительно сказал Ваня. — Всю жизнь не выезжал из деревни. И поезд-то увидел впервые только три года назад… А с Федором, конечно, расставаться жалко. Только это — ненадолго. Кончим вот учиться и куда-нибудь — вместе, вдвоем…

— Втроем, — поправила Тося.

— То есть… Да! Ведь нас теперь трое: вы с Федором и я. Ну, значит… втроем… Только он-то окончит на год раньше меня.

— Вот мы и дошли, — сказала Тося и присела на скамеечку у своего палисадничка. — Сядем, Ваня. Мне не хочется оставаться одной. А вы какой-то… колючий сегодня… Побудем вместе.

Ваня присел и закурил цигарку.

— А вы, правда, хорошо сказали насчет жалости, — сказала Тося.

— Хорошо или не хорошо, но так думаю.

— А я почему-то никогда об этом не думала, — с грустью сказала Тося.

— Надо думать, — коротко и отрывисто, даже чуть неприязненно отрезал Ваня.

Он никогда не мог хитрить. А сейчас ему показалось, что Тося полюбила Федора из жалости. Но когда пристально посмотрел на нее и их глаза встретились, он смутился от своих мыслей и покраснел. «Должно быть, я все-таки порядочный подлец», — подумал он и разозлился теперь на самого себя.

— Что-то вы, Ваня, покраснели? — спросила она в упор.

— Ну и что ж? — почти грубо ответил он и ожесточенно растоптал цигарку. — Обкурился, вот и… покраснел.

— Правда?

— Лгу, конечно.

— А вы не лгите.

— Иногда невозможно не лгать. — И он совсем помрачнел.

Говорить, казалось, больше не о чем. Он снова завернул цигарку, и Тося заметила, как у него чуть-чуть дрожат пальцы. А раньше никогда не замечала, не было такого.

— Обкуритесь опять, — сказала она.

Он не ответил.

— Скажите, Ваня… вы кого-нибудь… любите?

Он порывисто встал, посмотрел на Тосю, зло отрубил:

— Никого я не люблю. Никого! — И пошел от Тоси.

Она смотрела ему вслед. От нее уходил друг Федора, широкоплечий и пружинистый парень. «Будет ли он и мне другом?» — подумала Тося. Потом еще мысль: «И что это с ним стряслось? Какой-то совсем-совсем другой стал. И грубит. Федя уехал, а друг грубит». Сначала у нее задрожали губы, потом она часто-часто заморгала, лицо вспыхнуло, и непослушные блестящие бусинки выступили в глазах. Так начинают плакать дети. Что-то обидное было в поведении Вани. А ведь она привыкла его уважать. И вдруг молнией ворвалась догадка!

— Ваня! — окликнула она.

Он остановился, обернулся и спросил:

— Ну?

— Вернитесь! — почти приказала она.

Ваня подошел к ней, но не сел. Тося встала и, приблизившись к нему так, что он ощущал ее дыхание, срывающимся голосом заговорила:

— Слушайте… Я люблю Федора за то, что… его люблю. Не знаю, за что его люблю, но — навсегда, вечно… Я узнала ваши мысли… И ваше чувство ко мне тоже… поняла. Так вот: если вы хотите скрыться под грубостью… Если вы… Если вы не можете быть мне просто другом, то… убирайтесь к черту! — выкрикнула она и, закрыв лицо, убежала в комнату.

А Ваня тихо поплелся в общежитие. Он всего мог ожидать, но только — не этого. Маленькой тигрицей Тося защищала свою любовь. Он помнил ее глаза, наполненные слезами и неистовством, он не ожидал того, что эта хрупкая девушка, с кудряшками у висков, обладает такой силищей и прямотой. «Кого надо жалеть? Ее-за то, что я обидел? Или меня — за то, что она влепила мне моральную пощечину? Наверно, надо жалеть меня. Так тебе и надо, Иван-болван!»— думал он, распиная себя. Он шел в раздумье, не замечая

окружающего. «Ага, Иван-болван, понял? — спрашивал он себя уничтожающе. — Понял, что значит любить по-настоящему?» Мысленно он назвал себя и предателем друга, и обманщиком, и грубияном. Так он и не заметил, как вошел в парк и сел на скамейку. Потом взялся за голову обеими руками и тихо простонал:

— Разве ж я виноват!

Так он и сидел до вечера. За один только день Ваня сгорел. Он не потушил любовь, а сгорел. Лицо его осунулось, взгляд стал серьезнее и мужественнее, он стал старше, чем был, и он стал чище, чем был.

И все-таки тепло Тосиной руки все еще тлело на его руке. Теплилась последняя искра, то вспыхивая, то погасая. Так догорает уже обуглившаяся бумага: бегают искорки по черноте, кажется, возникают ниоткуда, бегают, и никак не узнать, которая же из них последняя; но бумаги уже нет, а есть только беспокойные искры. Так догорала, казалось, одна светлая страничка жизни Вани. Он это понимал. Он понимал и то, что сожгла эту страничку Тося. Но почему же, почему он все еще ощущает теплоту Тосиной руки в своей? Какая сила может отвратить это чувство? Или нет такой силы в человеке?.. «Есть такая сила! — подумал он. — Есть! Есть! Настоящая дружба, настоящая, не панибратская и водочная, а дружба, скрепленная бедой, страданиями и лишениями».

Самое трудное для человека — это борьба с самим собой. Борьба разума и сердца всегда сложная и тяжкая борьба. Но разве ж Ваня не понимал, что и к Федору лежит его сердце? Он и это понимал.

Так в человеке сразились дружба и любовь, терзая сердце, споря о том, кому оно принадлежит.

…А Федор смотрел в окошко вагона.

Мимо проносились осенние поля тамбовских черноземов. Вдали висела серая дымка, сглаживающая линию горизонта. И поэтому казалось, что серое небо, набитое до отказа свинцовыми облаками, придавило мокрую осеннюю землю. Мимо окна пробегали поля озими, вымытые дождями, веселые, смеющиеся в глаза насупившемуся небу. Промелькнула темно-синяя речка с таким же свинцовым отливом, как и облака. Снова озимь: рожь, рожь, рожь и рожь. Много ржи. Вагон ритмично постукивал: «трак-тук, трак-тук, трак-тук…»

От противоположного окна послышалось:

— Боже ж мой! Фух-х-х!

Федор повернулся. Там сидел потный лысый толстяк с красноватым мясистым и тупым носом. Щеки у него были надуты, лицо без единой морщины — так распирал кожу жир. Иногда незнакомец вынимал платок и вытирал им лысину, блестящую, полированную. Мясистыми губами он отдувался и все повторял:

— Боже ж мой! Фух-х-х!

Видимо, ему наскучило сидеть с таким молчаливым спутником, как Федор, все время смотревшим в окно. И он обратился наконец с вопросом:

— Далеко ли, молодой человек?

— В Белохлебинск, — ответил тот неохотно.

— По какому дельцу-с? Фух-х-х!

— На бухгалтерские курсы.

— Дельно. Очень дельно. Фух-х-х! Теперь эта профессия очень требуется… Мне, допустим, обязательно нужен счетный человек.

— А где вы работаете? — спросил Федор.

— В собственном магазинчике. Работаем помаленьку. Фух-х-х! Торгуем бакалеей. Вещь очень нужная народу — бакалея. Надо кому-нибудь и торговать-с…

«Нэпач», — решил Федор и отвернулся к окну, не возобновляя разговора, но изредка поглядывая на полированную голову, похожую на огромную голую коленку.

Перед торговцем лежала на столике жареная курица. Он нехотя поковырял ее вилкой и проговорил, не обращаясь ни к кому:

— Совсем потерял аппетит. Боже ж мой! Фух-х-х!

Затем, как бы по обязанности, он сунул кусок курятины в рот. Чавкая, он сохранял на лице тупое и какое-то равнодушное уныние. Прошло не очень-то уж много времени, как от курицы остались одни кости. «Целую курицу!» — удивился Федор, не веря своим глазам. А тот вытер лысину, прочистил нос с красно-синим отливом, посмотрел полузакрытыми оплывшими глазами в окно и: сказал:

— Унылый вид… Фух-х-х! Небо-то какое-то серое, противное.

Через несколько остановок он достал из чемодана блины.

— Ого! — воскликнул кто-то сверху.

Федор поднял голову. На него с верхней полки смотрел из-под густых нависших бровей крестьянин. В рыжей плотной, но короткой

бородке спряталась этакая остренькая улыбка. Он весело, ехидновато подмигнул Федору, указывая кивком на нэпмана, и, опершись на локоть, произнес:

— Небо — ничего себе… Хорошее небо! Ишь, там забелело — мороз будет.

На горизонте дымка уже исчезла, солнце с усилием продиралось сквозь тучи, и кусок неба весело смотрел на зеленую озимь, улыбающуюся ему в ответ. И Федору, даже в эти минуты грусти, стало легче: повеяло родным, знакомым черноземом. С верхней полки вновь заговорил крестьянин:

— А раз мороз, значит, подсолнухи лучше в руки дадутся. Оно и веселее! А так, если, промежду прочим, дождь был — это хорошо: озимые-то ишь какие добрые! Только вот подсолнух домолотить бы.

— А вы откуда будете? — спросил у него Федор.

— Мы-то? Из Жардовской волости мы. — Словоохотливый собеседник сам рассказывал о себе, без дополнительных вопросов: — Ездил я, слышь, в губернию, жалобу подавал. На соседа жалобу.

— Подал?

— А как же, подал. Как не подать, подал. Он же у меня, слышь, за долг отхватил четыре сажня земли.

— Богатый сосед-то? — спросил Федор.

— Был-то не особо богатый, раньше-то, а теперь распух: два батрака.

— Кулак, значит.

— Да не-ет. Вроде бы не кулак. Теперь-то какие же кулаки?

— Кулак, — утвердительно сказал Федор.

— А как ты думаешь: моя возьмет? Отрежут от него мою землю, чтоб я на зябь успел спахать, аль нет?

— Возьмет твоя обязательно. Кулаку и нэпману крылья подрежут, как пить дать.

После этих слов Федора толстяк, доедая блин и чавкая на весь вагон, ввязался в разговор:

— Это кто же, например, резать крылья будет?

— Партия, — ответил Федор.

— Фух-х-х!.. Партия, значит. А партия призывает всех богатеть. А вы — «кры-ылья»!.. Зачем — «крылья»? Не надо так: «кры-ылья»!

— А по-вашему, надо возвратиться к капитализму? — буркнул Федор.

— Хм… К капитализму! Скажи пожалуйста! К капитализму!.. Да я, может, с Марксом-то и не согласен. Что вы мне на это скажете, молодой человек? А?

— Ничего не скажу, — ответил Федор, отмахнувшись и не желая продолжать разговор с торговцем.

— Нельзя — «ничего». Как вы на это скажете? Вот не согласен с Марксом и — все. А?

Федор не выдержал:

— А кому нужно твое согласие!

Толстяк выпучил глаза и с недоумением посмотрел на Федора. Потом еще раз «фукнул» и отвернулся к окну. Но через некоторое время он икал и трепал губами, глядя в окно:

— Вон еще одна дурная голова ногам покоя не дает…

Федор и крестьянин посмотрели в окно, отыскивая глазами «еще одну дурную голову», и увидели охотника с двумя собаками. Через плечо у него висел заяц. Охотник приветливо помахал пассажирам фуражкой. Федор едва успел махнуть ему рукой, как он скрылся.

Стало весело на душе.

— И скажи ты, мил человек! — оживился снова крестьянин. — Во всякое время в поле живность есть. Вот уж совсем осень, — сказать бы, каюк жизни, а он, вишь, зайчишку ухлопал… А птица, а мышь, а букаха разная, зверьки всякие… — И он, замолчав, положил голову на руки и смотрел в окно на бескрайние просторы полей.

За окном снова много озими, веселой, многообещающей, живой, уходящей на зимний покой с тем, чтобы весною задрожать нежными листочками. Озимь, она тоже утверждает непрерывность жизни в поле.

А толстяк дремал. Может быть, во сне он развивал свое несогласие с Марксом. Живот у него вздрагивал. Федору казалось, будто курица толкала изнутри. А нижняя губа висела и шевелилась в такт колесам вагона.

Крестьянин с добродушной усмешкой посмотрел на дремлющего и сказал:

— Ишь ты! Блинки-то с куркой не заладили, значит…

Глава десятая

Прохладным тихим ноябрьским утром Федор приехал в Белохлебинск — в центр большого черноземного уезда.

С вокзала Федор направился на курсы. Шел он тихо, рассматривая город, который принял когда-то отца с котомкой за плечами и изуродовал. Было о чем задуматься! На пути попадались вывески: «Магазин потребительского об-ва», «Торговля лесом. Зыбкин», «Церабкооп. Магазин № 3», «Чайная. Кренделюшкин (младший)», «Книги — Госиздат», «Ссыпка хлеба. Бр. Блудиловы». Много разных вывесок. «И лесом заторговали… А чем занимается Кренделюшкин-старший, позвольте спросить?.. Перемешалось все — и старое и новое… Держись, Кренделюшкин… младший и старший!»

В центре города мрачными оскалами решеток выперла многоэтажная тюрьма, серая, с каменным забором вокруг. Кто-то давно-давно, задолго до революции, надумал выстроить тюрьму в самом центре. Наверно, для устрашения непокорных. Смотри, дескать, и памятуй! Вези, не отпускай постромок, ковыряй чернозем, скотинка!

И вдруг огромная вывеска «Рабфак», а рядом — «Рабочий клуб», а еще дальше — «Парикмахерская Краснюхина. Мужские и женские работы», еще дальше — «Театр имени Чернышевского», «Библиотека», «Кино Модерн».

«Держись, Кренделюшкин-младший! — думал Федор, проходя по центру города. — Сомнут!» Дался ему этот Кренделюшкин в тот день! Очень уж показалась забавной фамилия.

Здание, где помещались курсы, стояло неподалеку от педагогического техникума. Будущие народные учителя шумными ватажками подходили к своему учебному заведению. Одна такая говорливая стайка обогнала Федора. Они остановились, оглядываясь на него и о чем-то переговариваясь. От группы отделился паренек в ватнике и кубанке и быстро пошел Федору навстречу. Он сказал:

— Давайте ваш чемоданчик. Помогу.

— А я не устал еще, парень.

Ребята окружили Федора, забалагурили. Уже не было никакой возможности отказаться от помощи. Они вежливенько стащили с плеч чемоданчик и засыпали вопросами:

— Куда?

— Откуда?

— Зачем?

Федору стало легко и весело, а в уме все стояла фамилия Кренделюшкина. И он еще раз подумал: «Держись, Кренделюшкин-младший!»

Он узнал от ребят, что Белохлебинское сельскохозяйственное училище находится не в самом городе, а в пятидесяти километрах от него.

— Эх! — произнес он. — И с Мишей в разлуке… Ну ничего: Сорокин говорил, бывало, так: «Оно обойдется. Ей-бо, обойдется».

— А кто такой Сорокин?

— Из губкома?

— А кто — Миша?

На все вопросы Федор отвечал бодро и шутливо, а насчет Сорокина сказал:

— Хотя и не из губкома, но вроде советником он и там был бы нужен.

Федор понял душевное сочувствие к себе, как к начинающему, хотя и взрослому ученику. Новая жизнь началась хорошо.

…Трудно Федору было учиться. Трехлетняя сельская школа — это очень-очень мало. Надо было дополнительно заниматься грамматикой, арифметикой. Потребовалось четыре месяца для того, чтобы догнать однокурсников. И догнал, удивил учителей своим упорством. А по политэкономии вечерами даже помогал товарищам.

На курсах учились без каникул, и Федор, получая стипендию, жил в городе безвыездно. Тося писала часто, но коротко. Ваня Крючков — редко, но так обстоятельно и подробно, что если бы Федора спросили о тамбовской совпартшколе, он рассказал бы о всей ее кипучей жизни. Федор по письмам замечал, как вырос Ваня, знал — не догнать его, но и сам не стоял на месте. Он постоянно посещал библиотеку, не пропускал ни одной общественной лекции, а свободную копейку тратил на театр или кино. Вся его жизнь была плотно загружена, заполнена новым, интересным.

Среди однокурсников он был самым старшим по возрасту. За усидчивость и постоянное чтение шутники иногда называли его «зубрилой», но совсем безобидно.

Однако не все шло хорошо на курсах.

Некоторые из учащихся иной раз приходили в общежитие поздно ночью, выпивши. Такие, проснувшись утром, почему-то избегали

встречаться взглядами с Федором. А он, будто нарочно, старался смотреть в глаза гуляке.

Прошло полгода. Однажды летом, в июле, все семеро жителей комнаты, кроме Федора, напились «в стельку». Они ввалились с песнями, перед рассветом, падая и переругиваясь.

— Он, гадина, карту подсунул! — скулил пьяный мальчишка, Чесноков.

— Эх! А девица-то какая, братва! — кричал кто-то из угла.

Длинный сухой Епифанов, зарывшись в подушку и всхлипывая, пел придушенно:

— Саданул под сердце финский нож! Эх! Под сердце, черт возьми!..

Нэпмановский быт змеею вползал на курсы, постепенно, медленно.

Федор не уснул в ту ночь. Он слушал слова пьяных и вскрики сонных, не вмешиваясь.

Утром, не заговаривая ни с кем, он собрался и ушел на курсы. Весь день Федор был сосредоточенным и молчаливым. А на следующий день его не оказалось на уроках. Это было необычно для всех: так привыкли к тому, что Федор никогда не покидал своего места. Из общежития он тоже куда-то ушел. Ребята, обсуждая, предполагали разное: одни говорили, что он куда-нибудь завалился спать после такой ночи, другие думали, что он уехал домой, проведать. А Епифанов сказал:

— Не будет он с нами жить, братва… Федька — человек! Только подумать…

Что он хотел сказать этими словами, не все поняли.

А Федор в это время сидел в уездном комитете комсомола, в приемной. Когда подошла его очередь, он вошел к секретарю укома и без всяких околичностей сказал:

— Я не комсомолец. Но пришел посоветоваться. Пьянство у нас.

Секретарь, молодой человек лет двадцати двух, с зачесанными назад волосами, в роговых очках, близоруко осматривал Федора, чуть ссутулившись, как бы приближаясь к нему. А рассмотрев, сказал:

— Не важно, что не комсомолец. Выкладывай.

Во время разговора вошел остроносенький парнишка, с портфелем, быстроглазый, проворный до суетливости, и сел, выжидая.

— Это может привести к разложению курсов, — заключил Федор.

— Комсомольцы есть? — спросил секретарь.

— Двое, — ответил Федор.

— С этими проще — вызовем. А вот с другими…

Остроносенький, вмешавшись в разговор, зачастил, перебив секретаря:

— А вообще сказать, следует ли ковырять личную жизнь каждого беспартийного и комсомольца! Ну выпили — только и всего. Ни кражи, ни хулиганства, ни дебоша.

— Нет, не то, — перебил его секретарь. — Речь идет о нормальной работе курсов.

— А я — о людях, — вставил Федор.

— Громкие слова! — выпалил остроносенький.

— Нет, не громкие. Помолчи, пожалуйста, Степанов, — осадил его секретарь и спросил у Федора: — Стенгазета есть?

— Все ясно: никакого противодействия. Упустили мы из виду эти курсы… Плохо… Плохо, — повторил он, что-то записывая. — Будем исправлять, товарищ Земляков. А вы помогайте… Есть здесь такой «клуб» в чайной Климова. Здорово портит… Молодежь портит этот чертов «клуб».

Федор шел в общежитие и думал: «Клуб портит. Как это может клуб портить? И где эта самая чайная Климова? Кто такой Климов? Писать в стенгазету и не знать Климова — нельзя». Федор остановился на тротуаре и сказал вслух сам себе:

— Пойду к Климову.

Он проходил через базарную площадь.

Камни, как сковороды, пышали жаром. Солнце жгло все: плюнь на железо — зашипит. Гремучим стал песок. Нет-нет да и поднимется столбом пыль и завертится высоким вихорьком. И снова не шелохнет. Белохлебинская публика жалась в бульвар, в горсад, к реке. А в базарных рядах дышать трудно: высыхающий конский навоз дымился, превращаясь в пыль, несло тухлым мясом.

Мальчик лет двенадцати, вожак слепого, уже в который раз выкрикивал:

— Только за десять копеек! За десять копеек всю правду жизни можно узнать! Только за десять копеек!

Кто-то из деревенских молодух сунул в руку слепому гривенник, а он, открыв книгу с выпуклыми точками, забегал по ней пальцами, чувствительными и нежными, нащупывая «правду жизни».

— Счастье близко, — услышал Федор слова слепого. — Он полюбит. Хотя недоброжелатели стараются не допустить вашего счастья. Берегите свою любовь…

«Не все люди пользуются ложью так честно, как слепой», — подумал Федор.

А из-за угла вышел еще слепой — баянист. Он сел на ящик, принесенный мальчиком-вожаком, и растянул баян. Звуки музыки перемешивались с гомоном людским и умирали там, где-то в пыли, за мясными рядами. Слепой запел под баян:

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.

Тесным кружком столпились обыватели вокруг баяниста, оставив гадальщика. Несколько монет уже лежали в блюдце певца-музыканта.

А неподалеку бабы спорили из-за молока.

— Ты, гадюка, прокислым молоком торговать?! Только поставила на плиту, а оно свернулось, чтоб тебя разорвало!

— Гражданочка, не орите! Посуду мойте хорошенько, а не губами шлепайте! Пришла тут!

— Горшком ее по голове!

— Я — в милицию! Я ей — суке!

— Пирожки горя-а-ачие! Вот пирожки!

— Квас баварский! Квас баварский! Первый сорт! Пять копеек!

Мальчишка, шнырявший в толпе с ведром воды и кружкой, тоненько кричал:

— Ка-аму ха-алодниньку-ай ва-адички-и?! Капе-ечка — круужичка-а! Ка-аму ха-алодниньку-ай ва-адички-и!

Пыль кружилась. Солнце жгло и жгло. Торговки, как вороны, раскрыли рты, утирая пот рукавами, мешками, фартуками. Шел пьяный, качаясь, как человек без костей, и орал песню.

А дальше — открытые ларьки частных торговцев перемешивались с кооперативными ларьками и киосками, которые, будто нарочно, лепились к частникам, окружая их, притесняя, не давая разворота. Частники разных национальностей: русские, евреи, армяне, татары, грузины и невесть еще какие — почти все не здешние жители. Ползли они по Советскому Союзу от родных мест подальше, туда, где еще их не знали. А такие же белохлебинские где-нибудь в другом уезде приживались в погоне за легкой наживой.

Выйдя с базара, Федор обернулся, посмотрел на всю сутолоку и тихо произнес:

— Нэп.

Чайную Климова он отыскал быстро. Теперь он знал, куда надо идти.

…Часов в девять вечера Федор побрился, надел чистую рубашку и галстук, начистил до блеска уже довольно потрепанные ботинки. Все это он делал так, как готовились к посещению «клуба» прочие его сожители. На вопросы товарищей угрюмо ответил:

— Был там, где меня уж нет. А иду в чайную Климова… В «клуб».

Все переглянулись в недоумении: случай небывалый! А когда он ушел, Чесноков сказал:

— Этот нарежется теперь, как сапожник, — один пошел. Не удержался. Он же говорил, что здорово пил когда-то.

Длинный Епифанов пожалел:

— Встретить его надо, ребята, часиков в двенадцать.

— Рано в двенадцать, — возразил Чесноков.

Чайная Климова помещалась в нижнем этаже двухэтажного дома, неподалеку от базарной площади.

В передней комнате Федор сел за стол и осмотрелся. Здесь пили чай из: толстых эмалированных чашек, ели колбасу и селедку. Крестьянин с крестьянкой, распотевши, просили еще один чайник; двое рабочих в замасленных рубашках сидели у пустой бутылки из-под водки и горячо о чем-то спорили; в углу — человек в очках и поношенном пальто жадно ел вареную рыбу; двое мальчиков пили чай, аппетитно откусывая черный хлеб. За столами разные люди разных возрастов заняты едой и чаепитием. Ничего плохого.

К Федору подошел официант в замусоленном фартуке и с грязным полотенцем на руке и спросил заученно:

— Чего изволите?

— Поужинать.

— Не успеете, товарищ. Чайная закрывается… — он посмотрел на часы, — через восемь минут. Так, пропустить одну стопку рыковки, закусить — вполне возможно… Прикажете?

— Стакан чаю.

«Что ж здесь плохого?» — мысленно спрашивал себя Федор. Ему показалось здесь все просто и обыкновенно. Но вдруг он увидел, как двое чисто одетых мужчин прошли через чайную и скрылись за портьерой, закрывающей дверь в другую комнату. Оттуда послышался голос:

— Милости просим! Будьте любезны! Ваши головные уборы!

Федор понял, что там, за портьерой, и есть тот «клуб». Он допил чай и вышел на улицу, решив: «Надо через часок-другой, в самый разгар».

Он прошелся около городского сада. Духовой оркестр под управлением дирижера воинской части исполнял «Поезд». Федор вслушался в музыку: получалось хорошо. После перерыва тот же оркестр исполнял «Письмо к матери». Вспомнил Федор слепого баяниста. Стало грустно. А музыка лилась и, казалось, выговаривала: «Жив и я. Привет тебе, привет!»

Федор остановился у забора сада, прислонившись спиной, и слушал, мысленно повторяя отдельные строфы:

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Федор вспомнил свою мать, любимую и исстрадавшуюся… Встал в памяти свежий холмик могилы… Возникла в мыслях своя изба… Потом — Зина и… Тося. Захотелось в Паховку, навсегда, насовсем, до конца жизни, вместе с Тосей… «Но поедет ли она, городская, в глухое село? Да еще со мной, с инвалидом?.. И зачем это все получилось у

нас?» И как только возникли эти вопросы, защемило-защемило сердце тоской о Тосе. Мучительно захотелось ее видеть. А музыка плыла и плыла над городом.

…В «клуб» он вошел около одиннадцати часов вечера. В чайной было темно, и он пробрался к портьере на полоску света. Его встретил швейцар, в сюртуке, с маслеными глазками, с прилизанными волосами.

— Гм… что вам надо? — спросил он у Федора. — Здесь развлекаются…

— И я пришел «развлекаться», — ответил Федор, не смутившись.

Из комнаты в переднюю вышел человек и грубо обратился к прилизанному:

— Я сколько раз говорил тебе: у меня доступно каждому. Полная демократия! — И он вежливо поклонился Федору: — Милости просим. Будьте любезны! Ваш головной убор!

Федор догадался, что перед ним стоит сам хозяин, Климов. И он окинул его взглядом. «Совсем не похож на того, что сожрал целую курицу и стопку блинов», — подумал Федор. Светло-серый из дорогой материи костюм, белоснежная рубашка с бантом у воротника; волосы расчесаны пробором посредине головы, с двумя изящными завитками в обе стороны, к вискам; роговые с толстыми ободками и заушниками очки тоже шли лицу Климова. Он услужливо улыбался Федору, поджав верхнюю губу, отчего английские усики слегка отделялись от нависшего над ними пухлого носа. Сощурившись, он слегка наклонил голову вбок и пригласил:

— Пройдите! Пожалуйста! — и вошел вместе с Федором в зал, где крикнул: — А-апслужить!

В висящих винных парах и сизо-мутной табачной дымке стоял беспорядочный гомон. Столы расставлены около стен, а середина была пустой. За столами сидели и говорили громко, или пели, или, опьянев, просто выкрикивали что-то. К середине зала прошли две расфуфыренные «девицы» с папиросками в зубах и остановились. Заиграла музыка — два баяна, виолончель и скрипка. Федор услышал звуки незнакомой и странной музыки. Такой музыки он никогда не слыхал. Уже после он узнал, что исполнялось танго «Сильнее смерти». Девицы открыли танцы.

К Федору подошла официантка в красивом белом чепце и белоснежном фартуке.

— Чего изволите? — спросила она.

Федор некоторое время смотрел на нее и не знал, «чего же он изволит». А потом сказал:

— Для начала… бутылку ситро.

Он изучал присутствующих.

Близко от него, в углу, стоял, расставив клеш, рыжий, с аховым чубом и оспенной мордой, толстогубый и широкорылый человек. Нахальные глаза он выпучил на танцующих. Руки у него засунуты в карманы брюк, полы пиджака откинуты и прижаты локтями так, что видно подтяжки. «Любитель финки», — определил Федор.

Неподалеку от Рябого картежники окружили стол, сидя и стоя. Лица у них сосредоточенно-пустые, ничего не выражающие, кроме азарта, кроме внутренней бессмысленной дрожи. Особенно заинтересовал Федора один из игроков, во френче военного покроя царской армии, с торчащей из кармана автоматической ручкой. У него были удивительно маленькие уши, маленький покатый лоб и громадный подбородок, придающий лицу какую-то звероподобность. Федор заметил и то, что Рябой изредка обменивался взглядами с этим странным и подозрительным человеком.

Все остальные казались нормальными людьми. А внутрь каждому разве заглянешь! Вон, например, кассир, которого Федор видел в окошке какой-то кассы: он склонил голову над столом, волосы обвисли и закрыли половину лица, ладони рук были сложены вместе и лежали на столе. Но он не спал — голова качалась в такт танго. Через некоторое время кассир поднял лицо, откинул волосы назад и крикнул соседу, клинобородому бухгалтеру рабкоопа:

— Что такое жизнь? Я спрашиваю, что такое жизнь?

— Деньги, — отскрипел клинобородый, уставившись на соседа через сползшее на кончик носа пенсне.

— Ничего ты не понимаешь! Профан! — возразил кассир.

В шуме Федор не расслышал их дальнейшего разговора, но и так было ясно: растратчики.

Рядом с Федором, за следующим столом, сидел толстенький, низенького роста человек в одном жилете. Щеки у него обвисли, под глазами мешочки. Федор присмотрелся к нему и вспомнил: это один из

работников уисполкома. Он пьян и барабанит танго вилкой по стакану, приговаривая в такт:

— Любо-овь, любо-овь сильнее смерти… Та-та-та-та… А как ты, как ты думаешь, мой друг… друг-друг-друг?.. — обратился он к своему собутыльнику.

— И-эх! — воскликнул тот в ответ.

У этого лицо кажется сплюснутым сверху вниз: так низок лоб и широки скулы. После восклицания он ударил себя по лбу и замотал головой, как укушенный.

Федор не видел, что делалось в дальнем углу, но там кто-то плакал, выкрикивая:

— Где моя сила?! Где моя слава, сволочи?!

На середину зала вдруг выскочил косматый, опустившийся человек, небритый, в грязной рубашке. Пиджак у него был надет на одну руку и висел, беспомощно болтаясь. Свободной рукой косматый рассек воздух, на секунду замер в этой позе, затем поднял рывком руку вверх и крикнул:

— Внимание!

Музыка сразу оборвалась. А он обратился к музыкантам пьяным выкриком:

— Гриша!!! «Пару гнедых»!

Тихо, совсем тихо послышалась музыка старинного романса «Пара гнедых». Космач запел осипшим, пропитым тенором. Он пел об умершей старой блуднице, которой осталась верна лишь «пара гнедых».

— Были когда-а-а-то и в-вы рры-ысака-ами… — восклицал певец протяжно.

А в дальнем углу несколько человек чему-то громко смеялись. Кассир плакал, подперев голову ладонями, повторяя:

— Были когда-то и мы-ы ры-ысака-ами-и…

Собутыльник кричал работнику уисполкома:

— К черту! «Были когда-то и мы-ы рры-ысака-ами»! — хрипел он сквозь зубы, с озлоблением.

Плакали, смеялись, ругались, целовались с бесстыжими полуголыми девицами взбудораженные нэпом «бывшие» люди. Засасывало в это болото и советских служащих, приносящих сюда казенные деньги, чтобы потом угрюмо сидеть на скамье подсудимых.

Засасывало людей, остановившихся между старым и новым, не нашедших своего места. Плодило болото шулеров, карманников, казнокрадов… А хозяин, Климов, улыбаясь и склонив голову набок, смотрел на собравшихся сквозь очки и ворковал:

— У меня — демократия. Всем доступно, все вместе — и высокие работники и маленькие люди. Будьте любезны!

Пахло водкой, щекотало в носу, туманило голову. Ведь Федор когда-то крепко пил. Червячок шевелился внутри. Что стоит взять сейчас бутылку водки!.. Но Федор угрюмо и одиноко сидел в уголке за бутылкой ситро и смотрел, смотрел, слушал. Вдруг пришла ему в голову мысль: «Встать и сказать им, кто они, стоящие на развилке двух дорог. Сказать им и про себя. Сказать, чтоб за живое взяло!» Потом усмехнулся и сам себе ответил: «Кому говорить? Пьяным? Зачем?»

Он встал и вышел. Только не заметил Федор одного — не заметил, как Рябой, переглядываясь с хозяином, бросал на него изучающие мимолетные взгляды, искоса и неприметно. Не могли они не приметить единственного ничуть не выпившего.

По пути домой Федору встретился Епифанов.

— Не пьяный? — спросил он удивленно.

— Нет.

— Значит, не был?

— Был.

— Зачем же ходил?

— А не все ли равно, где сидеть мне — с вами, пьяными, или с теми пьяницами?

— Сегодня никто не пил, — буркнул Епифанов.

— Ну? — иронически вопросил Федор. — Какие молодцы!

— Не надо так, Федя. Я больше и в рот не возьму. Даю слово.

— Давно бы так. Но… пока не верю. — И спросил: — Стенгазету будешь делать со мной? Помогать? Ты ж рисуешь хорошо. А?

— Да я, знаешь… — Епифанов не договорил и порывисто, неуклюже протянул руку Федору: — На!

Федор пожал длинному симпатичному малому руку.

А через три дня в первом номере стенгазеты «Красный бухгалтер» появилась статья за подписью «Земляков Ф.». Автор писал о «болоте» Климова, взывал к чести будущих бухгалтеров и счетоводов, позорил пьяных «попутчиков и подпевал нэповского отродья».

Еще через неделю в уездной газете была напечатана большая статья «Климовский „клуб“». И здесь Федор подписал свою фамилию. Он обрисовал всех присутствовавших там в ту ночь и требовал закрытия «клуба». Эту первую статью Федор будет потом помнить всю жизнь, он не забудет даже запаха типографской краски той газеты.

Через месяц, не более, финотдел, по ходатайству укома комсомола и редакции газеты, обследовал деятельность Климова, обложил его налогами по ресторанной графе, начислил такой же налог за весь предыдущий год, высчитал пени. Одним словом, Климов закрыл заведение и смылся, не расплатившись с финорганами. А в том здании вскоре открыли столовую «Общепит».

…В ночь отъезда Климов нашел Рябого (того самого, в широких брюках клеш, что стоял перед Федором в «клубе»), сунул ему пачку червонцев, коротко сказал:

— Писаку Федьку! — и пронзил воздух указательным пальцем.

Рябой стал искать квартиру «писаки».

Однажды Федор заметил: он проходил мимо окна, заглянув в общежитие через стекло; шел медленно, засунув руки в карманы, будто прогуливался, слегка насвистывая веселый мотив. Второй раз он заметил его на той стороне улицы. Он так же спокойно шел, изредка поглядывая в сторону общежития. Федор почувствовал недоброе и сказал ребятам:

— Вон тот Рябой. Видите!

— Я его тоже видел в «клубе», — подтвердил Епифанов. — Что ему нужно?

— Попробую узнать, — сказал Федор и вышел на улицу.

Там он постоял немного и пошел в противоположную сторону от Рябого, изредка и незаметно оглядываясь. Тот сразу же круто повернул и ускоренным шагом стал догонять Федора. Скрывшись в первые попавшиеся ворота, Федор дворами вернулся в общежитие.

— Следит, — сообщил он ребятам.

Вечером Федор, лежа в кровати, думал о Рябом. Он, конечно, догадался, что действует рука Климова. Наконец у него постепенно созрел план. Проснулся внутри бывший Варяг и встряхнул кудрями.

…Ребята дежурили поочередно и установили: Рябой следит регулярно, но днем — редко, вечерами — ежедневно, утром —

никогда. Потом докопались, что Рябой служит приказчиком на хлебном пункте Блудиловых.

А Федор искал место встречи. И нашел. Недалеко от фотографии стояли два дома так близко друг от друга, что между ними оставалась только щель шириною не более метра. С внутренней стороны она была заложена кирпичами, а с улицы открыта. Там Федор и положил вдоль стены толстую дубовую палку, шест метра два длиной, слегка присыпав его мусором и пылью.

К «встрече» Федор подготовил всех ребят своей комнаты.

Вечером очередной дежурный сообщил:

— Рябой пришел.

— Готовься, братцы! — весело воскликнул Федор. И сразу же — за ворота.

Рябой немедленно последовал за ним. Семь человек «братцев» во главе с длинным Епифановым пошли за Рябым, пока на отшибе.

У щели Федор остановился, будто рассматривая афишу, приклеенную к стене. А когда Рябой был уже близко (что Федор определил по шагам, не оборачиваясь), то он, круто повернувшись, сделал испуганное лицо и нырнул в щель между теми двумя домами.

Бандит вынул финку и последовал за ним, спокойно, не ускоряя шага. Федор попятился в глубину щели.

И вот уже тихий, хриплый голос сказал совсем близко:

— Здорово, писака! Должок за тобой…

— Здорово, Рябой! — крикнул Федор громко, как сигнал. — А «должок» получай! — И он ткнул его шестом так, что тот отпрянул.

Немедленно Федор ударил его еще сильнее. В узкой щели, обороняясь шестом, Федор был недосягаем для Рябого. После четвертого удара Рябой выпятился из щели. Ребята повисли у него на руках и плечах, схватили за глотку, скрутили руки. Все произошло с головокружительной быстротой: Рябой лежал со связанными руками. Он сразу же пробовал взять мирный тон:

— Бросьте, братва, шпанить. Что вы меня — как сидорщика! Шутки не понимаете!

Потом начал сквернословить. К уголовному розыску шел злой и старался задеть кого-либо из сопровождавших пинком. Те отвечали более увесистыми тумаками. Наконец он затих после весьма прозрачного намека Федора:

— Если ты, змеюга, еще попробуешь пинать, то мы сделаем так: жить ты будешь, но будешь бледный.

Рябой понял, с кем он имеет дело, умолк совсем и вел себя уже так, что Епифанов его даже утешил:

— По поведению получишь пять. Ребрами владеть будешь беспошлинно.

В уголовный розыск привели его уже без каких-либо инцидентов. А после составления протокола веселой гурьбой отправились восвояси.

Но вскоре, дней через пять, Федора вызвали в милицию. Начальник милиции пригласил его из приемной:

— Заходите. Садитесь. Земляков?

— Земляков, — ответил Федор и подумал: «Знает ведь фамилию, а спрашивает».

— Ну, давайте поговорим.

— Давайте поговорим. Еще раз допросите?

— Пока хватит.

— Зачем же я вам потребовался?

— А вам кажется, что в милицию вызывают только для допроса?

— Не знаю.

— Ну я знаю… Хочу вам что-то сказать. — Он встал, прикрыл дверь поплотнее, сел снова за письменный стол, взялся за подбородок и, глядя на Федора из-под седых бровей, спросил: — Сказать вам, товарищ Земляков, кем оказался Рябой?

— Скажите, если можно.

— Бывший белый офицер, участник семеновской банды на Дальнем Востоке… Скрывался здесь под чужой фамилией, с чужим паспортом. Организовал здесь шайку. А в последнее время руководство этой шайкой захватил Климов.

Федор недоумевал. А начальник продолжал:

— Вот они какие дела… Действовали вы опрометчиво, по-мальчишески. Рябой недооценил вас как противника. Иначе он сработал бы по-другому. И вам, конечно, несдобровать бы. Нельзя шутить такими вещами. Надо было предупредить милицию.

— А я ее как-то не особенно люблю, милицию-то, — пояснил Федор, видимо обидевшись на слово «по-мальчишески».

Начальник пристально посмотрел на него. Федор выдержал взгляд, не смутившись и не отводя глаз. Первым отвел глаза начальник, улыбнувшись в размашистые буденовские усы, тоже седые, как брови.

— Воровал? — спросил он неожиданно.

— Воровал.

— Приводы были?

— Были.

— За что?

— Кур сушил на бельевой веревке.

— Много?

— Всех, какие были в курнике. И гусей воровал. И лошадей воровал… у бандитов.

Начальник рассмеялся и сквозь смех спросил:

— Значит, было дело?

— Было, — угрюмо ответил Федор. — Только не смешно это. Вовсе не смешно, скажу я вам.

Собеседник осекся. Он, казалось, смутился, встал и на секунду отвернулся к окну, взглянув на улицу. И в тот момент Федор бесшумно схватил со стола тремя пальцами маленький дамский пистолетик и сунул в рукав. А начальник вернулся в кресло и задумчиво сказал:

— Вот так, значит… Постарайтесь-ка, Земляков, не ходить ночью. Мы еще не знаем точно, не застрял ли кто из этой шайки. Эта сволочь всегда оставляет резервы. Вот так, значит… Хоть вы и не любите милицию, но…

— Не очень, — еще раз подтвердил Федор.

— Ну вот. А вы у этой шайки, как нам известно, на примете, как корреспондент уездной газеты. Вот. За два года было два покушения на селькоров, один из них убит. Будьте осторожны. Предупреждаю… Хоть вы и не любите милицию…

— А я даже вооружаюсь, товарищ начальник, — сказал Федор, усмехнувшись.

— Чем?

— Огнестрельным.

— Ну это, знаете… без разрешения нельзя…

— Вы же не будете знать — значит, и не виноваты.

— Ох и был же ты, парень, жох! — перешел начальник на «ты». — А смотри-ка, выкрутился… в люди. Только имей в виду: я

сказал все серьезно, без шуток. Будь осторожен. — И он встал, давая понять, что Федору пора уходить.

Федор встал, но добрая усмешка все еще не сходила **с** лица. Он подал руку и сказал:

— Спасибо вам… Но мне кажется, у вас на столе чего-то нет.

Начальник окинул взором стол и воскликнул:

— Украл!

— Точно.

— А ну?

Федор вынул из рукава пистолетик и положил на место.

— Ну и ну! Не заметил. Чисто! Талант! — восхищался начальник милиции… Чуть подумал. Глянул на Федора, на пистолетик и решительно сказал: — Возьми себе. Твой.

— На что он мне?

— Возьми. Для самоохраны. Мы селькорам разрешаем. И тебе выдам разрешение.

— Купить думаете? — в упор спросил Федор.

— Да на черта ты мне нужен, покупать тебя! Охранять тебя надо. А черт тебя знает, как охранять… сорвиголову. Не приходилось. Может, они за тобой охотиться будут, чудак ты еловый. Ты ж о них на весь уезд нашумел.

— Ладно, — Федор смущенно произнес последние слова: — Верите, выходит?

— Ну, пока… Иди, иди…

Федор ушел в общежитие.

Тосе он написал вечером того же дня длинное письмо, где все изобразил в шуточных тонах.

А Тося сердцем почувствовала, что раз у Федора пистолет, то он в какой-то опасности. Она забеспокоилась, заволновалась, не спала ночами.

Глава одиннадцатая

Тося несколько дней раздумывала над письмом Федора. И решила ехать в Белохлебинск.

Накануне отъезда она написала Ване Крючкову записку:

«Завтра еду к Феде. Зайдите. *Тося*».

С Ваней у нее размолвка сгладилась, хотя и не сразу. Он сам как-то зашел к ней на квартиру, молча чуть посидел и спросил:

— Обиделись на меня?

— Я его — «к черту», а он — «обиделись»! Вам надо обижаться, а не мне…

— Ну давайте мириться.

— Давайте. Как?

— Очень просто: забудем.

— Ладно.

Раза два они ходили вместе в кино. О Федоре говорили много, а о неприятном разговоре в день проводов — никогда. Тося так же, если не сильнее, любила Федора и верила Ване. Знала, женским чутьем, не выкинул ее Ваня из сердца, но думала и была уверена, что Федора он любит больше, что к ней у Вани чувство легкое, преходящее. Ведь она уже не девушка, и Ваня, казалось ей, понимает, и что все обойдется и останутся они друзьями. Она верила в дружбу с Ваней, в дружбу хорошую, чистую. Многому верит человек, когда ему двадцать лет! И это очень хорошо.

А в тот день, перед отъездом к Федору, Тося хотела увидеть Ваню, узнать, не передаст ли он что Федору.

Когда Ваня вошел, Тося стояла над раскрытым чемоданчиком.

— О чем задумались, Тося? — неожиданно спросил Ваня, войдя тихо, на цыпочках.

— Ой! Испугал… О чем? Да как-то боязно ехать… Вдруг он… болен или что-нибудь случилось.

— Кажется мне, напрасно вы так беспокоитесь. Ничего с ним не случится, — утешал Ваня искренне. — Скоро он кончает. Вот и… некогда. Знаю я эти экзамены: отца родного забудешь.

— А может быть, и правда, — сразу повеселела Тося.

— Вот передайте Феде — две книги. Рад будет. Он просил достать «Счетоводство в сельских потребительских обществах». И привет ему… Скажите: завтра уезжаю в Паховку, на каникулы. Оттуда напишу обо всем.

— Уезжаете? — спросила Тося удивленно.

— Уезжаю. В село хочется. Тянет туда. Часы уже считаю. До отхода поезда остается мне… двадцать шесть часов.

— А у меня? — Тося глянула на часы. — У меня остается сорок минут. Надо идти.

— Я провожу.

— Хорошо. Проводите.

— А что вы будете делать в Паховке? — спросила Тося.

— Отдыхать буду. Загорать, — ответил он.

Но Тося уловила в его тоне нотку легкой иронии. Так мог говорить только Ваня.

— Лукавите? — заметила она.

— Уточняю: хочу отдыхать, а получится или нет, не знаю. Если бы пришлось покосить ржи, то было бы здорово. Только вряд ли: уборка кончилась, наверно.

И снова Тося поняла, что Ваня старается замять, «заговорить зубы», чтобы не касаться своего самочувствия.

А когда поезд отходил и Ваня, не спуская глаз, провожал Тосю, молча, без улыбки, она поняла: любит. И стало его жаль.

В вагоне она думала: «Ну какой он все-таки чудак! Федя, тот весь на виду, со всеми завихрениями, а этот может закрыться, как… ракушка». Потом она пришла к выводу: «Ваня — человек сильный. Душа у него тоже сильная, как и… у Феди. Только они все-таки разные».

…В то время как Тося подъезжала к Белохлебинску, Ваня выехал из Тамбова. А утром следующего дня он уже вышел на станции, в тридцати километрах от Паховки.

Со станции шел пешком, сначала раздумывая и сосредоточенно рассматривая поля, а потом все веселее и веселее, бодрее. Степь распахнулась перед ним вся. Он в ней вырос, поэтому не мог не радоваться встрече с родной и любимой. Он радовался этому приволью и необъятности. И вот он уже запел, весело помахивая палочкой. Иногда останавливался, прислушивался к жаворонкам и подражал им свистом, выискивая в высоте висящий комочек, издающий радостную трель. Еще в детстве Ваня научился свистеть жаворонком. А в тот день и не понять: то ли Ваня приветствовал жаворонков, то ли они его. Висит такой комочек и приветствует гостя.

Здорово! Но долго наблюдать за жаворонком нельзя было: он вдруг пропадал с глаз, оставляя в воздухе звуки, волнующие, бодрые. И тогда казалось, что поет небо, что кто-то невидимый навешал в голубом бездонном небе неисчислимое количество волшебных колокольчиков и они заполнили переливами весь огромный простор. Поет небо! Хорошо! На душе было радостно от этой необъятной шири полей, от ласкающего легкого ветерка, от запаха цветов на обочинах дороги, от всего этого родного и любимого, огромного и необъятного, от того самого, что называется Родиной.

Подходя к селу, Ваня услышал ритмичный, отчетливый звук выхлопной трубы двигателя. «Наверно, купил кооператив, для мельницы, — подумал он. — А дядя Степан не написал мне об этом».

Переходя речку Лань, Ваня обрадовался и тому, что мост новый, добротный, с прочным настилом и дубовыми перилами. И мост-то весь — в семь метров длиной, а приятно его посмотреть на том самом месте, где совсем недавно был плетневый переезд с зияющими дырами. Ваня по-хозяйски ощупал мост руками и ногами и остановился, облокотившись на перила. Он посмотрел на воду и задумался.

Он вырос на этой речушке. Вспомнил, как маленьким мальчишкой чуть не утонул в ямке в полтора метра глубиной, вон там, недалеко. А ведь эта ямка казалась ему тогда омутом! Вспомнил, как ребятишками они с Федором ловили пескарей. Стоят они, бывало, голопузые и оборванные, с засученными до колен штанишками и забрасывают удочку с крючком из обыкновенной булавки. Если попадался пескарь, то надо было тащить его рывком и так сильно, чтобы, перескочив через твою голову, он летел на берег. Иначе соскочит с самодельного крючка и — в воду. Наловят, бывало, штук десять — пятнадцать пескариков, выпотрошат их, посолят густо, провялят на солнце с полчасика, да так и едят сырыми. Черт их знает, почему они были такие вкусные, эти пескарики! А если с мягким хлебом, то — объеденье.

Ваня смотрел на речушку. И показалась она ему маленькой-маленькой. Так, встретив старушку мать, юноша, выросший за два-три года разлуки, вдруг неожиданно замечает, что мать его — маленькая, щупленькая, но такая дорогая и любимая. «А все-таки она моя», — радостно подумал Ваня о речке и вошел в село.

Изба дяди Степана стояла недалеко от моста. В этой избе и вырос Ваня. Он остался сиротою еще маленьким, родителей не помнил.

Дядя Степан, высокий худощавый блондин с морщинистым лицом, хитровато прищурившись, встретил Ваню шутливым восклицанием:

— А, прибыли, Иван Федорович!

Ваня обнял дядю, поцеловал ребят и ласково, по-сыновнему, припал к щеке тети Аксиньи, поглаживая ей волосы.

— Ну слава богу, — сказала она, утирая слезинку кончиком головного платка. — Вот и еще свиделись. Вот и хорошо.

Гость не забыл никого: тете — ситцу на кофту, двум девчатам — по платку, двоюродным трем братишкам, что притихли на печке, — по одинаковому пистолету-пугачу и по разной книжке, а дяде — трубку, о которой тот давно мечтал, да еще две пачки настоящего турецкого табака. Никто со стороны не подумал бы, что приехал не сын, а племянник.

Чай пили все вместе, и маленькие и взрослые, не сводя глаз с Вани.

Дядя Степан — непоседливый, трудолюбивый, всегда веселый, несмотря на вечную нужду и многосемейность. Он весь был немножко-немножко смешной: вместо бороды у него торчали несколько десятков волосков; и эту «бороду» он всегда тревожил пальцами, пытаясь намотать на них волосы. Ничего из этой затеи не получалось, но бороде покою не было никогда.

— Ну рассказывай, Ванек, как она там, жизнь-то, — начал он после первой чашки чая, затеребивши бородку.

— Сразу не расскажешь. Все расскажу постепенно — не на один день приехал. У вас тут тоже новости большие, а ты, дядя, и не написал мне.

— Это какие же такие новости? — спросил дядя, выпустив бородку.

— А мельницу кооператив отгрохал? А мост новый сделали? Разве ж это не новости?

— Нехорошие эти новости, Ванек, нехорошие.

— Как так? — Ваня поставил блюдце на стол и посмотрел на дядю с удивлением.

— А так: мельница эта — Сычева Семена Трофимовича. Во-от. А мост строил он же. Взял подряд от сельсовета и по договору построил. На эти деньги можно два моста сделать, а он всю смету на мосты заграбастал… Вот тебе и новости, Ванек. Плохие это новости. Чего ж было о них и писать. У тебя там своих делов много.

— А я и не подумал… вот так Сыче-ев… — сказал Ваня, потупившись.

— Думай не думай, а так оно идет. А что дальше, Ванек?

— Скоро, дядя, должны быть большие перемены.

— Что же еще менять?

— Наступление на нэп будет.

— Это что же: опять хлеб отбирать будут? Как продналог?

Ваня отрицательно покачал головой, потягивая чай, и ответил:

— Если так дальше идти, то снова вернемся к капитализму и…

— Это — к царю?!

— Логически рассуждая, может быть, и к царю.

— Как это «логически»?

Ваня засмеялся, дядя — тоже. Ребятишки, полагая, что и им позволено, прыснули, отклонившись от стола; а у меньшого, семилетнего Сереньки, чай пошел носом. Гость понял, что речь его стала в чем-то непохожа на паховскую, и он, улыбаясь, объяснил:

— Логически — значит мыслить последовательно… Понимаешь? Вот, скажем, если так пойдет и дальше, то сначала возродится кулак и торгаш, потом помещик, потом фабрикант и, наконец, — царь.

— Ага! Понял, понял! Не-ет, пожалуй, так не надо. — Дядя закурил новую трубку, пыхнул дымком, затянулся и затеребил бородку. — Не-ет! Логогически не надо. Сычев уже логогически мельницу паровую состряпал. Землицу прибирает к рукам… Матвей Сорокин у него в батраках ходит…

— Матвей? — спросил Ваня, привстав.

— А то кто же? Матвей… С Андреем Михайловичем у Сычева дружба завелась и… водочка.

— Об этом слыхал, — сказал Ваня, снова присев за стол.

Ваня понимал, что дядя играет словом «логически», шутит без смеха и одновременно высказывает свои думы. Хитрый дядька! Он уже давно думал обо всем этом и о том, как дальше будет.

Тетя незаметно, одними глазами, выпроводила из-за стола многочисленное и дружное семейство. Остались, сидя друг против друга, дядя и племянник.

— Слух был, Ваня, будто Андрея Михайловича на волкоме разбирали: дескать, не полагается с кулаками партейному человеку водку пить.

— Ну и что же ему?

— Вроде упредили. И записали, говорят, так: нитнюдь, дескать, не пить.

Ваня задумался. Почему-то стало грустно. Дядя заметил это и утешительно сказал:

— Раз волкóм сказал, то должон не пить.

Они немного помолчали и вновь стали обсуждать деревенские новости. Просидели за полночь, беседуя тихо и радуясь встрече. Уходя спать, дядя Степан сказал:

— А что насчет колхозов говоришь, то, пожалуй, правильно. Раз, говоришь, Ленин сказал «неминуемо», то, значит, правильно… Ленин — всегда правильно. Это уж я знаю — поверь. Я, брат ты мой, Ленина нутрем чую, хоть и не логически. — При этом последнее слово он произнес правильно и серьезно, без шутки.

Дружное семейство из восьми человек уже спало по разным местам, от пола и до печки.

Ваня долго лежал с открытыми глазами.

А утром он пошел к Андрею Михайловичу. Тот все так же жил одиноким. Правда, изба подновленная, выбеленная, вновь перекрытая, но сарайчиков уже не было — вокруг пусто. Видно, хозяйством не занимается. Да и какое хозяйство можно вести председателю сельсовета, не имеющему семьи? Даже ел он урывками, иногда и у чужих людей. Где там до хозяйства!

Андрей Михайлович встретил Ваню в дверях и стал его мять в своих могучих руках, приговаривая:

— А ну, как ты поплотнел? А ну, мускулы!.. От ты какой прочный! — После этого он скороговоркой, непохоже на него, проговорил: — Посиди чуточку. Я сбегаю. — И выскочил из избы. Через несколько минут вернулся с бутылкой водки и сказал, ставя посудину на стол: — Ради встречи!

Ваня не хотел обижать его и поэтому отпил два глотка, отодвинул стакан, оправдываясь:

— Почти непьющий. Только в торжественные праздники.

Андрей Михайлович просил его, настаивал и наконец, видя безуспешность своих хлопот, выпил полный стакан.

— Ну, будем живы! За встречу! — Он понюхал хлеб, закусил и только после этого поднял глаза на собеседника. Казалось, он был обижен и в то же время смущен чем-то.

Ваня задал вопрос:

— Какие новости на селе?

— Как тебе сказать… Хлебозаготовки — досрочно. Оставалось кое за кем, но «хвост» ликвидировал: помог Семен Трофимович Сычев. Он потом сам соберет с них… Ну, с налогом думаю в этом году управиться досрочно: народ меня знает, поддержит. Еще что?.. Кооператив богатеет — новый магазин построили. Избу-читальню выстроили новенькую. Ты пойди-ка, глянь: столы, читальня, для библиотеки отдельная комната, для самодеятельности — отдельная. Поди, поди, глянь! — самодовольно говорил Андрей Михайлович.

— Читаешь в читальне-то?

— Я? — недоумевающе переспросил Андрей.

— Да, ты. Что прочитал в этом году?

— Гм… Кодекс законов — назубок… А больше мне и нечего. Мое дело — руководить народом. Соблюдать законы.

— А главный закон Ленина знаешь?

— То есть какой?

— «Учиться, учиться и учиться»!

Андрей промолчал и с удивлением смотрел на Крючкова. А тот повторил:

— Учиться! Еще раз — учиться! И еще разучиться!

— Это ты — к чему, Ваня? — сурово спросил Андрей.

— Андрей Михайлович! — горячо воскликнул Ваня. — Стоишь на месте. Борьба приближается, а ты стоишь… Сычевы идут вперед, а ты стоишь. Обгоняют!

— И этот — учить, — проговорил Андрей, нахмурившись.

Наступило неловкое молчание. Андрей посмотрел на часы.

— Спешишь? — спросил Ваня.

— Уже опоздал, — ответил тот.

Они встали из-за стола и вышли на улицу.

— Заходи, — сказал Андрей, прощаясь.

Ваня смотрел на него молча, удивленно. А он пошел, понурив голову, слегка ссутулившись. И вдруг Ване стало не по себе — к горлу подступил ком, заныло внутри… Вот он, его и Федора первый учитель, повернулся и уходит. Уходит сильный человек, сильный, старший товарищ, первый большевик в Паховке. Уходит, не желая разговаривать. Хотелось крикнуть, остановить. Но что поделаешь, если не хочет разговаривать!

Ваня медленно пошел к избе Земляковых, к Зине.

…Зинаида жила одна. Сначала, когда она осталась без Федора и Миши, кое-как обрабатывала надел, сдавая исполу, ходила по людям полоть подсолнухи и просо. Потом поступила уборщицей в новую избу-читальню. Там она и пристрастилась к чтению.

Часто книга входит в жизнь человека незаметно, а у Зинаиды это произошло очень заметно. Бывает, живет в деревне девушка и кажется она всем обыкновенной девчуркой. Но вдруг, в один прекрасный день, все увидят: э! да она вон какая! Надела новую кофту — и уже красавица. А раньше девчонкой считали. Что-то похожее случилось и с Зинаидой: уборщица избы-читальни стала заведующей библиотекой. Будто новый человек появился за какие-то полтора-два года.

Заметил другую Зинаиду и Андрей Михайлович. Зашел он как-то в избу-читальню днем, когда посетителей бывает мало или совсем не бывает. Дверь была открыта. Он стал на пороге, осматриваясь вокруг, и не узнал избы-читальни — чистота, опрятность, на окнах кружевные занавески, лампы начищены до зеркального блеска; слева табличка — «У нас не курят». А у шкафа Зинаида просматривала книгу. Она стояла к нему вполоборота. Андрей видел у нее на шее пушок, нежный и густой.

— Что же стали? Заходите, Андрей Михайлович. Давненько вы у нас не бывали.

— Дела. Дела, Зина, — ответил он, войдя.

— То-то вот и оно. Дела-то разные бывают.

— Это как понимать?

— Так и понимать: разные дела. — Она вновь повернулась к шкафу и стала отыскивать какую-то книгу. Потом взяла ее и подошла к Андрею, говоря: — Изба-читальня для председателя — тоже «дела».

Зашли бы, — сказала она, чуть смутившись, — побыли бы вечером, посмотрели бы, как мы тут… Книг у нас не хватает. — И вдруг смело, прямо глядя в глаза: — Книг не хватает, а вы денег не даете расходовать.

— Смета. Ничего не попишешь. И ничего не придумаешь.

— Сама смотрела: по смете не израсходовали.

— Ну? Тогда можно. Ты зайди-ка в сельсовет, подумаем там.

Зинаида ответила благодарной улыбкой.

«А брови какие! — подумал Андрей. — Она совсем-совсем другая».

— Что это вы, Андрей Михайлович, так на меня смотрите? — спросила она неловко.

— Вот… смотрю и… — Он не договорил, но глаз с нее не сводил. — Давно смотрю, — невольно соврал он.

Зинаида, отвернувшись в смущении, сказала:

— Ну вас! Нехорошо так.

И зачастил председатель сельсовета в избу-читальню. Вечером, после закрытия читальни, они вдвоем тихо шли по улице домой. «А чего тут особенного, — говорили на селе. — Он еще молодой вдовец, при должности, она — куда там! Да и года не особо велики: подумаешь, двадцать три! Это раньше — плохо, двадцать три девке, а теперь того… Куда там!»

Зинаида жила в своей избе одна, Андрей в своей — тоже один. Только стали люди замечать, что иной раз на одной из изб всю ночь висел замок. Тогда говорили просто: «Она у него» или: «Он у нее». И все. Это была чистая и открытая любовь, какую дай бог каждому. Зинаида полюбила Андрея со всей страстью. Да и Андрей души в ней не чаял.

Но Зинаида не писала Федору обо всем этом. Думала так: «Свадьбу сыграем — напишу. А может, и сам приедет погулять». В том, что свадьба будет скоро, она не сомневалась.

Андрей реже стал выпивать. Пьяного она выпроваживала его строго и не допускала никаких возражений. А он после этого не показывался к ней по нескольку дней. Зинаида сама никогда не делала попыток к примирению, ждала от него первого шага. И Андрей в конце концов делал этот шаг. Приходил, садился и молча курил. Ждал. Она, по обычному женскому правилу, которому никто не обучает,

выдерживала его «в квасах» (по ее же выражению) и только потом уж забирала в свои страстные и горячие руки.

Но однажды, как раз в день приезда Вани Крючкова, произошла, казалось, непоправимая размолвка.

Федор прислал Зине горячее письмо. Он предостерегал от Сычева, горестно делился слухами о том, что Андрей близок к Сычеву, просил написать об Андрее подробно, называя его лучшим старшим другом.

А в тот вечер, когда Ваня беседовал с дядей, Андрей пришел к Зинаиде слегка выпивши.

— Ты что такая суровая? — спросил он шутливо, заметив сдвинутые густые брови.

— Опять пил? — последовал вопрос на вопрос.

— Опять пил, — пробовал отшутиться Андрей.

— У Сычева?

— У Сычева, — отвечал он, усмехаясь.

— На, читай! — бросила она ему письмо Федора. — От тебя не сумею скрыть… — И отвернулась к окошку.

Андрей читал. Мрачнел. Сначала читал вслух, потом — про себя. А окончив, опустил голову, облокотившись на стол и не выпуская письма из руки. После некоторого молчания он вдруг стукнул кулаком по столу и крикнул:

— Что?! Врагом заделали?!

Под окном прошел Виктор Шмотков. Он остановился, прислушался и пошел дальше. Его догнал Матвей Степаныч Сорокин и спросил:

— Мимо Земляковых шел — ничего не слыхал?

— Слыхал.

— Чего?

— Андрей Михалыч Зинку дрисирует.

— Дрисирует?

— Ага.

— Как было у них все хорошо, и вдруг дрисирует, — с сожалением сказал Матвей Степаныч.

— А как же: баб, их в руках надо держать! — как-то осанисто сказал Виктор.

— Ты уж! — односложно возразил Матвей Степаныч, зная, что Витькой командует его жена на каждом шагу, — Командир! — добавил он на прощанье. А потом обернулся и подозвал: — Витя, поди-ка сюда. — Когда тот подошел, Матвей сказал ему: — Мы с тобой ничего не слыхали. Понял?

— Понял. Могила!

Виктор никому не проговорился, и разговор в избе Земляковых остался тайной. Но Матвей, придя домой, сказал жене:

— Матрена, сходи-ка к Зине. Что-то неладно у них с Андреем.

А там, в избе, спор продолжался.

— Ты не расходись! — сурово и четко сказала Зинаида. — Не стучи кулаками! Ишь ты! «Сычев больше всех хлеба продает», — передразнила она. — Или со мной живи, или убирайся к черту к своему Сычеву.

— К какому такому «своему»?

— А зачем к нему пошел пить? Сколько времени не был, а теперь — опять?

— Пригласил. Просил. Не враг же он, — оправдывался угрюмо Андрей.

— Эх ты! Голова-решето! Забы-ыл!

— Что я забыл?

— Забыл, что дедушка Матвей снова — батрак. У кого? У Сычева. Ослеп ты… Забыл, кто Федю убивал?

— Та-ак? — протянул вопросительно Андрей. — А что следствием установлено, ты забыла? Так?

— Так! — отчеканила резко Зинаида. И еще раз повторила, повернувшись к нему: — Так! Я тебе сказала все. Уходи с глаз долой!

Андрей некоторое время помолчал, затем тяжело встал, подошел к двери, а уж там остановился и, не оборачиваясь, сказал тихо:

— Прощай.

Зинаида молча посмотрела на его широкую спину.

Андрей ушел.

Зина легла на кровать вниз лицом. Она не плакала, нет. Только осталась она снова одинокой.

Через некоторое время она села, опустив руки и глядя неподвижно в пол остановившимися, невидящими глазами. В таком положении и застала ее Матрена Сорокина.

— Пришла проведать… Э! Да ты что это… ки-исла-ая та-ка-я, де-евка-а? — протянула она.

На ней был серенький с горошками платок, завязанный под подбородком. Глаза у Матрены светло-серые, то чуть прищуренные, когда хитрит, то открытые и прямые. Нос чуть вздернут (была когда-то бой-девка!).

Зинаида не ответила на ее вопрос и не изменила положения.

— Аль от Федора что?.. Может — с Андреем?.. — настаивала Матрена, приглядываясь к Зинаиде, подперев двумя пальцами подбородок.

— И то, и то, — наконец ответила Зинаида.

— Ишь ты: и то, и то… Расскажи, Зина, — подумаем.

Зинаида угрюмо и коротко поведала о письме Федора и о разговоре с Андреем.

— И-их! Девка! Их, мужиков-то, в руках надо держать. Вот так! — Матрена заграбастала могучими руками воздух и сжала всеми пальцами, показав, как надо держать мужиков. — Дала взбучку — и хорошо! — Она подсела к Зинаиде, поправив узелок платка под подбородком, и продолжала: — Ну? Заскучала? Эх ты, дитятко мое! — Матрена вздохнула. — Давай-ка попоем. Оно и отлегнет.

Она откашлялась, развязала узелок платка и запела чистым, совсем не старушечьим голосом:

У зари у зореньки
Много ясных звезд…

Зинаида подхватила мягко и бархатно:

А у темной ноченьки
Их не перечесть.

Пели они тихо-тихо, не глядя друг на друга, как бы разговаривая песней.

Прохожие останавливались, прислушивались к тихому мелодичному напеву. И каждый думал: «До чего же хорош голос у Зинаиды! Подвезло Андрею: какую девку берет!»

А из избы Земляковых уже громче и тоскливее доносилось:

Кто мне эту звездочку
Может возвратить.
Кто мне мово милого
Может заменить.

— Так-то оно, мое дитятко, — говорила Матрена, уходя. — От песни-то душа мякнет. Протяжную пропоешь — вроде поплачешь, отлегнет. Веселую пропоешь — здоровей будешь… Ну, пойду. Старик-то пришел от Сыча, теперь заждался. Пойду. А насчет Андрея я тебе скажу так: поперхнулся он… Поперхнулся.

— Как это поперхнулся? — удивленно спросила Зинаида.

— А так. Попадет человеку в дыхательное горло что-нибудь аль косточка застрянет. Во-от. Выпучит тот человек зенки и смотрит на всех как полоумный. И никто сперва не понимает. А ему ни крикнуть, ни охнуть нельзя… Дак во-от. Подойдет он к кому-нибудь и подставит спину: дескать, бейте по хрипу, подавился, мол, добрые люди! Тогда и другим бывает понятно: лупить надо — спасибо скажет.

Зинаида слушала Матрену, не сводя с нее глаз, а та продолжала, уже держась за ручку двери:

— Он — малый-то дюже хороший, Зина. Подставит он когда-нибудь хрип, нагнется: «Бейте, мол, люди добрые! В дыхательную попало». Право слово, так и будет… Не горюй, девка, — обойдется. — Напоследок она добавила с достоинством: — Дай-ка вот я еще доберусь до него! Обязательно надо. Доберусь. — И вышла.

Зинаида снова осталась одна. Она села за стол, опершись на локти, и смотрела перед собой.

…Когда Ваня вошел к ней в избу, то сразу заметил, что лицо ее бледно. Казалось, она провела бессонную ночь. Но она обрадовалась ему, вскипятила чаю, оживилась.

— Давно видел Федю? — задала она первый вопрос.

— Давно, — коротко ответил Ваня.

— Ну как он? Как здоровье?

— Да ничего… Конечно, не так уж… Но… все лучше ему. Пишет — здоров. Да ведь я его давно уж видел.

— Чего уж там «ничего». После такого не скоро будет здоров.

— Будет, — уверенно сказал Ваня. Он постарался перевести разговор на другую тему: — Как у вас тут жизнь?

— Да подожди ты с нашей жизнью. Как женушка его? Расскажи про Тосю.

— Ну как? Хорошо.

— Да что из тебя слова не вытянешь! Ты стал какой-то…

— Какой?

— Суровый, что ль. Или нет — не суровый, а серьезный. Какая она из себя? Тося-то?

— Как тебе сказать? Хорошая. Я рад за Федю.

— Зарегистрировались они?

— Не знаю. Кажется, нет.

— А не бросит она его? Как думаешь?

— Нет. Не бросит.

Знала бы Зина все — не приставала бы к Ване. Но он снова решил переменить разговор и сказал сразу, без всякого перехода:

— Был у Андрея Михайловича.

И будто Зинаида услышала выстрел, а не слева Вани: она вздрогнула. Ваня заметил это и спросил:

— Ты что, Зина, сразу помрачнела?

— Нет… Я ничего…

— Нет, нет, Зина. Вижу. Рассказывай. Все рассказывай.

Так они поменялись ролями. Теперь Ваня просил ее рассказать, а она смутилась.

— Зина! Мы все уважаем Андрея Михайловича. Расскажи, — настаивал он.

— Только одной Матрене Васильевне рассказала. Никому больше не хотела. А тебе расскажу… Как другу.

Зинаида поведала о вчерашнем все, далее более подробно, чем Матрене. Закончила дрожащим голосом, сквозь навернувшиеся слезы:

— Ушел и… ничего… не сказал.

Ваня долго молчал, а потом тихо проговорил:

— Теперь и я понимаю, что значит «И этот учить!»… Ты успокойся, Зина. Вилюшки Андрея Михайловича заметили. Дядя говорил — в волкомпарте обсуждали… Успокойся.

Он утешал Зинаиду, а на душе было нехорошо: не то чувство собственной вины, не то жалость к Андрею — он пока не понял. И Зину жаль: такая хорошая девушка, а несчастна. Несколько раз он прошелся из угла в угол в раздумье: «Трудно все-таки достается счастье. А я хотел, чтобы оно само мне в рот влетело. Его, оказывается, надо… добывать. — Потом мысль: — А Федор? Добрый мой друг? Как же это я мог так подумать? До чего же я нехороший человек!» — казнил он себя мысленно. Потом остановился перед Зинаидой и спросил без обиняков:

— Ты Андрея сильно любишь?

Она кивнула.

— Люби! Хорошо, что любишь. И добивайся. Счастье, оно добывается… с боем, — И снова заходил по избе.

— Ваня! — обратилась Зинаида после паузы. — А ты… кого-нибудь любил? Или любишь?

— Я?! — Ваня деланно рассмеялся и увильнул от ответа: — Да кто меня полюбит.

— Тебя? Каждая полюбит.

— А ты меня полюбила бы? — шутил он. И сам удивился тому, как он просто и свободно держит себя с Зиной. Мелькнула мысль: «А с Тосей так не могу, робею».

— Нет, не полюбила бы.

— Почему?

— Я люблю другого. Андрея люблю. Навечно.

— Вот — и отлично. Не «каждая», значит… — Видимо, не желая углублять этот разговор, он пожал ей руку на прощание и попросил: — А письмо Федино дай мне, на денек-другой.

Она подала ему письмо, пожала обе руки сразу и, проводив за калитку, вернулась в избу. На душе у нее полегчало. Но ей так хотелось поговорить с Ваней еще: с ним все как-то просто, как с другом. Она долго сидела, задумавшись. Потом сказала сама себе:

— Он стал какой-то другой, Ванятка… Мы все стали какие-то… не такие.

Кто ж ее знает, что она под этим подразумевала?

Через два дня Крючков пошел в Козинку, в волкомпарт.

Много лет комитет партии помещался в одном и том же здании. Но Крючков не узнал внутренних комнат: полы крашены, в зале стояли

рядами стулья, а между ними, в проходе, дорожки-коврики; в конце зала возвышался помост, на нем стоял большой стол, накрытый красной скатертью, а сбоку от него маленький столик, для докладчиков; на окнах гардины, по стенам портреты вождей. Крючков осмотрел стены, вошел в приемную, где сидел технический секретарь, и спросил:

— Мне товарища Некрасова.

— По какому вопросу?

— По важному. Я из совпартшколы. На каникулах.

— Смотри-ка! — пошутил секретарь. — «По важному». Так и доложу — «по важному», из совпартшколы.

Через несколько минут Крючкова позвали в кабинет секретаря волкомпарта Некрасова.

Письменный стол секретаря стоял у задней стены так, что сидящий всегда был лицом к посетителю. Длинный стол, накрытый красным сукном, приставлен к письменному буквой «Т». Вдоль стен стулья, на окнах гардины, как и в зале; справа от секретаря тумбочка, а слева этажерка с книгами.

Крючков снял фуражку и прошел к Некрасову. Тот внимательно посмотрел на посетителя, встал, протянул руку и поздоровался.

— Я — Крючков. Из Паховки.

— Будем знакомы. Слышал о вас. И о Землякове слышал. Знаю.

Некрасов работал в Козинском волкомпарте недавно — Крючков видел его впервые. Было ему лет сорок. Лоб у него прямой и высокий, а в зачесанных назад волосах белели ниточки седины. Две маленькие морщины, от углов глаз к вискам, создавали такое впечатление, будто он всегда присматривается, чуть-чуть улыбаясь глазами. Ване он понравился сразу, а слова «слышал о вас» расположили к доверию.

— Товарищ Некрасов, — начал Ваня.

— Можно: Николай Иванович, — перебил его секретарь.

— Вас, Николай Иванович, я вижу первый раз… И все-таки буду говорить об одном коммунисте, хотя самого меня еще только будут переводить в партию… в этом году.

— Давай прямо, без предисловий, — сразу перешел на «ты» Некрасов. — Про Вихрова?

— Да.

— Знаю — твой бывший наставник, знаю — хороший человек, честный, бескорыстный. Ты не утерпел. Иначе и нельзя. Правильно.

Крючков удивленно спросил:

— Вы все уже знаете?

— Не все. Хочу от тебя узнать больше… Вихров долгое время был единственным членом партии в Паховке, часто приходилось решать многие вопросы самому, а это перешло в привычку. Вот Сычевы-то и хотят его прибрать к рукам, с этими привычками и настроениями. Прибирают уже. Вот они какие дела. А теперь ты рассказывай.

Крючков подал письмо Федора к Зинаиде. Некрасов прочитал его внимательно и спросил:

— Еще что?

Ваня подробно рассказал о своих встречах с Андреем Михайловичем и Зинаидой.

— Понятно, понятно, все понятно. А как подействовало на него это письмо, твоя беседа, размолвка с Зинаидой?

— Говорят, молчит оба дня. Скучный.

— Запил?

— Нет, не пил вроде. Но точно не знаю.

— Запьет. Он себя чувствует одиноким… Чубатову он рассказал бы даже и о личной жизни. — Друзья они были. Но Чубатова нет — перевели в уисполком, а вот мне… пока не доверяет — нутром чую. Трудно с ним. — Некрасов легонько побарабанил пальцами по столу, глядя на задумавшегося Ваню, а затем отвернулся в сторону и снова заговорил, будто раздумывая при собеседнике: — Переход от нэпа потребует большого напряжения. К сожалению, не все это понимают. Вихров — тоже.

— Что же делать?

— Давай думать. На бюро он уже был. Вторично — пока не следует.

— А я хотел просить, чтоб его вызвали на бюро и пригласили нас с Зинаидой Земляковой. Мы хотели… договорились…

— Вы хотели ему доказать: любите, дорожите им. Хотите, чтобы он понял свои ошибки у вас на глазах, за один вечер? Даже за два-три часа заседания бюро? Так?

— Так.

— Вот тебе и «так»! — беззлобно повторил Некрасов. — Дело тут гораздо сложнее. Таскать члена партии каждую неделю на бюро не только бесполезно, а и вредно. Этак бюро можно превратить в «головомойку». Нельзя требовать исправиться или исправить что-то большое за одну неделю. Заставить «признать ошибки» не очень трудно, а научить, как понять эти ошибки, — посложнее… Посложнее. Да.

— Ну как же? — с горечью и надеждой спросил Ваня.

Николай Иванович пристально посмотрел на опечаленного юношу, вышел из-за стола.

— Вот как ты его уважаешь, — сказал он душевно. — Это хорошо, товарищ Крючков… Так вот слушай. — Ваня поднял глаза на Николая Ивановича. — Слушай. Я немножко, надумал… Ты и все Земляковы хотите ему добра. А разве народ, беднота не хочет этого? Хочет.

— Хотеть — мало. Надо что-то делать! — воскликнул Ваня.

— Вот и давай попробуем втянуть в это дело народ, бедноту.

— Как это — народ?

— Бедняков направить на него… Есть у вас там замечательная женщина, Матрена Сорокина: двумя словами убить может. Поговори-ка с нею… А Сычева надо по возможности осадить. Пора. Поговори-ка с его батраком, с мужем Матрены: пусть-ка он в суд подаст, за бездоговорную оплату. А я подошлю к Сорокину человека из батрачкома — пусть тоже поговорит, организует. Понял? И сам «подолби»-ка Вихрову за время каникул голову, этак понастойчивей. Подложи ему статью «О кооперации» Ленина. Так, Понял? Ты, Земляковы, Сорокины поклюете Вихрова малость, до болятки. Так. До болятки его, до болятки. Понял? Это раз. Потом он увидит, что Сычева осаживают сверху, и станет конечно же на сторону батрака. Это два. И — книга. Это три. А? Как ты думаешь?

Ваня повеселел.

— Не спеши радоваться. Дело трудное. Далеко он зашел, далеко, товарищ Крючков.

Расставались они как хорошие, старые знакомые. Николаю Ивановичу понравился этот умный, энергичный, серьезный парень.

Некрасов, прощаясь, некоторое время не выпускал руки Крючкова из своей, говоря:

— Хорошо, что пришел. На правильную мысль натолкнул. Спасибо. Да! А Земляков Федор скоро приедет?

— Наверное, месяца через два.

— Это тоже хорошо.

— Откуда вы его можете знать? Вы же никогда не видели Федора? — довольным тоном спрашивал Ваня.

— Я тут уже около года. Не видел, но слышал. Матвея Степаныча-то я знаю. И многих знаю из Паховки. Слышал о Федоре. И думал. Думал… Как тебя?

— Крючков.

— Да нет? Зовут как?

— Иван.

— Так вот. Думал, Ваня, думал. Работы предстоит много — надо заранее обдумывать… А когда кончаешь совпартшколу?

— Еще год.

— Не так-то и долго… — он хотел сказать — «ждать», но раздумал. А просто спросил: — К нам? — Ваня кивнул. — Это хорошо. В нашем полку прибывает.

А вечером того же дня Ваня писал Федору письмо, сидя у Зинаиды. Письмо получилось большим, на десяти тетрадочных листах. Вместе с Зинаидой они перечитывали его, поправляли и наконец переписали начисто. Теперь и Федор будет знать все о Паховке.

Андрей Михайлович Вихров приплелся к избе Зинаиды. Подойдя к окну, он увидел склонившихся над столом Ваню и Зину. Сжал челюсти и пошел прочь. Он зашел к Сычеву. Спросил коротко:

— Есть?

— Как не быть! Для вас завсегда, — залебезил Семен.

Но с ним Андрей больше не разговаривал. Пил и молчал… И ушел он молча, не попрощавшись, слегка пошатываясь.

Глава двенадцатая

До окончания курсов оставалась неделя. Все готовились к выпускному вечеру: в общежитии стоял невообразимый ералаш — кто-то пел, кто-то декламировал стихи, кто-то заучивал вслух роль из

комедии, и каждый слышал только самого себя. Такое может быть только в общежитии, где привыкли друг к другу и к постоянному шуму.

Федор, сидя на кровати, вполголоса «держал ответную речь» от имени выпускников. Предложенный заведующим курсами текст он держал перед собой:

— «Товарищи! Мы, счетоводы, должны быть тесно и прочно связаны со строительством новых путей, которые…»

Но, вдумавшись, он плюнул и так же вполголоса сказал:

— Без души выходит… «Тесно и прочно»… «со строительством новых путей, которые»… Надо же! Ладно, и без этого листа скажу.

Он лег на кровать — и в мыслях сразу возникла Тося. У него всегда так получалось: стоит только появиться свободной минуте, как Тося тут как тут, и тогда он уже ни о чем не мог думать, кроме любимой. В тысячный раз он спрашивал: «Поедет ли со мной в деревню?» После раздумий он решил окончательно: «Получу свидетельство и — сначала к ней, а потом уже в Паховку». Он так мечтал о Тосе, так ждал встречи, что в последние дни затосковал.

А Тося неожиданно приехала сама. Она несмело постучала в дверь общежития. Длинный Епифанов, подражая содержателю «клуба» Климову, протянул:

— Милости просим! Ваши головные уборы!

Она остановилась в дверях, улыбающаяся, раскрасневшаяся от быстрой ходьбы. Ребята притихли.

Федор дрогнувшим голосом произнес удивленно и радостно:

— Тосенька-а!

— Федя!

Она, забывшись, машинально поставила чемоданчик на первую попавшуюся кровать и шла к Федору, не сводя с него глаз, не видя ничего вокруг. Села около него, взяла его ладонь в свою. Федор ощутил, что рука ее слегка дрожала. А он остолбенел от радости.

Епифанов скомандовал ребятам одними глазами: «Выходить!» Все жители комнаты поодиночке тихонько вышли, оставив Федора с Тосей.

— Приехала, — наконец-то сказал он.

— Приехала.

Всегда они не очень-то были разговорчивы. А о любви и совсем не говорили, будто боясь затронуть что-то большое и необъятное,

заполнившее их.

— Ты здоров? — спросила Тося, заметив, что его лицо все еще бледно.

— Лучше быть не может! — весело ответил Федор.

— А я… боялась…

— Чего?

— Думала, болеешь. Ну вот и хорошо.

— Хорошо.

Кудряшки Тоси были близко-близко от него. Вся она родная и желанная… Он взял ее голову обеими руками, повернул к себе лицо и… целовал, целовал, целовал.

Тося смотрела на него счастливая: Федор такой нежный и ласковый.

— Ух ты… такой… — прошептала она.

— Какой?

— Хороший.

Тося прожила у него всю неделю. Почти все время она проводила с Федором: ходили в лес, в кино, в театр, на речку. В комнате общежития на каждой тумбочке появились цветы. Даже самые небрежные ребята стали убирать кровати аккуратно (Тося придет). И она появлялась опрятная, стройная и улыбающаяся, Федор гордился ею и был счастлив.

Лишь в последний день, перед отъездом, она спросила, как казалось Федору, о самом главном:

— Значит, ты решил: в Паховку?

— Да.

— И я туда. Куда ты, туда и я.

— Тося! — воскликнул он благодарно, прижав ее к груди.

— Угу! «Тося»! — шутливо передразнила она.

— Ладно. Хорошо.

А Тося шептала:

— А я тебе что-то скажу-у!.. Экстерном сдала за второй курс. Василий Васильевич помог… За один год два курса одолела. Теперь студентка. Вот кончу и — в Паховку, врач — с высшим образованием.

Федор вскочил от удивления и восхищенно протянул:

— Вот это да-а!.. А чего же молчала, не написала?

— Это я тебе сюрприз припасла. А что к концу встречи сказала, так это… ну… чтобы ты оставался и без меня веселым.

— Тосенька!.. Какая же ты молодчина!.. Но только в Паховке-то нет больницы. В Козинке есть, за семь километров.

— Будет и в Паховке когда-нибудь — не через год, так через два. (Ей все казалось легко и просто.)

— Может, и будет… — Федор задумался: «Будет ли? Невеселое письмо получил из села… Да и приедет она не раньше, как через два года… почти через три. Долго!»

Но Тосе он ничего о том не сказал — пожалел, не захотел тревожить любимую в часы расставания. Так они, жалея друг друга, все-таки что-то недосказали.

Уезжали они в один и тот же день: Тося — в Тамбов, Федор — в Паховку. Он, проводив ее, долго еще стоял на перроне, смотрел вдаль, туда, где скрылся поезд. Заныло сердце: надолго расстались! А вдруг этой самой больницы и не будет? Тогда что?

…Добрался он со станции в Паховку с попутной подводой чужесельца. Дошел до своей избы и остановился в раздумье.

Вот он снова у своего дома. Здесь он прожил в бедности и сиротстве при живых родителях, здесь плакал в детстве, ожидая отца, здесь же и простился с ним, не потеряв к нему сыновней любви. Здесь жил он, Федька Варяг, отчаюга и вор, здесь же и умер один раз. Варяга больше нет! И в селе его уже не называют так даже заочно, а по-другому — Федор Ефимович… Здесь он когда-то воевал за землю с Кучумом и Дыбиным. Здесь когда-то Андрей Михайлович «починил» рассохшееся колесо его жизни. «Хорошо, — подумал он, — что есть такие люди, как Андрей!» И сразу же стало горько на душе: жаль Андрея.

В ночной тишине он одиноко стоял у окна родной избы. И эта тишина села показалась ему настороженной, неспокойной. Слишком уж тихо. Как перед бурей. Ни звука!

Он постучал.

— Кто там? — спросила Зинаида, подойдя к окну.

— Я, — тихо ответил Федор.

— Да кто ты есть?.. Кто же там? — шептала Зинаида. — Уж не Андрей ли? Не может быть.

— Зина, открой! — громче сказал Федор.

— Федя! — закричала она вне себя и выбежала на крыльцо. — Пойдем. Пойдем, родной мой.

Он вошел и стал посреди избы. Зинаида положила руки ему на плечи, посмотрела в лицо… Как оно изменилось! Глубокие глаза стали больше и умнее, взгляд взрослее, мужественнее, но зато и ласковее. Появились две ранние морщинки на лбу. Но сестра оставалась такой же смуглой и родной, напоминая отца. Зинаида крепко обняла его, а он гладил ее голову.

Успокоившись, они сели за стол рядом. И до самого рассвета говорили. Никогда еще Федор не беседовал с сестрой так, близко и любовно. И никогда, никогда за всю жизнь Зинаида, как казалось ей, не любила так брата, как сейчас. Понял Федор в ту ночь, что он всю жизнь хотел правды, но не знал, где она. И вот теперь все ему ясно. Поэтому и сказал Зинаиде:

— Я знаю, что делать.

— Тебе надо сначала отдохнуть. — Зинаида подумала и забеспокоилась: — Да и связываться как?.. Убьют. Вон Сычев за три года нажил пять коров, своего пастушонка держит, мельницу, маслобойку… работники. Их тут таких два двора, а остальные — либо в одном положении, либо беднеют. И все, Федя, дерутся из-за земли. Как к ним приступиться? Как приступиться? — повторила она. Видно, много думала об этом.

— Жить так мужику нельзя… по-волчьи, — твердил Федор.

— Они ж от земли и зверьми становятся: что ни больше ему земли, то — хуже. — Помолчав, она добавила осторожно: — Сычев от Дыбина письмо получил, из тюрьмы. Будто год еще отсидит — и выпускают… А может быть, народ и зря болтает.

Федор стал во весь рост. Глаза загорелись, сверкнули. Он пятернею заправил волосы назад и проговорил:

— Снюхались. Старые и новые снюхались. — Он сел снова на лавку и тихо еще раз сказал: — Старые и новые…

А ночь кончилась. Рассвет крадучись заглядывал в окошки.

Федор спал.

Бывает в деревне всегда так: приедет сельчанин из других мест в родную деревню, и к нему идут в избу группами и поодиночке — узнать новости, посмотреть, какой он стал, покалякать о том, как люди живут на стороне, и объявить свое почтение. В таких избах целый день

висит табачный дым, а двери почти не закрываются до тех пор, пока проведают все.

Не так было у Федора. Утром молва о его приезде облетела село в несколько минут. Все знали: приехал. Но только один Матвей Сорокин припрыгал на тоненьких ножках. Он поспешно вбежал в избу, пожал Федору руку и с размаху, шумно сел, зашуршав ссохшимся овчинным кожухом.

— Значит, прибыли, Федор Ефимыч, — сказал он, видимо, заготовленные заранее, но ничего не значащие слова.

— Как видишь, Матвей Степаныч.

— Да-а…

Перед Матвеем стоял теперь новый Федор. Другим человеком показался он ему — непохожим на гордого Федьку Варяга. Он сбивчиво, сморкаясь от волнения, спросил:

— А?.. Не того… конешно… Как его, этого… А?

— Да что ты, Матвей Степаныч! Все хорошо.

— А ты, главное дело, в тоску не пущайся. Нам, брат ты мой, не ряд тосковать. — Матвей чувствовал, что говорит не те слова, а других не находил. — Ты, Федя, может, думаешь, на еду не заработаешь? И-их, мила-ай! У меня всю жизнь жрать нечего было; на шубе заплат больше, чем я, скажем, хранцузских булок поел на своем веку. А хлеб, обнаковенный хлеб ржаной, завсегда добыть можно.

— Заработаю. Я теперь счетовод. Не в этом дело.

— А в чем? — живо спросил Матвей.

— А в том: как ты живешь, так дальше жить нельзя.

— А? Как? — вскочил Матвей, удивившись.

— Землю добыли, а есть у тебя нечего, и опять ты батрачишь на старости лет. Только у другого кулака, у нового, у Сычева.

— А я, может, лошадку себе куплю да и захозяйствую. Может, наберу на лошадку. Я непьющий. Может, и сяду на землю. А?

— Не купишь, — уверенно ответил Федор. — Если ты купишь лошадь, то кто же будет работать у Сычева? Разве он даст тебе купить лошадь?.. Вот так-то, Матвей Степаныч.

Матвей привстал, оставшись с полусогнутой спиной, вытянул удивленно бороду, развел руками и, хлопнув себя по бедрам, спросил:

— Ужель не куплю? А?

— Нет.

Дед сел, почесал затылок:

— Да-а… Пожалуй… Ну… а как же теперь? — спросил он нерешительно.

— Сообща. Всем вместе землю обрабатывать и…

— Артелью, значит, — перебил Матвей Степаныч. — Слыхали. Далеко слыхали, да не щупали. Да-а… Чего не щупали, того не щупали, врать не буду. А слыхать слыхали.

У Федора не выходили из головы слова Вани: «Сама земля — не спасенье», и он повторил эти слова Матвею Степанычу и добавил:

— Приедет Ваня Крючков через год, как окончит школу, — он тоже расскажет. Его уже приняли в партию. Да и мы еще с тобой поговорим.

— Это Ванятку-то? В партию? — оживился дед. — Вот дела дак дела! Выбился, умница! Так я и знал!.. А насчет артели… — Он помолчал, посерьезнел, морщины стали резче, и продолжал: — Слушай, Федор Ефимыч. Я — голыш, мне все едино — пропадать, так уж лучше за опчество, — но Ванятку Крючкова сюда нельзя: плохо нам будет, если об артели начнем. — Матвей поднялся с лавки и говорил полушепотом, стоя перед Федором: — Ведь все село в руках у Сычева: что скажет, так и будет. Даже Андрей к нему ходит «чай» пить, даром что председатель сельсовета… Нет, не можно артель!

Оба сели. Вдруг Матвей Степаныч заулыбался, поднял глаза на Федора и сказал:

— А Ванятка-то, как его, Иван Федорович-то, приедет. Ей-бо, приедет!.. Ну а Миша как?

— О, Миша молодец! Два класса сельскохозяйственного училища кончил, в третий перешел, в последний. Агрономом будет.

— Иль правда? Вот говорил «придут» — и придут.

Кто-то постучал в окошко, и женский голос позвал:

— Матвей! Матвей! Сорокин Матвей тута?

— Ась? Я! — откликнулся тот.

— Лошадей запрягай! Хозяин велел, — говорил все-тот же голос.

— Ну я пошел, — заторопился Матвей Степаныч. А у двери обернулся к Федору, приложил указательный палец к своему лбу и серьезно сказал: — Проясняется!

Федор проводил глазами заплатанную спину, валенки с торчащей из пяток соломой и шапчонку, которую видел на Матвеевой голове,

будучи еще мальчишкой. Сколько уж прошло лет — а шапка все та же.

А по селу шел разговор о Федоре. Не было такой избы, где бы не судачили о нем. И, как всегда бывает в таких случаях, наговорили всяких небылиц.

У колодца тоже калякали.

— Правду, что ли, говорят, кума, Федор Ехимыч с оружием приехал? — спрашивала одна.

— Не слыхала, — ответила другая.

— Ну как же так «не слыхала»! Говорят, и бонба на нем, и зарядов к ней целый мешок привез. Все ж говорят.

— А может, и правда.

Матрена Васильевна, вытягивая бадью из колодца, вступила в разговор:

— Какая там бонба, бабоньки! Наши зверищи-то… «Суди-или»! А он не виноват. А теперь вот пришел.

— Вот наши дубины чего наделали! — сказала одна из женщин, поддержав Матрену Васильевну.

А та продолжала:

— Никто из мужиков не идет к Федору проведать — совесть не пускает. Им самим сейчас суд, от совести. Не могли защитить малого от каких-нибудь пятерых разбойников, да еще и укрыли их от следствия. Ведь знают, ироды, что, почитай, воскрес он, — вот и стыдно. А мой первый пошел к нему. Ну, у моего совесть чиста.

Бабы сгрудились около нее, засыпали вопросами:

— Говори, как он там?

— Что ж рассказывал о нем Матвей?

Матрена Васильевна подняла коромысло с ведрами, стала вполоборота к ним и как бы мимоходом сказала, окинув их взглядом:

— Ничего не рассказывал.

И плавно пошла не оглядываясь.

Оставшиеся смотрели ей вслед молча, как завороженные. Кто-то из них сказал:

— Гля, бабоньки! Сорочихе за пятьдесят пять, а она — как в сорок пять смотрит. А бедность какую вынесла, господи боже! Да пятерых детей похоронила. Куды та-ам!

Матрена Васильевна шла по дорожке, ступая уверенно и прочно. Муж — по батракам всю жизнь, а на ней — вся семья. И выдержала.

Такая женщина не пропадет!

Навстречу ей шел Андрей Михайлович. Под мышкой у него торчал потрепанный портфелишко.

— Здорово была, Матрена Васильевна! — приветствовал он.

Она ответила поклоном. А он спросил, остановившись:

— Как живете-то?

— Да как? Так и живем: чужое молочко вприглядку пьем, хлеб да соль жуем, — ответила Матрена Васильевна.

— Ты всегда сморозишь, — не очень-то весело пошутил Андрей.

— Смех — бедняку на здоровье, а богатому — хворь.

— Все шутишь?

— Не до шуток.

Андрей Михайлович, видя, что сейчас, в таком ее настроении, с Матреной «каши не сваришь», попробовал перейти на полушутливый тон:

— А я хотел тебе новость сказать. Хорошую новость.

— Это какую же новость… «хорошую»? Что-то не слыхать было у нас хороших новостей.

— Делегаткой тебя наметили. Согласна?

— Это по какому же вопросу? — притворилась недоумевающей Матрена, будто и не знала, что такое делегатка.

— По женскому. Будешь в женотдел ездить и делегаток смешить. Как ты на это скажешь?

Она стала еще мрачней и ответила:

— Никак не скажу.

— То есть как это — не скажешь?

— Так вот и не скажу.

— Пойми, Матрена Васильевна, нам же надо обязательно беднячку.

— И дурочку, — добавила она.

Андрей Михайлович опешил и вопросительно смотрел на Матрену. А она спокойно пошла дальше. Но председатель остановил ее, слегка держа за рукав и стараясь понять ее:

— Ты либо с ума сошла, либо дурной сон видела?

— Сны я всегда вижу хорошие, Андрей. Да вот в жизни-то кое-что плохое замечаю. А ты меня «смешить» выбираешь. Эх ты! Я тебе в матери гожусь: свои были постарше тебя, да двое из них в

гражданскую погибли… А двое еще с германской не вернулись. А ты — «смеши-ить»!

— Да знаю я все это, Матрена Васильевна, — совсем уже душевно сказал Андрей Михайлович. — Я ж вас уважаю.

— А я тебя, Андрей, не уважаю. Вот и все… Иди «чай» пить к Сычеву.

— Да я же на тебя и списки подал! — воскликнул он.

— Ну и возьми свой список обратно. Бумага не человек — протерпит целый век. Возьми тот список да в отхожую и валяй, оправляйся с господом богом. А если хочешь делегатку, то баб собери. Они тебе и скажут, кого выбирать, сами выберут. Ишь ты! — Она поставила ведра и продолжала: — Ишь ты! Список назначил. Сам и выбирать стал, без народа. А может, мы Зинаиду выберем?

— Да видишь ли… — растерянно начал Андрей Михайлович.

Матрена перебила его бесцеремонно:

— «Види-ишь ли-и», — протянула она укоризненно и покачала головой. Затем подняла коромысло с ведрами, постучала пальцем сначала о коромысло, потом о свой лоб и, указывая на его лоб, продолжала: — Ты-то смотри! Забы-ыл! Совесть наша прибыла в село. А ты: «видишь ли-и»! — передразнила она еще раз. Потом стала к нему боком, почти упершись ведром в его пиджак, и гневно спросила: — У Федора был?

— С утра… некогда было, а…

Матрена резко повернула коромысло, зацепила ведром председателя и облила ему полбока водой. Он отскочил, отряхиваясь, и выкрикнул:

— От старуха! Черт-старуха!

Дальше Андрей Михайлович шел, задумавшись и вяло отвечая на приветствия встречных. Он живо вспомнил боевого Федьку, страшного Кучума, вспомнил Матвея Сорокина и Семена Сычева с винтовками в руках и многих других. Тогда он был командиром отряда. Потом — председатель сельсовета… И все время вокруг него беспрестанно стонут о земле, о земле, о земле. Кругом земля, много земли — да еще какой чернозем! — а ладу нет. Вот Семен Сычев сумел покорить землю, но как? Чужим трудом. И он задал себе все тот же мучительный вопрос: «Как же оно пойдет дальше?» В хлопотах он не вспоминал старое, поэтому и плохо видел новое. Он с трудом сознался

себе в том, что не понимает, куда идет дело с землей. Он волновался все больше и больше, перекладывая портфель из одной руки в другую и ускоряя шаг. Теперь он шел быстро. Нащупал мокрый бок и подумал совсем незлобно: «От змей-старуха!» Мысли понеслись быстрее. И Некрасов, и Зина, и Матрена в один голос говорят: «Забы-ыл!» Он резко, с ходу, остановился и громко сказал сам себе:

— Не-ет! Так нельзя.

— Чего там нельзя — все можно, Андрей Михалыч. Хе-хе-хе! — Говорил это Сычев, позади, опершись об угол амбара и посмеиваясь. — О чем это вы, Андрей Михалыч? Заходите, заходите. Милости прошу! Давненько не бывали.

Семен стоял, коренастый и плотный, с короткой окладистой русой бородой, краснощекий и широкоплечий, без фуражки, по-домашнему. Двубортный пиджачок был расстегнут, а сатиновая черная рубаха блестела. Две крупные морщины очертили полные щеки, а две глубокие — спускались на лбу к переносью. Мелких морщин не было. Он казался уверенным, решительным и настойчивым. Андрей Михайлович, оправившись от неожиданности, ответил:

— Не могу зайти сейчас, никак не могу. Спешу.

— Да куда вам так спешно? Можно бы и отдохнуть. Ну, воля ваша — общественное дело задерживать нельзя. Ну, прошу не забывать: вечерком ожидаю.

— Как сказать?.. — замялся Андрей Михайлович. — Может, и зайду.

— Спасибо, спасибо! Прошу и ожидаю. — Сычев даже поклонился. Будто вспомнив, он добавил вопрос: — Слыхали? Федор Ефимыч прибыл.

— Слыхал, — коротко отрезал председатель. И пошел.

Ощущение неудовлетворенности и неуверенности овладело нм еще больше. Выступил холодный пот, сердце билось, как от напряженного бега. Забыв, что он посреди улицы, Андрей расстегнул ворот рубашки, снял фуражку, вытер ею мокрый лоб и, отойдя к обочине дороги, сел на пожухлую траву. Бессилие овладело им, и не хотелось никуда идти. «Эх, выпить бы теперь! — подумал он. — Помогает». Но пить не пошел, потому что вслед за этой мыслью врезались слова Матрены, которым он вначале не придал истинного значения: «Совесть наша прибыла… Иди „чай“ пить к Сычеву!..»

И вот он решительно встал и пошел к Федору.

Вечерело. Потянуло прохладой. Была та предвечерняя сентябрьская ведренная тишина, в которой слышно биение своего сердца. Стадо еще не пригоняли, ребятишки ушли встречать коров на окраину села, бабы кончали работы на огородах, а улица оставалась пустою. Андрей шел теперь медленно. Он не знал даже, что скажет Федору. И в этой тишине соломенных изб, на этой плодородной черноземной земле показался сам себе непонимающим и бесполезным.

Смерклось, когда он дошел до избы Земляковых. На крыльце на секунду остановился в нерешительности. Потом вошел в избу и стал у порога. В избе было сумеречно. Показалось, дома никого нет. Андрей молчал. Из угла, где стояла кровать, послышался тихий голос:

— Ты, Зина?.. Кто там? — окликнул Федор.

Андрей не отвечал — не мог. У него затряслись губы, и внутри тоже дрожало. Стало больно в коленях.

Федор зажег лампу, посмотрел из-под ладони на дверь, выпрямился, ухватившись за край стола.

Андрей шагнул к Федору, остановился и произнес:

— Ну?..

Федор стоял на месте и как-то ласково, непохоже на бывшего Федьку, мягко сказал:

— Что ж, здравствуй!

Их глаза встретились. Они обняли друг друга, молча, крепко.

Слов было не надо.

И слез было не стыдно.

…Зина подошла неслышно к двери, увидела Андрея и так же тихо вышла. Чуть постояла на крыльце и ушла К Сорокиным.

Глава тринадцатая

Зиму Федор прожил в Паховке. Он много читал, починил дворик и крыльцо, помогал Зине в библиотеке, бывал на сходках, но не выступал — прислушивался, взвешивал. С Семеном Трофимычем Сычевым он ни разу не заговорил. Да и сам Сычев при встрече отворачивался в сторону. Жил Федор молча и тихо.

И Семен Трофимыч мысленно решил: «Утихомирили парня. Хоть и жив остался, а той прыти нет и в помине — смирный стал. Так-то оно лучше». Но когда дошли слухи, что батрак Матвей подолгу засиживается у Федора, Сычев навострил уши. Однако, присматриваясь к Матвею и ничего не заметив плохого, он на этот раз будто успокоился: Матвей стал работать еще лучше.

Так прошла зима: приглядывались друг к другу Федор и Сычев издали — казалось, примерялись. Андрей за всю зиму ни разу не был у Сычева в гостях, но и стычек никаких не произошло. «Еще помиримся, — думал один из них. — Дай срок, помиримся». «Нога моя у него не будет», — думал другой.

Однажды Семен Трофимыч сказал Матвею:

— Если увидишь Андрея Михалыча — поклон от меня. И скажи: чего ж он не зайдет никогда? Другом считаю.

— Отчего не сказать. Можно, — утешительно сказал Матвей.

А встретив Андрея Михайловича у Федора, он передал так:

— Поклон от хозяина. Заходить велел. И… — Тут Матвей Степаныч подумал-подумал и добавил: — И говорит он мне, Семен-то Трофимыч: «Бре-ешет-при-де-ет! Другом меня он считает: приде-ет». — Приврал маленько Матвей на пользу дела.

Андрей Михайлович отвечал Сычеву через Матвея:

— Некогда заходить… Если что надо, то пусть сам заходит… в сельсовет. А друзей у меня и без него хватит.

— Так и сказать? — переспросил Матвей Степаныч.

— Так и скажи.

— А ну-ка да он осерчает?

— Ну и пусть.

Матвей Степаныч передал все в точности, но и тут не утерпел добавить чуть от себя:

— Андрей-то Михалыч и говорит мне: «Передай ты, Матвей, Сычеву, что я с ним на одной десятине и оправляться не сяду». А ты, Семен Трофимыч, говоришь: «Другом считаю»!..

— Брешешь, — угрюмо оборвал его Сычев.

Так нутром Матвей Степанович чувствовал, где и когда нужно то, что называется «святой ложью». Очень уж он рад был дружбе Андрея с Федором. И оберегал ее от Сычева, как мог, по своему разумению.

Такое свое поведение он называл не иначе как словом «политика». И ухмылялся в остренькую бородку.

…Весна тысяча девятьсот двадцать седьмого года пришла дружная. Быстро растаял снег. Пар от земли шел по утрам густой и теплый. Казалось, кто-то огромный подтапливал землю снизу. Пахло черноземом. Среди дня солнце играло, лаская только-только пробивающуюся травку. Жаворонки веселились невидимо, где-то в неопределенной выси. Промчался вдоль улицы жеребенок, задрав хвостик и взбрыкивая копытцами. А грачи пешком торопливо уступали ему дорогу, ничуть не боясь озорника. Каждому свое: жеребенку — свое, грачу — свое. Весна для всех! И человеку — свое.

Мужики, распоясавшись, возились с сохами и плужками. В кузнице слышался стук молота и железный звон. Скоро сеять. Пожалуй, уже можно сеять у Козинской межи, но там земля не делена, да и земли — кот наплакал, по две-три сажени на двор: так себе — дорезки маленькие. Хотя там земля самая плодородная, но никто туда не спешил. Разделить сначала надо. Делили эти дорезки каждый год (чтобы безобидно было), а после дележа пьянствовали, продавая их на год. Вот никто и не спешил: все равно там не сеять.

Уже два года подряд покупал дорезки Семен Трофимыч Сычев. Думал и в этом году откупить. В тот день он пришел к кузнице, где суетились человек десять крестьян. Начал он так:

— Вам-то, граждане, по сажени да по две — пустяк, раз плюнуть. А ее там набирается десятин двадцать… Эй, ты! — обращался он неожиданно к кому-нибудь. — Разве ж так лемех затачивают? Дай-ка я. — Он брал рашпиль и показывал, как надо заточить лемех. А потом продолжал: — Никакой пользы вам от той земли нету, а я ее, опять же, в порядок приведу… Виктор! Как ты натягиваешь шину! Нельзя так. Вот как надо — навечно! — И показывал, как надо ошиновать колесо, чтобы — навечно.

Все-то он знал по хозяйству и все понимал лучше всех. И все его всегда слушались. Уж лучше Семена Трофимыча никто так не понимает землю. Очень хозяйственный человек. А он продолжал:

— Разве ж я насовсем, что ли? Я не кулак какой-нибудь, чтобы землю — навсегда. Закона такого нет при Советской власти, чтобы у крестьянина отнять землю. Ни боже мой! Против закона не позволю…

Так вот, Виктор: колесо не замачивай, поезди пока так, оно сядет, начнет рассыхаться, а ты его тогда перетяни сызнова. Тогда уж — навечно!

— Спасибо, Семен Трофимыч, за добрый совет, — поблагодарил его Виктор.

Поблагодарили и другие, почти все. Каждому он то показал лично, то посоветовал, как надо делать прочно и добротно. А в заключение спросил:

— Ну? Что ж, граждане, на годик еще? А?

Виктор Шмотков, под стук молота, высказался в ответ:

— А и что ж не продать! Только закона, говорят, такого нету. Вот как опчество, так и мы. Хлопочи, Семен Трофимыч. Земля не баба: продать можно. Я так считаю.

Остальные молчали — были согласны. Так Семен Трофимыч начинал подготовку.

Но случилось в эту весну неладно с этим делом. Привез Андрей Михайлович из волости весть, что дорезки, входящие клином в козинскую землю, передаются Козинскому обществу. Вроде бы там обеспеченность землей очень малая. А кто ж знает? Может, и сам председатель сельсовета захотел подрубить Сычева, а может, ему, Вихрову, на этот кусочек земли наплевать. Гадали и так и эдак. А потом многие подумали-подумали да и плюнули: делов-то в этих дорезках! Все равно Семен за водку возьмет.

Только не плюнул Сычев. Он, не считаясь с расстоянием, не обращая внимания на предпосевное горячее время, дважды ездил в волость. Там он вынюхивал, выспрашивал. Возил баранью тушу кому-то в подарок, но привез ее обратно. Последний раз он приехал из волости поздно вечером, сердитый, расстроенный, и крикнул Матвею:

— Отпрягай, голодранец!

— Ась? Это кому, то есть, вы объявили? — спросил хитренько Матвей Степаныч.

— Голодранцу, — уже тише буркнул Сычев, хлопнув дверью.

Дед, не отпрягая лошади, вошел за ним в дом и сел на лавку, набивая трубку.

— Чего уселся, спрашиваю? — недовольно, повысив голос, сказал хозяин.

— Курю, Семен Трофимыч, — ответил Матвей Степаныч, состроив непонимающее лицо.

— А лошадь!!! — закричал неистово Сычев. — А лошадь должна потная погибать?!

— Да вы ж какому-то голодранцу приказали отпрягать. Ай, боже ты мой! А я смотрю, смотрю по двору: где же он есть, кого вы упредили насчет лошади? — Матвей говорил с ехидством, сощурив глаза.

— Ты что же из меня кровь пьешь, нехрист чертов?! — крикнул Сычев, стукнув кулаком по столу.

Матвей подскочил с лавки, растопырив расстегнутую сухую шубенку, затряс бородой и боком приблизился к хозяину.

— Ка-ак? Голодранец? Кровопивец! Это — за то, что я тебе три года в навозе копался круглые сутки! Ты думаешь, на тебя управы нету? А в батрачком не хочешь? А без договора работаю за что? Ах ты паук новоявленный! В суд! В суд! В су-уд!!! Завтра в суд пойдем! — кричал вне себя Матвей, нервно прыгая из угла в угол.

Семен Трофимыч никогда не видел таким Матвея, никогда за всю жизнь. Почему-то он вспомнил: давно, еще в юности, он видел, как старый козел самоотверженно защищал от волка стадо. Небольшое стадо коз, штук пятнадцать, прижалось к кручке, окружив козлят, а старый козел, израненный и искусанный, героически бросался на волка, защищал до тех пор, пока Семен не подоспел. Может быть, Матвей был похож на рассвирепевшего козла в своей старенькой шубенке, поэтому Семен Трофимыч и вспомнил такой случай. А Матвей все скакал по комнате. И Семен Трофимыч струхнул: «Не дай бог в суд подаст! Вот хлопот не оберешься». И еще подумал: *«Тогда* богатому человеку все-таки было лучше». Он вышел во двор, оставив Матвея одного. Там он отпряг лошадь, протер ее соломенным жгутом, поводил по двору, как и полагается, и все думал: «Может, охолонет там, один-то». Когда он вошел снова, Матвей уже лежал на печи, в кухне. Сычев сел у стола и окликнул:

— Матвей! А Матвей!

Тот молчал.

— Ну, уж и расходился! Все бывает: я — тебя, ты — меня… Поругались, значит… Мы не кулаки какие-нибудь…

Матвей привстал на локоть:

— Как не кулаки? Кулаки. Почему не кулаки! Вона-а! Не кулаки! Маслобойка есть? Есть. Мельница есть? Есть. Пять лошадей есть? Есть. Дорезки скупаешь незаконно? Скупаешь. Вона-а! От так — не кулаки!

Семен Трофимыч заходил по кухне, заложив руки за спину и стараясь быть спокойным, разъяснял:

— Кулак — это чужим трудом живет, а я сам всю жизнь гну хрип. Только при Советской власти мне и жизнь-то далась. Я сам ее воевал, эту жизнь, у кулаков.

— А я думаю так, — перебил Матвей, — те кулаки были сильнее тебя и не давали тебе ходу, а теперь ты сильнее всех и вожжи у тебя в руках.

— Какие такие вожжи? Ты вроде против Советской власти говоришь, Матвей. Разве не нам дадена земля? Разве не мы кормим страну? Разве не товарищ Ленин дал нам свободу к богатству? Тогда и зачем было заваривать всю кашу?

Тот отмахивался от каждого вопроса, как от мухи, не находя, что ответить, казалось, на весьма резонные мысли Сычева.

Потом Семен Трофимыч ходил из угла в угол уже спокойно и убеждал:

— Ты пойми: не кулак я. На нас все держится. И мы это оч-чень хорошо понимаем. Очень.

— Постой, постой! — встрепенулся дед. — А я тебе не батрак? А еще трое, по целому лету работают, — не батраки? А пастушонок? А мельник? Выходит, и ты чужим трудом загребаешь? «Пойми-и»! — передразнил он хозяина. — Чего тут понимать? Ну?

— Какой ты мне батрак? Какой батрак, если я вот… вынимаю деньги и… даю тебе… на лошадь? — При этом Семен Трофимыч достал бумажник, отсчитал несколько червонцев и протянул их Матвею: — На, бери!

Матвей Степаныч, как молодой, спрыгнул с печи, остановился перед Сычевым, посмотрел на деньги, потом — на хозяина и попятился к двери.

Семен Трофимыч положил деньги на стол, развернув их веером, и еще сказал:

— На, бери! Начинай новую жизнь, как Советская власть диктует. Вот: на столе твоя лошадь!

Сколько лет мечтал Матвей Степаныч о лошади, о своей лошади! Всю жизнь мечтал. Она снилась ему во сне, снилась крутошеяя кобылица битюгской породы с густой гривой и такая смирная-смирная, ласковая лошадь, что хоть под сосками погладь. Пришлось ему однажды купить лошаденку, но такую клячу, что она вскорости после покупки и подохла. А снилась могучая и быстрая битюжанка. И с жеребенком!

«А сколько же дает Семен? Разве спросить?» — подумал Матвей Степаныч. Он как-то бочком-бочком подошел к столу, обошел его, покосился на деньги и, вспотевши, хитро спросил:

— Сколько?

— Сто! — ответил Семен самодовольно.

— Благодарствую! — Матвей поклонился в пояс, потом сложил руки на груди и смиренно, как «христосик», добавил: — Подотрите ими себе з…цу, Семен Трохимыч!

Семен Трофимыч схватил табурет. Дед Матвей заложил руки за спину и, выставив бородку вперед, уже спокойно, как победитель, сказал:

— Стульчик опустите, Семен Трохимыч. Надо жить так, как Советская власть диктует. А насчет платы — батрачком скажет, сколько с вас причитается за два года. Прощевайте покедова!

Матвей Степаныч ушел домой, к своей Матрене, и больше уже не приходил к Сычеву.

Семен Трофимыч остался один. Жены дома не было. Опершись локтем на стол, он опустил голову. И было о чем задуматься. Дорезки ускользают из рук: завтра козинские мужики уже едут делить их между собою. Сорока, голодранец, ушел и грозит судом. Ну Сорока, черт с ним — триста рублей уплатить можно, — а вот с дорезками плохо: не будет их — нет места для подсолнечника, а не будет подсолнечника — маслобойку бросай. Ясное дело: земли не будет — силы не будет. И решил Семен Трофимыч послушаться лысого крючкотворца из города. Тот за двадцать пять рублей перерыл все законы и на второй день сказал: «Важно засеять землю. Засеянную — в этом году уже не могут передать козинцам. Важно не дать им ее сейчас. А пока суд да дело — вы урожайчик снимете».

Сычев не любил откладывать важного. И как только пришла жена, он достал из сундука денег, набил ими бумажник и вышел на улицу.

Сначала зашел к Виктору Шмоткову. Поговорил о том, о сем. Выпили. Потом Виктор сбегал еще кое за кем. Собралось человек десять.

Сычев изображал из себя разгулявшегося:

— Скушно, граждане свободные крестьяне! Долбанем для развеселья рыковской! Не сумлевайтесь: ничего не прошу, плачу за все сам! Будем здоровы! — При этом он отпивал глоток и, доливая стакан, подносил вкруговую.

Вскоре четверть оказалась пустою, и собеседники зашумели, заговорили, загалдели. Больше всех кричал, конечно, Виктор. Его птичье остроносое лицо, с приплюснутыми к переносью ноздрями и безбровыми, серыми, как у поросенка, глазами, вертелось на тонкой шее, как на шарнирах. Виктор был уже совсем пьян и лез к Сычеву целоваться.

— Ты нас ублаготворил, и мы тебя не оставим! — восклицал он, обнимая Сычева. — Во-от человек дак человек! Ни за што ни про што пей, говорит, для развеселья! А? Это ж уму непостижимо!

— Я так думаю, — сказал Семен Трофимыч, высвобождаясь из объятий Виктора, — по одной еще надо бы пропустить. Эх, была не была!

Виктор вскочил, свалив со стола пустой стакан, и предложил услуги:

— Давай сбегаю.

Сычев поднял с пола стакан, встал из-за стола и обратился к присутствующим:

— Нет, граждане, гульнем как следует. Пошли прямо к водке-е!

— Шумел ка-амы-ыш, деревья гы-ну-лись! — запищал Виктор.

До шинкарки, торгующей по ночам водкой, надо было идти через все село. Шло все так, как наметил Сычев: сначала с песнями протопали по селу, вызывая и собирая всех, кто встречался или выглядывал из сеней. Потом толпой возвращались с водкой и, уже сидя на земле, продолжали пить.

Ночь была пьяная.

Поутру каждый искал, где бы похмелиться. А когда узнавали, что у Сычева пьют, направлялись к нему, говоря про себя: «Черт с ними, с дорезками! Все одно от них толку нету!» Но Сычев не просил дорезков: он притворился пьяным и беззаботным. Только никто не заметил, как утром под сараем он шептал Виктору Шмоткову:

— Вот тебе червонец! Езжай. Как только козинцы придут делить землю, скачи сюда во весь дух! Скачи и кричи, как сказано. Будет сделано — будет тебе еще червонец! Понял? Будем друзьями, Витя. Вовек не забуду.

А Виктор уже и «лыка не вязал». Он мутными глазами уперся в Сычева и, еле выговаривая, заверил:

— Я тоже, С-мен Тр-рфимщ, в-авек не забу-у… А энтих, козинских, на мор-ре буем бить. На мор-ре их.

Пьянка продолжалась без Виктора.

Федор видел пьяных и слышал пьяные песни, но не мог догадаться, в чем дело. Прибежала домой Зинаида и, запыхавшись, сказала:

— Федя! Сычев поит всех водкой. Что-то не к добру. Кричат и про тебя, а чего — не разберешь.

— Что за охальники! Сеять надо, а они пьют, — сказал вошедший Сорокин.

— Что там за бал у Сычева? — спросил Федор.

— Не пойму, — ответил Матвей Степаныч. — Как бы чего худого не вышло. Человек двадцать пьяных. Так пьяны, что и лапти не слушаются.

Федор пошел к Андрею в сельсовет. Секретарь довольно сильно был выпивши. Исписанный лист бумаги лежал перед ним низом вверх, а он водил карандашом по строчкам, будто читая. Когда Федор вошел, секретарь, не отрывая глаз от листа, замямлил заплетающимся языком:

— Ан-нрея Михалща нет-ту. Нету. И — все тут. Нету. И все.

— А где он?

— Вышли.

— А не знаешь, что за праздник сегодня?

Секретарь оторвал глаза от листа и ответил, оживившись и подняв палец вверх:

— Пр-раздник ап-постола С-сим-меона! — Он засмеялся, хихикая, и докончил: — Сем-мен Трофимщ г-гуль-ля-ют. Кр-рупно г-гуль-ляют! А Андрея Михалща нету. И все тут.

— А по какому случаю гуляют? — пытался дознаться Федор.

Секретарь неопределенно повертел пальцем над головой и произнес:

— Вес-сна!

Федор подошел к столу, перевернул лист так, как ему полагалось лежать, и сказал зло:

— Эх ты! «Апостол»!

Федор вернулся домой. Здесь он застал и Андрея Михайловича.

— А я к тебе в сельсовет ходил, — сказал Федор.

— Разошлись, значит… Что тут творится? — спросил Андрей.

— У тебя хотел узнать. Ясно пока одно: пьют.

— Будем ждать. Последим… Думаю, Сычев с горя пьет. Дорезки-то ускользнули… Впрочем, черт его знает… Два раза звали меня.

— Ходил? — спросил Федор.

— Ты что? В уме ли?

Вдруг неожиданно на улице послышался пронзительный крик:

— Гра-аждане-е!!! Гра-абю-ут!! Караул, православные-е! Ка-рау-у!

Из избы Земляковых выскочили все сразу. Вдоль улицы скакал пьяный Виктор Шмотков, размахивая длинными руками, как плетьми, и продолжая орать:

— Отняли! Ограбили! Карау-ул!!!

Пьян он был до бессознания.

— Ясно: добрых дел не будет, — сказал Федор.

Не говоря ни слова, Андрей побежал к сельсовету. Федор бежал прямо ко двору Сычева, а следом затрусил и Матвей Сорокин, сзади Федора, напрыгом.

Жители села все выбегали на улицу. Со двора Сычева вывалилась пьяная ватага, крича и бранясь. Молнией облетело: «Козинцы делят нашу землю».

— Как же так, граждане? — кричал среди ватаги Сычев. — Искони веков была наша земля эта! При Советской власти и — грабеж! Не мы ли с вами отвоевали эту землю?! Не давать своево чернозема! Не дава-ать!

— Не дава-а-а!

Кто-то крикнул:

— По коням!

И ринулись конные и пешие на дорезки. Лопаты, колья, косы мелькали у скачущих и бегущих. Виктор Шмотков около своей избы соскочил с лошади, подбежал к старой тележной оси, врытой на краю огорода вместо столбика, и начал ее раскачивать, крича:

— На моей земле ось зарыта! Кто хочет мою землю отнять! Не дам свово чернозему-у!

Ось подалась и вывернулась из земли. Виктор взвалил ее на плечо и, вскарабкавшись на тощую лошаденку, поскакал дальше, болтая ногами.

Бежали бабы, ребятишки, бежало все село. Только Семен Трофимыч стоял у амбара и, разводя руками, сетовал:

— От народ! Скажи какой беспокойный народ. И что им надо? Какие-то дорезки. Тьфу! — сказал он так, чтобы слышно было Федору и Матвею, оставшимся здесь, неподалеку от него.

По улице галопом, настегивая плетью лошадь, проскакал Андрей Михайлович.

— Побегу! — заторопился Матвей Степаныч. — А? Бежать?

— Стой! — приказал Федор.

Федор знал: может произойти что-то страшное. Но он был бессилен предотвратить. Знал, что и Андрей может оказаться там бессильным в одиночестве. И вот глаза его встретились с глазами Сычева. Федор приближался к нему. Тот выдержал взгляд Федора без колебаний. Один — крепкий и сильный, другой — слабее, а посмотрели друг на друга как равные по силе. Федор приказал:

— Матвей Степаныч! Запрягать тройкой! Тройкой, чтобы всех обогнать!

— Кого запрягать? — непонимающе спросил Матвей.

Федор кивнул головой на Сычева.

Матвей бросился со всех ног во двор Сычева.

— Куда-а!!! — рявкнул тот.

Дед не остановился. Сычев побежал за ним, прижав локти и переваливаясь по-медвежьи. Федор метнулся туда же.

Пара коней была почему-то в сбруе. Когда дед Матвей вывел их из-под сарая, хозяин вырвал поводья из его рук и дико закричал:

— Граби-ить?! Среди бела дня граби-ить! Карау-ул!!!

Федор вынул из кармана пистолет, наставил на Сычева в упор и резким голосом приказал:

— Отойди!

Матвей рванул поводья к себе и стал запрягать торопясь. Сычев опустился на солому среди двора, там, где и стоял: от обиды, страха и бессильной злобы у него подкосились ноги.

— Вот так, Семен Трохимыч, — скороговоркой «утешал» его Матвей. — Вот так и посидите спокойненько. — И спешил, спешил… — Хватит пары? — спросил он у Федора. — Кони добрые, рысаки!

— Хватит, — ответил Федор, влезая в тарантас.

Матвей гикнул, ударив кнутом лошадей, и с места помчался галопом.

В поле дорога еще не установилась, было грязно, поэтому пришлось скакать по обочине. Матвей гнал лошадей не жалея. Тарантас бросало из стороны в сторону.

Выскочили на пригорок. Было уже видно, как впереди и сбоку скакали верховые, прямиком по пашне, и бежали люди с кольями и дубьем. Но каждый жалел все-таки свою лошадь, а у Федора и Матвея было преимущество: они не дорожили лошадьми в тот час. Доскакали до лощины. Лощиной, по целине, ехали еще быстрее. И наконец увидели козинцев: там и сям они спокойно и лениво размеряли землю на полоски. Тарантас выскочил на пригорок, в конце лощины.

— Зови вон тех, — сказал Федор Матвею, указывая на двух ближайших от них крестьян.

— Эге-ей! Лапотки-и! — закричал тот, махая шапкой. — Суда-а!

Те двое оглянулись, посмотрели вокруг, потом что-то поговорили между собой и не спеша пошли к тарантасу.

— Ну, вы! Тыквоеды! Аржаные корки! Какого дьявола переваливаетесь. Живо! — надрывался в нетерпении Матвей, поглядывая в сторону все сгущающейся толпы, неумолимо движущейся из Паховки.

— Ты что дразнишься? — спросил сердито один из подошедших. — Чего глотку дерешь, как резаный? Ишь ты! Сел на тарантас и думаешь — царь? «Тыквоеды»!

— «Корки»! «Аржаные»! Подумаешь! — вступил в разговор другой крестьянин, в иссохшей овчинной жилетке и огромных растоптанных лаптях. — Что-то ты: исправником смотришь, а у самого заплат — на три деревни хватит и на два хутора останется в запас.

— А кто же вы, как не…

— Хватит, — скомандовал Федор. — Ты — в жилетке! Держи лошадей. Ну!

— Ну держу. Ну. А дальше?

— А ты, — обратился Федор ко второму, — беги стрелой к своим и скажи: «Паховцы скачут сюда пьяные. Бить вас скачут. Землю отнимать».

Мужик попятился, зачем-то застегнул ворот рубахи и поправил конопляный поясок пониже живота. Казалось, он собирался бежать.

— Постой, — остановил его Федор. — Скажи: собраться сюда, ко мне. Быстро!

Тот побежал, отбрасывая лаптями шлепки еще не высохшей земли.

— А ты кто же будешь? — спросил оставшийся крестьянин, держащий лошадей.

— Я? — переспросил Федор.

— Из губернии, — перехватил Матвей. — А ты думал — хвост собачий! Из губернии. Прямо из Танбова и — суды.

— Брешешь ты, — выразил сомнение козинец. — Из губернии с портфелями ездют.

— А тебе что: обязательно надо, чтобы из губернии? — спросил Федор. Не дожидаясь ответа, добавил: — Будешь лошадей держать и… слушать, что буду говорить.

— Ты лучше не спрашивай ничего. Когда вас кольями дубасить начнут, то не спросят — из губернии ты аль из волости. А прямо по челке и вперехрест. Понял? — убедительно пояснил Матвей Степаныч.

— Оно так, — нерешительно согласился мужик, — Вот они и наши. Почти все топают.

Козинские крестьяне собрались около Федора и удивленно смотрели на него. А он сказал тоном, не допускающим никаких возражений:

— В драку не вступать. Не убегать — побьют: пьяные. — Он вышел из тарантаса и указал вправо: — Вот тут станьте все, подальше от лошадей, чтобы не пугались. Давай заходи.

Тот крестьянин, что бегал собирать односельчан, сказал уныло:

— И на кой ляд нам земля эта, если оно так выходит.

Остальные молчали, сгрудившись небольшой толпой. Но вдруг один из козинцев крикнул:

— Кто с лопатами и с сажнями, заходи наперед.

— Цыц! — цыкнул на него Федор. — С лопатами и сажнями — назад!.. Матвей Степаныч, иди к своим. Сам понимаешь.

— А ты держи лошадей хорошенько… «губернатор», — сказал Матвей и затрусил туда, где Андрей собрал около себя группу, которая росла по мере того, как подъезжали и подходили другие, отставшие.

— Стой! — крикнул Андрей. — Что хотите делать?!

Но толпа обтекала его и, с криком и руганью, быстро плыла по полю.

Вот Виктор Шмотков подскакал к козинской группе, а за ним — ватага пьяных, что вывалились со двора Сычева. Подвалила вся толпа — бурлящая, возбужденная. Кто-то пронзительно-высоко крикнул:

— Бе-ей!

Виктор поднял ось и рванул повод. Но лошадь покрутила задом и — ни с места, будто кто-то ее держал. От этого Виктор еще пуще взбеленился, спьяну, не глядя лошади под ноги, и заорал:

— Гра-абю-ут!!! Бей-ей!

Позади Виктора — выстрел. То Андрей выстрелил вверх и, заскочив наперед, крикнул:

— Стоять, мать вашу…

На секунду все замерли. Паховцы и козинцы были уже близко друг от друга, метров на пять-шесть. И в этот момент из средины козинцев вышел Федор и стал между толпами. Стало тихо. Отчетливо пел в небе жаворонок. Многие подняли головы вверх, будто первый раз в жизни услышали волнующую трель.

А Федор спросил негромко:

— С кем это собрались воевать, товарищи? Уж не со мной ли опять?

Никто не ответил. Один из «воинов» пьяно попробовал крикнуть:

— Бе-ейтя!..

И слышно было всем, как этого крикуна кто-то из соседей шлепнул чем-то по рту так, что послышался смешной звук, похожий на «поп-п!».

Андрей привстал на стременах и приказал:

— Ра-асходись!

Вот задние потащились к дому, передние зашевелились, потихоньку опуская колья на землю, меж людей, так, будто и не было у них никаких кольев. Виктор Шмотков тоже хотел опустить свою ось, но решил: «Пригодится дома, на загородку». И стал поворачивать лошаденку. Но — странно! — она ни с места. Глянул Виктор вниз и

увидел: Матвей Сорокин держал его лошадь за узду ремешком, которым всегда подпоясывал свои порты. Дед смотрел на Виктора снизу вверх и сердито сказал:

— Ты! Вояка! На врага, что ли, собрался! Охальник! Бесстыжие глаза!

Виктор нагнулся, чтобы отцепить ремень деда, но тот выдернул из кольца удил ремешок и больно хлестнул им по заду Виктора. Ударил Матвей Степаныч изо всей силы, хлестко, сопровождая назиданием:

— Это тебе, Витька, на память рубец останется: к своей земле задом не прирастай крепко. А то, ишь, зад-то у тебя колючий — норовишь прилипнуть, подкулачник. Вот так! — И еще раз хлестнул.

Оно и не так уж больно показалось Виктору, как стыдно. И сказать нечего. Сразу из Виктора выскочил весь хмель, а с ним вместе выскочила и смелость.

А тем временем, когда бабы и ребятишки бежали следом за пьяными, Зинаида кричала:

— Бабоньки! Бабоньки! Стойте! — Она обернулась лицом к ним и, подняв руки, крикнула: — Стоять!

Женщины остановились, тяжело дыша. Впереди всех — сухая, изможденная Алена Шмоткова, жена Виктора. Подол юбки у нее был подоткнут, обнажая костистые ноги до колен, в руках она держала половую тряпку, мокрую и истрепанную (должно быть, мыла полы, да так и выскочила). Глаза у нее бегали из стороны в сторону, платок сбился. Алена выкрикнула:

— До коих пор он, сука, будет поить наших мужиков?!

— Тихо! — крикнула и Зинаида. — Бабоньки! Слушайте. Там Андрей и Федор: они не допустят драки. Не бегайте туда. Не надо.

— Своих мужиков проучить надо! — кричала неистово Алена.

— Насчет своих — дело ваше. А туда не надо бегать. Бабоньки, или уж мы дикари какие? — увещевала Зинаида, — Не надо.

И все остыли. Только Алена кипятилась:

— А Сычу я в глаза плюну! Плюну, ироду!

Но вот из-за пригорка показались сначала пешие, группами, а потом и конные. Впереди, на тарантасе, ехали шагом Федор и Матвей Степаныч. Позади всех верхом — Андрей Михайлович.

— Эй, вы! Супостаты! — «приветствовала» Матрена Сорокина. — Налили буркалы-то да и сбесились. Палки на вас нету,

заскорузлые черти!

«Воины» шли молча, даже и не возражая против того, что они «супостаты». Виктор Шмотков угрюмо опустил голову. Ноги у него болтались низко, почти над землей (так мала была лошаденка и так длинны были ноги), а ось он держал под мышкой. Его супруга подскочила к нему, перехватила удила и с силой потащила его с лошади, крича:

— Ах ты ольшина сухостойная! А ну слазь, шкелет! — Она стащила-таки его сверху и начала молотить мокрой тряпкой по лицу, приговаривая: — Ах ты идолище! За водку готов родной матери сиську отгрызть, подлюга пьяная! — и лупила так звучно, что шлепки эти разносились далеко по полю.

Какие там жаворонки! Их уже никто не слушал.

Некоторые женщины вместе с Матреной Сорокиной хохотали, некоторые угрюмо пинали мужей кулаками в спину и что-то тихо приговаривали. Очень здорово приговаривали, так здорово, что писать об этом невозможно.

А Зинаида дождалась Андрея. Он соскочил с лошади и подошел к Зинаиде. Она посмотрела добрым, благодарным взглядом. Андрей понял эту молчаливую благодарность. Он взял руку Зинаиды в свою, посмотрел на эту руку, пожал и, не поднимая глаз, задумчиво спросил:

— Простила?

— А чего прощать-то, чудак ты этакий?

— Да как же… Все-таки…

Зинаида уже весело рассмеялась и сказала:

— То ли мне тебя прощать, то ли тебе — меня.

— Это ты… насчет Ванятки Крючкова?

— Что-о? — недоумевающе пропела Зинаида. Лицо ее покрылось краской. — Что ты сказал?

— Я ж думал… что у тебя с ним… тогда-то…

Зинаида вскинула на него неистовый взгляд и вдруг отрезала:

— Дурак ты, хоть и председатель сельсовета! — и пошла прочь. Потом обернулась, дождалась, когда он подойдет, и сказала: — А за нынешний день и… за все, за все… спасибо тебе, Андрей. Езжай теперь. Ну! Езжай, что ли. Чего стоишь?

— Значит, дурак. Та-а-ак… — Андрей вскочил в седло и галопом умчался в степь.

А Зинаида села на старую, прошлогоднюю солому и следила за ним до тех пор, пока он скрылся с глаз. Потом легла вверх лицом и смотрела в небо. «За что обидела? Дура я, дура! — думала она. — Да и что же он чудак-то такой, мой хороший!» Чему она улыбалась, и сама не знала: то ли тому, что над нею было светло-голубое, весеннее, звучащее небо, то ли оттого, что тепло разморило молодое тело, то ли оттого, что пахло весенней землей, могучим и родным черноземом. И радостно ей было и грустно.

Весна, весна! И кто ж тебя знает, как это ты умеешь заворожить людей, что они начинают улыбаться, когда ты приходишь на беспокойную землю, еще не обсохшую от борьбы с расквасившейся и разбрюзгшей зимой, еще отряхивающую свое платье капелью, но уже звенящую, журчащую, веселую и поющую. Только ты, весна, можешь сотворить такое с человеком, что у него сливаются воедино противоречивые чувства и наступает веселая и радостная, теплая грусть. Волшебница ты, весна, скажу я тебе по душам!

Только Семен Трофимыч Сычев не замечал в тот день весны. Он все так же сидел посреди двора, на той же соломе. Больше часа прошло с тех пор, как Федор и Матвей ускакали. Уже и лошадей привел Матвей, отпряг их, остудил проводкой, протер жгутом соломы, все делая по-хозяйски, и поставил в конюшню. Уходя, Матвей сказал вежливенько:

— Извиняйте, Семен Трохимыч, за превышение власти. Федор Ефимыч, они знают, что и к чему.

Ничего не ответил Семен Трофимыч. Он продолжал сидеть на том же месте и тогда, когда Андрей ворвался во двор верхом, прямо из степи, возбужденный и взвинченный. И на него Семен не поднял глаз.

— Сычев! — окликнул его Андрей.

— Что еще? — сипло, не своим голосом спросил Семен Трофимыч.

— Если ты, — начал зло Андрей, — еще раз сделаешь так, то… — он сжал зубы и процедил: — Пороть буду! — И потряс плетью. — Пороть, как куцего на перелазе!

— А может, у нас не царская власть? — тоже зло, смотря в одну точку, возразил Сычев, ничуть не испугавшись.

— А я выпорю так, что никакая власть не увидит. Понял ты меня или нет?

— Нет, — ответил Сычев.

— За это самое, за нынешнее, в тюрьму бы тебя. Да «замазал» ты меня своей водкой… Долго мне отмываться… А повторяю: если что — выпорю. — И выскочил со двора.

Андрей проскакал мимо Виктора и Алены, не заметив их в возбуждении. А те шли рядом. Алена вела лошадь и мирно говорила:

— Кому поверил! Сычеву! Не связывайся ты с ним, Витя.

— Должно быть, так, — соглашался Виктор, сам не ведая — надолго ли.

Глава четырнадцатая

Так в ту весну Семену Трофимычу и не дались в руки дорезки. А тут еще Андрей Михайлович «отбил» пастушонка, назначив его рассыльным при сельсовете: пришлось брать мальчишку из другого села. Матвей и не помышлял о том, чтобы возвращаться к хозяину. Больше того, Федор, Матвей и Андрей — все втроем, вместе, купили в складчину одну лошадь. Федор кормил ее и обихаживал, Матвей с Андреем пахали и сеяли: так и обработали помаленьку все три своих надела. Матвей Степаныч повеселел. Как же — своя лошадь! Хоть и не битюжанка, а работать вполне можно. К тому же батрачком взыскал с Сычева за бездоговорную работу и передал Сорокину триста рублей. Веселая весна была для Матвея Степаныча.

А Семен Трофимыч и сеять выехал один. Свой надел он засеял по зяби, сеялкой, за два дня. Можно бы было взять исполу надела два-три, но Сычев не стал этого делать. Отсеявшись, он вместе со старичком мельником ночами перемерил запас хлеба во всех трех амбарах, что-то потом подсчитывал, сидя в горенке, прикидывал. Затем сказал Лукерье:

— Три года можем продержаться со всем хозяйством. А там видно будет.

— Аль уж и хлеба продавать не будешь? — спросила Лукерья.

— Ни фунта, — коротко ответил Семен Трофимыч, не распространяясь и не углубляя разговора.

— А денег где брать? — несмело спросила жена.

— Говорю, три года продержимся. И все.

На том и закончился семейный разговор на эту тему.

Но как только начали пахать пары, летом, Семен Трофимыч затосковал. Он стал еще более скучным и… не утерпел: «нахватал»-таки еще шесть десятин и засеял озимыми — часть исполу, часть в аренду. «Эта культура надежная — верное дело», — думал он. Не мог он без земли, тянула она его к себе, как могучий магнит, и Семен Трофимыч был уже не волен — он был пленником земли. Но хлеба все-таки не стал продавать — остался верен своему слову. «Есть в амбаре — будет и в кармане», — повторял он про себя старую, как земля, пословицу.

Так и прошло то лето для Сычева — в хлопотах и трудах. Он часто задумывался. Видел: берут силу на селе те трое — Федор, Андрей и Матвей, осаживают его неприметно. Но он не понимал, как оно дальше будет. Пробовал читать газеты, но и там ничего толком не увидел — как оно все получится и к чему вдруг перестали дорожить богатым крестьянином. А спросить не у кого — он все так же был одинок, как старый дуб около опушки леса. Иной раз ему хотелось пойти в сельсовет и сказать: «Андрей Михалыч! Помоги разобраться. Куда все идет? Почему так? Где же хлеба возьмут рабочие, если все такие, как я, перестанем сеять?» И тогда он бросал взгляд на Федорову избу, мрачно сдвигал брови и мысленно говорил сам себе: «Друг моего врага — мой враг». Так за все лето Семен Трофимыч и не сделал шага, чтобы поговорить с Андреем по душам. А что думал о нем Андрей — неведомо. В то, что передавал от Андрея когда-то Матвей, Семен Трофимыч не очень верил. Но он знал: с Федором у председателя дружба прочная — Федор почти ежедневно бывает в сельсовете или у Андрея в избе, или сидят они вдвоем у Федора.

С виду село казалось спокойным, тихим. Все те же прелестные сизые степные вечера накрывали Паховку, все та же глазастая луна медленно осматривала соломенные крыши, все тот же осенний дождичек-моросей расквашивал чернозем и обмывал озимь, все так же дымили ранними утрами трубы с тем же кизяковым запахом, как и всегда, все так же трудились крестьяне на своих полосках. Но внутри села, незаметно для постороннего глаза, что-то такое творилось беспокойное. Беспокойно жил Сычев Семен Трофимыч, напряженно жили и Федор с Андреем. Только Матвей Степаныч Сорокин, казалось,

не унывал. Он часто ездил на своей лошади на свою полоску — посмотреть, полюбоваться, порадоваться.

В таких случаях он даже разговаривал и с лошадью и сам с собой. Почему не поговорить, если тебя, кроме суслика, никто не слышит в поле?

Как-то ведренным ясным осенним утром Матвей Степаныч приехал на озимь. Стал на краю полоски и залюбовался. Иней от легкого ночного морозца покрыл поле и серебрился шустрыми блестками. Была та осенняя полевая тишина, когда ни птица, ни зверек не издают ни единого звука, когда воздух не шелохнет, а дым из дальних, чуть видных с поля труб стоит столбами, тянется до неба. И село издали кажется тогда сказочным изваянием из многочисленных сине-белых колонн, величественных и могучих. А рядом — ковер заиндевелой озими, встречающей восход солнца. Есть своя, незабываемая прелесть в поле осенью.

В такое утро и стоял Матвей Степаныч на краю своей полоски.

— Боже ж мой! Как хорошо на свете-то жить! — воскликнул он, встряхнув заплатами. — Рази ж это не жизнь, Машутка! — обратился он к лошади, потрепав ее по холке. — Конешно, здорово. Вот они дела-то какие… И шубу себе справлю овчинную, новую… И Матрене — тоже… А почему бы и тебе, Матвей Степаныч, не стать настоящим хозяином? — спросил он сам себя. И ответил: — Можно. Вполне допустимо. — Задумался Матвей, размечтался. — А батраков ты будешь иметь, Матвей? — спросил он у себя же. — Нет. Не будешь иметь батраков… Не желаю. Не пойдет такая планида… А случаем чего, в колхоз пойдем, Машутка? А?.. Обязательно пойдем.

Лошадь качнула головой, встряхнувшись.

— Конешно, пойдем…

Матвей закрыл глаза… И вдруг ему представилось огромное, огромное поле озими — до края земли. И стоит он, Матвей, посреди этого поля, в новом пиджаке и новеньких сапогах, а пахнет от него не потом, а французской булкой… Матвей открыл глаза, окинул свою маленькую полоску взором, потом стал к ней вполоборота, покосился на нее и сказал вопросительно: — А може, оно так и будет? Може, не руками будем сеять и не сеялками, а… еропланом…

Он верхом тихо поехал в село, туда, на могучие и огромные колонны дыма, что стояли до самого неба. И он тоже жил в раздумьях.

Но только мысли его были веселыми, мечтательными. Так всю свою жизнь Матвей Степанович прожил в мечтах о лучшей жизни.

С поля он заехал прямо в сельсовет и, застав там Федора и Андрея, поздоровался и без обиняков спросил у обоих сразу:

— Ероплан рассевать рожь может или не может?

— Нет, — ответил Андрей. — На нем только двое усаживаются. Сам видал.

— Жалко, — только и сказал Матвей, загадочно улыбаясь. Он увидел, что Андрей и Федор склонились над какой-то бумагой, и не стал им мешать. — Пойду Машутку отведу.

По дороге к дому он увидел на противоположной стороне улицы одетого по-городскому человека, в желтых ботинках и коричневом костюме. Тот поклонился Матвею Степанычу. Поклонился и он. «Кто же это такой? — подумал Матвей. — А вроде бы видал я его где-то». Матвеи проводил его взглядом и заметил, как он направился прямо к сельсовету.

Сельсовет помещался в обыкновенной пятистенной избе. Передняя комната с русской печью отведена была для секретаря и постоянных посетителей, среди которых находились и такие «непременные», что просиживали в сельсовете, дымя цигарками, целыми днями. Вторая, горенка, предназначена только для председателя и для заседаний. В ней, у задней стенки, стоял простой крестьянский стол, накрытый кумачом. Председатель сидел всегда лицом к двери. Над столом висел большой портрет Ленина. Кроме скамеек, стоящих вдоль стен, никакой мебели не было. Комната была неуютная, маленькая и прокуренная.

После того как вышел Матвей Степаныч, Андрей и Федор сели на скамью около окна, плечом к плечу, склонившись над письмом. Федор читал вслух, а Андрей следил глазами за строчками. Миша Земляков писал:

«Здравствуй, дорогой брат Федя!

Приехал в Тамбов за назначением. Назначили в свой район участковым агрономом. Здоров.

Вчера наметил план: обязательно побывать у Тоси и у Вани. Когда пришел к Тосе, то там застал и Ваню. Вышло очень здорово: за один день получил назначение и повидался с Тосей и Ваней.

Тося все мечтает о поездке в Паховку, насовсем. Радуюсь я за тебя неимоверно. „Вот те крест!“

Ваня окончил совпартшколу и „воюет“ за то, чтобы его послали в Паховку. Завтра собирается добиться приема у секретаря. Если у него ничего не получится с этим делом, то он даст Андрею Михайловичу телеграмму „Высылайте“, что будет означать: немедленно выслать ходатайство волкома партии о назначении Вани в свой район. Просит связаться с Николаем Ивановичем Некрасовым.

Скажу откровенно: не надеюсь, чтобы Ваню отпустили в Паховку. Сейчас губком тщательно подбирает людей в села. Вероятно, Ваню и назначат в одно из крупных волостных сел, а не в нашу маленькую Паховку. Но как оно близко и дорого нам всем, это селеньице с жирным черноземом, но без урожая, с сильными людьми, но рабами своей полоски этого чернозема, с отрыжками старой, волчьей жизни, которая может остаться и навечно, если каждый будет сидеть на своей полосе… Когда об этом говорил Ваня в какой-то комиссии (не запомнил), то кто-то сказал ему: „Вы, молодой человек, молоды и мечтаете в поднебесье“. Чудаков еще много и здесь, в губернии.

Итак, наверно, приеду я один, без Вани. Вот, черт возьми, как оно получается неладно.

До скорого свиданья. Привет Андрею Михайловичу и Зине.

Брат.

P. S. Библиотечку сельскохозяйственных книг подобрал и выслал в двух посылках. Везу кое-какие книги и с собой. Начнем, Федя, заводить книги и в нашем доме.

М. З.».

Федор и Андрей сидели некоторое время молча. Потом Андрей встал, прошелся по комнате, остановился у окна, глядя на улицу, и, вздохнув, заговорил с паузами, как бы про себя:

— Н-да-а… «Жирный чернозем без урожая»… «Рабы чернозема»… «Старая, волчья жизнь»… Н-да-а… Вот это, брат, да-а!.. А я, значит, чуть не запутался, животом думал, — закончил он с горечью в голосе.

— Все понятно, Андрей. Все. Только грустно, что Ванятки не будет. Вот черт! — выругался Федор, отмахнувшись от какой-то мысли.

Андрей Михайлович продолжал стоять у окна, уже прислонившись лбом к переплету рамы. Вдруг он резко повернулся к Федору и воскликнул:

— Понятно! Сам поеду в губернию! Я тоже мужик. А когда мужику понятно, то в нем силища агромадная! — Андрей сжал увесистый кулак и потряс им в воздухе.

Но Федор охладил его одной фразой:

— А тебе там скажут: в какой-то волости Крючков нужнее, чем в вашем крошечном селе.

— Да, могут сказать… Пожалуй, скажут. Вот задача… Тогда еду к Некрасову… И телеграмму от Вани ждать не буду. Еду завтра же!

— Это вопрос другой. Это в твоих силах. Как у тебя сейчас отношения с Николаем Ивановичем-то? — спросил Федор.

— Пока все строгий ко мне. Но… помягчел.

— Не сразу, конечно… — как-то неопределенно сказал Федор, но не договорил, прислушиваясь к звукам в передней комнате.

Там кто-то, войдя, проскрипел ботинками. Послышался вопрос:

— Могу ли я видеть товарища председателя?

Затем кто-то постучал в дверь. Андрей, глядя в окно и не поворачивая головы, сказал:

— Войдите.

Оба повернулись к вошедшему. И вдруг Федор резко встал — перед ним, в двух шагах… Игнат Дыбин!

Андрей сел за стол на председательское место и обратился сначала к Федору:

— Сядь, Федя, сядь!

И Федор сел, отвернувшись к окну. Он больше уже ни разу не взглянул на Дыбина. А председатель спокойно обвел взором вошедшего — снизу вверх. Желтые ботинки с утиными носами блестели, как лакированные; новый коричневый костюм сидел аккуратно, без единой складочки; широкий подбородок с ямочкой посредине и узкие губы были все такими же, какими их помнит Андрей; между короткими густыми бровями пролегла глубокая морщина (это совсем новая черта, которой Андрей не знал и не видел); под глазами появились мешочки, каких раньше Андрей тоже не замечал; зеленовато-серые глаза остались такими же, как и несколько лет тому назад. Кепку Дыбин снял. Выглядел он очень прилично, но

лицо было отчасти потрепанным. Этот брюнет с серо-зелеными глазами, лет сорока, и был Игнат Дыбин. Так Андрей изучал Дыбина, в упор разглядывая его. Этим он «казнил» Игната, пронизывая его насквозь.

— Извиняюсь за беспокойство, — сказал Дыбин, глядя мимо Андрея на край стола.

— Что надо? — спросил председатель не совсем вежливо.

— Видите ли… Я хотел обосновать свое местожительство здесь, в селе Паховке. Пришел испросить разрешения и, если можно, зарегистрироваться.

— Почему не в свое село? — последовал вопрос.

— Видите ли… я… порвал со своим тяжелым прошлым и думаю искупить свои ошибки честной работой. Я уже сильно наказан Советской властью и теперь понял, что только беззаветная помощь Советской власти может сколько-нибудь сгладить мои тяжкие душевные переживания. Здесь, где меня когда-то ненавидели, я докажу, что раскаяние мое искренне. — Тут он посмотрел на Федора.

Причесанная речь Дыбина совсем не трогала Андрея.

— Где остановился? — спросил он.

— У Семена Трофимыча Сычева.

— Та-ак… Чем ты думаешь заниматься? — «тыкал» его председатель.

— Может быть, полоской земли. Но это — второстепенно. А главное, помощью населению и органам Советской власти. Отбывание наказания, мои раздумья и признание ошибок — все это дало мне возможность разобраться в политике партии, отречься от прошлых убеждений и порвать с тем прошлым.

— «Порвать», значит… Ну порви, порви… — иронически согласился Андрей. — Но только не думаю, чтобы тебе было здесь хорошо. Народ помнит! — При этом он тоже посмотрел в спину Федора.

— О, я понимаю вас! Но все же такие люди, как, например, Семен Трофимыч, бывший, как говорят, мой враг, оценили раскаяние, простили. Не думаю, чтобы можно было ненавидеть вечно человека, понявшего свои ошибки. — Дыбин уже смотрел прямо в глаза Андрею и добавил: — Разве у каждого из нас не могут быть ошибки в этой сложной жизни? — И снова глянул Дыбин в сторону Федора.

Но тот не пошевелился, все так же глядя в окно. Андрей, подумав, сказал:

— Ну что ж, иди к секретарю, зарегистрируйся в поселенных списках. Сперва напиши заявление.

— Благодарю, — сказал на это Дыбин, наклонив голову, и вышел в переднюю комнату.

Федор сурово посмотрел на Андрея и спросил:

— Зачем принял?

— Не могу не принять. Если документы правильные, по закону он имеет право жить где угодно. А документы у него есть.

— Ты ж не смотрел их.

— Такой человек без настоящих документов ко мне не придет. Можно не смотреть. Их мне в руках противно держать.

— Сказал бы: «Уходи! Уходи из села!» И все тут! — нервничал Федор.

— Нет, Федя, не то. Пусть на глазах живет — птица хитрая. В родню пошел. Помню я их.

Вошел секретарь и положил на стол телеграмму. Оба одновременно взяли ее за края противоположных сторон и посмотрели друг на друга, не отнимая рук. Оба хотели сказать: «Что-то будет в этой телеграмме?», но оба ничего не сказали. Андрей прочитал слова «Из Тамбова» и отпустил бумажку. А Федор прочитал вслух — первое слово тихо, а каждое следующее громче и громче:

— «Едем Мишей домой точка Меня назначили распоряжение нашего волкомпарта буду работать Паховке Крючков».

— Слушай! — кричал Андрей, — Федя! Ты понимаешь или нет?

— Понимаю! — взволнованно ответил Федор. — Понимаю, Андрей.

Игнат Дыбин, выходя из сельсовета, прислушался к громкому чтению и восторженным возгласам. Он первый узнал новость в Паховке.

Уже вечерело, когда Федор, уставший от волнений, пришел из сельсовета.

— Читай! — крикнул он Зине и подал ей телеграмму.

Она прочитала, прижала бумажку обеими руками к груди и тихо шептала:

— Едут… Господи, как же хорошо!

Федор легонько толкнул ее пальцем в бок и шутливо сказал; засмеявшись:

— Ты, библиотекарша! «Господи»!

Зинаида радовалась, как маленькая девочка, вся оживилась, вспыхнула и засуетилась с уборкой избы.

…Через три дня в Паховку приехали Земляков Михаил — агроном и Иван Крючков — «начинающий» партийный работник.

Вечером Ваня пришел к Федору. Они мяли друг друга в объятиях, похлопывали по плечам и восклицали:

— Ну вот!

— Ну вот!

— Приехал!

— Ага!

— Здорово!

— Очень здорово!

Зина тоже обняла Ваню, поцеловала в щеку, как родного, и сказала:

— Ой какой же ты, Ваня!

— Какой есть, — чуть-чуть смутившись, ответил Ваня. — Ну а какой все-таки?

— Ну, мужчина, одним словом, хоть куда!

— Не смущай, Зина, — отшутился он. — А тебе, Федя, подарочек привез.

— От Тоси? — живо спросил он.

— Вот. — Ваня положил перед Федором сверточек.

Федор развязал тесемочку, развернул бумагу и вынул две рубашки, новые брюки и маленький платочек. В платочке было завернуто письмо. Но первым делом он взял платочек за уголки, прочитал слова «Феде на память», потом повернул к свету и еще раз посмотрел, а затем осторожно приколол его кнопками над кроватью. Потом уж стал читать письмо и на какое-то время забыл обо всех присутствующих.

Ни Федор, ни Миша не заметили, как Ваня отвернулся к окну и стал смотреть на улицу. На какую-то минуту лицо его стало грустным. Только от Зинаиды не ускользнуло и это. И она подумала: «А все-таки у него что-то нехорошо на душе». Зина подошла к нему и ласково спросила:

— Ну? Чего запечалился?

— Ничего, Зина. Так, просто — смотрю на улицу. Ему-то, — он указал на Федора, — теперь весь мир сошелся в одном письме. Вот и не хочу мешать.

— А мне ты никогда не помешаешь, — отозвался Федор. — Уже прочитал. Через год будем вместе, а может, даже и раньше.

— Ой как это хорошо! — воскликнула Зинаида. — Все съедутся.

— Лучше не может быть, — поддержал Ваня. А на его лице не осталось и тени той (как показалось Зинаиде) мимолетной грусти.

Вечером, по старинному обычаю, нахлынули посетители проведать приехавших. Первым, конечно, прибежал Матвей Степаныч Сорокин. За столом сидели Зинаида, Федор, Миша и Ваня, пили чай. Они увидели деда в окно, когда тот заглянул, прислонившись к стеклу лицом. Федор весело сказал:

— А ну-ка подшутим: войдет — молчите!

Матвей Степанович вошел, постоял около двери, держась за бородку тремя пальцами. С хитроватой счастливой улыбкой он сказал:

— Здравствуйте вам!

Никто не ответил. Матвей Степаныч снял кожух и посматривал на стол, по уже колюче, с прищуром. Он был в новой рубашке, подпоясанной тем самым ремешком, которым лупил Виктора Шмоткова, а волосы были аккуратно подстрижены в кружок. Видно, он хотел своим видом показать необычность этого дня и особое уважение к этому дому. Все молчали и смотрели на него, любовно смеясь одними глазами. Но дед уже понял все: кто кого перехитрит! Он состроил серьезную мину, подошел к столу, подсел на скамейку, налил себе чай из самовара, взял сахар. Делал он все это медленно и степенно, не похоже на него. Затем широко надул щеки, будто собираясь пить чай. Всем было очень интересно, куда же заведет игра, которую Матвей Степаныч принял. Вдруг он вскочил, удивленно глянул на сидящих, поставил самовар на пол, блюдце — на сундук. Потом, так же молча, на полном серьезе, выплеснул в лохань чай из чашек и поставил их снова перед каждым. Засунул руки в карман, и теперь уже на лице его выразилось вопросительное недоумение: «Что же все-таки случилось?» И вот он высоко взметнул руку из кармана и весело, по-молодому вскрикнул:

— Ах-ха!

В руке оказалась бутылка водки. Матвей Степаныч ловко стукнул ее ладонью под донышко, выбив пробку, поставил на стол и засмеялся тоненько и заразительно, закрыв глаза и подняв бородку. Хохот дружно ударил в избе Земляковых: смеялись все до слез, переглядываясь, и снова еще сильнее смеялись. Железный не выдержит, если захохочет искренне и волшебно Матвей Степаныч!

А в тот день все были веселы и радостны, поэтому смех Матвея оказался еще заразительнее. Может быть, никогда не было в избе Земляковых так весело.

Пришел и Виктор Шмотков. Этот подал всем ладонь, вытянутую дощечкой, и, слегка тряхнув ею, говорил каждому поочередно «здравствуйте». Пиджак на нем был широк и короток, сапоги большие, с короткими голенищами. Его птичье лицо сияло в улыбке. А когда ему налили чашку водки, то он так просветлел, что хоть пиши с него святого.

— Выпей-ка, Виктор Ферапонтыч, за здравие гостей, — преподнес ему Матвей Степаныч.

— Это можно. Почему не выпить за хороших людей. Можно. — И взял чашку, изготовившись ее опрокинуть в рот.

Но Матвей Степаныч с хитрецой спросил:

— Алена не будет тебя пилить за водку-то? А то, может, не пил бы?

— Что ты, что ты! — испугался Виктор. — Она у меня — золото, а не баба. Она сама говорит: «Ты пей там, где ума наберешься, а не пей там, где свой могёшь потерять». Как это можно! Ну! Бывайте! — И опрокинул чашку водки так, будто вылил в кувшин, одним глотком. Закусив, он сразу же предложил: — А не послать ли еще?

— Нет, Виктор, у нас так не полагается. Хватит. Поздравили, и хватит.

— А это ж здорово! — поспешил согласиться Виктор. — Я и сам так: выпил раз и — вполне достаточно. По-культурному.

Все незаметно переглянулись и каждый подумал: «Дескать, знаем очень хорошо, как это „по-культурному“». Потом Виктор, чуть захмелев, убеждал Ваню, неистово жестикулируя руками, в том, что мужику выбиться из нужды невозможно и что у него только и радости — выпить.

Ваня слушал его очень внимательно, изучая и всматриваясь. Он и действительно увидел Виктора как-то по-новому.

— Ты учти, Иван Федорыч, — говорил Виктор, — мы тоже задумываемся над жизнью. Ей-правда! Вот так думаем, думаем — ничего не получается! Думаем, Думаем, да и запьем. Куды ж денешься! Нужды много — уму непостижимо! Вот иной раз и запьешь. Куды ж денешься.

— С нуждой-то, Виктор Ферапонтыч, надо бороться вместе, — только и сказал пока Ваня.

— То есть как? — спросил Виктор. — Кажин норовит у другого кусок из глотки вырвать. Как же тут вместе?

— Поговорим. Потом поговорим, — загадочно ответил Ваня.

— Поговорить — это я с нашим удовольствием.

И Ваня подумал: «Никто Виктору никогда и ничего не посоветовал от всего сердца, никто не открыл перед ним своей души, а всегда принимали его со снисходительной улыбкой».

Когда Виктор уходил, Крючков проводил его до дому. О чем уж они говорили по дороге, неизвестно, но, вернувшись к Земляковым, Иван Федорович сказал:

— Трудно живется Виктору.

И никто не возражал.

Потом приходили многие. После случая на дорезках Федора уважали в Паховке, и каждый старался выразить это уважение к семье. Вот и шли в избу, благо что гости приехали и есть кого проведать.

Андрей Михайлович был в отъезде.

Утром следующего дня Иван Федорович зашел к Земляковым, и все втроем пошли в сельсовет. За ночь выпал первый снег. Погода была тихая, с легким морозцем. Вчера еще было черно кругом, а сегодня так ярко и бело, что с непривычки ломит глаза. Воздух настолько чист и легок, что, кажется, и сам становишься легче. А главное — эта тишина первозимья! Такая тишина-недотрога, что даже стук топора на другом конце улицы отзывается гулко. Крыши стали чистыми и не казались соломенными, будто за ночь каждую накрыли огромной накрахмаленной простыней. И дым! Над каждой трубой дым, много столбов дыма, столько же, сколько изб в селе. Такие стройные столбы не заслоняют неба, но, наоборот, небо кажется чище,

снег кажется еще белее. Ой как хороша деревня в такие утренние часы первозимья!

Крючков все повторял, осматриваясь по сторонам:

— Ну и хорошо! До чего же хорошо, Миша!

Федор весело продекламировал:

Зима. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь…

Остальные двое подхватили:

Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью, как-нибудь…

У всех троих было легкое и добродушное настроение и тогда, когда они вошли в прокуренную комнату сельсовета. Матвей Сорокин был уже тут как тут. Андрей Михайлович пожал Ване и Мише руки, и сказал:

— Милости просим, дорогие помощники! Признаюсь: ждали. — Он сразу почувствовал, что приготовленная фраза оказалась сухой, никудышной. Тогда он сграбастал двух сразу, каждого одной рукой, притянул к себе, сжал так, что ребра были в опасности, и добавил: — Вот так! Рад, как поп пасхе! — Потом он легонько оттолкнул их от себя и сказал: — Дайте-ка я вас посмотрю хорошенько.

Он смотрел на них веселый, улыбающийся, а Зинаида, вошедшая вслед за друзьями, любовалась из передней комнаты Андреем. Она увидела в окно библиотеки гостей и прибежала в сельсовет глянуть одним глазком. Посмотрела и убежала.

— Ох и выстругали вас там! — воскликнул Андрей Михайлович.

Ваня, сняв треух, обнажил чисто подстриженную голову, с зачесом назад. Из-под ворота пальто виднелся галстук. Русоволосый, голубоглазый, с высоким прямым лбом, Ваня был хорош и весь показался Андрею Михайловичу совсем не тем, каким был раньше.

Миша Земляков снял кубанку. Прядь вьющихся черных волос упала на лоб. Брови у него были настолько черны и широки, что казались наведенными сажей, даже чернее, чем у брата. Черная

шинель сидела на нем аккуратно. Он был строен и чист, но удивительно похож на бывшего Федьку Варяга. Только тот был сильнее и шире.

Андрей Михайлович смотрел-смотрел на них и сказал:

— Под фуганок вас выделали! Наверное, умерла старая пословица, братцы.

— Какая же пословица? — спросил Миша.

— Была такая: «Ушел в город, пришел ворог». Вроде бы город из человека ворога делал, портил человека.

— Умерла, — подтвердил Ваня.

— Царство ей небесное! — притворно вздохнул, перекрестившись, Матвей Степаныч.

— А погодка-то, погодка-то какая! — восхищался Федор, переводя разговор на другую тему. Ему не хотелось говорить о старом городе потому, что вспомнил сразу отца. Он прогонял мрачные мысли.

— Хороша погодка! — поддержал его Ваня.

— Не очень-то, — возразил Миша.

— Это почему же? — спросил Андрей Михайлович.

— Снег-то лег на талую почву, — объяснил Миша. — А это нехорошо для озимых.

— Ну-у? — тревожно протянул Андрей Михайлович, садясь за стол и будто собираясь выяснить этот вопрос глубже. — Нехорошо?

— Да, нехорошо, — подтвердил Миша. — Озимые ушли в зиму без закалки да переросли здорово — подпариться могут.

— А ты почем знаешь? — допытывался Матвей Степаныч.

— Ну как вам сказать, Матвей Степаныч? Агроном же я теперь.

— Фу ты! — воскликнул дед. — А я-то, старый хрыч, и из головы вон. Запамятовал. Значит, точно: плохо?

— Не очень хорошо, — ответил Миша.

— Да-а… А у нас-то и вся надежда на озимые, — сказал Андрей Михайлович, — Нет озимых — нет хлеба. Нет хлеба — нужда. Вот у Виктора Шмоткова — табак дело.

— А что? — спросил Миша.

— Корова пала. Трое ребятишек без молока остались, — объяснил Андрей Михайлович.

— Как? Корова пала? — недоуменно спросил Ваня и подумал: «А ведь Виктор ни словом не обмолвился вчера. Не хотел омрачать

радость встречи. Ах, Виктор, Виктор! Вот ты какой!» — Пала корова, — задумчиво ответил он сам себе.

— Куды ж ему, Витьке, и без коровы, и без хлеба, если озимые того… Ах ты грех! — воскликнул Матвей Степанович и хлопнул себя по полам кожуха. — Ай-яй-яй!.. А может, оно ничего, с озимыми-то? — еще раз с надеждой спросил он у Миши. Ему, этому милому Матвею Степанычу, уже казалось, что все теперь зависит от Миши.

Вдруг Миша по этой фразе понял, какая лежит на нем ответственность.

— Да вы не беспокойтесь, Матвей Степаныч, — утешил он. — Все дело в том, как зима пойдет. Если большого снега не будет, толстого, и если корки не будет, то все обойдется хорошо.

— А ну-ка ты, Михаил Ефимыч, объясни нам подробнее, — попросил Андрей Михайлович.

Все впервые услышали, как Мишу назвали по отчеству. А он хоть смутился чуть, но просто рассказал, при каких условиях озимые могут хорошо перезимовать.

Слова «углеводы», «транспирация» и другие были новыми для Андрея Михайловича, не говоря уж о Матвее Степаныче. Они оба первый раз узнали, что сахар — это и есть углеводы.

Матвей Степаныч так и сказал:

— Вот ведь вы какие приехали! Одно слово — «углеводы».

Все смеялись. Матвей Степаныч всю жизнь был практиком, по приметам, а тут — наука!

— Когда поедешь становиться на учет? — спросил у Вани Андрей Михайлович.

— Думаю, завтра.

— Ты там поговори-ка насчет ячейки.

— Какой ячейки? — спросил Миша, имея в виду комсомольскую.

— Пора и у нас партячейку оформлять, — сказал вместо ответа Андрей Михайлович, — Хватит мне одному-то.

Все согласно посмотрели на Андрея. А Матвей Степаныч произнес только одно слово:

— Факт.

— Четыре члена партии — это уже большая сила, — сказал Ваня.

Хотя членов партии было здесь только два (Вихров и Крючков), но он, говоря эти слова, смотрел то на Федора, то на Матвея

Степаныча.

А Матвей Степаныч вскинул глаза на председателя сельсовета и чуть-чуть с гордостью сказал, тряхнув бородкой:

— Понял? То-то!

Перед тем как выйти из комнаты, Ваня, подмигнув незаметно Мише, подошел к окну и провел пальцем по пыли на подоконнике. Затем он посмотрел на председателя и кивнул на окно, говоря глазами: «Нехорошо, дескать, так — грязь-то».

Когда вышли Ваня, Миша и Федор, Матвей Степаныч близко подошел к окну. Он, почти касаясь носом, посмотрел на полоску, оставленную пальцем Крючкова, и, не разгибаясь, повернул голову к председателю:

— Не замечал. Ей-бо, не замечал, Михалыч.

Андрей Михайлович сейчас же вызвал уборщицу, тетку Анисью, и разъяснил так:

— Чистоту понимать надо. А у тебя как у самой плохой бабы в избе. Я чтоб больше этого не видел! — и показал на полоску. — И занавески купи. Сходи вместе с секретарем и купи.

А вызвав секретаря, начал и его отчитывать в присутствии Сорокина. При этом Матвей Степаныч стоял заложив руки за спину и всем выражением лица будто говорил Анисье и секретарю: «А ну шевелись! Заснули!» А председатель точил своего единственного писаря:

— У тебя на столе — как куры ночевали! Бумаги — как у паршивого хозяина солома на току: ток большой, а наступить негде. Понимать надо: мы, можно сказать, пример должны показать. Ты у меня все это перестрой в корне… А занавески сегодня же купите. Поняли? — спрашивал он у двоих сразу.

И секретарь и тетка Анисья смотрели на председателя с наивным удивлением и не понимали, что же такое стряслось: жили-жили спокойно, а тут — на тебе! Вроде бы пыли не было, оказалась пыль, грязи не было, оказалась грязь. И председателя будто подменили.

В самом деле, Андрей Михайлович как-то весь встряхнулся, стал беспокойным, а временами и задумчивым.

Зинаида снова подходила к сельсовету, но, услышав «разнос» Андрея, ушла, убедившись, что гостей здесь нет. Андрей так и не заметил, что она сегодня приходила уже дважды.

Семь месяцев прошло с того дня, как Андрей ускакал от Зинаиды в степь, обозленный и обескураженный. Семь месяцев они ничего не говорили, кроме слов «здравствуй» и «прощай». Хоть он и заходил к Земляковым, дружил с Федором, но с Зинаидой сам не заговаривал. Разве только о самых обычных вещах. Зинаида боялась заходить в сельсовет даже по делам. Федор не вмешивался в их отношения, но, наблюдая со стороны, решил: расстроилась любовь. Андрей замкнулся, молчал, работал. И нельзя было узнать, что же он решил насчет Зинаиды. А она тихонько по ночам роняла на подушку скупые слезинки. Молодость уходила, и казалось, уже все прошло, без любви и ласки, без своей семьи. Вот и сегодня она увидела его, но уже веселого и радостного; пыталась еще раз посмотреть, а он уже сердитый и кого-то разносил. А так хочется увидеть Андрея близко, с глазу на глаз, без других людей.

В этот тихий морозный вечер первозимья, когда Федор ушел к Крючковым, а Миша — к Володе Кочетову, Зинаида не выдержала. Она покрылась праздничным платком, посмотрела на себя в зеркало, повернула лицо вполоборота и еще раз посмотрела, вскинув голову, и сказала: «А то ни черт!» И пошла к Андрею.

На двери его избы висел замок. Чуть постояв в нерешительности, Зинаида направилась в сельсовет.

Андрей сидел за столом. По обе стороны от него лежали две стопки книг. Он читал. Волосы он беспрестанно теребил пятерней, ворот гимнастерки был расстегнут. Таким и застала его Зинаида, всклокоченным, сосредоточенным. «Уже он стал не тот, что был утром», — подумала она, остановившись в дверях. А он поднял голову. В глазах его выразилось недоумение. Только недоумение — больше ничего. Так казалось Зинаиде. «Остыл, — думала она. — Остыл. Книги стали дороже меня». А Андрей встал и сказал тихо, спокойно:

— Пришла?

— Пришла, — ответила Зинаида еще тише.

— Ну вот… Садись.

Она села против него и совсем не знала, о чем говорить. На всякий случай спросила о том, о чем можно было и не спрашивать:

— Читаешь?

— Читаю, — ответил Андрей. — И многого не понимаю. Вот думаю кое-что у Вани выяснить.

— Ну как тебе — ребята?

— Выбились, — коротко ответил он. А после некоторого раздумья еще добавил: — В люди выбились.

— Твои ведь… ученики, — заметила Зинаида.

— «Ученики», — произнес Андрей с горькой усмешкой. — Учителя, а не ученики. Обогнали. В отстающих хожу. И вряд ли наверстаю… И ты вот тоже… — Он не договорил, осекся.

— Что — я?

— Переросла меня. Небось книг прочитала столько, сколько мне за всю жизнь теперь не прочитать. Не шибко я к этому радел.

«В глаза смеется, — подумала Зинаида, — хитрит»…

Андрей продолжал:

— А я чуть не запутался… Вот и не пара тебе, выходит. Если бы я, Зина, не был в партии, то, наверно, пропал бы к черту, как осенняя будылина на ветру. — Он вскинул на нее глаза, в них ни тени хитрости.

Видела Зинаида Андрея и сердитым, сжавшим челюсти до хруста, видела и пьяным — то угрюмым, то пьяно смеющимся, видела и самолюбивым, как тогда, в поле, готовым ударить ее плетью.

Может быть, он и ускакал тогда потому, что не ручался за себя. Но таким, простым и искренним, давно, давно не видела. И показалось ей, что за такого Андрея она и страдала, такого его и хотела, только такого: за него, за такого, она и билась, любя и поднимаясь все выше и выше. И он — вот он! Но… далекий и, главное, недоступный какой-то. В свое время он любил ее не рассуждая, страстно, а теперь — «Переросла… Не пара». Грустно стало Зинаиде. Она опустила голову.

Андрей долго смотрел на нее. Не видела Зинаида, как он ласково смотрел на дорогие ему черты, но чувствовала — смотрит! И боялась поднять лицо. А он встал, подошел к ней, взял осторожно ее голову в свои сильные руки, повернул к себе, вверх лицом. В глазах у нее застряли две слезинки. Она посмотрела ему в глаза и увидела того самого Андрея, которого хотела видеть, улыбающегося, нового и дорогого.

— Ну? Что? — спросил он.

— Так. Ничего… Отстань! — Она попыталась высвободить голову из его рук, но это было невозможно. Она сначала беспомощно

опустила руки, но вдруг порывисто обвила его шею и прильнула щекой к его щеке.

— Андрей, — шептала она, — мой Андрей…

Потом они пошли вдвоем по селу. Андрей взял ее под руку. Шли тихо.

— Ночь-то какая! — восхищалась Зинаида.

— Хороша!

И опять молчали. И опять мысли вслух:

— А все-таки, Андрей, кого-то Ваня любит.

— Откуда ты знаешь?

— Заметила. Он даже разговора об этом избегает. Значит, что-то есть.

— Тебя, наверно, любит?

— Нет, не меня… Ревнуешь?

— Нет. Не ревную. Верю.

— Спасибо, Андрей.

Он остановился и поцеловал Зинаиду.

Долго они ходили, любуясь лунной ночью.

А ночь была удивительно хороша! Прозрачные синеватые тени от луны лежали перед каждой избой. Белые крыши играли блестками. Снег — как серебро, и звук — как серебро. Иней на ресницах — алмазинки. Серебряная лунная ночь накрыла чернозем. Казалось, он спал спокойно и беспробудно. Но это может казаться только тому, кто забывает о весне.

А весна обязательно будет.

Часть вторая

Глава первая

Больше двух месяцев прошло с тех пор, как Игнат Дыбин приехал к Сычеву. На люди выходил редко. Он выписал «Правду» и окружную газету. Много думал, сидя в одиночестве. Иной раз долго ходил по горенке из угла в угол, заложив руки за поясницу. Ежедневно помогал Семену Трофимычу Сычеву убирать скотину, подметать двор.

Когда он верхом медленно гарцевал по улице, стройный и крепко сложенный, то паховцы говорили просто: «Игнатка-бандит на жеребцу гарцует — проминку делает». Иногда вечером он заходил в избу-читальню, вежливо кланялся библиотекарше Зинаиде Ефимовне Земляковой, садился за стол, брал подшивки газет и подолгу что-то искал, сверяя, сличая. Уходя, он так же вежливо благодарил и снова кланялся. Никто не знал, какой жизнью живет Дыбин. Живет и молчит. Если случалось ему быть на сходке, то и там слушал и молчал. Постепенно его перестали замечать сельские жители, разве иной раз скажет кто-нибудь: «Игнатка-бандит на сходке был». Так и закрепилось за ним это клеймо-прозвище.

Никто в Паховке не знал о долгих разговорах Дыбина с Сычевым. В один из январских дней тысяча девятьсот двадцать восьмого года они, как и обычно, сидели вдвоем. Продолжая беседу, Сычев сказал:

— Как же это понимать, Игнат Фомич, — «ликвидировать, как класс»?

— Очень просто: кэк! — ответил Игнат и сделал ладонью так, будто подрубил дерево топором.

— Не может того быть…

Семен Трофимыч задумался, почесал голые ступни, свесив их с лежанки, и снова спросил:

— Значит, по-твоему, — «кэк»?

— Определенно.

Потом Игнат ходил из угла в угол. Семен Трофимыч продолжал сидеть на лежанке. За последний год он постарел, седина пробилась в

бороде сразу двумя клоками, справа и слева: борода у него стала пегая, а голова рыжевато-серебристая.

Вот так они помолчали, помолчали, и Семен Трофимыч снова спросил:

— Ужели ж так оно и получится?

Игнат не ответил. А часы тикали и тикали.

— Как же? — допытывался Сычев после длительной паузы.

— Одно ясно: хозяйство — под корень.

— И у меня?! — ужаснулся Сычев.

— И у вас, — безжалостно рубил Дыбин. — У вас — даже в первую очередь.

— Это почему же так?

— Потому, что вы — первейший кулак на селе.

— Я?

— Вы.

— Ну-ну!

Игнат, казалось, не обратил внимания на строгое восклицание собеседника — он все так же медленно ходил и ходил. Молчанием своим он бередил душу Сычева, будто что-то не договаривая, скрывая. Часы все так же отстукивали время.

— Ты вот что, Игнат Фомич: если знаешь что аль вычитал там какое дело, то не скрывай. У меня — могила. — При этом он закрыл рот мозолистой ладонью, показывая, как он крепко может молчать.

Игнат остановился против Сычева, посмотрел на него внимательно и сказал убежденно:

— Ликвидируйте хозяйство, Семен Трофимыч… Чем скорее, тем лучше… В выгоде будете и уцелеете сами. Поверьте.

— А? — остолбенело спросил Сычев.

— Только так. Лошадей — со двора. Мельницу продавайте. Если некому продать, то — на слом. Жалеючи говорю и… секретно… Маслобойку — тоже.

— «Со двора»… «на слом»… — повторял Сычев, разводя руками.

— Со двора. На слом, — подтвердил Дыбин и добавил: — Подождите, еще какая катавасия пойдет. Мамушки мои родные!

— Как же теперь быть? А? Игнат Фомич?

— Говорю вам, надо стать середняком: одна лошадь, одна корова, изба. И — все.

— А куры? А овцы? А гуси?

— Не знаю.

— И я не знаю. Кто же знает?

— Сталин знает… Ванька Крючков знает… Федька Земляков тоже знает. Они знают, а мы… пока не знаем. Но… будем знать. — Игнат говорил с паузами, но отчетливо, будто вдалбливал мысли Сычеву так, как вбивает гвозди опытный плотник уверенной рукой — размеренно, редко и точно. — Вот. Не знаем. О мелкой живности не знаем. Но… — И он замолчал снова.

Сычеву показалось, что часы в тот вечер стучали очень громко, небывало громко, так что отдавалось в голове. Так-так! Так-так! — отстукивал маятник… Шарх-шах… Шарх-шах… — шаркал по доскам Игнат. Десятилинейную лампу он пригасил, отчего в горенке был полумрак (не любил он яркого света). Тени от Игнатовой фигуры медленно ползали по стене — взад-вперед, взад-вперед… Шарх-шах, шарх-шах…

— Давай-ка без «но», Игнат Фомич, — сказал наконец Сычев почти дружелюбно. — Раз начал об этом разговор, то доканчивай. Я не железный.

Игнат сразу уловил ноту недовольства. Он глянул на Сычева, повернувшись всем корпусом, и усмехнулся, чуть сдвинув губы на сторону. Потом сел за стол и пригласил:

— Садись-ка сюда, Семен Трофимыч, — перешел он на «ты».

Тот медленно спустился с лежанки, сунул ноги в валенки, подошел к столу, чуть постоял в раздумье и сел. Локоть он положил на угол стола, беспомощно опустив большую ладонь, натруженную, узловатую. Он смотрел в пол, будто забывшись.

— Давай говорить начистоту, — начал Игнат первым.

— Давай, — согласился Сычев, не меняя положения.

— Скребет на душе-то?

— Скребет.

— Хозяйство жалко?

Сычев не ответил, но чуть кивнул, соглашаясь.

— А Россию тебе не жалко? Крестьянскую Россию?

— Это ты к чему? — насторожился Сычев.

— Да ведь не одного тебя будут «ликвидировать», а цвет крестьянства, последнюю опору России. Опору!

— Та-ак, — произнес Сычев, начиная догадываться о мыслях Игната. — Это все далеко, а мое хозяйство — вот, в этих самых руках. — При этом он растопырил перед собой пальцы, пристально посмотрел на них и добавил: — В этих руках. Это — близко.

— Значит, будешь ждать, пока тебя ощиплют, как курицу?

— А что же делать?

Игнат встал за столом, уперся взглядом в Сычева и четко, очень четко прошептал:

— Со-про-ти-вляться!

Сычев встал рывком и тоже впился глазами в Игната. Тот заговорил тихо, но горячо:

— Что же ты, как кролик, съежился, прижал уши и ждешь, когда тебя обдирать будут? Ждешь, Семен Трофимыч, когда Федька с Ванькой Крючковым придут во двор и скажут: «А ну, выходи, Сычев! Это все не твое».

При упоминании о Федьке Семен вздрогнул. А когда Игнат кончил, то он сказал со злобой:

— Этот придет. Этот скажет. У-у, вражина!

— А ты говоришь! Конечно, придет, — убедительно поддержал Игнат, удовлетворенный тем, что затронул самое больное место.

Оба потом долго молчали. Наконец Сычев спросил:

— Как это — «сопротивляться»? Уж об этом-то ты не в «Правде» вычитал. За винтовки, что ли, браться?.. Не выйдет. Глупости.

— Я всегда считал вас умным человеком! — воскликнул Игнат, перейдя вновь на «вы». — И сейчас вы — мудрый русский крестьянин. Конечно, глупости. Конечно, ни за какое оружие браться сейчас нельзя. Это — гибель.

— А ты — «сопротивляться»! — протянул Сычев, польщенный похвалой.

— Да, сопротивляться, — твердо ответил Дыбин. — Сопротивляться незаметно, но… упорно. В «Правде» не вычитал, а от умных людей… в общем, понял сам, своим умом… Слушайте, Семен Трофимыч. Как другу. Если все крепкие хозяева спустят со двора тягло, если сократят до возможного предела посевы, то большевики останутся без хлеба. Сорока Матвей и Витька Шмотков не прокормят Россию. Не пройдет года-другого, как снова запросят пощады: «Сейте, товарищи, обогащайтесь»… А у вас будут денежки-то целехонькие. И

снова купите вы себе жеребца, и мельницу, и маслобойку, — Игнат говорил уже мечтательно. — И придете вы, Семен Трофимыч, к Федьке и скажете: «Ты вот что: посторонись! Вон из села, прощелыга!» Так вы ему скажете. — Игнат встал, обошел стол и, положив руку на плечо Сычеву, добавил: — Только так. И говорю я это только вам. Сами понимаете: одно ваше слово где-нибудь и — кэк! — Игнат перерезал себе ладонью горло.

— Могила. У меня — могила, — успокоил Сычев мрачно. — Выходит, самим себя под корешок резать.

— Нет. Не так. Все перевести на деньги. А деньги прибрать. Ждать. С деньгами всегда выпрыгнуть можно. Ждать. Время и камень крошит. А как погонят в колхоз, то… — Игнат неожиданно осекся.

— То? — беспокойно и настойчиво спросил Сычев и вдруг крикнул неистово: — Ты мне душу не царапай!

— Тсс! Что вы? — зашептал Игнат, замахав рукой. — Разве ж так можно?! — А потом строго сказал, как начальник подчиненному: — Тихо. А говорите — «могила»… Действительно — могила.

И Сычев сразу обмяк.

— Ну ты ж понимаешь, Игнат Фомич: пополам разрываюсь. А ну-ка да не погонят в колхоз никого, а я сам — понимаешь, сам! — решу хозяйство.

— Обязательно всех в колхоз. Голову даю на отсечение: всех! Еще Ленин говорил об этом. Поймите, Семен Трофимыч: или — колхозы, и тогда большевики закрепились, или — единоличное хозяйство, и тогда большевикам каюк. Поняли? — Игнат уже не дожидался ответа от собеседника и закончил мысль предельно ясно: — Нищими надо идти в колхоз и — все р-раз-рушено! Все! Победа — без оружия.

— А ну-ка погоди, — строго заговорил в волнении Сычев и огромной пятерней сжал плечо Дыбину. — Погоди. Выходит, Расею нищей сделать? Кого же ты жалеешь? Расею, с-сукин ты сын?

Игнат не осерчал за такое не очень лестное обращение. Нет. Он улыбнулся Сычеву так тепло, что тот и не заметил наигранности. Улыбнулся Игнат, снял осторожно руку Сычева со своего плеча, сжал ее в своих ладонях и тихо воскликнул:

— Через нужду — к богатству! Вы ведь так и шли, Семен Трофимыч, — льстил Игнат. — Придется повторить все снова. Только

тогда у вас не было денег, были только руки. Теперь же будут деньги, много денег, стоимость всего хозяйства.

Сычев сел. Опустил голову. Думал. Потом, что-то вспомнив, спросил:

— Погоди-ка! Ты не досказал. «А как погонят в колхоз, то…» Что это — «то»?

— Будет бунт! — зло выпалил Игнат так, что Сычев привстал от удивления. — И все взлетит к черту! Все! К черту!

— А потом? — нерешительно поинтересовался Сычев.

Игнат сразу переменил тон и заговорил снова спокойно и уверенно:

— Потом вернется возрожденная Россия. Быстро вырастет крепкий крестьянин, такой, как Семен Трофимович Сычев и многие другие. Они сомнут большевиков. Вот так сомнут, — он сжал кулаки, приблизил их друг к другу, а затем ожесточенно разжал, растер на ладонях и отбросил по сторонам. — Вот так: в порошок!

Долго после этого сидел Сычев, опустив голову и свесив ладони между коленями. Потом поднял голову и сказал угрюмо:

— Башка у тебя, Игнат Фомич, как у юриста. Ей-бо. Все правильно. И оружия никакого. Но только… страшновато. Случае чего, ГПУ заберет — хуже будет.

— Не заберет, — твердо и убедительно сказал Дыбин, — Того, кто будет поддерживать колхоз, кто сам пойдет в колхоз, не заберут.

— Ка-ак?

— Поддерживать коллективизацию, когда она нагрянет, когда беднота попрет в колхоз. Вы будете поддерживать активно. И если пустят вас в колхоз, войдете в него.

— Я? Поддерживать колхоз? Да ты что, спятил?

— Подумайте, — сказал Дыбин вместо ответа и медленно зашаркал по горенке.

Но Сычев скоро сообразил. Он даже улыбнулся в бороду и произнес:

— Ясно.

— Вот и добро. Умному человеку слово — полна голова дум, — завершил Дыбин эту довольно щепетильную беседу.

— Заели уж меня эти думы. Тяжко мне, — с надрывом сказал Сычев и неожиданно разоткровенничался: — Один я кругом, Игнат

Фомич. Один, как есть один. Только и слово молвишь с женой, Лукерьей. — Он вдруг встал, открыл дверь в переднюю комнату и строго окликнул: — Лукерья! Лукерья! — Потом отошел от двери и теперь мягко и успокоенно закончил: — Не пришла еще.

— Не беспокойтесь, Семен Трофимыч. Я тоже прислушиваюсь. Придет — услышим. Так. Продолжайте.

— О чем?

— О чем начали: «Один я кругом, один, как есть один»… Это почти как стих.

— Конешно, стих. Иной раз находит на меня такой стих, что хоть в петлю. Стих и сейчас находит. Тоска вроде.

— Эх, Семен Трофимыч, Семен Трофимыч! Да разве ж я не понимаю, не вижу? Все понимаю, все вижу. Иногда так бывает: подошел бы к вам, обнял бы по-дружески. Но человек уж так устроен: скрывает свои чувства. В себе носит. А разве у меня-то не тоска?..

— Да ну? — удивился Сычев.

— Тоска тяжкая… Скажите: кто, кроме нас с вами, думает в Паховке о всей России?.. Только мы. И это очень тяжело. О крестьянской России! А мы пока… бессильны. Так-то вот…

Сычев шумно вздохнул. А Игнат сел за стол, оперся локтями, обхватив голову, и тихо декламировал:

Я никому здесь не знаком,
А те, что помнили, давно забыли,
И там, где был когда-то отчий дом,
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.

— Конешно, плохо, — подытожил стих Сычев. — Хозяйство-то ваше решили мы тогда.

Игнат закрыл лицо ладонями и замолчал.

Сычев встал, опустивши руки, глянул в пол и сказал:

— Водки бы нам сейчас…

— Давай, — поддержал Игнат, продолжая сидеть истуканом. — Давай!

Пили они полными стаканами. После третьего стакана обнялись и плакали. Но Дыбин хотя и всхлипывал, а слезы у него почему-то не

текли. Он даже посмотрел из-за плеча товарища на гитару: не столкнул бы ее Сычев спьяну. Единственное имущество Игната — гитара. Жалко, если столкнет. Но он все-таки всхлипывал и восклицал:

— Друг ты мой вечный! Умница моя, Семен Трофимыч! Жизнь мне не жалко за тебя.

— И мне тоже… не жалко. Ничего не жалко. Даже жеребца — понимаешь, жеребца! — не жалко. Все к черту распродам! Все!

Когда вошла Лукерья, Семен Трофимыч уже бил посуду. Он поднял над головой глиняный горшок на всю вытянутую руку и держал речь:

— Лукерья! Ничего нам не надо! К черту все! Хватит нам мучиться! В бедняки! В бедняки уйду! Р-раз!!! — И горшок, такая добрая обливная макитрочка, треснулся об пол.

Игнат стал перед полками, рядом с Лукерьей, растопырив руки, защищая горшки. Но Семен Трофимыч не очень-то напирал и вскоре отошел, вытирая рукавами глаза.

— Господи боже, — шептала Лукерья, — опять на него стих нашел. Хоть бы скорей пост приходил: отговел бы Семен, причастился — може, и свалился бы с него стих-то.

А Игнат шептал ей на ухо:

— Если бы меня тут не было, то он бы наворочал. Ой что тут было! Корову хотел резать.

— Батюшки! Уж не тронулся ли он? — И Лукерья тихо заплакала, наклонившись над черепками.

— Вы не волнуйтесь, Лукерья Петровна. Не волнуйтесь. Я его не оставлю ни на одну минуту, — успокаивал Игнат и ушел к Сычеву в горенку. — Ну? Отлегло, богатырь? — спросил он там.

— Чуть отлегло… Пойду во двор.

— Пойду-ка и я.

— Ну пойдем, друг, — пригласил Сычев.

— Пойдем.

— Пойдем помаленьку.

— Вот та-ак. Р-раз и — через порог!.. Р-раз и — через другой!

На морозе хмель выходит быстро. Через полчаса Семен Трофимыч уже волок охапку сена лошадям; с Игнатом вместе они вытащили коровам помои, посыпали их мукой. Все делали бодро и дружно, хотя и пошатываясь. Семен даже рассмеялся, когда лохматый

кобель, ласкаясь и прыгая, запутался в цепи и, стреноженный, смешно плясал. И все-таки все было не то. Разве ж раньше Семен продержал бы скотину до девяти часов вечера неубранной и ненакормленной? Даже после того как ушел батрак, Матвей Сорокин, он не допускал такого. Теперь вот и Игнат помогает по хозяйству, не зря хлеб ест, а довели, что скотина простояла голодная несколько часов в такой мороз.

— Как это мы с тобой забыли скотину-то убрать? — спросил он у Игната. — Никогда так не бывало, а поди ж ты.

— Другой раз не забудем. Скотину надо лучше кормить — дороже дадут.

— Дороже дадут, — повторил с горечью Сычев и стал посреди двора, окинув его взором. — Да-а, дела пошли.

— Тсс! — остановил его Игнат. — Слышите?

На улице, в морозном воздухе, несколько человек проскрипели валенками по дороге, переговариваясь и смеясь.

Игнат и Семен услышали, как крикнул Миша Земляков:

— Зина! Держись!

— Ай! — воскликнула Зина. — Ты с ума сошел, Мишка. Снегу насыпал за шиворот. Ах ты!..

— На помощь! — прокричал Андрей. — Давай-ка, умоем его снежком.

Потом Миша смешно урчал, отфыркиваясь и, видимо, пытаясь вырваться.

— Пожалейте братишку, — спокойно сказал Федор. — Снежку ему за воротник сыпните с полпудика и — хватит.

Все они смеялись раскатисто и громко. Потом затихли и пошли к хате Земляковых.

И еще услышали Семен и Игнат, неподвижно стоя посреди двора и завернув треухи, чтобы было слышнее:

— А ты ей напиши: пусть приезжает после посевной. Кончила — надо сразу ехать. — Это говорил Андрей.

— Раньше июня не сможет.

— Июнь так июнь, — согласилась Зинаида. — Сразу две свадьбы и сыграем.

Слышно было, как затопотали на крыльце Земляковых, а потом все стихло.

Село засыпало крепким зимним сном. А во дворе Сычева все шептались.

— Кто же должен приехать к Федьке? — спросил Игнат.

— Жена его. Аль невеста, черт их разберет. Шлюха какая-нибудь.

— Эге! Вон оно что… Значит, две свадьбы… Так-так.

Они вошли в хату, обмели валенки, сели в горенке.

Подумав, Игнат спросил:

— Матвей Сорока подал в партию?

— Вчера приняли. Смехота! Я ж его знаю как облупленного.

— Значит, теперь их четверо?

— Четверо: Андрюха, Ванька, Федька и Матвей Сорока.

— А нас? — спросил Игнат, прищурившись и нацелив один глаз на Семена.

— Двое.

— Нет, не двое. Много. Народ с нами.

Семен Трофимыч промолчал. Он и не подтвердил, и не возразил. Трудно было понять, слышал ли он последние слова Игната. Полухмельной, он о чем-то напряженно думал — морщил лоб, чесал затылок. Неожиданно спросил без всякой связи:

— Ну, скажем, я продам все. А, хвать-мать, летом объявят колхозы. И скажут: «Разбазарил. Как класс — его».

— Умные люди подсчитали, Семен Трофимыч, что раньше тридцатого года не начнется. Надо же иметь какой-то запас хлеба, а тогда уж начинать. У нас с вами впереди больше половины двадцать восьмого года и весь двадцать девятый… Может быть, и тридцатый.

— Пожалуй, так. Помаленьку сбывать.

— Постепенно. Постепенно, полегонечку.

И опять без всякой связи Семен Трофимыч выпалил:

— Еще по стакану!

— Не буду. Не стоит. Еле от того очухался.

— Нет, стоит.

Сычев налил себе стакан, выпил залпом и ушел в переднюю комнату к Лукерье, пригорюнившейся у шестка. Там он долго возился, раздеваясь и укладываясь спать, о чем-то разговаривал с женой и наконец затих.

Спал он беспокойно: заспал хмель на час-другой, потом проснулся и так пролежал до вторых петухов.

Игнат тоже лег в постель, закрыл глаза и пытался уснуть. Но в ушах все звенел смех Земляковых и Андрея — старого врага. Только задремлет Игнат, как ему чудится тот же скрип валенок на улице и тот же веселый смех, казалось, беззаботный и бездумный. «Счастливые они, черти, — думал он. — Счастливые… две свадьбы… А я?.. „Все укатилось под вихрем бойким…“» Он повернулся вниз лицом, обхватил подушку обеими руками, закусив наволочку, да так и лежал.

Мороз на дворе потрескивал бревнами, будто вгрызаясь в стены. В душе Игната было холодно и пусто.

После вторых петухов Сычев тихонько вышел во двор. Постоял немного. Потом с фонарем сходил в ригу, подправил там обвалившуюся полову, заготовил сена для утренней раздачи скоту. Вдруг ему захотелось лечь в сено. Он потушил фонарь, запахнул потеплее полушубок, поднял воротник и лег. От сена запахло летом, а думы были суровые, как зима. Он постепенно пришел к выводу: пока не было в селе Игната, он шел напролом; он знал одно — нажить богатство, а остальное его не касалось. Теперь же стало ясно: так жить нельзя. Надо — тонко, очень тонко. «Политика», — подумал Сычев и встал. Сам себе вслух сказал:

— Ну что ж — политика так политика. Давай политику.

Совсем неожиданно для Лукерьи Петровны Семен Трофимыч лег к ней снова, пригрелся и уснул крепко, казалось, спокойно. Спал до завтрака, что с ним случалось редко.

Алена Шмоткова забежала позаимствовать спичек и спросила вполголоса, указывая на кровать:

— Не заболел ли хозяин-то? Что-то долго спит.

Через час-два все село знало: «Сыч горшки побил».

При этом в конце села, на последнем этапе новость уже звучала так: «Сыч горшки побил о Лушкину голову, а Игнатка-бандит заступился за нее. И была драка».

Вот и все. Больше никаких вестей из стен Сычева не просочилось. Могила: умрет Сычев — никто ничего не узнает.

…Больше месяца прошло с той беспокойной ночи. Дыбин все еще не возобновлял разговора, а Сычев пока и не пытался начинать распродажу имущества. Но однажды Игнат молча положил перед ним газету с передовой «Новой деревне — новый колхозный путь». Сычев читал долго, несколько раз. Наконец встал и сказал:

— Надо торопиться. — И стал одеваться. — Пойду-ка я… начинать.

— Добрый путь, Семен Трофимыч, — напутствовал Дыбин. А когда тот уже взялся за дверную ручку, то он тоже надвинул шапку, накинул на плечо пиджак и вышел в сени. Там он тихо добавил: — Узнайте-ка, Семен Трофимыч, как зовут и какая фамилия этой Федькиной зазнобы…

— Это еще нам зачем? — спросил Сычев.

Игнат подмигнул ему и ответил:

— Городская же. Может, пригодится…

Оба захихикали, озорно посмотрев друг на друга. Но Сычев сразу посерьезнел, сдвинул брови и сказал:

— Не до этого нам сейчас. Не стоит.

— Да разве ж я что-нибудь?.. Так, интересно, что за птица прибывает в дом.

— Не в твой же дом-то.

— В дом нашего… «друга».

— Оно, конешно, так. Этот «друг» в печенках сидит.

— В двух печенках: у вас и у меня.

— Ладно. Узнаю.

Сычев прошел прямо в сельсовет к Андрею Михайловичу Вихрову. Подойдя к двери, он наткнулся глазами на табличку «Вытирайте ноги». Посмотрел вниз и увидел половичок. Это было удивительно — не по-нашенски. Обмел он веником валенки, тщательно вытер подошвы, высморкался через перила крыльца, разгладил бороду и только после этого вошел в сельсовет.

— Здравствуйте вам, — приветствовал он секретаря в первой комнате.

— Давненько вас не видно, Семен Трофимыч, давненько, — в тоне его звучала нескрываемая официальность, а прежней почтительности не было и в помине.

— Не требовалось — вот и не приходил.

— А теперь дело есть?

— Есть.

— Какое же?

Семен Трофимыч внимательно взглянул на секретаря и увидел, что у него подвязан галстук, такой же, как у Крючкова и у Миши

Землякова, — настоящий городской галстук. «И этот индюком пошел», — подумал он. А секретарю сказал:

— К самому мне надо. Важнецкий вопрос-то.

— Сам сейчас занят. С агрономом список на семена составляют.

— С каким таким агрономом?

— С Михаилом Ефимычем Земляковым.

— А-а… — протянул Сычев. — И надолго у них?

— Этого я не знаю. Чего не знаю, того не знаю — брехать не буду. — И секретарь углубился в бумаги.

Раньше Семена Трофимыча так не принимали. Но он и виду не подал, что недоволен таким оборотом. «Чего же от них и ждать, если Андрюха грозил поркой», — мелькнула мысль. И все-таки он не потерял степенности и продолжал:

— А доложить нельзя?

— Никак нет, — ответил секретарь, не поднимая лица.

— А когда же зайтить к нему лучше?

— Чего не знаю, того не знаю — брехать не буду.

— И чего ты, Егорка, задолбил, как толкач в ступе? А ты спроси.

— Можете сами спросить, — бесстрастно ответил тот.

— Вот возьму и спрошу. Тебе же…

Но Сычев не закончил фразу. Дверь из комнаты председателя открылась, и на пороге показался Андрей Михайлович. Он смерил взглядом Сычева сверху вниз, не выпуская дверной ручки, и холодно спросил:

— Ко мне?

— Здравствуйте, Андрей Михайлович! К вам. — На лице Сычева все же отразилась та неловкость, с которой он вступил в сельсовет.

— Зайди, — пригласил тот не очень охотно и пропустил Сычева, закрыв потом за собой дверь.

Сычев не узнал кабинета председателя. Стены были оклеены обоями, полы выкрашены так же, как и в комнате секретаря, рамы окон и проемы отделаны белилами. В этой чистоте Сычев почувствовал что-то новое и, главное, что-то такое сильное, против чего возразить невозможно. И эти книги на этажерке и большая карта мира тоже, казалось, были против Сычева, и пахло от них городом. Сычев так и заключил мысленно: «Городом пахнет».

Агроном посмотрел на него искоса, почти не отрываясь от какого-то списка, лежащего рядом с картой землепользования села Паховки. Уже и рад бы Сычев не начинать разговора, с которым пришел, но было поздно — он ведь стоял перед Андреем Михайловичем.

— Садись, — пригласил тот.

— Благодарствую… Сесть, что ль. — И Сычев сел, положив шапку на колени.

— По какому вопросу? — спокойно спросил председатель.

— Дело длинное — сразу не выложишь. И… муторное дело, скажу прямо.

— Не насчет ли дорезков? Весна не за горами, — пытался догадаться Андрей Михайлович.

Сычеву показалось, что председатель на секунду прищурил глаз, взглянув на Мишу. Тот тоже теперь смотрел на Сычева, ожидая «муторного дела». У Сычева закипело внутри озлобление: «Вылупили зенки, как на верблюда». Но он сдержался, сказав себе мысленно: «Посмотрю, кто хитрее». Вдруг он начал мять в руках шапку и шмыгнул носом так, как это делают многие от волнения.

— Значит, насчет дорезков? — повторил Андрей Михайлович.

— Э! Какие там дорезки, Андрей Михалыч… На что они мне? На что? Будь они трижды прокляты, те дорезки. Позору-то на село из-за них сколько.

— Да и арендовать их теперь нельзя — переданы Козинскому обществу, — вставил Миша.

— И слава богу, — согласился Сычев. — Мороки от них меньше будет… Не о дорезках речь — не нужны они мне. И не желаю я вот так жить. Не желаю. В душе-то я — середняк. И…

— А на дворе — кулак, — дополнил Миша.

— Я не желаю быть кулаком. Не желаю! — почти вскрикнул Сычев, прижав шапку к груди. — Хватит. Не желаю. Посмотри на мои руки. Пальцы уж скрючились от мозолей.

Андрей Михайлович переглянулся с Мишей в недоумении: они ничего не понимали. А Сычев уловил это и продолжал:

— Хватит мне мучиться. Один — как волк. Не желаю и — все тут. Я тоже человек. — Он покачал головой сверху вниз. — Человек. Я хочу — как все. Со всеми вместе.

— А ты поточнее, Семен Трофимыч, — уже несколько мягче сказал Андрей Михайлович. — С чем пришел-то?

— Андрей Михайлович! Мы с тобой жили когда-то хорошо, пока… люди промеж нас не вмешались. А потом — плохо. Я все забыл. Забудь и ты… Посоветоваться пришел. Не к кому мне больше идти.

— Так что же ты хочешь?

— Хочу продать мельницу и маслобойку. Посоветуй, пожалуйста.

— А что же я могу посоветовать? Хозяин — барин.

— Не к тому я. Не надо бы из села упускать предприятия. Останемся без мельницы — мужики будут за двенадцать верст на помол возить. А подсолнух тогда хоть не сей, если маслобойки-то в селе не будет.

— А кто же может купить? — спросил Миша. — Кого вы имеете в виду? У нас всех вместе, во всем селе таких денег нет.

— Михаил Ефимыч! — повернувшись к Мише, сказал Сычев добродушно. — А кооперация? Пущай она и купит. Ослобоните меня, пожалуйста. Недорого возьму. А с меня — как хомут с шеи. Мне и так глаза проширяли — «кулак да кулак». До каких пор! Не желаю я так жить. Как все — желаю. За полцены отдам.

— Так, так, — пристукивая пальцами, произнес Андрей Михайлович. И еще повторил: — Так, так. — Потом явно наигранно вздохнул и ответил: — По этому делу и надо тебе разговаривать с кооперативом, с правлением, с бухгалтером.

— А ты-то как посоветуешь?

— А чего же: продай, если купят.

— Смотря какая цена, — вмешался Миша.

— Да уж в цене не постою. — Семен Трофимыч встал. — Ну что ж, пойду к Савельичу, к бухгалтеру.

— А он уже не бухгалтер, — сказал Андрей Михайлович. — Сам отказался по старости. Человеку уже семьдесят три года — хватит. Три дня прошло, как сдал дела.

— Кому же? — осторожно спросил Сычев.

— Федору Ефимовичу Землякову.

— Ка-ак? — переспросил Сычев.

— Федору Ефимовичу Земля-ко-ву, — повторил по слогам Андрей Михайлович.

Сычев сначала явно растерялся: на Савельича была большая надежда и — лопнула сразу. Но, придя в себя, он даже улыбнулся и сказал:

— Конешно. Оно так. Земляков — голова! Да, голова. «Будет опять вспоминать старое…» — подумал он. — Да, Земляков, конешно, голова. Ученый теперь.

— Савельич тоже был хороший бухгалтер? А? — спросил чуть иронически председатель, — Дьячком был. Семинарию небось кончал?

Сычев не заметил иронии. Весть о новом бухгалтере сбила его «с тонкой политики», и он вдруг внешне стал самим собой.

— Тоже был хороший, — согласился он. — Даже и не семинарию кончил, а чуть ли не восьминарию. Помнится, говорил он, когда я в членах правления ходил. Точно: говорил. Восьминарию.

— Вот так: к бухгалтеру, — заключил Андрей Михайлович.

Сычев вышел.

Миша и Андрей Михайлович вопросительно посмотрели друг на друга, а в глазах каждого был вопрос: «Что за номер?»

— Неужели проснулась совесть? — наконец спросил Миша.

— Черт его знает. Подумать надо, — ответил Андрей. — Подумать. О совести говорить рано… Рановато, — повторил он в задумчивости. Потом вдруг встрепенулся и сказал Мише: — Добеги-ка до Федора — шепни: «Если придет Сычев, то отложить разговор до завтра, а главное, вести себя спокойно». Вечером соберемся, посоветуемся.

Миша вышел. Когда он переходил улицу, то увидел, как Сычев направился к своему дому, а не к конторе кооператива. К Федору Миша все же сходил, вызвал его в сени и передал слова Андрея Михайловича.

— Не придет, — заключил Федор.

— Почему?

— Меня боится.

— Он какой-то совсем стал другой, — неуверенно заметил Миша.

— Желторотик ты, Мишка, хоть и агроном. Он же «удочку» закинул, а теперь будет ждать: придут купят, если хотят. Тогда и цену скажет.

— Ну?!

— Полюбил черт сатану, — срифмовал Федор и похлопал Мишу по плечу. — Иди. А посоветоваться, правда, надо. Как кончишь дела в сельсовете, найди Ваню Крючкова, передай. Может, он и партячейку соберет вечером.

Миша вернулся в сельсовет.

Сычев шел по улице медленно, но голову держал высоко, осанисто. Никто бы и не подумал, что на душе у него кошки скребут. «Как это я оторвался, — думал он. — Три дня прошло, как Федька булгахтером стал, а я и не знал. Так не годится. Надо Игнату Фомичу сказать: не сидеть нам дома, как в норе… Хуже от этого — и только… Федька — булгахтер! Ах ты, сволочь!» А голову держал высоко, шел прямо: политика!

Повстречался ему Виктор Шмотков.

— Виктору Ферапонтычу! — сняв шапку, первым поздоровался Сычев, чем польстил встречному. — Далеконько ли?

— За табачком в лавку.

— Что-то давно я тебя не видал.

— Работа. Куды ж денешься. Некогда, — скороговоркой ответил Виктор и подал руку Сычеву.

Тот пожал ее и чуть потряс даже, выражая тем свое уважение. Затем Виктор, по обыкновению своему, сдвинул треух на сторону, обнажив конопляную кудель волос, и завел разговор.

— Та-ак… Март, значит, пришел, — констатировал он степенно, будто приход марта зависел целиком от него, Виктора Шмоткова.

— Март. По-старому нонче март начался. Память у тебя хорошая, — поддакнул Сычев.

— А иней был — как на рождество. Это оно к чему? — спросил Виктор.

— А вот подсчитаем. Теперича так: март, апрель, май, июнь, июль… Та-ак, июль… — Сычев что-то пошептал, прикидывая в уме. — Значит, как раз к аржаному севу дождь должон быть — моросей пойдет, как из сита.

— Точно?

— Аптека!

— Здорово! А как это ты угадываешь?

— А так: от того дня, как иней будет, берешь сто пятьдесят — сто пятьдесят пять ден — тут тебе и моросей. Ошибка на три — пять ден,

не больше. — Сычев знал, что в селе нет такого человека, кто лучше его предугадывал бы погоду, но держал это в «секрете». Тут уж его авторитет непоколебим, казалось ему. А в те минуты встречи он так старался выразить уважение к Виктору, так старался, что даже выложил ему «секрет».

А Виктор неожиданно сказал:

— Надо у Михал Ефимыча спросить: как оно по науке-то. Он-то уж знает, чего к чему. Ни один человек того не знает, что он знает.

— И по науке так, — недовольно буркнул Сычев, но сразу же перешел на прежний тон: — И он так скажет. Примета. Тыщу лет примета. — Он снова, казалось, повеселел. — А должно быть, толковый малый агроном-то, Мишка-то?

— Михаил Ефимыч, — поправил Виктор. — Был Мишка, стал Михаил Ефимыч. У-у! Ку-уды та-ам! Чего ни спроси, все знает. Как листами рожь дышит — и то знает. И какие червяки есть на земле и под землей — знает. И эти, как их… Фу ты, черт! Забыл, как их… А! Микроги! И какие микроги в земле — знает! Уму непостижимо!

— А что это — микроги?

— Микроги?.. Дух такой в земле, живность тоже.

Виктор-то уже слышал лекцию Миши, но Сычев не имел ни малейшего понятия о микробах и поэтому спросил с сомнением:

— То есть как так: живность, а дух?

— А так: глазами их не видно. В меркоскоп — пожалуйста, с нашим удовольствием покажутся, а так — даже и в очках не видать. А раз не видно — дух, значит. Одним словом, мелочь. Мразь такая, что и уму непостижимо. А пользительная живность.

— Это чем же она пользу дает?

— Возются они в земле, возются, возются вот так. — Виктор перепутал десять пальцев в клубок и задвигал ими, изображая, как возятся микробы, и продолжал без останову, пулеметной очередью: — Возются, значит, и таскают корм к корням. А корни-то тот корм сосут. Вот какая там петрушка получается. Рожь, она, понимаешь, тоже ест. А раз ест, то ей кто да нибудь корм готовит. Вот и микроги! Уму непостижимо! Положа руку: как понял, так и тебе говорю. Лекцию читал Михаил Ефимыч. Може, я чего и недопонял, но точно: таскают корм, таскают, нечистая сила. Это точно. И главное дело, их ни хрена не видать. Только в меркоскоп. Наука!

— Наука, она, конешно… — неопределенно поддержал Сычев.

— Куды ж денешься. Наука, она… превышает все! — философствовал Виктор с большим удовольствием, забыв даже, что он идет за табаком и что ему очень хочется курить. — А Земляковы, они все с прочным котелком. — При этом он постучал себя по лбу.

— С котелком, — согласился Сычев. — Вот и Федор Ефимыч в булгахтеры вышел.

— У-у! Этот — мозговой! — подхватил Виктор, увлеченный беседой. — Сам лично видал, как он с бумагами. Вчера ходил, смотрел. Ну скажи, как у себя на ладони видит. — Виктор протянул ладонь, показывая ее Сычеву. Дескать, гляди, как Федор в бумагах разбирается. А ладонь была сухая, тощая, с твердыми шишковатыми мозолями. — Во! Берет бумагу — раз-раз ее на счетах! — и втупорож на ней пи-иснет на уголке и — в папку. И — в папку. Их там, папок! Тыща! — без зазрения совести преувеличивал Виктор, восхищаясь Федором. — А он знает, в какую полагается бумажку-то. Голова!

— Башка что надо! — подтвердил Сычев. — Жениться, слыхать, хочет? — Этот-то вопрос только и интересовал Сычева, затем-то он и остановился с Виктором, подходя издали и незаметно и выслушивая речи собеседника, удостоив его своим вниманием.

— Слыхать, — ответил Виктор не задумываясь. — И девка вроде есть на примете.

— Правда, что ли, болтают — приедет его… — Сычев секунду-другую подумал и назвал наобум имя: — Сима.

— Да не Сима, а Тося, чудак ты человек. Тося.

— Тося?

— Ага, Тося. Сам слыхал, лично, — с оттенком гордости уверял Виктор.

— А может, она ему жена уже? Может, она Землякова стала?

— Нет. Не Землякова.

— А как?

— Вот запамятовал. Ведь и шутили они над Федором как-то вечером… Как ее… Тося, Тося… Куды ж денешься — забыл… Дохторица она. А! Вспомнил! Жилина. Дохторица Жилина.

— Ну!

— Что я тебе, брехать буду? Сроду не брехал. О! Федор Ефимыч, он — башковитый. За него и дохторица пойдет. — Вдруг Виктор

сделал шаг назад, поправил шапку, надвинув ее снова на лоб, и неожиданно сказал: — Про табак забыл — курить хочется как из ружья. Пойду. — И ушел от Сычева.

Тот несколько удивился такому неожиданному окончанию беседы. Но Виктор-то сразу осекся, как только вспомнил, что виновник самосуда стоит перед ним и что совсем зря он удостоил Сычева научной беседой. А Сычев посмотрел ему вслед и тихо сказал:

— Дурак ты набитый, Витька. Микрога. Дух вонючий! — И пошел домой.

Шел он и думал: «А берут они вес. Берут. Раз уж Витька так воспевает, то и по народу такое идет». Домой он пришел сердитый и мрачный.

— Лежишь? — зло спросил он у Дыбина.

— Лежу, — ответил тот, сразу оценив его состояние. — По двору все управил, газету прочитал. И вот лежу.

— А надо бы не лежать.

— Учту, — так же спокойно сказал Дыбин.

— И учти: Федька — булгахтером в кооперативе, третий день, а мы и не слыхали.

Игнат встал. Сел на койке, посмотрел на Сычева и вдруг захохотал.

— Ты что, Игнат Фомич, ржешь? Тут на душе черт когтями чертит, а ты в смех, — еще пуще обозлился Сычев.

— Так это же прелесть! — воскликнул Игнат, успокоившись от смеха. — Вы продадите им мельницу, а мы протрубим похвалу Федьке за рост кооператива. Это же начало контакта.

Сычев непонимающе выпучил глаза, а Игнат переспросил:

— Что? Не понимаете?.. Искать контакта, идти на сближение, на мир. На мир! Лучшее средство — похвала, почести, умная лесть. Хитрого похвалить, то любой простак его обманет.

— А потом?

— А потом видно будет. Сейчас их шайка дружная. Надо вбить клин. Разногласие. Тут им и решка. Тогда мы — хозяева.

— Ты, Игнат Фомич, как поп: насквозь человека видишь, — пробурчал Сычев примирительно.

— А как там с этой?.. — игриво поинтересовался Игнат.

— Тося, — ответил Сычев.

— Фамилия?

— Жилина.

— Значит, Тося Жилина. Порядок, — удовлетворенно заключил Дыбин.

Вечер они провели снова вместе. Играли с Лукерьей Петровной в подкидного. Ни о какой политике не говорили. Оставаясь «в дураках», Игнат дважды лазил под стол и кукарекал петухом, что у него получалось совсем недурно.

— Ничего, — успокаивал его Сычев. — В карты не везет — в бабах повезет. Так всегда получается.

Потом пили чай. Игнат рассказывал о тюремной жизни, о далекой Сибири. Говорить об этом он мог часами, а слушали его с большим интересом. Спать они легли лишь в двенадцать часов. На селе так поздно никогда и никто не ложится.

Во сне Сычев видел громадные леса, запорошенные снегом. И он шел по этим лесам один, утопая в снегу по пояс, выбившись из сил, а кто-то за ним гнался, хватал за шиворот. Семен Трофимыч, боясь оглянуться, все торопился, торопился и падал в снег. Лишь одна Лукерья Петровна слышала, как он во сне дважды произнес полушепотом одно и то же слово:

— Сибирь… Сибирь…

Он вспотел, сбросил во сне одеяло и тяжело дышал.

— Семен! Семен! Проснись! — растолкала она его.

— А? Что? Ты кто?

— Что с тобой? Семен, окстись.

— Свят, свят! — перекрестился он, бормоча, — В каких-то лесах заплутался.

Лукерья про себя читала молитву, чтобы отогнать нечистого от мужа. Она гладила Семена по бороде, спуская ладонь на грудь, и шептала: «Да воскреснет бог и расточатся врази его…»

Под ласковой рукой супруги Семен снова уснул.

— Страшен сон, да милостив бог, — проговорила тихо и успокоительно Лукерья.

Снова все утихло до утра. Хозяином в той хате был ночной мрак.

Глава вторая

Март-бокогрей все больше и больше хозяйничал на земле. Ночью морозцы стягивали все, что успело растопить солнышко; к рассвету ажурным кружевом висели острячки на гребнях сугробов и иногда, осыпаясь, тихонько шуршали. То были последние шорохи зимы. Может быть, она еще разок-другой и тряхнет мокрой метелью, но все равно это — уже последний бессильный и безнадежный порыв. Все равно к середине дня на солнечной стороне идет веселая капель и где-то под снегом нет-нет да и зажурчит приветливый еще невидимый ручеек. На солнцепеке тает, в тени мороз. Весна напирает дружно и говорливо, зима же уступает нехотя, ночами недовольно шурша или пуская в атаку тучи сырого снега. Но что такое мартовский снег? Пустяк. Одна видимость. Глянуло солнце и — нет того снега-однодневки, а весна еще пуще берет за бока зиму. Правда, пока что берет ее за один бок, за тот, которым она стоит к весне. Глянешь на ригу, а на ней два времени года: на припеке — снега нет ничуть, даже парок от земли идет, а на противоположной стороне — мороз и сугроб. Потому-то и зовется март «бокогреем», что он хватает зиму за один бок. Но нет жизни однобокой зиме — тает она не по дням, а по часам, убывает и наконец разваливается уже безропотно. И слышно сначала только ручьи, а потом… Э, да разве ж можно когда-нибудь описать, что «потом»! Потом весна взрывается с гомоном и звоном как-то сразу. Выйдешь вот так из хаты утречком, а солнце уже подпекает помаленьку, и, оказывается, мороза-то ночью совсем не было; в воздухе висит музыка: позванивает ручеек, поет небо сотней жавороночьих трелей, голосисто хлопочут плодовитые куры-несушки, да так стараются, что кажется, важнее нет дел ни у кого на свете; каркнет, приветствуя теленка, грач; заржет где-то на другом конце села жеребец, откликаясь на призывный и страстный голос кобылицы. И нет уже капели — все стаяло с крыш хат, сараев и амбаров, а там, на крышах, включились в общую симфонию стаи воробьев. Земля и небо поют. И все это вместе — музыка, прелестная, родная, близкая русскому сердцу. И хочется плакать от радости, оттого, что жизнь так хороша!.. Разве ж возможно описать это словами когда-нибудь и кому-нибудь. Каждый новый год — новая весна, и входит она в человека тоже каждый раз по-новому. Может быть, придет на землю — придет! — великий композитор и напишет «Весну» так, что люди будут смеяться и плакать слезами радости, счастья, надежды и

взаимной любви. Это случится в то время, когда ненависть и злоба уйдут с земли. А пока и весной кто-то ненавидит кого-то, кто-то кому-то изменяет, кто-то где-то голоден, а кто-то слишком сыт. Только весна все равно идет своим чередом, растаптывая и уничтожая зиму. Хорош месяц март-бокогрей! Очень хорош!

И в Паховке разные люди встречали весну по-разному. Виктор Шмотков, например, в один из таких дней вышел из хаты, стал и сразу почуял: весна пришла! Совсем пришла. Он замер от гомона, появившегося невесть откуда вместе с теплом. Потом задрал одно ухо шапки, пережившей несколько зим, и слушал небо, скособочив голову. Долго слушал, будто стараясь точнее установить — правильно ли поют в этом году жаворонки, а заключил так:

— А что? — спросил он сам себя и тут же ответил: — Жизнь хоро-ошая! Жить на земле вполне допустимо. Куды ж денешься.

Хотя он сказал эти слова вслух сам себе, но посторонний все равно не понял бы того, что Виктору хочется жить хорошо. Очень хочется. Однако и в эту весну у него нет семян — нечем сеять, а на лошадь напала короста. Да и хлеба у него осталось всего на месяц, не больше. Но жить надо, потому что жизнь на земле хороша. А скажи он кому-либо ту же фразу, которой он встретил весну, засмеют, скажут: «Виктор глуп». Нет, вы попробуйте поживите так, как прожил Виктор Ферапонтович Шмотков, тогда поймете, что означают слова: «Жить на земле вполне допустимо». Великий оптимизм нужен для этого.

А где их брать, семена? Где его брать, хлеб? Семен Трофимыч, конечно, даст под проценты — под пятый пуд, но очень уж не хочется к нему идти. Кроме сельсовета, некуда обращаться, но и там никаких семян нет: сказали, ссуды в этом году не будет на наше село. Виктор колебался: куда идти — в сельсовет, где нет семян, или к Сычеву, где есть семена; к Сычеву — налево, в сельсовет — направо. Пошел было налево, да раздумал, вернулся, передвинув треух с левого виска на правый. После длительных раздумий и в сельсовет не пошел, а стал разыскивать агронома. Сначала ему надо было узнать, годится ли у Крутого земля под просо. Если годится, то на ту десятину потребуется только полтора пуда семян, а если не годится, то овса-то надо восемь пудов — уйму! — а пшеницы и того больше. «Уму непостижимо, — ужасался мысленно Виктор. — Придется двух овечек продавать… Жаворонки, конечно, поют хорошо, а овечек-то продавать».

В тот день Виктор не нашел агронома: в сельсовете сказали — поехал верхом в Оглоблино. Около кооператива Виктор подсел на бревна к группе крестьян да и проторчал здесь до обеда. И уйти было невозможно, потому что негласно обсуждался вопрос о семенах. Василий Петрович Кочетов, отец Володи, уверял, что ему Михаил Ефимович Земляков говорил, будто по всему селу не хватит семян полтыщи пудов, и что точно подтвердил: ссуду не дадут — своего хлеба в селе достаточно.

Он так и закончил:

— Семенов не хватит, ссуды не будет.

— А почем он знает — полтыщи? — вмешался Виктор.

— Очень просто, — ответил Василий Петрович, — Сообразил, значит. Прикинул на счетах.

— Ты скажи! — удивился Виктор. — Тут сам себе ладу не дашь, а он — по всему полю.

По на самом деле было совсем не так. Миша Земляков говорил Кочетову только предположительно — точно он и сам пока не знал. Затем-то и собрались вечером того дня все коммунисты и комсомольцы.

…В те годы в Паховке не умели проводить заседания так, как следует — с докладами, речами, длинными протоколами и многими цифрами. Было просто. Крючков Иван Федорович, как секретарь партячейки, объявил, что семян не хватит. Миша изложил свои предположения, потряхивая списком безлошадников и маломощных середняков. Спорить не стали. Все согласились сделать подворный обход и точно учесть семена в каждом хозяйстве. В самом конце заседания Крючков сказал:

— Есть еще важный вопрос… Секретный, — он обвел взором собрание.

Здесь сидели Сорокин Матвей, Федор Земляков и Миша, Андрей Михайлович, его жена Зинаида (кандидат партии) и Кочетов Володя (комсомолец). Крючков смотрел на них и будто примерялся: годятся ли они все для такого дела? Он добавил к своим первым словам:

— Пока что надо молчать обо всем, что мы сейчас узнаем. Читай, Федор.

Тот прочитал указание обкома партии. Все услышали впервые: «Довести до кулацких хозяйств твердое задание… В случае

невыполнения изъять хлеб в бесспорном порядке по суду, руководствуясь статьей 107 Уголовного кодекса… Использовать изъятый хлеб для выдачи семенной ссуды…»

Закончил чтение Федор своими словами, от себя:

— Надо взять хлеб, — и сел.

— У кого? — осторожно спросил Матвей Степаныч Сорокин. Но ответа не стал дожидаться, а высказался сам: — У кого? Ухаревых нету, утекли. И хату продали, и сад продали, и пчел продали. И утекли. Нету никого. А Сыч помаленьку тоже все продает. Может, уж весь хлеб продал теперь. Каждую ночь возы выезжают из двора. Если у него не осталось хлеба, то у кого же «изнять заданием»? А? Нам — секретно, а Сычу — давно не секретно.

— Для этого и собрались, Матвей Степаныч, — ответил Крючков. — Давайте подумаем.

Они действительно думали, а не только заседали. Матвей Степаныч по простоте своей, даже заговорил так:

— А не будет это похоже… как бы это сказать… народ кабы чего про нас не сказал… чужой хлеб, мол, берем среди бела дня… хоть и кулак, а это… как его… Не было такого…

Ему настойчиво и терпеливо доказывали, что твердое задание есть государственное задание, вроде хлебного налога. А насильно брать будут только тогда, когда кулак откажется платить такой налог, да и то — по суду.

— Это и есть политика ограничения кулачества, — закончил беседу Крючков. — Понял? — спросил он у Сорокина.

— Понял, — ответил тот охотно, — понял: брать, пока добьем.

— Да не так же, не так совсем! — уже горячился Крючков и принимался за новые разъяснения.

— А я думаю, так оно и будет: под корень! Иначе как же? Тут будет, скажем, колхоз, — он показал рукой направо, — а тут, скажем, кулак (показал налево). Не можно. Либо пусть входит в колхоз, либо — под корень. Брать, пока добьем.

Так и ушел Матвей Степаныч со своей политикой. Только не было понятно, согласен ли он так решительно действовать, как это требовалось в письме.

Подходило тяжелое время, когда нужны были крепкие нервы и железное сердце. Видно, и сам Матвей Степаныч понимал это, потому

что при обсуждении состава двух «троек» по учету семян он сам же и попросил:

— В подворный обход меня пошлите с Федей Земляковым.

Может быть, Матвей Степаныч ощущал необходимость близости к «железному сердцу», а может быть, ему хотелось лично быть у Сычева, своего прежнего хозяина, — не понять. Создали две «тройки»: первая — Андрей, Федор и Матвей Степаныч; вторая — Крючков, Миша Земляков, Володя Кочетов. Предстояло не только опросить каждого хозяина двора (сколько и каких семян есть), но при надобности глазомерно определить, не обманывает ли, не скрывает ли. А первой тройке поручено самое важное: довести твердое задание Сычеву.

С утра следующего дня, после завтрака, когда крестьяне уже управились с первой уборкой скотины, обе тройки начали работу. Входя в каждый дом, здоровались, заводили разговор о том, о сем и, как казалось, постепенно подходили к вопросу о семенах. Но так только казалось. Надо было пройти всего лишь пять-шесть дворов, как по селу прокатилось: «Семена описывают!» Этого было уже достаточно, чтобы некоторые жители Паховки сочли обход посягательством на их личную собственность. За первым слухом пронесся второй: «У Сычева хлеб отбирают». Но это было не так. Матвей Степаныч Сорокин, предвидя ложные слухи, предложил еще в начале обхода:

— Нам, Федя, надобно прямо к Сычу. Пока он — ни сном ни духом.

— А не все ли равно? — возразил Андрей Михайлович.

— Сказал! «Все равно»! Я же его знаю как облупленного. Как услышит про такое, сейчас же хату на замок, а сам на жеребца и — в другое село. Три года отжил у него — знаю.

С Матвеем Степанычем согласились. К Сычеву они пришли, когда слух еще не докатился до него.

Семен Трофимыч прямо-таки расплылся в улыбке:

— Андрей Михалыч, дорогой! Да какими же судьбами! Ну обрадовал, обрадовал. — Он уже обметал табуретку ладонью, жестом приглашая Андрея Михайловича присесть.

Но в это время вошел Федор, а за ним Матвей Степаныч.

— Старому другу! Гора с горой не сходятся, — затараторил Матвей, бесцеремонно садясь на тот самый стул, что Семен обдувал для председателя. — Сколько лет, сколько зим! Как живем-здравствуем? Как здоровьице Лукерьи Петровны? А-а? Лукерья Петровна! — увидев ее, обрадовался он. — Здорово, хозяюшка! — Он своей нарочитой скороговоркой усиливал недоумение Сычева.

Ведь перед ним стоял Федор, стоял в его хате. Вошел он молча и остановился в дверях, не поздоровавшись. Сычеву на какую-то долю секунды показалось, что Федор воскрес, встал из могилы или спустился с неба как божье наказание. А вошедший стоял прямо и гордо, один уголок губы все так же был вздернут. И Сычев понял. «Не с добром пришли, — подумал он, растерявшись, — Опоздал порешить хозяйство».

А Матвея как прорвало:

— Ну, как к севу готовимся, хозяин? Как семенки-то? Приготовил? Бывало, в это самое время мы с тобой, Семен Трофимыч, все на грохоте скруживали день и ночь. День и ночь: шиты-крыты, шиты-крыты, шиты-крыты! — подражал он звуку грохота. — А сейчас что-то не слыхать. А?

— А? Что? — переспросил Сычев. Он, видимо, не слышал слов Матвея, опешив от появления Федора.

Федор же сказал, глядя на Сычева:

— Садись.

Сычев сел, подчинившись, будто здесь хозяином был не он.

Стоило Федору произнести одно слово, как на пороге горенки показался Игнат Дыбин. Он сначала прислушивался из-за двери и ждал, соображая, как ему повести себя. «В доме два врага — Андрюха и Федька». И Дыбин стал самим собой. Он стоял на пороге и, улыбаясь, говорил:

— Ну вот тебе и на! Хозяин сидит, а гости стоят. Семен Трофимыч! Разве ж так можно?

Сычев опамятовался.

— Что ж, будьте гостями, — сказал он, обращаясь ко всем и благодарно взглянув на Игната.

Тот был в легком домотканом пиджаке нараспашку, будто только оделся и собрался выйти из хаты. Федор окинул его взглядом и решил: «Играет под батрака». И пошел прямо на Игната. Тот уступил дорогу, а

Федор прошел в горенку. Было всем слышно, как он там медленно походил взад-вперед, раза два, и вернулся обратно. Казалось, вел себя здесь как дома, но никто, кроме Андрея, не понимал, какие чувства должен был скрывать Федор. Все все-таки сели.

Начал Андрей Михайлович.

— Сколько хлеба? — спросил он у Сычева.

— Пудов на двадцать будет, — ответил тот.

— А чем будешь сеять?

— Сколько мне и надо-то! Десять пудов на семена, десять — на еду.

— Отлично, — спокойно сказал председатель. — Те двадцать пудов оставишь себе, а остальные…

— Какие такие «остальные»? — тревожно спросил Сычев. — У меня…

— А те самые, которые… — перебил его Матвей Степаныч. — Спокойненько, Семен Трофимыч. Раз политика, раз требуется, то — спокойненько, не волнуйтесь. — И Матвей Степаныч показал ладошкой, как надо сидеть «спокойненько».

Тем временем Андрей Михайлович достал из кармана извещение о твердом задании с подписью председателя сельсовета и двумя печатями, положил эту бумагу перед Сычевым и объявил главное:

— Вот: пятьдесят центнеров сдашь государству в счет твердого задания.

— Это сколько же будет на пуды? — уже притворялся Сычев.

— Триста пудов примерно, — ответил Андрей Михайлович.

— Примерно, значит. Ага, примерно. То есть мне надо продать скотину и купить вам хлеба? Так?

— Нет, не так, — заговорил наконец Федор. — В амбаре, в трех закромах найдешь, а в двух пока оставишь себе. — Он обратился к Матвею Степановичу: — По скольку пудов в каждом закроме будет?

— По сто двадцать пять — если под гребло сыпать. А если верхом, то — больше. Точно знаю. Три года прожил. Хорошие амбары. Хоро-ошие! Ей-право, на сто лет сделаны. Разве ж Семен Трофимыч плохие будет делать? Не позволит он того, — притворялся Матвей Степаныч, «играя» в политику. Он в упор задал вопрос Игнату: — Как думаешь, Игнат Фомич, будет по сто двадцать пять пудов в закроме?

— Не приходилось мерить, — спокойно ответил тот. — Но на Семена Трофимыча вы не налегайте сразу. Он подумает, взвесит все и… решит, как…

— Решать уже нечего, — прервал Андрей Михайлович. — Если твердое задание не будет выполнено, то — сто седьмая статья Уголовного кодекса, и возьмут бесспорно.

— Кто возьмет? Разрешите поинтересоваться? — спросил Дыбин.

— Мы, — ответил Федор. — «Разрешаем поинтересоваться». — С этими словами он пододвинул бумагу к Игнату.

Тот взял ее, прочитал и, передавая Сычеву, сказал:

— Не вы возьмете лично, Федор Ефимович, а государство. Но… только после суда. И только после того, если Семен Трофимович откажется выполнить. Так здесь написано. И даже статья указана. Все законно, Семен Трофимыч, — придется выполнять. Есть хлеб или нет — выполнять. Любое государство без хлеба погибнет. Хлеб нужен.

Сычев встал, не сводя глаз с Игната. Андрей Михайлович тоже недоумевал. Матвей Степаныч приподнял брови от удивления. Всем им показалось очень странным — Игнат Дыбин поддерживает тройку, поддерживает разорение Сычева. А Игнат снова обратился к Сычеву:

— Надо понять, Семен Трофимыч: незасеянную площадь оставлять никак нельзя. Вы сами любите говаривать: «Пустое поле — в доме горе». Тут и по чести и по необходимости надо выполнять.

Семен Трофимович застонал, покачнулся и повалился, схватившись за сердце. Лукерья Петровна, до сих пор молчавшая, ахнула и кинулась к мужу. Его подхватили Игнат, Андрей и Сорокин. Федор же не двинулся с места.

Когда Сычева подвели к кровати, Андрей и Игнат посмотрели друг другу в глаза близко-близко. С тех далеких лет, когда боролись мальчишками, они никогда не виделись так. Андрей обратил внимание на прорези лучей-морщин от глаз к вискам и на какой-то страдальческий глубокий взгляд Игната. Игнат же заметил у Андрея резкие вертикальные морщины на лбу и сосредоточенный, усталый взор. И только теперь Игнату стало ясно, насколько Андрей, бывший батрачонок его отца, вырос. У Андрея Михайловича промелькнуло: «А ведь он — человек». Игнат же подумал другое: «Если бы он перестал считать меня врагом! Может быть, все было бы по-другому». Но

мысли эти были у них мимолетны и неустойчивы — минутная человеческая слабость.

Сычев тяжело дышал, сомкнув веки.

— И-их ты! Семен Трофимыч, Семен Трофимыч! — уже жалостливо взывал к нему Матвей Степаныч. — Да что они тебя, родили, эти триста пудов? Да отвези ты их, бога ради, будь они неладны. А?

— Хлеба… нету, — твердо сказал Сычев, не открывая глаз.

Федор подошел к нему с заготовленной распиской и химическим карандашом в руках.

— Тогда распишись, что задание получил.

— Хлеба… нету, — тем же тоном повторил Сычев.

— Расписываться не будешь? — спросил Андрей Михайлович.

— Хлеба… нету, — не поднимая век, еще раз сказал Сычев.

— Пиши: «От подписи отказался», — обратился Андрей Михайлович к Федору.

Тот написал. И все трое вышли.

А по селу поползло: «У Сычева отобрали хлеб „по твердому забранию“».

Кто и кому первый посоветовал спрятать семена, установить трудно, но кое-кто запрятал-таки зерно. Когда тройка Крючкова подходила к дому Виктора Шмоткова, то он, увидев их в окошко сеней, уже заравнивал в ларе лузгу, которой и засыпал четыре пуда зерна — единственное пропитание до нового урожая. Но оказалось, что Иван Федорович не лазил по ларям, а спросил только одно:

— Сколько тебе семян надо, Виктор Ферапонтович?

— Мне-то? Да как сказать? Ежли проса, то немного, а ежели, скажем, овса, то не меньше пудов десяти, а ежли пшеницы, то и того больше.

— Ну а точнее? Сколько?

— Да вот как агроном скажет. Много надо. Много.

Миша записал что-то и сказал Виктору:

— Требуется тебе пятнадцать пудов пшеницы и два пуда проса. Не удивляйся. Семена будут. Дадим.

Так и пропал даром испуг Виктора. Он сразу же пошел к соседям и заверял всех:

— Ничегошеньки не берут. А все — по-культурному: «Пожалуйста… Садитесь… Каких бы вы семян хотели, Виктор Ферапонтыч?» Вот оно как получается. А все остальные брешут. Я только говорю правду. Снимай лузгу с ларей! (И кто бы знал, что он запрятал хлеб под лузгу!)

Так Виктор и не увидел, как Володя Кочетов, оставшись в сенях (когда Крючков с Мишей прошли в хату), засунул руку в ларь, под лузгу, и определил — «пуда три-четыре». На обратном пути он об этом сказал Крючкову, а тот только и произнес:

— Последнее спрятал. Кто-то напугал.

Миша в раздумье заговорил:

— Вот с таким «производителем» хлеба и построй социализм. Да он два пуда в год будет продавать и сам будет полуголодный… «Маломощный середняк»! Придумают же такое!

— Вот и построй социализм, — повторил Крючков. — Вот и построй его… — Он тоже об этом думал не раз, а тогда повторил свои мысли, сказанные Мишей вслух.

— Мой дом, — неожиданно сказал Володя. — Очень прошу заходить. Учтем семена у нашего личного папаши. Мама! Встречай гостей, — крикнул он с порога.

Но встретила их не мать Володи, а его сестра, Анюта. Она приветливо пригласила:

— Садитесь, Иван Федорович. Садись, Миш… — и осеклась. А потом, уже опустив глаза, тихо: — Садитесь, Михаил Ефимович.

Миша посмотрел на Анюту, а она почувствовала его взгляд. Два дня тому назад он шел с ней из избы-читальни. Это провожание было случайным, но Миша увидел тогда новую девушку, выросшую из озорницы, которую за несравненные пляски звали когда-то Анютка-Змей (потом это прозвище отстало). Она была на два года моложе Миши, и он знал ее с детства. Но разве ж можно было ожидать, чтобы так скоро из длинноногой девчонки выросла стройная красавица с такими алыми зовущими губами, русыми, чуть вьющимися волосами, длинной косой. Это была не городская «стрекоза», перетянутая поперек в талии, и не пухлая мещаночка, которую готовили замуж за дворянина или в крайнем случае (если Советская власть останется и после нэпа) за председателя райисполкома; это была не узкогрудая маменькина дочка, которая заранее, до замужества, ставила условие:

воспитывать ребенка (одного — не больше) она сама не будет, а поручит такое деликатное дело маменьке, поскольку ребенок тот доводиться будет ей родным внуком (или внучкой — что хуже). Головой мамочки такие смазливые дурехи думали, руками мамочки все делали, но несколько лет волей-неволей зубрили учебники для того, чтобы было видно, что невеста со средним образованием. Миша уже успел увидеть, а больше услышать от Вани Крючкова и Федора, каких красивых уродов с мелкой мещанской душонкой выпестовала в городе старая мещанская «гвардия» в новых условиях нэпа, уродов, неспособных к труду, не говоря уже о готовности к жертвам ради семьи, эгоисток, знающих только о своих правах, но отрицающих всякие обязанности и ответственность перед семьей, потомством и обществом. Как-то при разговоре на эту тему Ваня Крючков так и сказал Мише: «Долго еще будет такая отрыжка мещанства. Умные люди говорят, что потребуются десятилетия, чтобы раздавить мещанство. Смотри, Мишка, не попадись на крючок с дорогими духами или в сеть ласковой маменьки».

Все эти мысли и воспоминания проскользнули у Миши как-то мимоходом, но от этого Анюта стала почему-то несравнимо ближе, чем два дня тому назад. И он поэтому сказал:

— Ну уж!.. Сразу и Ефимыч стал для тебя.

Ваня Крючков поддержал:

— Какой же он Ефимыч для меня, например? Или для тебя, Анюта. Он — Мишка-медведь, не на что поглядеть. Молчит да сопит да работает за троих.

— И вовсе не сопит, — улыбаясь и оправившись от смущения, возразила Анюта. — Ну садись, садись… Миша.

— А кто это у нас сопит или не сопит? — послышался в дверях голос. И сразу в хату втиснулся могучий Василий Петрович Кочетов, отец Володи и Анюты. Он осторожно пожал руки Мише и Ване Крючкову, будто боясь помять их.

Володя тоже, хитренько прикусив губу, протянул ему руку. Тот машинально взял ее, но, опомнившись, легонько дал сыну подзатыльник, говоря:

— А ты зачем с грязным рылом в калашный ряд?

— Я, дозвольте доложить, ваше папашество, есть член тройки по учету семян. И прошу не оскорблять действием представителя

комсомола.

— Плевать я хотел на такого представителя!

Отец и сын шутили. И видно было, что отношения в этой семье простые и искренние. Под нарочитой грубостью скрывалась та самая теплота семьи, от которой жить хорошо и жизнь становится хороша, а горе всегда легче. Да и сама беда не любит ходить в такие семьи, если люди ей не помогут протиснуться; дом защищают от нее любовь и труд — верные, надежные щиты.

— Ну что ж, Василий Петрович, давайте поговорим? — спросил Ваня.

— Давайте поговорим, — ответил хозяин, раздеваясь. Он расчесал волосы и золотисто-рыжую (единственную такую в селе) бороду и только тогда сел на приступку у печи. Неторопливость, степенность и какая-то сдержанная сила сквозили во всех движениях Василия Петровича. — Отчего ж не поговорить? Очень даже интересно повидать вас у себя, Иван Федорович.

— Мы насчет учета семян. Как вы…

— Об этом погодите маленько. Анюта, сходи-ка в кооперацию да принеси поллитровочку.

— Ни в какую! — воскликнул Ваня, привстав даже с табуретки.

— В доме хозяин — барин, — невозмутимо утихомирил Василий Петрович. — Иди, иди, Анюта, не слушай их — они наговорят с три короба. Да зайди к соседям, мать позови домой: так, мол, и так — гости.

Но Анюте рассказывать было не надо. Она накинула на плечи кацавейку и выбежала из хаты.

— А теперь поговорим, — обратился Василий Петрович к пришедшим. — Знаю, зачем пришли. Слыхал. Слыхал, что хлеб отбираете, да не поверил. Люди прятали и мне советовали — тоже не поверил. А Семенов у меня хватит. Да еще и лишних будет десятины на две — хотите верьте, хотите нет. Можете сами в амбар заглянуть. Да и чего глядеть-то! Вон он, «представитель»-то — все знает сам, что дома есть. А брехать у нас не заведено спокон веков, от дедов и прадедов.

В этой хате тройке делать было нечего, разве только записать цифры, которые назовет сам хозяин. Можно бы и уходить, но этого сделать никак нельзя — хозяин обидится, если гости откажутся от

угощения. И бояться выпить им здесь тоже нечего: они близкие друзья Володи; сам Василий Петрович не какой-нибудь кулак, а трудовик-середняк (две коровы да племенная кобыла). Поэтому Ваня и не стал очень сильно возражать, когда мать Володи, Митревна, войдя, с ходу принялась жарить печенку и готовить яичницу. Да и проголодались они уже порядком — чего уж тут возражать.

Вскоре пришла Анюта и, поставив бутылку на стол, побежала в погребец за огурцами и мочеными яблоками.

И вот они все уже сидели за столом и, выпив по стаканчику, беседовали. Василий Петрович спрашивал у Ивана Федоровича и Миши сразу.

— Значит, куда же мне прикажете лишки семян? Иль сдавать куда? Иль самому засеять лишнюю десятину, заарендовать вроде бы? А? Земли-то пустой много — аж жалко ее, матушку.

Вопрос был крайне интересный и не совсем ясный для Миши и Ивана Федоровича.

— А вы, Василий Петрович, дайте взаймы Виктору на две десятины, — предложил Миша. — И у нас тогда он — с плеч долой.

— Дело сумнительное, Михаил Ефимыч: Витька на своей коростовой кляче наковыряет кое-как — пропали семена! — ни себе ни людям. А я в дело произведу. Согласен так: Витьке взаймы на десятину, а другую десятину, лишнюю, сам засею. Мог бы я, конешно, и по-другому: вместе с Виктором засеять, пополам, но лошадь у него чесоточная, а у меня матка в племенной книге записана. Не могу.

Наконец вмешался и Володя.

— Нет, папаша, лишней земли сеять не будем — разговоров не оберешься.

Василий Петрович усмехнулся так, будто остался при своем мнении, но все же сказал:

— Не будем — значит, не будем. Еще по одному.

Все выпили по второму.

— Ну так как же все-таки с излишками-то? — спросил Крючков.

— Ладно. Дам Виктору на десятину, — ответил Василий Петрович. — Запиши ему, Михаил Ефимыч. И пусть расписку даст, с печатью. А девять пудов пока задержу.

— Это зачем же, папаша? — недовольно спросил Володя.

— А затем: неизвестно, как дело с озимыми будет. Ну-ка да пересеять придется? Что тогда делать? Бегать по людям да кланяться? «Дя-аденька-а, да-ай семен-ко-ов!» Так, что ли, по-твоему? Непорядок.

Доводы были неотразимы.

Обход села по учету семян прошел спокойно. Такого боя, как у первой тройки, не было.

Когда же уходили от Василия Петровича, Миша чуть-чуть задержал ладонь Анюты в своей руке. И это тоже было для нее понятно.

Глава третья

Весной, во время сева, Мише Землякову было трудно. Сначала он бился за то, чтобы все посеяли в тех полях, где надо. Но каждый был сам себе хозяин, а уговоры Миши не всегда действовали. «Я хозяин на своей земле» — было чуть ли не лозунгом тех дней в поле. После того как хлеб Сычева распределили по дворам, Миша беспокоился и о том, чтобы семена были высеяны, а не пошли на еду. И то и другое ему не очень-то удавалось. Вдруг какой-либо «хозяин своей земли» заявлял, что девять пудов пшеницы на десятину — это много, что он высеял семь пудов, а остальные два пуда смолол, потому что «ребятишкам тоже надо жрать», и никому, дескать, нет до этого дела: взял девять пудов и отдам девять пудов. Миша нервничал, бегал от зари до зари по полям своего села и двух соседних (его же агрономического участка), проверял, убеждал, доказывал. А пользы было от этого чуть. Каждый был сам себе хозяин. Даже журнал такой выходил в Москве — «Сам себе агроном», и его выписывал не только Сычев, но и Кочетов и некоторые другие. Сам себе хозяин! Что же мог сделать молодой агроном с таким огромным числом хозяев, меряющих все по своему вкусу? При этом понятие о хозяйствовании на земле было иногда странным: «Было бы что пожрать до нови да хватило бы на семена». Если же ребятишкам нечего одеть и обуть, то говорилось просто: «Пусть на печке сидят». Но ведь печка хороша тогда, когда она топится, — на холодных кирпичах голой задницей недолго насидишь, все равно выскочишь на улицу и будешь бегать, пока посинеешь и задрожишь, как цуцик.

Миша и это все знал. Леса поблизости нет — одна степь кругом; топки, кроме кизяков, нет ни палки. А сколько их, кизяков, от одной коровы-то? Пустяк. Вот и ходят женщины в степь собирать бурьяны, общипанные ветром и морозами. Наберут по охапке, свяжут их утирками, чтобы плечо не резало, да и тащат на горбу за пять — семь километров. Когда Миша видел зимой такую вереницу вьючных баб, ему казалось, что где-то кто-то забыл о них как о людях. Баба сама принесет, баба двужильная — она все может. И Миша, проходя по полям, вспомнил о прошедшей зиме, такой трудной насчет топлива. «Сколько же времени будет продолжаться с человеком бесчеловечье? И сколько времени потребуется, чтобы человек осознал себя человеком?» По молодости своей он иногда приходил от этого в уныние, но ему страстно хотелось изменить жизнь села.

В тот день весны Миша спешил обойти поле. Сеяли просо, и надо было кому-то подсказать, с кем-то даже поругаться (без этого невозможно, если человек не понимает русского языка), а кого-то похвалить и выставить примером.

Агроном шел по пашне. Там и сям виднелись одиночные или парные запряжки, тащившие плуги или сохи. Каждый пахал и сеял свою полоску, ревниво оберегая межу с бурьянами. Иной раз казалось, что лошадь, соха и человек плывут над землей, покачиваясь в волнах марева, потом пропадают и появляются вновь где-то вдали. Марево обманчиво. Поэтому конь и соха иногда появляются сначала в воздухе, а потом уж спускаются на землю. Вчера был дождь, сегодня марило и припекало с утра, — значит, быть еще дождю, а это в дни просяного сева благодать великая. Миша верил, что вот уродится много хлеба, люди будут довольны и все как один войдут в колхоз. И сразу, казалось ему по наивности, будет хорошо, сразу исчезнет бедность и униженность.

С этими мыслями он и подошел к Виктору Шмоткову. Тот пахал под просо. В старую, поскрипывающую в расклинках соху была запряжена маленькая чесоточная и тощая лошаденка. Она еле тащилась, то и дело останавливаясь и оглядываясь просяще и безропотно.

Но — странно! Виктор, подъезжая, улыбался Мише и приветливо кивнул головой. А когда поравнялся с ним, вытер руку о засаленные

брюки и подал ее селедочкой, как и обычно. Он был весел, черт возьми!

— Ну, как они, дела-то, Виктор Ферапонтович? — спросил Миша.

— Вполне допустимо. Думал, она и не потянет, — он указал на лошадь, — а она, брат ты мой, как битюг. Скажи, откуда и прыть! И тянет и тянет, тянет и тянет — до без конца. Уму непостижимо, что за лошадь. А тут, вишь, теплынь, да марь, да солнышко, да жаворонки разные и тому подобные суслики свистят. Жить вполне возможно. Жить можно.

Виктор радовался, а Мише было жаль его. Он спросил:

— Виктор Ферапонтыч! Ну что ты хорошего увидел? — И начал объяснять: — Лошадь — кляча, обувка-одежа на тебе — от каменного века, хлеба от нови до нови не хватает. Только звание — середняк. Дохлое дело, скажу я тебе по душам. Тебе-то только и спасенья от нужды — в артель. Слыхал же небось, кое-где организуются уже? Как ты думаешь?

— Я-то? Как я думаю? Да никак не думаю. — Виктор пытался «заливать»: — Ты вот говоришь, Михаил Ефимыч, обужа-одежа плоха. Не понимаю. Рубаха — только три латки, портки — только два года от роду. Какую еще мне одежу надобно? Не юрист я и не… агроном, — он явно намекал на толстовку Миши с галстучком «индючок», маленьким и красненьким.

— Ты привык к плохой жизни, Виктор Ферапонтович. И не хочешь понять, что один ты не вылезешь. Никогда.

— Ну? — спросил Виктор удивленно.

— Ей-богу!

— Оно конешно. Хлеба у меня маловато. Трое ребятишек, да баба, да я — пятеро. Много. Куды ж денешься, много. По пуду в месяц — пять пудов, а на год… двенадцать на пять… двенадцать на пять… десять на пять — пятьдесят, да два на пять — десять… Это на всю-то семью — шестьдесят пудов одного хлеба, не считай только пшена, масла. Куды-ы там! Плохо.

— Вот видишь? Надо же искать выход. А он, выход, только в колхозе. Нету больше путей, Виктор Ферапонтыч. Поверь.

— Да я верю. Как же не верить — верю. Мы с Федей-то с вашим беседовали и с Иваном Федоровичем беседовали.

— Ну и как же думаешь?

— Я-то? Как я думаю? Да никак не думаю. — Он почесал за ухом, потом почесал концом хворостины лошаденку и добавил, видимо, самое сокровенное: — Тут я — хозяин. Лошадь есть, соха есть. А там-то — кто ж ее знает, как оно… Куды ж денешься — боязно. Карахтер у меня такой, куды ж денешься.

— Да ведь надо же что-то решать. За тебя никто решать не будет. Небось все-таки что-то надумал?

— Я-то? Что я надумал? Да ничего я не надумал.

Такая тонкая, по мнению Виктора, беседа могла бы продолжаться без конца, как сказка про белого бычка, но все изменилось сразу и неожиданно. Вдруг лошаденка Виктора закачалась, закачалась и упала в обжах[1]. Она просто грохнулась безоговорочно, завернув соху набок. Виктор незлобиво сказал:

— Ну, Машка! Ну что ты воображаешь из себя? Давай, давай — вставай, нечего. — Он пытался ее поднять, тормошил за хвост, но она лежала, вытянув голову и вздыхая, видимо, от отчаяния.

Миша помог Виктору отпрячь ее из сохи и поднять. Они оба натужились, а Виктор немилосердно тянул вверх за хвост, приговаривая:

— Ох и воображенья у тебя, Машка! Уму непостижимо!

Надо полагать, не обвинение хозяина в излишнем воображении подействовало на лошаденку, а просто кобылице, вероятно, стало нестерпимо больно: она кое-как поднялась сначала на передние ноги, посидела так, посидела по-собачьи и с натугой встала на все четыре ноги. Виктор привязал ее к телеге.

— А ты ее пусти попастись. Видишь, трава на столбе хороша, — посоветовал Миша.

— Вижу. Только пущай отстоится, а то опять упадет… Отстоится маненько, а я ей травки нащипаю. — Он стал щипать весеннюю травку, зеленящую руки и рукава. — Пущай-ка глотнет разок-другой, тогда пущу… А вечерком, холодочком, попашу маненько. Как ты думаешь?

— Я тоже так полагаю, — ответил Миша.

Он шел от Виктора по полю, опустив голову, и все повторял в мыслях: «Вот и построй его, социализм. Вот и построй». Так он шел и шел вдоль столба. И думал. Только у грани землепользования Паховки, где прорезанная через все поле дорога-столб уже кончилась, он

остановился в недоумении: перед ним, на той стороне, на земле чужого села, пахал Василий Петрович Кочетов. Миша подошел к нему, поздоровался и сказал:

— А ведь это земля-то не нашего села, а козинская.

Василий Петрович расправил бороду, пожал Мише руку, поправил на лошади сбрую, поднял рычагом лемех одноконного плужка, подогнал упряжку к телеге, к овсу и только тогда ответил:

— Не наша. Правильно, не наша. А я одну десятинку-то все же снял. Она тут у них дальнопольная — все равно пустует. Одну третью часть хозяину отдам, по уговору.

— И Володя согласился? — спросил Миша.

Василий Петрович замялся.

— Володя не знает, — ответил он наконец после замешательства. — Не говори ему, Михал Ефимыч, пожалуйста… Ну чего вам от этого? Ну засею лишнюю десятину, ну прибавится хлеба и мне и государству — чего вам надо? А тут Анюту, может, придется отдавать замуж… Где деньги? В поле деньги.

— Да я не очень обвиняю, — как-то неуверенно и примирительно сказал Миша (отец же Анюты перед ним!). — Но ведь все увидят и скажут плохо: хочет нажиться, мол.

— А кто увидит? Я до утра вот попахал, а в ночь засею. Днем на своей земле буду работать. По-моему, пусть бы каждый засеял по лишней десятине — и хлеба будет больше.

Миша ничего на это не ответил, но внутренне соглашался. Хлеба надо много. Кто его будет делать? Конечно, не Виктор, а Василий Петрович Кочетов на своей доброй и могучей битюжанке, такой прелестной и умной, выносливой. Она вот выдержала ночь работы, будет работать и днем, будет работать еще ночь — сколько хочешь, только корми и пои вовремя. И сам Василий Петрович, с нею вместе, не отстанет. Он вырастил ее с жеребеночка — она не подведет. Если ему, скажем, надо покурить, то она сама доедет до конца загонки, сама повернет и сама же въедет в новую борозду, без огреха, благо что трехколесный плужок такой устойчивый, как черепаха. Если хозяину во время уборки приходится ночью возить снопы, то он прямо от дома ложится в телеге спать, а битюжанка сама приедет к своим копнам и постучит копытом, роя землю: дескать, приехали, вставай. На такой-то лошади да не работать! Конечно, никакого наемного человека Василий

Петрович приглашать не будет и на эту десятину, а земле хочется быть живой. Ой как ей хочется! А все заполье козинцев пустует. Жаль Мише землю. И он промолчал. Только много месяцев спустя Миша понял, как необходимо было предостеречь Василия Петровича от неверного шага.

Но что случилось, то случилось. После Миша тихонько сказал об этом Андрею Михайловичу, а тот подвел итог очень просто:

— Да что он — кулак, что ли, какой? Небось лишней десятиной закона не растопчет. Его и закон надо тоже понимать. От сельхозналога он скрывать не будет — не такой мужик: по осени все скажет точно. Все будет в норме. А хлеб все равно продаст в государственный закром. Пусть.

Но этот разговор был два дня спустя. А в то утро Василий Петрович переехал с запольного участка, Миша же пошел дальше. Он заходил к каждому на полоску, беседовал, «закидывал удочки» насчет колхоза и иной раз подолгу задерживался у телеги, горячо споря. К вечеру он поел все, что было в узелке, а есть снова хотелось. Он был молод, совсем не уставал, ему только хотелось есть.

И надо же было встретить Анюту Кочетову с полной корзиной продуктов, которые она несла отцу. Она не могла скрыть радости и воскликнула:

— Ах ты, Мишка-медведь! Ты чего тут?

— А ты чего тут?

— Папаше еду несу. Ночью будет сеять.

— Холодно сейчас пока ночевать-то.

— Он у нас такой — не боится ни холода, ни жары.

— Ночью будет работать? — уточнял Миша.

— Будет.

— Чего у тебя в корзине? — Миша отвернул чистую холстинку и увидел пирожки (он сначала почуял их, а потом уж увидел).

Анюта вынула пирожок и подала Мише со словами:

— Небось голодный?

— Не очень, — ответил Миша и стал тут же уплетать ароматный «пирожок» весом примерно в полкило. — Не очень голодный, а есть хочется здорово.

— Ну, я пойду, наверно. — Анюта сказала это так, что не понять было — то ли она спрашивала, то ли утверждала, что пойдет

обязательно и немедленно.

— А я тут подожду, — без обиняков сказал Миша. — Сяду вот тут на бурьянок, у столбика, поем пирог и подожду. Пойдем вместе в село. Ладно?

— Жди.

Анюта кивнула и пошла. Она знала, что Миша смотрит ей вслед. Он правда перестал жевать и провожал ее взглядом. Она уходила, сильная и нежная, и лучше ее уже не было человека на всем белом свете.

Анюта шла, спешила. «Он самый умный в селе, самый красивый, у него мягкие и ласковые глаза, лучше его нет никого». Шла и трепетала, как только-только окрепшая жавороночка, какой предстоит сегодня первый раз подняться в небо, в простор, в синь, в марево. Сердце учащенно билось, а небо пело в голове. Суслик стал столбиком в нескольких шагах от нее, посмотрел и удивленно свистнул.

— Солнце зашло в тучу — быть дождю, Анюта. Ты не задерживайся, дочка, — говорил ей у телеги Василий Петрович.

Но она, казалось, уже не торопилась. Она села верхом на лошадь, напоила ее в яру, натянула вместе с отцом на оглобли войлочную полость, от дождя, разогрела на бурьяне ужин и села у огня. Сидела, смотрела и молчала.

— Ты что скучная, Анюта?

— Нет. Я не скучаю. Мне немножко грустно, папаша.

— Отчего же это, девонька? — Василий Петрович подсел к ней. — Чего тебе грустить? Все хорошо. А?

Разве ж когда-нибудь дочь скажет то, что сказала бы матери, но она и отцу не лгала, хотя и не сказала всей правды.

— А я сама не знаю, папаша… Вот хочется куда-то… уехать, что ли… Я не знаю.

— А-а… Ну это… пройдет… В твои годы бывает со всеми… Иди, дочка, иди. Тучка вон, видишь?

Когда Анюта встала и пошла, Василий Петрович посмотрел на нее: «Вот уж и невеста… А я — старик». Он по привычке перекрестился на восток и лег спать. Сон уже смежил веки, когда он «передумал»: «А какой я старик? Никакой не старик. Подумаешь — пятьдесят два года! Мы еще поработаем». Над головой ласково хрумтела битюжанка, гудел майский жук, прошуршал где-то совсем

рядом зайчонок; звуки ночи были близкими, знакомыми, родными с детства. Василий Петрович любил весенние ночи и терпеть не мог он спать в хате в такое время. Заснул быстро и крепко. Знал точно: через два-три часа проснется и будет работать, а разбудит его опять же лошадь. Она тогда всхрапнет раз-другой и станет легонько рыть копытом землю. Весной один день весь год кормит — нечего валяться.

…Анюта вернулась к Мише уже в полных сумерках. Она подошла к тому месту, где он остался, но… его не было. Ей стало горько и обидно, и она закрыла лицо ладонями, вздрагивая и всхлипывая по-детски. Она верила, она полюбила, а он вот какой…

Миша подошел тихо сзади. Несколько минут тому назад, заслышав ее шаги, он решил попугать Анюту, для чего и залег на межнике. Услышав рыдания, Миша понял все. Тогда он подбежал к Анюте, стоящей на коленях, опустился перед ней, взял обе ее ладони и стал целовать глаза и щеки, соленые от слез и горячие от любви. А она смотрела на Мишу. В ее влажных глазах, при сумеречном освещении, не было неба, как днем, была только одна любовь, чистая и безграничная, любовь-радость, любовь-страданье, любовь-тепло, любовь-огонь.

Анюта прильнула к Мише, спрятала лицо у него на груди и затихла, тяжело дыша, поглаживая голову и шею Миши дрожащей от незнакомого озноба рукой. Все было ново, все было страшно и все было радостно.

Оба они ничего не помнили, потому что каждый из них забыл самого себя.

Ночь опустилась незаметно, прикрыв собою все, что творилось на земле доброго и злого. Тучка повернула вправо. Где-то уже гремел гром и поблескивала молния. На козинском поле пролил дождь, но на поле Паховки не упало ни капли.

Уже в первом часу ночи Анюта постучалась в дверь своей хаты, а Миша — своей.

— Ты где была, Анюта? — тревожно спросила Митревна.

Дочь не стала скрывать, она не могла скрывать, это было не в ее силах.

— Мама! Я… была… с Мишей… в поле, — она прильнула головой к плечу матери.

Митревна гладила дочь шершавой, натруженной рукой и шептала:

— А отцу не скажем пока… Возьмет он тебя, Миша-то?

— Возьмет.

Так отец долго не будет знать тайны матери и дочери. А они потихоньку будут готовиться. Мать всегда будет думать нелегкую думу: «Возьмет ли? Не обманет ли?»

Федор спросил Мишу совсем по-другому:

— Ты где пропадаешь, полуночник?

Миша улыбался, побледневший и просветлевший. Он будто уже знал что-то такое, чего не знают другие.

— Что ты вылупился, как христосик из иконки?

— Я, Федя… люблю. Ничего не попишешь.

Федор не стал расспрашивать. Он давно заметил все, а теперь сказал:

— А что ж, Анюта — девушка хорошая. Но… смотри, Мишка! Если что-нибудь нехорошее над ней сотворишь, тогда… — у Федора сверкнули глаза, — тогда… голову оторву — не брат будешь. Помни: пошутишь — уходи из дома.

— Я по-настоящему, Федя. Верь.

— Ну… валяй… Верю… Спать, спать пора, — и он легонько подтолкнул брата к кровати.

В ту ночь Федор уже не уснул. Он слышал ровное и счастливое дыхание Миши и думал: «Мишка-то — жених. Подумать! Я ему — за отца, а Тося — за мать. Надо же!» Но вдруг больно кольнула мысль: «Приедет ли?»

…В трудах и заботах незаметно пробежали апрель и май. День за днем катились и катились. Сразу после всходов навалилась прополка, потом — уборка, потом круглые сутки скрип возов со снопами и веселый перестук цепов на токах. Так повторялось тысячи лет, так повторилось и в тот год: сев, прополка, уборка вручную, скрип возов, стук цепов. Этот цеп всегда заставлял Мишу думать об истории. Цеп родился в тот день, когда человек собрал первый сноп колосьев. Соха гораздо моложе цепа, но и не такой уж она перед ним ребенок. Два древнейших на земле орудия, дальше которых сведения в технике у многих крестьян были туманными, прожили долгие века без реконструкции и даже без каких-либо существенных изменений и до тех лет, когда Миша Земляков стал агрономом. Он понимал, что прапрадедовское хозяйствование, корнями уходящее к заре

человечества, надо изменить и что это неизбежно. Мише все чаще и чаще казалось, что Виктор с конопляной куделью на голове и голой лошадью в сохе — это недалеко от каменного века. Ему очень хотелось, чтобы все произошло возможно скорее, чтобы таким, как Виктор и Кочетов Василий Петрович, возможно быстрее доказать, что в колхозе жизнь лучше для того и другого.

Но каждый раз перед Мишей возникали вопросы: «А как будет в колхозе? Как платить за работу? Как делить хлеб? Откуда брать деньги на обувку и одежу?» Никто ведь не знал ничего этого. Но при разговорах — в поле, в избе-читальне, на собраниях и лекциях — не только Миша, но и все коммунисты и комсомольцы рисовали радужные картины колхозной жизни, рисовали при любом удобном случае. Вечером, уже в постели, Миша рассуждал: «А так ли оно будет? Такой уж рай будет сразу? Ведь придется, наверно, пройти тысячу ухабов, прежде чем собственника приучить к колхозу». А на следующий день он, как и его друзья, снова раскрашивал картинки будущей жизни, рисовал перед крестьянами огромные урожаи, тракторы и прочие чудеса, казавшиеся подавляющему большинству слушателей фантазией молодого агронома. Но слушать было все-таки приятно, как и всякую сказку, где всегда правда на стороне добра, где зло всегда побеждено.

Миша высказывал свои соображения о будущем и свои сомнения иногда прямо перед партячейкой. Всяко бывало: и спорили с агрономом-комсомольцем и мирились. Лишь Иван Федорович Крючков да Федор, кажется, не сомневались ни в чем. Иной раз Миша горячился и мысленно обвинял обоих: «Да что они — прямые, как палки!» Но как-то в споре Ваня Крючков сказал:

— Будет трудно. Страшно трудно. И никто не знает, как будем строить. Учиться и строить.

А Федор на настойчивый вопрос брата «Как будет?» ответил:

— Конечно, будет трудно, Мишка. До чертиков трудно. Но это надо делать обязательно. Надо встряхнуть все! И вытрясти все!

Миша знал, что это так. И умолкал каждый раз. Федор замечал, что брат становится все крепче и крепче душой и все реже и реже требовал ответа на вопросы о будущем социализме. Миша понимал: откуда же Федор может знать о том, как оно будет! Никто не знал, как оно будет. Знали одно: жить надо иначе.

Осенью, слякотным вечером, под чавканье сапог за окном и гороховую дробь дождя по стеклу, когда Паховка казалась постороннему взгляду заброшенным селишком среди невылазного разбрюзгшего чернозема, коммунисты продолжали обсуждать будущее и предполагать. Тогда-то Крючков и сказал:

— Не рай надо рисовать перед крестьянином, а порочить единоличную жизнь, доказывать безвыходность положения. А мы — сразу вознесение на небо, в рай и… в дамки. Очень уж мы художественно разрисовываем то, чего сами еще как следует не знаем. — При этом он смотрел на Мишу и Матвея Степаныча Сорокина — самых ярых «художников». — Надо проще. Сейчас уже стало ясно: будут записывать трудовой день, а потом по этим отметкам делить хлеб в конце года. Но не так, как в коммуне. Трудовой день — главное. И больше не следует уходить в фантазию. Надо только доказывать, что труд в колхозе не пропадет. Докажи ты ему, что труд будет учтен и оплачен, — он горы свернет.

Федор согласно закивал головой. Да и все поняли, кто это свернет горы, если труд оплачивать. Так, только накануне больших событий, стало отчасти ясно, как учитывать труд в колхозе.

Но когда будет колхоз в селе, было не очень еще ясно. Пока шел дождь, пока была слякоть, пока еще был самогон и пьянство. Зато была и хорошая изба-читальня и библиотека, уже была новая школа, уже каждый десятый двор выписывал газету, уже некоторые понимали коммунистов и убеждались, что в единоличном хозяйстве жить невозможно. Шла борьба, теперь уже заметная и на поверхности, и внутри. Но посмотри посторонний на Паховку в ту осень — ничего бы все-таки сразу не заметил; чтобы увидеть все, надо было заглянуть внутрь человека. Иван Федорович Крючков сумел заглянуть, знал каждого, и поэтому понял, какая на нем ответственность. Может быть, поэтому он все больше становился молчаливым и сосредоточенным. Люди заметили, что вечерами он что-то писал, долго засиживаясь у керосиновой лампы. На селе дивились — как это так: молодой человек, двадцати пяти лет, а никакого внимания к девушкам.

Однажды Зинаида без обиняков так и спросила:

— Ваня! Или ты партийным монахом хочешь быть?

— Нет, епископом, — отшутился он, как и обычно в таких случаях.

— А впрочем, мужчине жениться в тридцать лет — самый раз, — согласилась она.

— Тебе-то откуда известно? — хотел ошарашить он ее.

Но она ничуть не смутилась, а, вскинув голову, уверенно ответила:

— Как раз мне-то и известно. За Андрея-то я вышла когда? Так-то, Ваня.

А он подумал: «Счастливый Андрей Михайлович, — такая искренность и простота около него».

Уже год, как Ваня работал председателем сельпо и был секретарем партячейки. Люди все чаще обращались к нему с разными домашними и семейными делами, а не только с общественными; двадцатипятилетним он прочно вошел в жизнь Паховки, и его уважали. Он знал всех наперечет не только по фамилии, а и по сердцу. А вот его сердце и душа оставались закрытыми даже для близких, даже для такого единственного друга, как Федор. Миша, например, сразу же выложил Ване все о своих отношениях с Анютой, а он сам Мише — ни слова о себе. Никто не знал, что там у «партийного монаха» на душе. Казалось, он живет только для того, чтобы служить людям, и это одно ему и важно, а на остальное, на личное, вроде бы и наплевать. Но это ошибка. Ваня любил. Он ждал Тосю.

Ждал ее и Федор. Но вот уже и сентябрь, а ее все нет и нет. Она писала: поездку опять придется отсрочить, она хочет еще отложить месячную зарплату про запас, «чтобы было за что-то уцепиться на первых порах».

«Как это так — „уцепиться на первых порах“? — думал Федор. — Не в ссылку едет, а к мужу». Федор, конечно, прочитал и это письмо Ване. А тот утешал:

— Ну, значит, так надо. Ей там виднее.

— Ну и пусть: когда удобно, тогда и приедет.

— Приедет, конечно, — согласился Ваня полушутливо. — Куда же ей деваться от мужа? Приедет.

Глава четвертая

Приехала Тося неожиданно. Она решила появиться нежданно-негаданно да еще и подарить Федору городское пальто и костюм.

Тося даже не представляла себе деревни такой, какой она была на самом деле, да и в селе-то не была никогда больше двух-трех дней — и то рядом с городом. Знала, в Паховке живет Федор, и ехала туда. Обычное дело. С тех пор как она стала размышлять о будущей жизни с Федором, мысли эти заслонили все: она перестала читать книги и газеты, а события дня все сосредоточились в заготовке белья, одежды и предметов первой необходимости для бедной, как ей казалось, сельской жизни. Тося знала, что ее муж, Федор, и молчаливый друг, Ваня, каждый свой день отдают тому, чтобы переделать село, что это у них — главное, и хотела помочь им. Она едет как помощница и друг. А то, что неожиданно, — то пусть мужчины будут ошеломлены, посмеются, обрадуются. Думала Тося о них двоих: Федора любила, Ваню уважала. Ей казалось: вот она приедет, тихо подойдет сзади к Федору в правлении сельпо, закроет ему ладонями глаза и будет молчать, подмигивая Ване, который конечно же сидит против Федора, о чем она знает из письма. Потом она зацелует Федю и… один только раз поцелует Ваню. Один раз. Так она представляла себе сюрприз.

Вышло не так.

Все было предусмотрено, кроме одного: как ей доехать от станции до Паховки. В осеннюю черноземную распутицу с двумя чемоданами тридцать километров пешком не пройдешь — и думать нечего. Когда Тося перед вечером вышла из вагона, моросил мельчайший, как пыль, дождишко. Поезд стоял всего лишь три минуты. Тося проводила его взглядом в мутную, мокрую и, казалось, липкую туманную неизвестность осеннего моросейчика. Она осталась на перроне одна — так захолустна была эта станция, на которой только и славы, что большая ссыпка хлеба из степных районов. Почему Тося заплакала, она не могла бы объяснить, но было жаль уходящего поезда и где-то внутри было жаль себя. Куда она едет? Какое это село — Паховка? Как она там будет жить? Ничего этого она не знала толком — впереди была неизвестность. Но вот лицо ее посерьезнело, она вытерла набежавшие непрошеные слезы, выпрямилась, чуть постояла так, взяла чемоданы и пошла в вокзал. Именно в ту минуту она поняла, что с уходом поезда началась ее новая жизнь. Ведь с Федором они почти еще не жили как

супруги, если не считать двух недель у Тоси и в Белохлебинске. «Какова-то она будет, новая жизнь?» — подумала она, входя в вокзал.

Вокзал представлял собою ветхий домик, облицованный посеревшими от времени досками; в нем было две комнаты: одна — для дежурного, другая — для пассажиров и называлась «зал». В этом «зале» стояли две замызганные скамейки со спинками, засоренные яичными скорлупками и подсолнечной шелухой, маленький бачок с прикованной на цепи кружкой, плакат «Не пейте сырую воду», так засиженный множеством мух, что казалось, все мухи, перебывавшие в «зале», только и имели намерением посетить именно эту излюбленную для мушиных бесед площадку, предназначенную для медицинского просвещения масс. Семилинейная керосиновая лампешка, заключенная в железную банку, чуть коптила, что никого не беспокоило.

Тося хотела сесть на лавку, но передумала и устроилась на чемоданах. Было уже ясно: ждать до утра. Против нее, на скамейке в углу, сидела женщина с мальчиком лет пяти-шести. Рядом с ними расположился, закинув ногу на скамейку, клинобороденький дежурный по станции в красной фуражке и мирно беседовал с женщиной. Больше никаких пассажиров не было. Дежурный (оттого ли, что он очень общительный по натуре человек, оттого ли, что ему осточертело здесь от скуки) первый спросил Тосю:

— Издалека прибыли?

— Из Тамбова, — ответила она.

— А-а, из Тамбова — это хорошо. Бывал, бывал там. Ха-ароший город, большой. Извозчиков этих — ух ты! — стадо целое. И улицы под булыжник. Здорово! Ни тебе грязи, ни тебе слякоти — камень, навечно.

— Есть и грязные улицы, без камня, — возразила Тося.

— Не без того, конечно: есть и грязные. Те, которые не в середине, погрязней, слов нет, а большинство — камень. Здорово. А станция какая! А вокзал! У-у, отлично! Ха-ароший город. А вы кто же будете?

— Я? Работала фельдшерицей. Теперь кончила институт.

— Значит, теперь врач. Хорошо. Врач — это хорошо. — И он допытывался без удержу: — А куда же путь держите?

Так он сразу и узнал о Тосе почти все: откуда, куда, зачем и к кому. Вначале ей было как-то неловко от назойливости старикашки, но в нем было столько непосредственности, что она в конце концов поняла, что для него каждый новый пассажир — уже знакомый.

— Как же мне теперь доехать в Паховку? — спросила Тося.

— Это вам, моя хорошая, надо будет через Козинку. Значит, либо паховских искать, либо козинских, либо оглоблинских. Оглоблинские, эти обязательно через Паховку едут. Козинские если, то не довезут до Паховки верст восемь — десять, а там можно добраться как-нибудь.

— А где же я буду их искать?

— Это самое делается так: вы ставите чемоданы у меня в дежурке (за сохранность ручаюсь головой) и идете на постоялый двор. Если там есть кто, то ваше счастье, а если нет — ждать. Ничего не поделаешь. Телефонов тут нигде нету, кроме как у меня, — не без гордости заметил он. — Телеграмму пошлете, так она после вас приедет — все равно на лошади повезут, верхом почта сейчас ходит. — Собеседник помолчал чуть и скорбно заключил: — Так что скучно у нас. Я вот жизнь прожил тут. Вишь оно какое дело… А сейчас грязь вон какая — доехать не так просто.

В соседней комнате зазвонил телефон. Дежурный ушел туда, а вскоре вышел на перрон. Тося тоже вышла, несколько минут слушала перестук уходящего товарного состава и вернулась к чемоданам. Женщина уже дремала, прикорнув на спинку скамейки.

— А она куда? — тихонько спросила Тося у вошедшего дежурного.

Тот отвечал тоже вполголоса:

— Бросила мужа, едет к матери.

— А чего она так?

— Говорит, муж в бога верить перестал, а она, дескать, не желает губить душу ребенка. Боится — не догнал бы муж. Ждет поезда.

— А почему же она не уехала с моим поездом? — Тося так и сказала — «с моим».

— Ей в другую сторону. Ночью будет поезд.

Красноголовый старикан все больше нравился Тосе.

Она затащила к нему чемоданы и пошла на постоялый двор, дорогу к которому обстоятельно и толково рассказал говорливый дежурный.

Постоялый двор — это обыкновенная изба-пятистенка, позади которой буквой «П» сооружены навесы для возов. В дни ссыпки хлеба, в добрую погоду обе комнаты в избе бывают набиты вповалку, а сараи заставлены сплошь телегами и лошадьми. Но в тот вечер Тося, войдя в сени и приоткрыв дверь во двор, увидела одну-единственную телегу и привязанных к ней пару лошадей, накрытых попонами. «Раз уж мне не везет, — подумала Тося, — то и эта подвода поедет не в мою сторону». Она теряла надежду и очень жалела, что затеяла всю эту игру в сюрприз и что поступила так легкомысленно. А вдруг и завтра дождь? И послезавтра? И неделю? Тосе стало далее жутковато в такой глуши, где не каждый день можно выехать в степь. И она решила так: завтра с верховым почтальоном отошлет Федору письмо, а послезавтра за нею приедут, если… возможно проехать. «Не так-то просто» — вспомнились ей слова дежурного по станции. С трепетом, почти без надежды, она открыла дверь в избу и вошла.

За столом сидел мужчина лет сорока. Он подставил ладони к подбородку, оперся локтями на стол и не изменил задумчивой позы при входе Тоси. Но он так пристально посмотрел на нее, что ей стало неловко от такой бесцеремонности. На печи сидели пожилые хозяева — муж и жена.

— Здравствуйте, — тихо произнесла Тося.

— Здоровенька была, — ответила хозяйка и слезла с печи. — Либо с поезда?

— С поезда.

— Ночевать будешь?

— Не знаю. Мне в Паховку надо.

При этих словах мужчина встал из-за стола, будто что-то мигом сбросило с него задумчивость и вывело из неподвижности.

— В Паховку? — спросил он, улыбаясь. — С большим удовольствием! Я завтра утречком туда еду.

Тося подумала: «Нет, все-таки много на свете хороших, добрых людей. Вот дежурный, тот очень милый, и этот, с задумчивыми глазами, симпатичный такой». После стольких сомнений и ощущения одиночества вдруг все стало хорошо, и она завтра будет в Паховке. Тося благодарно посмотрела на мужчину, обрадовавшего ее, а тот все стоял и улыбался: что-то такое было в нем сильное и даже чуть-чуть дикое. Тося вспомнила слова Василия Васильевича: «Слегка

выдающийся вперед подбородок с ямочкой обличает большую волю». Как только возник образ Василия Васильевича, ей снова стало жаль города, жаль себя, жаль ушедшего поезда. Но мужчина вышел из-за стола и спросил:

— Вещи у вас есть?

— Два чемодана.

— Разрешите сходить за ними? — так же вежливо предложил он свои услуги.

— Я сама, — возразила Тося.

— Ну пойдемте вдвоем.

— Нет, я сама, — заупрямилась она.

— Не настаиваю, девушка. Но мне будет стыдно, если вы потащите два чемодана, и мне будет вас… жалко. Видите, у вас уже чулок в грязи, значит, и нога мокрая.

Он так просто с ней обращался, будто был знаком давно. И она согласилась.

— Ну пойдемте вместе.

Они шли и разговаривали только о дороге или о чемоданах.

— Вот сюда давайте… Так. — Он протягивал ей руку. — Давайте руку. Оп-ля! Вы здорово прыгаете, девушка.

Тосе было хорошо и тогда, когда он нес чемоданы: она дважды упрашивала его остановиться и отдохнуть, а он не хотел ставить чемоданы на грязь и говорил шутя:

— И не настаивайте. Хочу обязательно надорваться — сам себе враг. Следите, как буду умирать от натуги.

— Вы шутите, а они тяжелые.

— Да вы знаете, сколько в них весу, в ваших чемоданах? Чепуха и сорок граммов. Вам они тяжелы, но мне-то пустяки.

Так они говорили ни о чем. Совсем ни о чем. А разговор не прекращался. С новым знакомым Тосе было легко и просто. Когда же вошли в постоялую избу, он распорядился:

— Теперь раздевайтесь — и на печку. Обсушитесь — будем чай пить. Хозяюшка! Самоварчик нам, пожалуйста. — Он внес чемоданы в хозяйскую половину и оттуда сказал: — Вещи здесь будут. И спать ляжете здесь, а я — там, в передней. — Он помог хозяйке раздуть сапогом самовар и сел за стол на то же место, где сидел раньше, лицом к двери.

Тося на печку не полезла, а прислонилась к ней спиной и ладонями. Тепло от печки, предупредительность хозяев и этот внимательный, вежливый и, главное, неназойливый новый знакомец — все было приятно.

Он даже не спросил, зачем она едет в Паховку, к кому и надолго ли; ей казалось, что он проявил чувство такта. Она тоже не спрашивала, кто он и зачем приехал, но поинтересовалась:

— А как я буду вас звать?

— Меня? — Мужчина будто удивился тому, что его как-то надо звать, — Меня? Да зовите просто… Игнат.

— Нет, так нельзя. Вы небось лет на десять старше меня. Надо по отчеству.

— А сколько же вам лет, если считаете себя моложе меня на десять лет?

— Уже «старая» — двадцать четыре года. — Тося засмеялась.

— Тогда вы моложе меня не на десять, а на двенадцать лет. Вот я действительно старик. — Последние слова он произнес с неподдельной грустью, покачав головой, и тоже засмеялся, видимо, над самим собой.

— Чего вы оба притворяетесь, — заметила им бесцеремонно хозяйка, ставя на стол чашки. — И ты, Игнат Фомич, в соку, и ты, девка, куда угодно.

Такое обнаженное мнение Тосе стало неприятно, и она замолчала. Игнат это понял и не стал ее больше тревожить разговором. Но уже за столом, во время чаепития, все-таки спросил:

— А вас как величать?

— Зовите Тося.

— Хорошее имя Тося. Ласковое. А Игнат — грубое, старинное, как тяпка. Правда, в «тяпке» и в «Игнате» есть что-то общее?

Тосю это сравнение рассмешило, но она возразила:

— Что вы! Имя как имя. Ничего плохого.

— Ну спасибо и на этом, — пошутил Игнат.

— Не стоит благодарности, Игнат Фомич.

Они посмотрели друг на друга и снова улыбнулись.

Тося не знала, что сумеречным вечером в туманную слякоть ходил с ней за чемоданами Игнат Дыбин. Он темной осенней ночью вывез свой последний воз пшеницы. Семен Трофимыч Сычев четыре воза

подарил Игнату: «Пусть будет тебе за работу и за сочувствие. Все равно возьмут», — сказал он. И вот Игнат ночью привез, а днем уже продал свою пшеницу. Паре лучших в селе лошадей, запряженных в одну телегу, никакая грязь нипочем: все перевозил Игнат в то время, когда сельчане не смогли даже выехать на своих клячах. В такую погоду — ни кот, ни кошка не услышат. И вот он встретил Тосю: зверь сам бежал на ловца. Он сразу сообразил, что это за «птица», поэтому ни о чем не расспрашивал.

Тося не подозревала, кто перед нею сидит. Кто знает, может быть, когда-то Федор пожалеет, что не все рассказал Тосе. Но уж слишком была трудна его жизнь и безалаберна юность, чтобы интересно было ворошить прошлое и омрачать душу любимой девушки. Он полагал, что это — потом. Как бы там ни было, но Игнат не подал ни малейшего повода думать о нем дурно.

Игнат изредка и незаметно поглядывал на грудь Тоси, увидел и ямочки на щеках, и нежные кудряшки у висков, заметил, что она упругая, стройная. Сердце его билось учащенно, но все поведение оставалось неизменно ровным, а лицо казалось чуть-чуть грустным.

— А дождь все идет и идет, — сказал он, глядя в окно, в темень.

— Идет, — подтвердила Тося. — Какой-то скучный. — Она вздрогнула от набежавших мурашек. — А если и завтра дождь? — спросила она.

Игнат не ответил и не отвернул лица от окна. Он продекламировал:

Я очень люблю родину!
Хоть есть в ней грусти ивовая ржавь.
Приятны мне свиней испачканные морды
И в тишине ночной звенящий голос жаб.

— Вы знаете Есенина? — спросила она удивленно.

— Знаю. И люблю. «Грусти ивовая ржавь»… Здорово!

— Очень.

От шуршания дождя, мигающей керосиновой лампы, от дружного храпа хозяина с хозяйкой и от тихой декламации Тосе стало еще более не по себе: она заразилась от собеседника, как всегда заражаются

настроением других более слабые натуры. А Игнат начал рисовать мрачные картины, каждым словом оглушая ее как обухом.

— Грязь. Дождь. Ночь. Мат. Обшарпанные избы. Кучи навоза. Самогон. Вот она, деревня, куда вы едете, вы, молодая и нежная. — Он теперь смотрел на Тосю в упор, не скрывая сожаления.

— Не надо, — прошептала Тося. — Прошу вас! — Губы ее дрогнули. Она закрыла лицо ладонями. — Не смейте так говорить… Я еду к мужу.

— А кто же ваш муж? — ласково спросил Игнат, будто ни о чем не догадался раньше.

— Земляков Федор Ефимович.

— А-а… Земляков… Хороший человек, очень хороший. Все его уважают… Но… у него не было жены, по-моему. Что-то не слыхал никогда.

— Мы еще не зарегистрировались.

— Почему же? — допытывался уже Игнат.

— Да все как-то в разлуке и в разлуке, — разоткровенничалась Тося, все еще не отняв ладоней от лица: она знала — Игнат смотрит на нее.

А он вышел из-за стола, присел рядом с Тосей, тихонько взял ее ладони и отвел их от лица.

— Не надо грустить, Тося. Все будет хорошо. Федор очень хороший человек. Да и деревня скучная только осенью и… зимой. Не надо грустить. — Увидев улыбку Тоси, он добавил: — Ну вот так. Вот и хорошо… Ложитесь спать. Утро вечера мудренее — золотая пословица.

Тося радовалась: «Что бы я делала здесь, в пристанционном глухом поселке, одна, без него?» Она не хотела себе сознаться в том, что Игнат ей понравился.

Потом она ушла в горенку, легла на приготовленную постель, не раздевшись, и долго еще прислушивалась к тому, как Игнат выходил во двор (видимо, к лошадям), снова возвращался, чиркал спичками в темноте, закуривая папиросу.

Когда же наконец храп хозяев прекратился, после первого крепкого сна, Тося отчетливо услышала, как Игнат глубоко вздохнул. «Что это он такой грустный? — подумала она. — Что-то у него на душе неладно. Разве спросить завтра?..»

…Проснулась Тося рано, еще затемно, услышав погромыхивание сковородами и чугунками у печи. Она вышла в переднюю комнату.

— А, «старуха» пришла! — пошутила хозяйка.

Тося не ответила на шутку. Очень уж ей не нравился наглый взгляд сухой и костистой управительницы постоялого двора. Хозяйка умолкла, ухмыльнувшись. Тося умылась и причесалась перед зеркальцем, как и полагается.

Игнат вошел со двора, поздравил женщин с добрым утром, ни к кому в отдельности не обращаясь, и сообщил:

— Подвода готова — можно ехать. Пеки, хозяйка, блины. Поедим да помаленьку и в путь тронемся.

— Дождь идет? — спросила Тося.

— Как прорвало, — ответил Игнат. — Но я сделал для вас из войлочной полости кибиточку. Три дужки, три перекладинки — всего шесть толстых хворостин — и готова карета. Как раз вы в ней с чемоданами поместитесь, а у меня плащ добрый.

— Разве и в дождь поедем? — удивленно спросила Тося.

— Обязательно. Пока жидко, только и ехать. Если же затвердеет чуть да начнет наворачивать на колеса, то пропали мы — сидеть тут неделю. Так что спешить надо… Впрочем, как вам угодно. Мне-то спешить некуда: сегодня приеду в Паховку или через месяц — все равно.

Тосе показалось, что он вздохнул при этих словах. «И что с ним такое?» — мелькнуло в мыслях.

Потом поели блины, расплатились за постой и харч. Игнат запряг лошадей, пришел за чемоданами, взял их и пригласил Тосю:

— Ну, милости прошу.

Хозяйка тоже накинула мужнин зипун на голову и вышла проводить постояльцев. Когда же Тося уселась в кибитку, она наглым и сухим голосом крикнула смеясь:

— Вы глядите-ка, не покусайтесь там, в кибитке-то, — и заржала, скрывшись в сенях.

Тосе стало страшно от этого смеха и от мысли, на которую натолкнули слова хозяйки постоялого двора. «А вдруг он… ведь едем-то вдвоем», — подумала она. Но телега уже выехала со двора, дождь глухо забарабанил по полости над головой, а лошади зачавкали копытами по жидкой грязи.

Поселок оказался довольно большим, он протянулся километра на три вдоль реки, поэтому перед глазами Тоси сначала мельтешили домики и избы, попались две-три торговые лавки, и после этого в окошко кибиточки открылась ровная, серая и, казалось, бесконечная степь.

Степь. Дождь. Спина Игната, широкая, даже могучая, да капюшон плаща над его головой. Игнат ехал молча, если не считать окриков на лошадей. Так прошло с полчаса. Лошади шли шагом, а Игнат и не пытался их торопить в такую трудную дорогу. Повозка покачивалась, и Тосю начало клонить ко сну. Вдруг она услышала сквозь дрему мягкий баритон Игната — он пел вполголоса:

Не осенний мелкий дождичек
Брызжет, брызжет сквозь туман…

Сон убежал от Тоси. Она слушала заунывную песню, знакомую с детства. Но, странно, такого впечатления она никогда не производила на Тосю, как в этот дождливый день. Кругом степь, местами вспаханная на зябь, местами покрытая стерней, да одинокая повозка на узенькой дороге, уходящей невесть куда. И дождь, и дождь, и дождь. В крошечной, для одного человека, кибиточке, заботливо сделанной Игнатом, было сухо и тепло. Это был для Тоси маленький кусочек уюта в такой безысходно-скучной степи. А Игнат пел медленно и тихо. Голос его к тому же заглушался отчасти дождем, перестуком колес и копытами лошадей, поэтому Тосе казалось, что песня идет откуда-то сбоку кибитки, издалека.

Слезы горькие льет молодец
На свой бархатный кафтан, —

пел Игнат. А дождь стучал по его плащу, стекая вниз каплями, похожими на слезы. Тося старалась представить лицо Игната сейчас, когда он поет, и не могла видеть иначе как пронизанным тоской и одиночеством.

И он весь казался ей сильным, умным, с затаенной от людей грустью.

Около села Козинки дождь перестал. У крайних дворов Игнат отпряг лошадей, зашел в одну из хат, вскоре вышел оттуда и предложил Тосе:

— Пока лошади отдохнут, разомнитесь, зайдите в хату.

Тося попробовала встать, но оказалось, нога не повинуется — пересидела.

— Вот тебе и раз! Калекой стала, ноги не чувствую. — Ей было больно и смешно.

Игнат взял ее под мышки и легко поставил на землю. Так он подержал ее несколько минут, пока она разминала ногу. И — странно! — ей показалось, что Игнат дышит часто, а руки чуть дрожат. Потом она ушла в избу, а он остался у повозки, облокотился о грядушку телеги да так и стоял, пока лошади поели овес. В хату он больше не заходил. Когда ж они поехали вновь, он и не пытался заговорить с Тосей.

Может быть, ей было чуть-чуть обидно, по-женски, что он не желал даже и разговаривать с ней, может быть, ей хотелось узнать, почему он грустен, но она уже не боялась его и заговорила первой:

— Далеко нам еще ехать?

— Еще часа полтора-два.

— Уже скоро и Паховка?

— Скоро.

— А вы приедете — что будете делать?

— Я? Обедать.

— Я не о том. У вас хозяйство есть? Дети есть?

— Ничего такого нет и не было. Такая роскошь не для меня.

— Почему? Расскажите. Вы такой… грустный. У вас что-то не очень хорошо на душе, Игнат Фомич. Расскажите. Все равно делать нечего.

— От нечего делать такие вещи не рассказывают, — почти резко возразил он, а в голосе Тося уловила нотку властности. — Что вам-то за дело до моей жизни? Вы счастливый человек — едете к мужу… Вы не поймете. Э, да что там зря говорить! Ясно: тоже будете считать врагом.

— Почему «тоже»?

— Очень просто: Земляков Федор, ваш супруг — или как он там вам доводится, — по гроб жизни считает врагом.

У Тоси расширились глаза. Игнат, обернувшись, заметил это и продолжал:

— Не удивляйтесь. Перед вами — Игнат Дыбин, «бывший эсер, бывший бандит», проживший в ссылке не один год. — Уставшие лошади остановились. Игнат был уже без плаща, а пиджак расстегнул. Он обернулся к Тосе. — Разве вы поймете мою собачью жизнь? Разве вам понять, что я за свои ошибки молодости осужден навечно быть отщепенцем? Разве вы поймете, что счастье — удел других, но не мой? Зачем же вам захотелось знать мою жизнь? Ради развлечения? «От нечего делать»?

Тося была подавлена этими вопросами. И молчала. Она на миг вспомнила ужас детства, тот день, когда узнала о смерти отца, убитого бандитами. Она больше никогда не увидела его и помнит только таким, каким провожала с продотрядом. Она не могла и представить, чтобы такой, как Игнат, мог убить ее отца. Игнат ее заинтриговал. Он явно раскаивался и, может быть, искал сочувствия и помощи. Тося подумала: «Страшная вещь — одиночество среди множества людей». А Игнат слез с повозки, снял полость кибиточки, вынул дуги-обручи и сказал:

— Уже дождя не будет. Посмотрите на божий свет.

Унылая степь, серое небо, мрачные, свинцовые облака представились взору Тоси. Игнат стоял около нее, указывая на этот простор размашисто, растопырив пальцы.

— Все не для меня: ни осень, ни весна. Хорошие и плохие дни — все равно не для меня, не мои. Я — один. И я презираю всех! Всех! — крикнул он, разорвав ворот рубахи.

Он тяжело дышал. Что-то дикое было в его глазах, но в то же время, где-то далеко внутри, Тося чувствовала жалость к этому гордому, одинокому и непреклонному человеку, которого она начинала, как ей казалось, ненавидеть.

— Вам будут говорить обо мне всякое. Пусть. Ваше отношение ко мне я предвижу. Вы включитесь «в общий фронт» моих гонителей. Бейте! Гоните! — Игнат прыгнул в телегу и стал на колени против Тоси, поджав грязные сапоги. — Вы даже можете меня убить. Убейте, и я скажу вам спасибо. Вам этого мало? Вам «от нечего делать» хочется слышать о моих страданиях? Этого не будет — не услышите. Не смотрите на меня так странно — я вас не трону. Если бы это

случилось, то погибли бы и вы и я. Я не о себе жалею, но мне жаль вас, трепетную и нежную… Вот и все. — Игнат затихал, повторяя слова: — Вот и все… Вот… и… все.

Игнат оценил мягкий и нежный характер Тоси, и чем дальше, тем больше проникался теплым чувством к ней. А она не осудила его явно, она не слезла в негодовании с телеги и не пошла пешком, не желая ехать с бывшим бандитом. Он повернулся к ней спиной, взял вожжи в руки, потом оглянулся, пристально посмотрел и мягко сказал:

— Простите. Не выдержал. Первый раз за много лет не выдержал.

До Паховки они молчали.

И вот въехали уже в самое село. Тосе открылась картина: соломенные крыши, облупленные глиняные стены, кучи навоза у дворов и на улице. Три огромные собаки встретили их у крайней хаты лаем и рычаньем и провожали метров двести. Впереди через дорогу шел старик и надрывно кашлял.

— Вот моя деревня, вот мой дом родной, — пошутил Игнат, — Здесь вам предстоит жить и… радоваться, наслаждаться счастьем.

Ей показалось, что Игнат сказал это с оттенком издевки. Она неожиданно озлилась и выпалила:

— Буду! Буду наслаждаться! Не издевайтесь! К черту!

Такая вспышка заставила Игната удивленно протянуть:

— Не ду-ума-ал… Вот вы какая!.. — Он восхищенно смотрел на нее, не спуская глаз. Но неожиданно натянул вожжи и, остановив лошадей, сказал торопливо: — Чуть не проехали! Вот она, хата Земляковых. — Он завернул к крыльцу, снял чемоданы и, увидев на двери замок, пояснил: — Федор на работе, конечно. Миша — тоже. Придется вам подождать. — Потом поставил чемоданы на крыльцо и подал руку Тосе. — Простите, Тося. Прощайте.

Она задержала руку в кармане пальто, но… все-таки подала ее, проговорив сурово:

— Почему «прощайте»?

— Мы уже с вами больше не увидимся. Постарайтесь на меня не обращать внимания — вам же будет от этого лучше, — И он, не дожидаясь каких-либо слов от Тоси, быстро откатил от крыльца, переехал улицу и исчез в воротах двора Семена Трофимыча Сычева.

Так в слякотный, облачный, серый осенний день никто и не увидел, как Тося приехала с Игнатом со станции. Она присела на

чемодан. Вот она и в Паховке. Но почему уже не хотелось никаких сюрпризов и не хотелось даже идти в правление кооператива за Федором? Может быть, потому, что устала, а может быть, ей просто стало немножко грустно в чужом селе. Неожиданно она услышала рядом голос:

— Чего же это ты, девка, голову повесила? — То спрашивала ее Матрена Васильевна Сорокина. — Ты чья же? Уж не Федора ли женка?

Тося встала и кивнула в знак подтверждения.

— Да чего же ты на крыльце-то сидишь? — спросила Матрена Васильевна.

— Я только сейчас приехала. Вот только-только. — Тося повеселела.

— Ну и заходи, пожалуйста! Чай, домой приехала. Я знаю, где у них ключ захоронен. — Матрена Васильевна стала на балясину крыльца, сунула руку под застреху и достала ключ. — Вот он. Они ведь вдвоем живут, два брата, да Зинаида ходит стряпать к ним. Кому надо, тот и возьмет ключ. Заходи-ка, заходи-ка, девонька, — приглашала Матрена Васильевна как в свой дом.

Тося вошла. Матрена Васильевна проговорила ласково, по-матерински:

— Ну здравствуй, хорошая. Мы ведь с ними друзья большие искони. — Она поцеловала Тосю трижды.

Тося уткнулась лицом в плечо Матрены Васильевны. Она не знала, отчего заплакала. Может быть, оттого, что матери уже нет давно и вспомнилась она ей при взгляде на эту богатырского сложения женщину; может быть, ей действительно показалась деревня скучной и она жалела о городе, а может, одиночество Игната напоминало о прошедшем ее одиночестве. Скорее всего — от всех этих причин вместе.

— Женское дело такое — без слезинки нельзя, — всплакнула и Матрена Васильевна, — Ничего, девка, пообвыкнешь. Конечно, боязно тебе: одна приехала-то в незнакомое село. Разве я не понимаю. Понимаю, девонька. Ничего, ничего — тут люди хорошие, пообвыкнешь.

Наконец Тося села на лавку и осмотрела избу. Русская печь, в углу деревянная кровать, накрытая старым, но чистым одеялом, над кроватью маленький портрет Ленина, обеденный стол, такой же стол

еще, видимо заменяющий письменный, на нем стопка книг «Народный университет на дому», а рядом этажерочка с книгами, — в хате чисто, но все-таки не очень уютно, по-холостяцки.

— Ну я побегу родных твоих кликать, а ты пока умойся, приберись, платьишко новое найди. К мужу ведь прибыла. То-то! — Матрена Васильевна с хитрецой подмигнула и чуть толкнула Тосю в бок.

Не успела Тося как следует причесаться, вбежала Зинаида и без обиняков крикнула:

— Тося! Милка моя!.. Заждались мы тебя. — Она тоже чуть всплакнула как-то мимоходом, вроде так и полагалось — такое уж женское дело, наверно. Но это были слезинки радости за Федора, — А ну, какая ты? — Зинаида взяла ее обеими руками за плечи, повернула к свету и заключила, уже смеясь: — Молодец!

Федор вошел. Совсем здоровый! Он остановился в дверях, сияющий, окрепший, прямо-таки неузнаваемый. Тося бросилась к нему и целовала в губы, в щеки, в лоб — куда попало. Такою он никогда ее не видел. Федор смеялся от радости и счастья, а Зинаида и Матрена расточали слезы без всякой экономии. Тут уж ничего не скажешь: им нравилось в те минуты всплакнуть — то были слезы совсем не горькие.

Вошел Ваня Крючков и подал руку:

— Здравствуйте, Тося.

— Здравствуйте, Ваня! Чего уж там: дайте-ка я и вас разок поцелую.

В радостной встрече никто, кроме Зинаиды, не заметил, как Ваня вздрогнул от поцелуя Тоси и чуть-чуть побледнел.

Миша пришел вместе с Анютой. Он забежал за ней домой и притащил знакомиться. Анюта стала в сенях и никак не хотела идти в хату. Миша уговаривал ее до тех пор, пока Ваня, услышав разговор, не открыл дверь в сени.

— А-а, жених и невеста из одного теста! — воскликнул он. Лицо его уже было веселым.

— А это кто же? — спросила Тося, указывая кивком на Анюту уже после того, как поздоровалась с Мишей.

— Моя невеста, Анюта, — ответил Миша.

— Ну поди, поди сюда, Анюта, — позвала Тося таким тоном, будто она была старше по крайней мере на двадцать лет, а не на шесть.

Так собралась вся семья. А вечером пришел и Андрей Михайлович. Чуть выпили, конечно, как и полагается при встрече. Уже после того как встали из-за стола, Андрей Михайлович спросил:

— Постой, постой! А как же ты, Тося, доехала в такую грязюку?

— С попутной подводой, — ответила Тося, не задумываясь.

— Ну и молодчина! — одобрительно воскликнул он. — Сама добралась.

…Миша ушел ночевать к Андрею, а Федор остался с Тосей вдвоем.

Федор примерил новое пальто и костюм. Потом Тося достала из чемодана новое белье, постелила постель. Кровать стала выглядеть совсем по-другому. Федор следил за Тосей взглядом и радовался тихой радостью оттого, что вот около него жена, его единственная, ему одному принадлежащая, он счастлив, счастлив, счастлив!

— Отвернись-ка, Федя, — попросила Тося. Она юркнула в кровать и засмеялась дрожащим смешком. — Здорово-то здесь как! Мягко!

Она видела одним глазом, как Федор разделся и потушил лампу. Чуть посидел около Тоси и обнял, мягко и нежно, будто боясь притронуться. Тося обвила его шею руками, прижавшись щекой к его подбородку, — но — удивительно и странно! — она думала о подбородке с ямочкой в середине. Счастье ее вот здесь, рядом, а в мыслях тянула к себе неизвестность: целуя Федора, думала об Игнате.

Тяжко было Тосе в тот вечер. Вместо радости лег на душу камень за эти два дня. Только два дня! Как мало времени, и как много груза она приняла на себя. Разве можно сказать об этом Федору сейчас, когда он счастлив? Лучше уж завтра, может быть, рассказать об Игнате. Она чувствовала, если сейчас вот расскажет, как она ехала, что говорил Игнат, расскажет свои сомнения, то ей сразу станет легче и все сразу будет проще. «Взять и сказать, — думала она. — Я тоже ненавижу Игната». Но… ничего не сказала, хотя и знала, казалось ей, что ненавидит… Она слушала, как Федор ровно и спокойно дышал засыпая.

«Счастье, счастье, счастье», — мысленно повторял Федор сквозь дрему.

…Зинаида, укладываясь спать, шептала Андрею:

— Дело скверно. Ванятка-то про себя любит Тосю, должно быть. А Федор-то — ни сном ни духом.

— Да брось ты глупости говорить! — возмутился Андрей. — Втемяшилось тебе.

— Мне не втемяшилось. Вы, мужики, ни бельмеса не смыслите в этих делах, а муж узнает последним.

— И я тоже? — спросил шутливо Андрей.

Зинаида в ответ на это завернула одеяло и больно отшлепала мужа ладонью по мягкому месту, приговаривая:

— Не трепись, не трепись!

— Да ты отбивную, что ли, хочешь сделать? — шутил Андрей, увертываясь и смеясь.

В сенях загремела дверь. Миша шел на ночевку.

— Тсс! — засипела Зинаида. — Тихо!

— Есть «тихо»! — шепотом согласился Андрей. — Но, слушай, не верю. Не может быть.

— Все может быть.

— Вы все не спите? — спросил Миша.

— А ты выспался? — спросил Андрей, толкнув в бок Зину. — Ушел-то к нам из дома час назад. Как же ты не заблудился в такую темь?

Миша понял шутку и буркнул в ответ:

— Я сидел у Кочетовых.

— Ну, спать, спать, — прекратила Зинаида. — Хватит.

Глава пятая

Село спало крепким, беспробудным осенним сном. В дождливую погоду всегда хорошо спится. Только Игнат Дыбин сидел у окна в темноте и слушал дождь. К средине ночи поднялся ветер, и над окном пищала соломинка. Игнат думал. Он легко мог бы сделать с Тосей в дороге что угодно и привезти ее Федору, а потом «шепотком за уголком» насмеяться. Это была бы самая жестокая месть Федору и Андрею. Он, собственно, в первые минуты встречи с Тосей только и рассчитывал на месть Федору и его позор. Он знал: опозорь честного,

ему и подлый руки не подаст. И предполагал «играть роль». Но вдруг все это полетело к черту, он не желает мстить Тосей. Сидя у окна, видел и в темноте русые кудряшки у висков и мягкий, теплый, вопросительный взор из-под изогнутых бровей. Тося как живая стояла перед ним с наивным вопросом: «Вы — какой-то грустный?» Кто, когда, где сказал ему такие слова? Никто, никогда и нигде. Он знал многих женщин, даже в лагере, но он не любил ни одной из них. Ему некогда было любить, у него было время только для ненависти и презрения. Он и женщин презирал, как посторонний, нужный только по необходимости, одушевленный предмет.

Теперь он еще больше ненавидел Федора за то, что тот счастлив.

Село спало, казалось, спокойно. Но это было обманчиво: кто-то кого-то любил, а кто-то кого-то ненавидел. Любовь и ненависть вечно живут рядом, на расстоянии одного шага, даже в одной и той же душе.

Сычев, проснувшись утром и заглянув в горенку, увидел, что Игнат стоял у окна, обхватив голову руками.

— Чего так? — спросил он коротко.

Игнат не ответил и не изменил позы.

— Или чего дурное услыхал на станции? — допытывался Сычев. — Или нездоров?

— Ни то, ни другое. Все хорошо. Есть добрые вести. — Голос у Игната был хрипловатый от усталости и бессонницы.

— Какие же добрые вести?

— От Черного: ждать скоро сплошную коллективизацию, поддерживать обобществление коров, овец, кур и всякой живности.

— Это зачем так?

— А чтобы колхозы осточертели мужику до его околхозивания.

— А потом?

— Потом что? Говорил же вам об этом раньше: все взорвется и… все к чертям!.. Коллективизация — смерть коммунистам, они сами себе роют яму. — Вдруг Игнат почти выкрикнул: — Хватит об этом! Надоело! — Но сразу поняв, что вышел из роли, спокойнее сказал: — Все ясно: если надо будет, будем стрелять.

Сычев сел рядом. Он за последний год постарел, осунулся и ссутулился. Двух лошадей он продал, оставшийся после твердого задания хлеб тоже продал; мельницу и маслобойку остановил совсем и заколотил двери; кооператив не только не стал покупать, но даже и не

возобновлял переговоров, будто никому не надо было молоть зерно и бить масло. Мужики волновались: ругали Сычева, ругали сельсовет, попадало и Советской власти вообще, а молоть ехали за двенадцать — пятнадцать километров. «Пусть стоит мельница, — думал Сычев. — На меня муки хватит». Двор его стал пустым, без животных и птицы. Осталось всего одна корова, две лошади, одну из которых оплатил Игнат и считал своею, да пять штук овец. Чистый середняк. К коллективизации Сычев и Игнат были готовы. О связи Игната с каким-то Черным Сычев узнал в самое последнее время. Может быть, Игнат врал и никакого Черного не существовало, но Сычеву было безразлично — есть там какой-то Черный или нет его вовсе. Однако когда Игнат как-то привез со станции три нагана, то Сычев подумал: «Черный там или Белый, а где-то кто-то и что-то хлопочет». И он спросил у Игната в то утро:

— Как это — «будем стрелять»? Я, к примеру, не буду. А еще кто же?

— Будешь, Семен Трофимыч, если к глотке подступит… По два человека из села, и тогда на район получается двадцать четыре человека. Ого! Отряд.

Сычев задумался. Вопрос для него был не совсем ясным: будет он стрелять или не будет. «А вдруг да ГПУ? — мелькнуло у него. — Если Игната возьмут, то несдобровать и мне. Крепко связались одной веревочкой».

Игнат сказал, будто читая его мысли:

— Хатку надо купить мне. Уходить от вас надо, Семен Трофимыч. Скотины у вас теперь — кот наплакал, одному легко-прелегко управиться, а жить мне так — как бы подозрительно не было. То я вроде батрака был у вас, а теперь — как нахлебник. Всё могут подумать.

— Правда, — охотно согласился Сычев. — Деньжонок у тебя малость есть, заработал, лошадь есть — хозяин полный.

Не прошло и недели, как в селе узнали, что Игнатка-бандит купил саманную избу у самого берега речки, третью от края. Вскоре хата стала белой, сарай для лошади обмазан, несмотря на наступивший осенний холод. Игнат сам работал за двоих, да Сычев помогал. В новой, хотя уже давно обжитой другими, хате Сычев и Дыбин выпили на расставанье. Разговор за выпивкой был коротким и

малозначительным. Однако Семен Трофимыч заметил в Игнате какую-то перемену, но причины не знал.

…А месяца через три-четыре Андрей Михайлович Вихров и Иван Федорович Крючков заявились снова к Сычеву. Он встретил их на крыльце и пригласил в хату.

— Твердое задание, — коротко пояснил Андрей Михайлович.

— Распишитесь, — сказал Крючков, подавая задание.

— Сколько? — спокойно спросил Сычев, зная, что выполнять уже нечем — хлеба нет.

— Сто центнеров, — ответил Крючков.

— Да вы что, очумели?! — вспылил Сычев, но сразу догадался, что тут подбираются под его мельницу и маслобойку, и осекся. Уже тише возразил: — Да ведь сами знаете, нету такого хлеба.

— Знаем — был, — сказал Крючков. — Знаем — тайком продал. Знаем, сколько продал.

— Ну… — Сычев что-то хотел сказать, но махнул рукой и добавил: — Валяйте.

Вскоре за невыполнение твердого задания у Сычева конфисковали по суду мельницу и маслобойку. На суде Сычев молчал все время, если не считать коротких ответов на стереотипные вопросы.

По селу поползли нехорошие слухи: вот, дескать, сначала у Сычева взяли, а потом доберутся и до других, кто малость послабее, а потом и до тех, кто еще послабее, до середнячков. Кто-то напористо и систематически тревожил крестьян.

…На собрании в сельсовете Андрей Михайлович объявил:

— Итак, товарищи, есть у нас теперь мельница, есть и маслобойка.

— А что же мы с ними будем делать? — задали ему вопрос из задних рядов.

— Как — что? Мельница молоть будет, а маслобойка, наоборот, масло бить будет.

— Кто же правдать-то будет? Надо же спеца иметь? А он подался давно в город.

— Рекомендуется Сорокин Матвей Степаныч, — предложил Федор. — Обсуждали мы в правлении сельпо и пришли к такому выводу: Сорокин долго жил в батраках, знает там — как и что — лучше всякого.

Матвей Степаныч прямо-таки взмолился:

— Дорогие граждане! Ничегошеньки я не смыслю по технике, а также и по битью масла. Ей-ей! Прахтику надо иметь, а я — что? Тьфу! Ничего не означаю в технике. Ни в зуб ногой.

Но, несмотря на сопротивление самого кандидата, постановили: «Управлять Сорокину, как бывшему батраку, знакомому с предприятиями (так и записали „знакомому с предприятиями“), а двух рабочих пусть сам себе подыщет, по вкусу».

На следующий день Матвей Степаныч сорвал доски, которыми были забиты двери мельницы, и вошел. Пахло мышами. Двадцатичетырехсильный двигатель покрылся сверху ржавчиной, все было в запустении, все не ремонтировалось с тех самых пор, как у Сычева опустились руки; на маслобойке тоже мертво и пусто: вальцы ржавые, жаровня полуразвалилась, в прессе оказалось старое куриное гнездо. «Что я могу сделать?» — спрашивал сам себя Матвей Степаныч, но пока ответа не находил. Каждый предмет он потрогал руками или крутнул туда-сюда, что могло крутиться. Но только от этого ничего не прибавилось. Матвей Степаныч, живя у Сычева, занимался тогда скотиной, двором, посевом, а к мельнице или маслобойке не имел никакого касательства. И вот теперь надо как-то не ударить лицом в грязь. Он сел в пустой маслобойке около пресса. Думал, думал и сказал сам себе:

— Так, Матвей Степаныч Сорокин. Сам ты ни хрена не сделаешь. Надо к Ванятке Крючкову идти.

Пришел в сельпо, встретил Крючкова на крыльце и прямо с ходу поставил вопрос ребром:

— К чему на несведущего человека навалили незнакомое дело? Авторитет партии подрывать? Да? Ну-ка ответь, Иван Федорович.

Тот, незаметно ухмыльнувшись, ответил:

— Нет. Поднять авторитет партии хочу. Не надо волноваться, Матвей Степаныч. Вам надо руководить. Поняли? А не самому мешки ворочать и движок заводить.

— Как так? — удивленно заморгал Матвей Степаныч.

— А так: на двигатель — механика найти, на маслобойку — спеца пригласить, а вы лично — заведующий, глаз сельпо и партячейки. Что надо от вас? Порядок соблюдать, за ремонтом следить, учет вести.

— Учет?

— Учет.

— Я — учет?

— Вы — учет.

Сорокин рассмеялся искренне, закатив глаза вверх.

— Я — булгахтер! Не может быть! Смехи-грехи!

— Вот что: пошли к Федору, — сказал Крючков, — Время зря теряем. Бунтует, — указал он на Матвея Степаныча, когда они вошли в правление сельпо.

Федор молча достал квитанционную книжку и коротко объяснил:

— Вот тут — фамилию, тут — пуды, тут — ты распишешься, а тут — клиент.

— Климент? — вопросил Сорокин.

— Клиент, — не меняя тона, поправил Федор. — И кроме того: гарнцевый сбор каждый месяц будешь сдавать по квитанциям, а всю бухгалтерию — чего ты боишься — вести положено мне. Понял?

— Так бы и сказали сразу! — воскликнул Матвей Степаныч. — А то — скажи пожалуйста: «учет», «булгахтер», «Климент»! Так и запугать недолго. А так что ж — все нормально. Могу последить за правильностью. Да вот вопрос: кем я буду управлять? Где они, эти спецы-то?

— Поищем, — ответил Крючков.

— Сколько лет искать? — спросил Матвей Степаныч. — Если решать, то сразу, сейчас. Мужики-то волнуются — муки нету, масла нету, а продухция есть.

— Ну давайте покумекаем сейчас, — согласился Крючков и подмигнул Федору.

Тот сказал так, будто у них с Ваней и не было договоренности раньше:

— А не пригласить ли тебе, Матвей Степаныч, Игнатку Дыбина? А? Двигатель он знает как пять пальцев.

— Игнатку-у! Да ты ошалел, Федя. Ей-право, ошалел.

Крючков возразил серьезно:

— Видишь, хату купил себе, лошадь, а живет один. Соседи говорят, тоскует о чем-то. Не ровен час, еще повесится или убьет кого. На люди его надо, и присмотреть за ним. Лучше тебя, Матвей Степаныч, никто его не использует. Человек он понимающий по двигателю. Приглашают же старых спецов на фабрики и заводы?

Приглашают. А директор за ними присматривает, руководит. Вот и ты так же.

— Выхода пока больше нет, — поддержал Федор. — Перебрали все село — ни одного человека нет, чтобы знал хотя бы один паршивенький движок.

— Знамо дело, темнота у нас, — сокрушенно согласился Матвей Степаныч. — А пойдет он, Игнатка-то?

— Попробуем, — неопределенно ответил Крючков. — Сходи-ка к нему сам. Да поаккуратней с ним, издалека начинай.

Когда Матвей Степаныч пришел к Дыбину, тот варил себе ужин. На загнетке на таганке стоял чугунок с картошкой, а Игнат подкладывал в огонь сухие будылины подсолнечника. Лицо Игната небритое и осунувшееся. Неуютно, постель неубрана; лишь одна гитара блестела как новенькая.

— Здорово живешь, Игнат Фомич!

— Здравствуйте, — удивленно ответил Игнат. — Какими судьбами, товарищ Сорокин?

— Да так… без всяких судьбов. Шел, шел — и зашел. Дай, думаю, гляну, как новый хозяин тут живет-обитает. А ты, вишь, картохи варишь. Хреново без бабы-то?

— Да как сказать… На что она мне? Семья — не для меня.

— Отчего так? Баба, она для всякого дела нужна. Ей делов хватит.

— Что ж, не знаете? «Враг» да «враг» — только и слышишь. Тут и вовсе не будешь врагом, так сделают.

— Это кто же так?

— А некоторые, — подчеркнуто ответил Игнат.

— А-а, «некоторые»! Ты смотри-ка, народ какой пошел. Прямо-таки дивно, как это они не понимают: человек отбыл свой срок, значит, все, — теперь уж не виноват.

Игнат уставился на Сорокина непонимающим взглядом и спросил:

— А кто так считает?

— Как — кто? Я.

— И только?

— И Федор Ефимович Земляков… И Иван Федорович Крючков… Все «некоторые» так думают.

— Этого не может быть. — Игнат свел брови над переносицей и по-ястребиному глянул на Сорокина. «Не верю, — подумал он, — брешет старый пес».

— Картошка-то убежала. Зальет огонь, — заметил Матвей Степаныч. — Нет, чего там! Без бабы тебе жить не можно — одно горе, да и только. Ку-уда та-ам!.. Определялся бы ты, Игнат Фомич, на постоянное дело да женился бы. Дело прошлое: народ не виноват, сам ты виноват — сам и выходи на повинную.

— На какую повинную? Я свое отбыл.

— Мало ли что отбыл. Если на обчество будешь работать, все станет на свое место. Как ты считаешь?

— Никуда меня не примут, — уверенно ответил Игнат.

— А я, к примеру сказать, приму, — еще увереннее возразил Матвей Степаныч. — Приму. Хочешь в машинисты на мельницу и на маслобойку? На движки? Приму. Я ж теперь управляющий. Могу принять. — При этом он закинул ногу на ногу и еще раз сказал: — Могу. Как?

— Не верю, — мрачно ответил Игнат.

— Не веришь — пиши заявление председателю сельпо, товарищу Крючкову. Вот увидишь, наложит резолюцию: «Ублаготворить подателя сего». Так и напишет.

Игнат внутренне смеялся над оборотами речи «управляющего», он его считал невеждой, не подозревая, что тот видел Игната насквозь. Да он так и сказал Игнату:

— Я, брат, чую — ты меня сермягом темным считаешь. И я тебе не возражаю: считай — правильно, меня от этого не убудет. Но раз я приставлен к обчественному делу — я отвечаю. И я должон делать только хорошо. Лучше тебя в технике никто у нас в селе не понимает… кроме агронома, Михаила Ефимыча… Хочешь — иди ко мне в машинисты. Плата по ставке, как и полагается.

«Попробую, — решил Игнат. — Место хорошее для работы, а из этого Матюхи можно веревки вить». И он написал заявление, которое Матвей Степаныч свернул вчетверо, положил себе в картуз, заменяющий пока портфель, и надел его глубоко, попрочнее, чтобы не потерялось.

Матвей Степаныч ушел, а Игнат все стоял и стоял у чугунка с остывшей картошкой и ковырял потухающую золу. Пришла мысль:

«Итак, Игнат Дыбин, ты — батрак у бывшего батрака. Он управляет, ты подчиняешься». И странно, это ему не показалось очень обидным. Придет время, казалось ему, все станет на свое место. Но определенного он ничего представить не мог, он просто не знал, как оно будет. Ведь только перед Сычевым он держался так, будто все знает и во всем уверен. На самом же деле с некоторых пор это было не так. Все ему стало безразлично, а думал он только о Тосе. И если бы она пошла за ним, то бросил бы все к черту и уехал бы в Сибирь, на Дальний Восток, куда угодно. Когда приходила такая мысль, он горько усмехался и сам себе говорил: «На-кась, выкуси! Не тебе такое достанется. Тебе — вечное презрение и кличка „бандит“».

После того как Игнат полюбил, одиночество для него стало невыносимым, самым страшным наказанием, которое не каждому удается перенести. Ненависть ко всем людям и недоверие ко всему и всякому смешались с любовью к одному человеку. Иногда было так трудно, что ему хотелось в одну из темных ночей наложить на себя руки или поджечь село и уйти куда глаза глядят. Чужой паспорт достать — пустяковое дело. «Но куда уйдешь от самого себя?» — задавал он себе вопрос, и от этого будущее казалось еще более мрачным. Можно уйти от милиции, убежать из тюрьмы, скрыться от ГПУ, но от самого себя, от своей любви, от своей совести не уйти. И вот в тот вечер, когда пришел Сорокин, блеснул какой-то лучик надежды; он сверкнул где-то далеко-далеко, как светлячок ночью в чаще леса.

Матвей Степаныч прямо от Игната зашел к Земляковым. Дома были все трое: Федор, Тося и Миша.

— Вечер добрый! По двум причинам прибыл, — зачастил Матвей Степаныч и обратился, во-первых, к Мише: — Если привезут как янтарь семена: молоть или не молоть?

— Не молоть, обменивать по кондиции.

— Да говори ты, Михаил Ефимыч, по-русски! — Матвей Степаныч всплеснул даже руками. — «Клиент», «кондиций» — мне это ни к чему, — и закатился смехом.

Тося засмеялась вместе с Матвеем Степанычем. Со дня приезда в Паховку она первый раз так захохотала. Ей самой вдруг показалось, что камень сваливается с души.

Миша объяснил:

— За лучшее зерно дашь больше, но чуть-чуть похуже. По таблице там видно будет. Федя даст такую таблицу.

А Тося не переставая смеялась. Федор тоже не утерпел. Он пытался спросить у нее, что так рассмешило, но от этого еще смешнее становилось. В конце концов все четверо хохотали до слез. Оказывается, Тося могла своим весельем заразить кого угодно. Этого не знал даже Федор.

— Ну… ну… Ты скажи, о чем ты? — выдавил Федор, поджимая живот руками.

— Ко… ко… Кондиций Клиентович! — еле выговорила Тося. — Ой! Умру!

Матвей Степаныч всхлипывал, как плачущий ребенок, — таким смешным показалось придуманное Тосей имя и отчество из иностранных слов. Он радовался общему веселью.

Спустя некоторое время, когда мельница начала работать, помольцы часто слышали от Матвея Степаныч а:

— Ты мне не указывай. У меня вот кондиций на руках. А ты — клиент, ни больше ни меньше.

Этим он напоминал о своей кличке, не замечая того. Но, несмотря на это, кличка хотя некоторое время и продержалась на нем, но прочно не прилепилась: она звучала не по-русски, а такое не пристает, отваливается.

Да и в тот вечер, у Земляковых, Матвей Степаныч принял шутку как насмешку над иностранными словами, не подозревая, что для Тоси, городской жительницы от самого рождения, он был слишком темен. Она ведь не знала, что только четыре года тому назад он научился грамоте и стал читать газеты как откровение для себя, тратя на это труднейшее для него дело все вечера. Ей казалось, что люди в деревне были такими и тысячу лет назад. Все ей представлялось или очень скучным и грустным, или смешным. Но тогда, в час веселья, она искренне, от души сказала:

— Какой вы милый, Матвей Степаныч.

— Как? — переспросил он, наклонив ухо, будто не расслышав.

— Милый, — повторила она.

— Эка ты как горазда на слова-то! Вроде бы не к месту такое. Как-то не по-нашему — больно уж сладко, ажно зубы ломит… Ну ты не обижайся. Я — такой. Я тебе только и скажу спасибо за ласку. Но

оно ведь у нас как-то не принято… это… как ее… — Матвей Степаныч запутался и так и не сумел высказать, что у них на селе не любят конфеточных слов.

Тося все это приняла без обиды. Она ко всему присматривалась, прислушивалась. И когда Матвей Степаныч заговорил «по второму вопросу», она не проронила ни слова.

— Второй вопрос к тебе, Федя. Пришел доложить: был у Игната.

— Ну и как? — спросили Миша и Федор в один голос.

— Картошку варил себе на загнетке. Один — как проклятый богом и людьми. Оброс весь, как кабан. Седина брызнула на башку. Смотрел я на него, смотрел, и все мне казалось, другой он какой-то, не тот. Что с ним стряслось, ума не приложу.

— А согласился? — спросил Миша.

— Сперва не верил: «Не верю, говорит. Никуда меня не примут. Тут, говорит, и не хочешь быть врагом, так сделают».

— Заявление написал? — спросил Федор.

— А как же, написал. Вот оно. — Матвей Степаныч ухватился за голову, но картуза на ней не оказалось — он висел на гвозде у двери; он кинулся к картузу, но и в нем заявления не было. — Выпала, проклятая бумага! — засуетился он. — Выпала, бандитское отродье!

— Где снимал картуз? — допытывались оба брата.

— Нигде не снимал. Вот тут снял.

Все стали искать. В конце концов Тося нашла заявление Игната в чугунке (благо он был сух).

— Значит, как я стоял тут, как снял картуз-то, она и прыгнула в чугунок, холера черная, чтоб ей пусто было.

Федор развернул четвертушку листа и прочитал. Несколько минут он смотрел на строки, написанные Игнатом, потом так сжал челюсти, что выступили желваки (Тося видела его лицо), и сказал тихо и зло:

— Ух, бандитская душа! — Потом, когда желваки сошли, он спросил: — Оброс, говоришь?

— Оброс.

— Как проклятый, говоришь?

— Как проклятый людьми… и это… как ее…

— Богом, богом, — «догонял» его Федор.

— Ну пущай будет и богом, — согласился Матвей Степаныч, искоса глянув на Мишу.

— И сам себе варил картошку? — уточнял Федор.

— Сам.

— А еще что? — выпытывал Федор.

— Гитара висит новенькая, — охотно отвечал Матвей Степаныч.

— Поседел, говоришь?

— Не то чтобы седой совсем, а брызнуло здорово. Как ушел от Сыча, так, говорят, и затосковал что-то.

Тося слушала и молчала. А когда Матвей Степаныч ушел домой, она легла на постель ничком. Голова ее горела, лицо покраснело.

Она чувствовала это и не хотела, чтобы Федор видел ее такой. Всю ее пронизала внутренняя дрожь. Игнат будто стоял перед ней, как загнанный зверь, и… мягко улыбался, как тогда, одинокий, но… близкий. И чем больше ненависти выражал к нему Федор, тем дальше уходили ее воспоминания о детстве. А Игнат стоял перед глазами.

Федор не видел, как она, оставаясь одна, часто плакала.

Четыре месяца прошло, как Тося приехала в Паховку. А медпункта все нет и нет, и она без работы сидит в крестьянской избе, не видит ни кино, ни театра, ни даже танцев, а частушки петь она не умеет. К чему бы привело такое одиночество, трудно сказать, но, к счастью, кое-что изменилось. Андрей Михайлович Вихров привез постановление об организации врачебного пункта и одновременно о назначении Тоси. Это была потрясающая новость в Паховке: испокон веков в селе никогда не было доктора, даже фельдшера не было, а теперь вдруг сразу врачебный пункт — почти больница. Впрочем, так и заговорили: «Больницу нам назначили в село». Тося целый месяц была поглощена устройством пункта, оборудованием, составлением списков населения и другими неотложными делами. Потом в посетителях недостатка не было, несмотря на то что «больница» (так и называли паховцы) была мала. Ожидающие сидели в маленькой передней, где русская печь занимала половину площади, а на прием проходили в горенку. Сначала бабы валом понесли масло, яйца, сметану и кур, но когда Тося категорически отказалась все это брать, они заключили просто: «Раз не берет, то и лечить хорошо не будет. Хороший доктор никогда не откажется — знает, вылечит. А эта, может, еще и не знает как следует». В последнем они были отчасти правы: под крылышком Василия Васильевича — это одно, а самой работать — совсем другое дело: в сущности, она оказывала только первую помощь

или делала противоэпидемические прививки, а с серьезными заболеваниями направляла в Козинку, в районную больницу. Но работы всегда было много. Тося постепенно, как ей казалось, уже втянулась в жизнь села, у нее появились новые знакомые, которые в больнице доверительно рассказывали ей даже и семейные тайны. Побил, к примеру, муж свою жену, она идет в медпункт за примочками и рассказывает всю подноготную: как он с ней спит, и за что бьет, и к кому ревнует. Надо было чем-то помочь, что-то посоветовать. У Тоси появились свои интересы. Работа кооперации ее мало занимала, а Федора увлекала; он же почти не вникал в детали Тосиной работы. Иной раз, придя домой, он спрашивал:

— Ну как там твои «клиенты»? — и сразу забывал, о чем спросил.

Жизнь становилась на селе все горячей и горячей. По примеру Сычева крестьяне стали менять хороших лошадей на плохих, сбывать лишний скот, прятать хлеб. Газеты все настойчивей писали о коллективизации, даже появились сообщения о том, что такое-то село, в таком-то районе «целиком и с энтузиазмом» вошло в колхоз. Коммунисты были агитаторами с утра до вечера и даже вечером. До медпункта ли было Федору! Тосе же казалось, что Федор живет своей жизнью, хотя он никогда не жил своей жизнью, ни одного часа с тех пор как помнит себя. Он жил только для других, сам того не замечая и не думая о том. Сейчас он был здоров и энергичен, и Тосе казалось, что он самоуверен. Но ничего этого она ему не сказала. Так невысказанное недовольство часто становится горем, разрастаясь и увеличиваясь снежным комом, встающим в конце концов стеной между двумя людьми. Так люди иногда губят сами — иногда при помощи третьих лиц — свое счастье, забывая простую истину: если ты не сказал другу о своем подозрении или о недовольстве его поступком, ты уже потерял друга.

Когда Федор заикнулся о регистрации брака, Тося сказала:

— Какие формальности! Христианское ханжество в этой официальности.

Федор несколько удивился, но не придал этому большого значения: примеров незарегистрированных браков было немало, и даже считалось модным — жить «без всякой свадьбы». «Ладно, после запишемся», — решил он. Он верил в Тосю, он ее любил. Она была его тихой и трепетной радостью, с нее началась его новая человеческая

жизнь, с нею он думал дойти до конца своих дней — на меньшее был не согласен. Он знал: будет тяжело им, скоро будет тяжело, но если рядом Тося, то ничего не страшно — с нею всегда легче. Но… за суетой, хлопотами и своим счастьем он многого не замечал.

Глава шестая

Матвей Степаныч развил бурную деятельность. В мельнице и на мельнице стучали топоры и молотки, бабы месили глину и обмазывали стены. Игнат сутками торчал в машинном отделении, разобрав двигатель по частям. Через месяц выхлопная труба зачавкала на все село. Кроме того, Игнат пристроил центробежную сирену. Звук ее, каждый день оповещающий о начале работы мельницы, хотя и был чуть жутковатым в своем нарастающем вое, но зато совсем-совсем новым, беспокойным, тормошащим тишину Паховки. Потом к этому звуку привыкнут жители, но вначале было ново: будто он громко оповестил, что мельница уже не Сычева, а общественная, кооперативная, что владеть ею захотели другие, без Сычева, без хозяина.

Вскоре заработала и маслобойка. К удивлению многих, Матвей Степаныч оказался беспокойным, расторопным и сметливым «хозяином». В Паховку потянулись подводы и из других сел, стало людно и шумно у кооперативных предприятий. Всю зиму и весну Матвей Степаныч работал с упоением с утра до вечера; ему даже и обед приносила Матрена на работу; ему казалось, если он уйдет хотя бы на час, все остановится, все пропадет. Такой уж характер. Он даже удивился тому, как в том году быстро наступило лето: каждый день некогда! А лето тысяча девятьсот двадцать девятого года все равно пришло, несмотря на то что Матвею Степанычу некогда. Мало ли кому из людей некогда — время идет.

Игнат очень хорошо умел обращаться с машиной, знал секреты мельничных поставов, умел наладить так, что можно смолоть на «пушонку», а можно и на отруби, — любой заказ помольца выполнялся точно.

Однажды Матвей Степаныч заметил, как у Игната появилась на лице улыбка. Он не видел, чтобы тот когда-нибудь улыбался:

ухмыльнуться, скривить губы мог, а чтобы и глазами, и всем лицом — не видел. В то утро в мельнице оказался котенок. Открыли они с Игнатом дверь в теплушку, а там котенок, светло-рыжеватый с тигровыми полосками и пушистеньким хвостиком.

— Как ты попал сюда? — спросил у котенка Матвей Степаныч. — Молчишь, шельмец, хвостом хитруешь!

Котенок и правда поводил хвостом из стороны в сторону и уже норовил потереться о сапог Игната. Тот нагнулся, взял его на руки, приподнял вровень с лицом, дунул легонько на уши, а котенок смешно прижал их и задвигал усиками. Игнат расплылся в улыбке. Матвей Степаныч про себя удивился: «Смотри-ка! Он еще и смеяться умеет. Не думал». Потом они оба спрашивали у ребятишек — чей котенок, но хозяин так-таки не нашелся. А вечером Игнат сунул его за пазуху и сказал:

— Будет жить у меня… Скучновато… одному-то…

И об этом случае Матвей Степаныч рассказал Федору в присутствии Тоси.

Но однажды случилось на мельнице несчастье, которого никто не мог ожидать. Отковали как-то камень-лежак. Матвей Степаныч стал опускать на лебедке «верхняк», а Игнат направлял.

— Есть! Отпускай! — скомандовал Игнат.

Матвей Степаныч отпустил. Камень чуть-чуть скрежетнул о «лежак», а Игнат вскрикнул:

— Ой! Пальцы!

Матвей Степаныч — к нему. Два пальца левой руки, указательный и средний, были раздавлены. Матвей Степаныч закрутил лебедку обратно. Камень приподнялся. Но Игнат побелел и сел около постава, видимо, не в силах встать. Матвей Степаныч помог ему сойти с порогов. Они вышли на ветерок, и Игнат пришел в себя.

— В больницу надо! — засуетился Матвей Степаныч. — К Тосе надо. Я сейчас. Я — подводу. Сиди тут.

— Не колготись, — остановил Игнат. — Сам дойду. Не мальчик, чтобы из-за пальцев шум подымать на все село. — Он встал, сорвал два листа подорожника, завернул в них придавленные пальцы, зажал их другой рукой и пошел. — Дойду сам, — еще раз сказал он Матвею Степанычу. — Да смотри, один тут не пускай движок — загубить можешь.

— Как же так? Значит, стоять будем?

— Не будем, — коротко ответил Игнат, обернувшись.

К врачебному пункту он подошел рановато — Тоси еще не было. Игнат дожидался ее на завалинке, наблюдая от нечего делать за двумя воробьями и воробьихой. Самцы гордо наскакивали друг на друга, распахнув свои пиджачки и неистово чирикая, поливая, видимо, самыми отборными площадными воробьиными словами; а она вприпрыжку скакала, то приближаясь к ним, то отдаляясь. Неожиданно самка издала какой-то воинственный воробьиный клич, и оба вояки, застегнув наспех свои пиджачки, юркнули под крышу. Сверху показался ястреб! Но опоздал… Пальцы у Игната заныли так, что разболелась голова: наблюдать было не за чем, а боль напоминала о себе все больше и больше. Он подумал: «Еще и без пальцев останусь».

Тося издали увидела Игната. Она не знала, идти ей или вернуться, но когда поняла, что он пришел в больницу за помощью, решительно пошла вперед. Тося сразу заметила бледность пациента, когда он встал при ее приближении.

— Что с вами? — спросила она.

— Пустяк. Вот — пальцы.

В комнате она вымыла руки, усадила Игната на табурет и взяла его больную руку в свою. Сколько подобных пациентов она видела, а вот рука у нее не дрожала. И Игнат чувствовал: рука дрожит! Она молча подставила банку с марганцовкой, опустила туда его пальцы и сказала мягко:

— Не надо было грязными листьями… Может плохо получиться.

Игнат не возражал. Он следил за ее руками неотрывно до самого того момента, когда она закончила бинтовать, а затем поднял на нее глаза. Только один раз встретились их взгляды так близко, а Тося отвернулась к окну. У Игната же чуть помутилось в голове, он прислонился к стене. И еле слышно простонал. Тося резко повернулась и тут же бросилась к аптечному шкафу, достала лекарство, накапала в стаканчик, подлив туда воды, и поднесла к губам Игната.

— Не надо, — тихо проговорил он, — не от болезни это.

Она все поняла. Снова отвернулась к окну и сказала почти резко:

— Уходите… Через день — на перевязку. — Потом, открыв дверь в переднюю, увидела женщину с забинтованным холстиной лицом и

позвала ее: — Следующий!

Игнат пошел было, но у двери обернулся и спросил:

— К каким часам — на перевязку?

— В любое время от восьми до пяти, — ответила Тося сухо и официально.

Игнат шел на мельницу в раздумье. Первый раз в жизни мир для него сосредоточился в одном лице, ради которого он отдал бы все — политику, идею, жизнь. «Была ли она, идея? — спросил он у себя. — Не ошибка ли молодости все, что я сделал?» И отвечал: «Идея была, но теперь ее нет, давно уже нет. Жизнь тоже была когда-то, но ее тоже нет давно, а есть прозябание заклейменного. И если бы пришлось отдать идею и жизнь ради любви, то… Оказывается, ничего этого нет, отдавать-то нечего». Игнат был сломлен. Но как только он вспомнил, что Тося принадлежит не ему, а Федору, то скрипнул зубами. «У него и жизнь есть, и… идея есть, у него и любовь есть». Но вдруг лицо искривилось, один глаз прищурился, будто прицеливаясь. Пришла мысль: «Есть у него любовь, но… может и не быть… Я — тоже человек».

Матвей Степаныч маятником бегал в открытых дверях мельницы. Ему не хотелось, чтобы мельница стояла без работы, да и помольцы «бунтовали». Увидев Игната, Матвей Степаныч обрадовался:

— Так и знал, придешь. Могёшь работать?

— Могу, — ответил Игнат весело.

Ему было тоже приятно, что вот и он нужен кому-то, нужен, например, Матвею, нужен помольщикам и, может быть, нужен Тосе.

Через день Игнат пошел на перевязку в то же время, как и в первый раз, пораньше, он думал, что в больнице еще никого нет, и хотел так же подождать на завалинке, но дверь оказалась открытой, а в приемной Тося уже перематывала полоску бинта. Игнат вошел с улыбкой. Тося ответила тем же.

— Болит? — было первым ее вопросом.

— Не очень. Ночью больше. Днем некогда болеть.

— Лучше было бы с недельку не работать. — Она разматывала бинт на его руке так, что он не почувствовал боли, он просто не замечал боли.

— Нельзя мне не работать. Надоело без работы.

— А разве вы у Сычева не работали?

— То не работа. На кого я работал там? На кулака. А теперь на всех, для народа.

— И вы тоже считаете его кулаком?

— Конечно… Я только сейчас и почувствовал себя человеком. Новая жизнь открылась для меня, Тося. И вы в этом виноваты.

У Тоси расширились глаза. Она не сводила взора с Игната и спросила прерывающимся голосом:

— Я-то при чем тут?

Вместо ответа он взял здоровой рукой ее руку и припал к ней губами. Потом встал, подошел к двери и улыбаясь сказал:

— Больше мне ничего не нужно. Ничего. — И вышел.

На третьей перевязке Игнат сидел, не проронив ни слова. Тося недоумевала. После того как он ушел, ей казалось, что с Игнатом творится неладное. Почему молчал? Что с ним? Не пошутил ли он над ней? Все эти вопросы ее тревожили, она была беспокойной и дома, но ссылалась на головную боль. Федор советовал ей полежать, не ходить на работу, хотел позвать Зинаиду, чтобы она похлопотала с приготовлением обеда, но Тося категорически от всего отказалась. А на работу выходила даже чуть раньше положенного.

Ни на четвертую, ни на пятую перевязку Игнат не пришел. Вместо него заявился, как новый пятиалтынный, Матвей Степаныч.

— Здорово, Тося! А я от Игната к тебе.

Тося вздрогнула. Матвей Степаныч не мог не заметить этого, но он не придал значения и спросил доверчиво:

— Аль я тебя испугал, детка?

— Нет. То есть да. — Замешательство Тоси было явным.

— Да что с тобой? Аль захворала?

— Нет. А что с ним?

— С Игнаткой-то? Да, вишь, записку мне прислал. А мельница стоит. — Он подал записку Тосе.

Она прочитала: «Матвей Степанович! Жар у меня. Не могу работать».

— Може, ему на дому хворь-то подлечить? Мельница-то стоит! Что я буду делать? Возов двадцать понаехало! Ай батюшки, пропал! Уж поди ты, дай ему какой-нибудь порошок — может, выйдет он на работу. Мельница-то стоит! А народ волнуется. Уж дай ему какое там

снадобье покрепче. Мельница-то стоит, а он хворать вздумал ни к селу ни к городу.

Тося слушала, слушала и сорвалась:

— Вам только и свет на земле — мельница! Человек вам дешевле мельницы! Или уж вы звери? — Она закрыла лицо ладонями и села на табурет.

— Как так — «звери»? Я зверь? Мельница дороже человека? Как так? — Он сел против нее и спокойно продолжал: — Смотря какой человек, а то — и дешевле мельницы. Иной человек вред только и делает людям, а мельница вреда не делает. Тут надо разобраться поянáм, чего к чему присоединяется. К примеру, Игнат без мельницы — нуль, дерьмо, и контра к тому же. А Игнат с мельницей — уже вроде человек, и его лечить надо обязательно. Такое мое рассуждение. Политика — дело хи-итрое, Тося! Если человек живет без труда, то он обязательно станет вредным. Тут поли-и-тика!

Эту необычно длинную для Матвея Степаныча речь Тося почти не слышала. А он настаивал:

— Так как же: пойдешь к бандиту в дом? Ведь надо идти. Ничего не поделаешь, уж сходи, пожалуйста. Мельница-то стоит.

— Пойду, — твердо сказала Тося.

Она взяла походный медицинский саквояжик и направилась к двери.

Уходя, Тося повесила на наружной двери квадратик картона, на котором было написано: «На дому у больного». В таком случае пришедшие в больницу усаживались на завалинке и безропотно ожидали «дохторицу», обсуждая домашние и общественные дела и строя догадки, к кому она пошла лечить на дом.

Сначала Тося и Матвей Степаныч шли вместе, рядышком, но у сельсовета спутник оставил ее, а она пошла дальше.

Матвей Степаныч решил сразу и быстро: «Рассказать надо Андрею про все, обязательно рассказать, И Феде рассказать. И Ване рассказать. И отчего такое „Вы — звери“ — тоже пояснить надо». При входе в сельсовет у Матвея Степаныча это намерение чуть было не изменилось: «А что же это я сразу всем и буду рассказывать? Всем троим — почитай, всей ячейке? Разве ж это дело партячейки?» Но тут же перерешил: «А может, это важно? Не об одной же мельнице разговариваем, а и людей обсуждаем. Надо и Тосю обсудить». Однако

неожиданно возник новый вопрос: «Я, Матвей Сорокин, буду порочить жену Феди!» И тут же решил окончательно: «Никогда. Люблю я Федю и потому не позволю вмешиваться. Она городская, непривычная. Все уладится, все обойдется». Так первое его решение получило совсем другой оборот: он никому ничего не рассказал. Зинаида, встретив его у сельсовета, спросила:

— Или сломалась мельница? Движок-то не слыхать.

— Игнат скочерюжился. Жар. Стоим, холера черная.

— А что в больнице сказали?

— Пошла к нему сама на дом.

— К нему? — переспросила настороженно Зинаида. — Или он так плох?

— Наверно, плох.

— Да я его утром, чуть свет, видала: поил лошадь.

— А больной что: не должон поить лошадь? Значит, если я захворал, то лошадь, по-твоему, пущай стоит не пимши? Интересно ты рассуждаешь! Это ты напрасно. Хоть и хворый, а поить лошадь обязательно — она не виновата.

Пряма была железная деревенская логика Матвея Степаныча, но у Зинаиды закралось сомнение. Даже и не сомнение, а что-то засосало под ложечкой. Она замечала, что Тося скучна, что все ей здесь не нравится, что она с родней неоткровенна — это ясно; Зинаида знала и то, что Федор с Тосей не зарегистрированы. Знала она и то, что Игнат регулярно, через день, трижды был в больнице на перевязке. В общем, только женская, недоступная мужчине внутренняя догадка беспокоила Зинаиду и — больше ничего. Но она, однако, сочла нужным рассказать Андрею о всех своих сомнениях. Так уж у них всегда было с мужем: делились своими мыслями. Андрей и Зина дорожили трудно добытой любовью.

— И что же ты думаешь? — спросил он ее после того, как она высказалась.

— Думаю, что Тося не любит Федора.

— А кого же, по-твоему? Игната, что ли?

— Не знаю, Андрейка, не знаю. А душа болит.

— За что его, ирода, можно любить-то?

— Эге, Андрей! Ты вовсе нашу сестру бабу не знаешь. Ты видишь, какой он сильный, да молчаливый, да слова лишнего не

скажет, когда и говорит. Да стихи, да гитара…

— Уж ты не спятила ли! — шутя воскликнул Андрей.

— Нет, не спятила.

— Глупости, — сказал он не очень уверенно.

А тем временем Тося была у Игната. Когда она вошла, тот встал, поспешно набросил на постель залатанное одеяло, расчесал волосы и угрюмо спросил:

— Зачем ко мне в берлогу пожаловали?

— Вы больны?

— Да. Но я вас не вызывал.

Тося села на скамейку у стола. И была уже уверена в том, что Игнат гонит ее. Она тихо произнесла:

— Я сейчас уйду.

Но вдруг он решительно подошел к ней, взял за плечи, поставил на ноги и, запрокинув голову, глянул ей в глаза… Игнат прильнул к ее губам… Больше они ничего не помнили. Воля каждого из них принадлежала другому, и оба были безвольны, но оба были счастливы от этого безволия и бездумности, покрывшей туманом весь белый свет.

Прошло два часа с тех пор, как Тося ушла из больницы. Посетители ворчливо уже разошлись по домам, потеряв надежду на сегодняшний прием и отложив лечение на завтра; только горбач-почтальон пришел жаловаться в сельсовет и пронзительно, по-бабьи кричал надтреснутым голосом:

— Прислали тут разную шушарь! Она ничего не знает да еще по два часа в больнице не бывает. Ишь ты, сахарная королева! Фу-ты ну-ты — гороцкие ножки гнуты!

— По тебе, значит, врач заболеть не имеет права? — осадил Андрей Михайлович ретивого почтальона.

Но хотя он так и сказал, а в больницу все-таки пошел и действительно увидел замок на двери. Возвращаясь, встретил спешащую Тосю.

— Где вы пропадали? — спросил он у нее, пристально глядя и заметив необычное внутреннее сияние, отразившееся на лице.

Она ответила:

— У больного была на дому.

— У Игната? — в упор спросил Андрей Михайлович.

— Да. А что?

— Ничего. Как он там?

— Температура тридцать девять. Боюсь — гангрена. Надо в районную больницу отправить.

Тут Тося не лгала.

Уже опамятовавшись, положив голову на грудь Игната и обняв его, она почувствовала, как он горит и как часто бьется сердце.

— Ты серьезно болен, — сказала она беспокойно.

— Я серьезно счастлив, — ответил он, не выпуская ее из объятий.

— Пусти! Игнат, пусти, пожалуйста! Меня нет в больнице уже долго — люди заметят.

— А меня нет на свете. Есть только одна ты. И больше никого.

И она подчинялась ему беспрекословно.

А на другой день Игната отвезли в районную больницу, в Козинку.

Пролежал он там две недели, но пальцы остались целы, лишь один указательный стал чуть-чуть кривым.

Трижды Тося ездила к нему в больницу, отлучаясь на целые сутки и ссылаясь потом на задержку при получении медикаментов. Так Тося начала лгать Федору. А он ничего не подозревал. Ровным счетом ничего. Он был счастлив, все так же немножко суров, все так же вечно занят.

Тося знала, что Федор верит ей и любит. Душа ее болела.

…Игнат приехал в Паховку среди дня. Он хотел сразу пройти на мельницу, но услышал четкие и такие знакомые выхлопы двигателя. Мельница работала. Он считал себя незаменимым, а оказалось, кого-то уже пригласили нового, оказалось, Игнат и не так-то сильно нужен в Паховке — могут вполне без него обойтись. Он не знал, что сразу же после его отъезда Сорокин «поднял бунт» на партячейке.

— Вы меня — что: в холуи к Игнату приставили? Есть Игнатка — есть мельница, нет Игнатки — нет мельницы. Да ты что ж, Иван Федорович, — официально обратился он к Крючкову, — так думаешь и дальше? Где ж у ва… (он хотел сказать «у вас», но опомнился). Где ж у нас соображение?

— Не надо волноваться, — спокойно остановил его Крючков. — Что ты предлагаешь?

— Я? Мельницу надо пускать, вот чего я предлагаю.

— Мало радости от такого предложения, — сказал Федор. — Мишу нашего надо попросить на недельку, а к нему придать ученика.

— Агронома на мельницу?! — возразил Андрей Михайлович. — Что он: на одно наше село, что ли, назначен?

— Не насовсем же его, а на три-четыре дня, — настаивал Федор.

Миша, не вставая и не отрываясь от газеты, коротко предложил:

— Володю Кочетова.

— А чего он смыслит? — спросил Матвей Степаныч.

— Будет смыслить, — тем же тоном ответил Миша. Он отложил газету и, обращаясь к брату, сказал: — Помнишь, Федя, как он на станции «обмирал» около трактора? За уши не оттащишь. Ну вот. Любит он машины. Сеялку, например, лучше его никто не настроит, жатку — тоже. Кто его обучал? Никто. Вот и давайте так: раз уж некому, то я денька два с ним позанимаюсь около двигателя, а там, посмотрите, сам будет работать не хуже Игната. Меня тоже не обучали этому делу, а захотел — научился. Вы думаете, уж такая сложная машина двухцилиндровый двигатель? Пустяки.

— От Игната отделаться было бы хорошо. Наломает он нам когда-нибудь дров. Не верю я ему ни на грош. Ангел до поры до времени. — Так сказал Андрей Михайлович, у которого сомнения Зинаиды не выходили из головы.

— Да и то сказать: как это так бел-свет на Игнате сошелся? Какой случай — и мельница опять стоять будет, — поддержал Сорокин.

— Дело ясное, — закруглил Крючков. — Берешь ответственность? — спросил он у Миши.

— Беру, — ответил тот, легонько толкнув локтем в бок Володю. — Берем, что ли, Вовка?

— Берем, — не задумываясь, заявил новоиспеченный механик.

— Горе мне! — воскликнул Матвей Степаныч. — Ну-ка да у Володьки ничего не получится!

— Не боги горшки лепят, — утешал его Федор.

— Хотя и не боги, а лепить их надо тоже умеючи. Без уменья-то и бог вошь не раздавит, а сперва прахтику пройдет, а потом уж разные там… чудеса.

Оттого, что эти слова были сказаны Матвеем Степанычем на полном серьезе, все рассмеялись. Но Матвей Степаныч счел долгом кое-что пояснить Володе:

— Я тебе, Володька, за то, что ты меня грамоте обучил, и сейчас могу в ноги поклониться, хотя ты и сопляком был. Помнишь, как мы с

тобой ругались тогда? И, конечно, ты — мозгун, слов нет. Но учти: я кое-что тоже стал понимать. Главно дело, в движке смазка, как человеку кровь, требуется. И горючее. Будет горючее поступать — будет движок работать, не будет горючее поступать — не будет работать. Сам увидишь — не брешу. И ты за этим должон смотреть.

Миша незаметно для Матвея Степаныча улыбнулся, закрывшись газетой.

А на второй день после приезда из больницы Игнат пришел вечером к Матвею Степанычу в хату и спросил:

— Так как же мне: выходить или не выходить на работу?

— Ты после больницы-то отдохни, погуляй маненько. Чего тебе торопиться? Пока можно не выходить.

Игнат догадался, что Матвей хитрит.

— А кто же там без меня орудует? — спросил он.

— Володя Кочетов. У-у! Мозгу-ун! Мозгун оказался такой, что хоть в аптеку ставь его.

— Я не сдавал двигателя. Как же допустили? — попробовал возразить Игнат.

— А чего его сдавать? Ты думаешь, уж такая сложная машина движок на две цилиндры? Пустяки оказалось, — ответил Матвей Степаныч словами Миши. — Ей-право, пустяки. Всего две цилиндры. И Володька молодец. Два дня с Михал Ефимычем, а потом — сам: пошел, и пошел, и пошел! Так что пока отдохни.

Озлобленный пришел Игнат Дыбин в свою хату. Он знал теперь: если уж Мотька Сорока так поет, то обязательно с Федькой и с Ванькой договорился. От тех добра не жди. Главное, пришло снова ощущение отчужденности, одиночества. «Лишний человек, лишний человек, никому не нужный», — сверлило в голове. Он лег на кровать вниз лицом.

Кто-то постучал в дверь. Игнат вскочил, прислушался. Стук повторился тихо и нерешительно. Он открыл дверь и… Тося стояла перед ним.

Огня они не зажигали. В эти минуты душевного опьянения ей и не приходил в голову ласковый и мягкий в обращении с ней Федор, а сердце занял только Игнат. После встреч с ним Тосе казалось, что с Федором у нее все было давно, давно и далеко, а вот с Игнатом все ярко, она ощущает это каждой частицей своего существа; и было

почему-то мучительно тяжко — она страдала и любила, она не жила, а горела; она пренебрегала разумом в то время, когда он ей особенно был нужен. Так в поисках счастья иногда люди гибнут, не замечая, как они пришли к этому.

В тот вечер нельзя было долго оставаться вдвоем (отсутствие Тоси могло быть замечено), поэтому Игнат не стал ее задерживать, когда она собралась уходить.

— Прошло минут двадцать, а мы ведь не произнесли ни одного слова, — наконец сказала Тося тихонько.

— Зачем слова! — тоже тихо воскликнул Игнат. — Теперь уже мне все равно… Все началось снова.

— Что — «все»? — спросила Тося, не поняв смысла последних слов.

— Лишний я и чужой человек для всех. Только ты у меня одна.

И опять не очень ясен был ответ Игната для Тоси. Она спросила:

— Почему лишний?

— Дали понять: освободили от мельницы… Снова одному против многих…

— Игнат, милый! Я знаю, ты остался один, знаю, сняли тебя с работы, знаю, ты одинок и горд. Я верю тебе. Верю, что ты никогда никого не убил, хотя и был в банде. Верю, что ты был тогда юным несмышленышем. Но… скажи мне откровенно: за что *они* (Тося так и сказала «они») так долго тебе не прощают? С тех пор прошло уже восемь лет, а ты для *них* — все враг. Почему?

— Врагом меня считают пять-шесть человек, — уверенно ответил Игнат. — Только коммунисты считают меня врагом… И я бессилен. У них власть, а у меня… — Игнат почти хрипел, — у меня… ничего…

Этот хрипящий, приглушенный и откровенно злобный голос, эти слова «коммунисты считают» и «у них власть» неожиданно обожгли Тосю. Так случается: ожидаешь в бане теплую и приятную воду из душа, а тебя окатит кипятком. Тося спросила с ужасом:

— Ты и теперь ненавидишь?!

Она получила откровенный ответ:

— Да. Ненавижу!.. А тебя люблю навечно. Одну тебя! Я ненавижу… а тебя люблю.

— А я не умею ненавидеть. Мне хочется, чтобы все люди были хорошими и добрыми. — Тося все больше волновалась. — Ты сказал

— ненавидишь. За что?

Игнат молчал.

— За что? — повторила Тося неотступно.

— За то… что жизнь моя изуродована… за то, что меня презирают, за то, что у них власть, а… — Игнат осекся.

— А у тебя нет? — решительно отрубила Тося.

— Я этого не хотел сказать.

— Но подумал?

— Не знаю, — увильнул Игнат, а Тося заметила это.

— Игнат! Скажи прямо: за что ты ненавидишь Крючкова, Федора, Матвея? За то, что они плохие люди, или только за то, что они — коммунисты?

Казалось, от этого вопроса нельзя было уйти, но Игнат опять увильнул:

— Пусть они меня перестанут ненавидеть, и я все забуду.

У Тоси уже выскочило из головы, что ей надо скорее уходить, она загорелась желанием что-то открыть, она начала в чем-то сомневаться, но все было настолько неясно и путано, что она в волнении даже не уловила второй «смётки» Игната, а приняла слова за чистую монету. Поэтому и сказала ему:

— Ты первый забудь и иди на мир.

Игнат снова чуть помолчал, видимо поняв, что разговор зашел слишком далеко, и вдруг неожиданно ласково приблизил ее к себе, поцеловал, погладил по голове и согласился:

— Забуду первый. Ладно. Послушаю тебя. Но никому, никогда тебя не отдам.

Тося вышла.

Игнат постоял-постоял у двери и сам себе сказал вслух с презрением:

— Фу, черт! Вынесло меня сорваться на злобу. Разоткровенничался, раскис от любви, тряпка!

Он зажег лампу.

Не более чем через четверть часа решительно вошел к нему Андрей Михайлович Вихров. Игнат вздрогнул. Он понял, что Андрей мог видеть Тосю выходящей из темной хаты. Но он не знал всего, что произошло.

А было так. Матвей Степаныч, проводив Игната из своей хатенки, накинул пиджачок и пошел к мельнице проверить сторожа и дать ему наказ построже (болела малость у него душа после разговора с Игнатом). По пути он увидел женскую фигуру, спешащую, будто скрывающуюся от кого-то; женщина шла не по дороге, среди улицы, как полагалось, а по-над амбарами, ныряя из тени в тень. Матвей Степаныч стал за угол одного из сарайчиков. Он видел, как Тося прошла мимо него в полутора метрах, приспустив платок, видел, как она, остановившись в конце улочки, пропала сразу. «Неужто же к Игнату?!» — мысленно ужаснулся Матвей Степаныч. Он, не долго думая, засеменил к Игнатовой хате, тихо подошел к задней стене, со двора, прислушался. Все было ясно. И огня нет. Матвей Степаныч привык в любом серьезном деле советоваться с Ваней, Федором и Андреем, вместе с троими или с кем-либо из них в отдельности. Ругая себя всякими словами за то, что он тогда не рассказал никому о том, что слышал от Тоси, он направился прямо к Федору. Но опять-таки, неожиданно для самого себя, завернул к Андрею и постучал в окно. Тот вышел в подштанниках.

— Андрей, дело нечистое, холера черная. — Он рассказал все, сбиваясь и путая время. — И тогда она, понимаешь, так и сказала: «Вы, говорит, звери». Дело — табак, Андрей. Да табак-то вонючий. Она ведь у него.

— Тихо. Матвей Степаныч, тихо, — осадил его Андрей и кинулся в хату.

Там он оделся, быстро вернулся обратно и вместе с Матвеем Степанычем направился к Ване Крючкову. Тот вышел, стараясь не разбудить дядю и его многочисленное семейство. Но когда по пути Андрей изложил суть дела, Ваня вдруг остановился, ухватившись за сердце. Андрей поддержал его за руку.

— Что с тобой? — спросил он участливо. — Замотался ты, Ваня, вчистую — надо бы отдохнуть, уехать, что ли, куда-нибудь на месячишко.

— Ничего, ничего. Это пройдет, Андрей Михайлович. Пройдет. Куда мы идем? — спросил Ваня.

В самом деле, куда они шли? Зачем? Почему Матвей всполошил всех из-за того, что чужая жена была у другого? Но Андрей Михайлович ответил:

— Надо подумать, куда нам идти. К Федору — нельзя.

— Ни под каким видом, — согласился Ваня.

— Зайдем ко мне в кабинет на минутку, подумаем, — предложил Андрей Михайлович (они были уже около сельсовета).

Зажгли огонь и сели в кабинете. Первый пыл слетел. Все были способны рассуждать. Начал Матвей Степаныч:

— Конешно, за бабой гонять нам — не ряд совсем.

— А вот говорить ли Федору? — спросил Ваня в раздумье.

— Убьет Игната, — коротко возразил Андрей Михайлович. — Как узнает, так и пристрелит. И — тюрьма.

— И тут — не просто «баба чужая», Матвей Степаныч. Тут жена друга и… замечательная женщина. — Эти слова были сказаны Ваней тихо и как бы в рассеянности. — Я хочу поговорить с ней лично. Сам.

— «Замечательная женщина»! Скажи ты пожалуйста! — Матвей хлопнул себя по коленкам в досаде. — Не разговаривать с ней надо, а чересседельником ее, паскуду, вдоль говядины и хрест-нахрест, холера черная!

В ответ на это Ваня только покачал головой. Андрей Михайлович резко встал и решительно сказал:

— Федор пока не должен знать. Игнат не должен встречаться с ней. Игнат пусть немедленно уедет. А потом ты, Ваня, можешь с ней говорить, что хочешь, и… как уж там, не знаю, как… Федору сказать. Горячий он сильно. Боюсь за него.

— А я верю в Федю, — возразил Ваня. — Он уже не тот, что был. И ты, и я, и он — не те, что были.

Они все посмотрели друг на друга и вдруг, как откровение в трудную минуту, поняли, что они стали выше и сильнее и уже не могли жить друг без друга; то была высокая дружба, когда не только дела общественные, но и их личные близки каждому из них.

Ваня продолжал:

— Надо помочь ему выдержать… А с Тосей я все-таки поговорю.

— А я *поговорю*… с бандитом. Сам поговорю, — злобно сказал Андрей Михайлович, видимо что-то решив. — Поговорю сам.

— Когда? — спросил Ваня, зная, что переубеждать в таких случаях Андрея Михайловича бесполезно.

— Сейчас.

— Пойдем вместе. Ты будешь *говорить,* а я покараулю. Около хаты потопчусь.

— Одному не доверяешь? — обиделся Андрей Михайлович.

— Нет, не в том дело. Игнат — человек решительный. Мало ли что он может вздумать… И безоружными нельзя идти.

А Матвей Степаныч рассуждал уже сам с собой:

— Главное дело, в милицию заявить нельзя — скажут: «Какое нам дело, чья баба и у кого ночует». На Игната подать тоже нельзя, потому дело это обоюдное: он берет, что ему дают. Начни жаловаться, скажут: «Личные счеты». Вот задача! Побить ее, конешно, нельзя — не старое время, — изменил первоначальное решение Матвей Степаныч. — Побей — авторитет лопнет, и скажут: «Бабу бил чересседельником». Вот холера черная!.. Должно быть, идите, ребята, к Игнатке-бандиту да приструните-ка его потихоньку, — согласился он наконец. — А там посмотрим. Приструните его пока без всякого там закону. А там видно будет.

…Ничего этого Игнат Дыбин знать не мог. Он, встретив Андрея, сразу понял, что разговор предстоит о Тосе, — иначе зачем ему заявляться поздно вечером туда, куда он и днем не зайдет.

Старые враги стояли друг против друга.

— Так, — сказал Андрей Михайлович вместо приветствия.

Игнат за словом в карман не полез:

— Когда не так, то — хуже. Хорошо, что хоть «так». Садись, товарищ председатель.

— Боюсь испачкаться.

— На мне грязь старая, сухая — не пристанет.

— А новой, свеженькой, нигде не заметно? На тебе и свежей грязи шмотки висят.

— А тебя что, ассенизатором назначили? — ударил Игнат первый сигнал к бою.

У Андрея заиграли на щеках красные пятна, скулы заходили. Он уперся взглядом в Игната, широко открыв глубокие глаза, сморщив лоб и чуть наклонив голову вперед; он был похож в ту минуту на быка, готового броситься в драку. Проговорил он сквозь зубы:

— Жалею, Дыбин, что я тебя не прикончил в свое время.

— Отвечаю теми же искренними чувствами! — воскликнул Игнат.

— Ты артиста не изображай. Хватит! Так вот слушай. Я виноват, что тебя принял в Паховку. Я виноват, что недоглядел за тобой, бандюгой. Но смотри! Я вину свою могу искупить сразу… в один щелчок.

— В таком случае я тоже могу принять на себя еще одну вину… последнюю.

— Спасибо за откровенность, — язвительно отпарировал Андрей Михайлович.

— Обоюдно!

— Ну-с… — Андрей Михайлович начал говорить с расстановкой. — Я тебе *приказываю*: сегодня же… ночью… оставить Паховку… немедленно.

Игнат не шевельнул бровью. Он спокойно сказал:

— Ладно. Но только я зайду по пути в милицию и доложу все, как было. На чьей стороне, думаешь, закон? На моей, товарищ председатель. Я ничего плохого не сделал после отбытия наказания в лагерях. Тебе же и припишут превышение власти. Закон есть закон.

— Тебе не поверят. Нас никто не слышит. Понял?

— Понял, — угрюмо и зло ответил Игнат. Он действительно понял, что дело принимает крутой оборот.

— Если не понял, то… — Андрей вынул из кармана наган и перебросил его из ладони в ладонь. — Наша с тобой игра, Дыбин, давняя. Знаешь сам: не испугаюсь.

Игнат ни разу еще не стал к Андрею спиной, а тот тоже не спускал с него глаз.

— Чего от меня хочешь? — спросил Игнат.

— Брось Тоську. Не трожь! И… уходи! Добром говорю, — и он легонько потряс револьвером.

— Если она останется здесь — не уйду, — отрубил Игнат.

— Убью.

— Конечно, и я — могу. Мне все равно. И тоже не испугаюсь. Нас никто не слышит, — повторил он слова Андрея Михайловича. — А сейчас ты меня не тронешь. Это не двадцатый год — отвечать будешь крепко.

— Да я согласен за тебя отсидеть двадцать лет, только бы ты не вонял на земле. Соображаешь, как ты засел мне в печенках? Только бы не вонял на земле — на все согласен.

Это оскорбило Игната. Он рванулся к Андрею, но, увидев дуло нагана, сел на кровать, а потом лег навзничь. Под тюфяком, слева, лежал наган, но Игнат и не шевельнул рукой, зная, что это движение не ускользнет от Андрея.

— Я сказал все, — коротко заключил тот и повернулся к двери.

Был очень удобный момент для Игната. Но он не пошевелился — нельзя было: закрыв глаза, он отчетливо услышал, как хрустнула за стеной хворостина. «Кто-то еще с ним, — подумал Игнат. — Один, значит, боится».

Андрей вышел. Игнат сразу же потушил огонь и прильнул к окну — ему очень хотелось узнать, кто же был второй. Но на улице никто не появился — шаги удалялись за задней дворовой стеной, — значит, «гости» уходили через огороды.

…Ваня спросил у Андрея Михайловича:

— Так и сказал «если останется — не уйду»?

— Так и сказал, сволочь. Ой как хочется прикончить эту гадину! — воскликнул Андрей Михайлович.

— Не надо говорить глупостей, — осадил его Крючков. — Как будто у нас нет закона. Ты — власть на селе, а говоришь черт знает что.

— Да понимаю я это отлично. Только уж так — утешаю себя словами.

— Что же делать? Как помочь Федору? — думал вслух Ваня. И вдруг его осенила мысль: — Знаешь что, Андрей Михайлович?

— Что?

— Нашел выход! Тосе надо уехать в город. Обязательно. Дыбин туда не заявится — его не пропишут в областном городе. Нам нельзя оставлять все это в таком положении. Сам видишь: вот-вот начнем с колхозами, нужна воля и спокойствие, а мы будем вынуждены смотреть, как Федор… Да и мне… больно, Андрей… А Дыбин будет злорадствовать.

— Ты, Ваня, говоришь о Тоське как о бессловесной и безвольной. А если она не захочет уехать? Если она уйдет к Игнату?

— Вот и надо с ней поговорить.

— Пожалуй, поговори, — согласился Андрей Михайлович. — А я с Зинаидой посоветуюсь. Женщины насчет этих дел «грамотнее» нас намного.

Когда они проходили мимо хаты Земляковых, то заметили — на крыльце сидели двое.

— Добрый вечер! — сказали Ваня и Андрей Михайлович в один голос.

— Добрый вечер! — ответили Миша и Анюта.

— Давно бы уж свадьбу сыграли, а они все сидят до полуночи, — пошутил Андрей Михайлович.

С крыльца не возразили.

— Ваши-то спят? — спросил Ваня.

— Нет. Чего-то все разговаривают вполголоса, — ответил Миша.

«Ну как она с ним теперь лежит?! — ужаснулся Ваня мысленно. — Неужели и теперь обманывает?» И стало ему от этой мысли больно.

Но Тося и сама мучилась этой ложью. Она не была из тех, кто может легко скрывать от мужа свою побочную любовь. Она была готова сказать прямо и честно, если бы… Ах, если бы Игнат не говорил так сегодня! Если бы он вгорячах не сорвался со своей неуемной злобой и ненавистью и не приоткрыл своей сущности, Тося прямо и сказала бы Федору: «Я люблю Игната и уйду к нему». Но неожиданно она чуть-чуть, еще совсем неуверенно, заглянула внутрь человека, и ей стало страшно и больно. Сердце после этой встречи ныло и ныло, душа болела. О чем же говорить Федору? А говорить надо. Иной раз ей хотелось броситься к мужу, обнять его, потом стать перед ним на колени и кричать: «Федя! Спаси меня! Спаси!» Но… она не сделала этого, а, наоборот, отвергала его ласку. Ей было даже обидно, что он не ревнует ничуть, не видит страданий.

И в тот вечер, когда она пришла от Игната в смятении, Федор сидел, читая книгу и поджидая жену. За чаем он сказал многозначительно:

— Ну, Тося, наступает для нас нелегкое время…

— А разве оно было легким? — перебила она.

— Не было. Но подходят дни настоящих испытаний наших сил — на что мы способны. Читали сегодня письмо обкома партии: коллективизация уже началась. Начнем скоро и мы. Будет… — Федор подумал, подумал, подбирая слово, и сказал: — Будет бой, Тося.

— А при чем же тут я?

Федора удивил такой вопрос.

— Как так — «при чем»? Никто не может остаться в стороне. Все люди в селе разделились на два лагеря: одни с нами, другие пока против нас. Или — ни туда ни сюда, качаются из стороны в сторону. Кто против нас, они — с Дыбиным и Сычевым, они всеми десятью пальцами уцепились за старое.

— Что с ними будет, если они с Дыбиным? И что хочет Дыбин? — спросила она, пересилив себя.

— За тех, кто «ни туда ни сюда», будем бороться долго. Им ничего и никогда не будет плохого. Дыбин — враг. А что он хочет — надо спросить у него самого. Сейчас он играет в одиночество, а придет время, покажет зубы. Годами будет сидеть тихо, а дождется момента — продаст и предаст все и вся. Мы-то уж его знаем. «Предавший однажды предаст и второй раз», — сказано в Писании. Правильно сказано для верующих и неверующих.

Тося неожиданно разрыдалась. Федор недоумевал. Он пытался утешить, узнать причину, пытался приласкать ее, но она ничего не сказала (говорил только Федор) и легонько отводила его руку.

Именно в те минуты Миша про них и сказал с крыльца: «Чего-то все разговаривают вполголоса».

А когда Миша вошел ночью в хату, было уже тихо. Казалось, в семье все спокойно. Но Тося и Федор в ту ночь не сомкнули глаз. Разрыв обнаружился, как огромная трещина, через которую уже не перепрыгнешь.

Глава седьмая

Матвей Степаныч ворочался, ворочался с боку на бок, кряхтел, кряхтел да и выпалил наконец, не стерпев:

— Ну-ка, Матрена, проснись! И откуда только у тебя покой взялся?! Спит как в прорву, конца-краю не видать.

— Ты чего вылупился? — огрызнулась она спросонья. — Ночь-ополночь баламутишь.

— Погоди-ка. Сон, он как богатство: что больше спишь, то больше хочется. Разгуляйся маненько… Ну так, вот так. Сядь-ка. Слушай, что буду говорить. Но только смотри: умри — никому ни гугу.

Всякая тайна действует на женщин магически, и Матрена Васильевна не была исключением — любопытство взяло верх, а сон улетел из хаты на весь остаток ночи. Матвей Степаныч горестно рассказал жене все подробно, начиная с первого посещения больницы, когда он ходил туда с запиской Игната.

— Ну что делать? Что делать? Ума не приложу, — заключил он.

— Ой, Федя! Ой, соколик! — почти застонала Матрена Васильевна. — Как-то он теперь узнает! — Она задумалась, сидя на кровати рядом с мужем.

— А ну-ка да Игнат не уйдет из Паховки? — спросил Матвей Степаныч. — Что тогда будет? Кровопролитие может случиться — вот что будет. Допустить никак нельзя.

Матрена неожиданно воскликнула:

— Деготь!

— Что-о?

— Деготь! Дверь — дегтем у больницы.

— Спятила на старости лет. Совсем рехнулась.

— Вы, все трое, спятили, — возразила она. — Разве ж Игнат так уйдет, если огласку не дать?

— А Федор?

— И Федор должен знать. Вы его, значит, охраняете? Ишь ты! От чего охраняете? Эх вы, недоумки!.. А если дегтем намазать да сразу дать знать Игнату, то — как ветром сдует.

— Да зачем же дегтем-то? Не пойму.

— А затем: Тоська позор поймет и тоже уедет… Любит если Федора, вернется после. Не любит — катись ко всем кобелям.

— Да Федору-то, Федору-то как, старая дура? — уже закипятился Матвей Степаныч.

— Ты мне такие слова не говори, Матвей. А то… — она замахнулась на мужа.

— Не буду, не буду! — Он торопливо отодвинулся, от греха подальше. — Ладно уж, не обижайся. Душа ж болит, Матрена.

— Вот так и давай говорить, по-хорошему, — смирилась та.

— Ну давай по-хорошему.

— А Федор переболеет, перемучается… Как же иначе? Трудно ему. — Матрена Васильевна вздохнула и приложила к глазам край одеяла. — Трудно ему будет. Ну он ведь — двужильный. Сдюжит. —

Она встала, надела платье, накинула жакетку. — Пойду-ка я, Матвей, сама расправлюсь. Ночь темная — глаз коли. Где логунок с дегтем?

— Ты куда? — крикнул Матвей Степаныч. — Не пущу!

— Не надо кричать, — спокойно сказала она. — Все должны знать, все село. И сразу же. Разрубать надо с одного маху. На Федора позору нету — он чист. А Игнатку, гада, ославим.

— А Тоська? — недоумевал Матвей Степаныч.

— Она? Ей своей хребтиной отдуваться: каталась — пусть санки везет. А Федора я в позор не дам. Вы ведь, мужики, не понимаете в этих делах ни на воробьиный коготок. В умных делах вы умные, а где сердцем — сердцем «бабе-дуре» решать. Сиди тут и жди. — И она вышла.

Матвей Степаныч кое-как натянул впопыхах брючишки, выскочил за ней вслед, пытаясь на ходу застегнуть пуговку (что ему никак не удавалось), забежал наперед и закричал неистово:

— Не позволю! Это что-о? Это тебе — не старое время! Наза-ад!

Матрена редко видела его таким, но знала — он не отступит, знала — в таком виде он непобедим, этот маленький человек. И она оторопела.

— Не ори… Не ори ты… Люди услышат.

— Знать ничего не знаю! Наза-ад!

И могучего сложения жена послушно сдалась перед щуплым мужем. По мнению Матвея Степаныча, это расхождение иначе не могло быть решено.

Когда они вошли в избу и Матвею Степанычу все-таки удалось застегнуть пуговку, он сказал уже примирительно:

— Говорила — по-хорошему, а сама на свой аршин… Как при царе: дегтем ворота… Не сметь! Мы же теперь — люди! Люди, Матрена. Понимаешь? Люди мы, а не… — Он вспомнил первую строку букваря «Мы не рабы. Рабы не мы», но счел неуместным сейчас произносить громкие слова, а ограничился простым увещеванием: — Не мне говорить про это и не тебе слушать. Разве же можно так? Ай-яй-яй! Умная женщина, а сплоховала. Ну давай по-хорошему. Не серчай уж, пожалуйста.

— Не могу я спокойно смотреть, как вы от Федора скрываете, — беззлобно сказала она, садясь на лавку.

— Да мы и узнали-то только нонче вечером. Понимаешь, только вот-вот узнали. Но ведь можно и Игнатку ославить и Федору сказать без всякого дегтя.

— Пойду-ка утречком к Зине. Посоветуюсь, — окончательно примирилась Матрена Васильевна.

— Вот это — дело, — обрадовался Матвей Степаныч. — Зинаида, она с умом. И ты с умом. Ум — хорошо, а два — лучше.

…Утром Тося пришла в больницу, как и обычно. К удивлению, ее поджидали, сидя на завалинке, Матрена Сорокина и Зинаида. Ей стало не по себе, но она пыталась улыбаться и спросила шутя:

— Самые здоровые пришли в больницу. Или заболели?

— Голова, Тосенька, голова разболелась, — ответила Матрена Васильевна. — Почти всю ночь не спала. И сны какие-то вещие вижу, страшные.

Все втроем прошли прямо в горенку, где Тося принимала больных. Она пригласила их сесть. Зинаида, не давая возможности Тосе расспрашивать Матрену о болезни, заговорила первой:

— А какие же сны видишь, Матрена Васильевна?

Все получилось так, как они заранее наметили.

— Аль уж рассказать вам нонешний сон-то?

— Что ж, расскажите, — по долгу вежливости согласилась Тося. — Но только в сны я не верю и…

— Да и я, может, не верю, — перебила Матрена Васильевна, — но сон-то какой-то жуткий. — И продолжала без передышки: — Вижу, стоит скирда соломы, агромадная такая и рыхлая, только-только съетаженная. А из той соломы, из скирды, значит, вылезает стройная такая женщина. Гляжу, гляжу я на нее, а это — ты, Тосенька. И такое у тебя обличье светлое, как у райского ангела. Как мы про тебя думали, так ты и приснилась.

Тося побледнела. Обе «пациентки» это заметили.

— Глупости все это, — отвернувшись к окну, будто безразлично вмешалась Зинаида.

— И я тоже думаю — глупости, — поддержала ее рассказчица. — Ну раз уж начала, дайте досказать. А чего ж ей и не присниться так хорошо? Муж у нее — таких в губернии не сыщешь, работа — все при всем, как и полагается. Два жалованья получают. Конечно же, глупости, сон-то. Ну все-таки я доскажу. Та-ак. Смотрю, значит,

дальше. Вылезает из той соломы… кто бы вы думали, бабоньки? — вылезает… Игнатка-бандит! (Тося стала спиной к Матрене Васильевне, но видно было, как мелко дрожали, широкие рукавчики ее кофточки.) Вылезает, значит, Игнатка — но не весь, а по пояс — и манит тебя ладошкой, зовет. Улыбнулась ты ему, идолу, и полезла в солому. Полезла, значит, в солому. Долго ли там была, не знаю, но только вижу: вылезаешь обратно вся черная-черная, ажно черно-синяя, как из ада. «Ах ты, бандюга, думаю! Из ангела черта сделал». И давай солому рыть. Роюсь, роюсь — пропал Игнатка, как провалился. Нету! А ты стоишь как неприкаянная. И народ откуда ни возьмись собрался и смотрит на тебя, злобится почему-то. А тут скирда загорелась — пожар вроде. Что дальше было, не видала — проснулась. Проснулась ополночь да так и не уснула — все о тебе да об Игнатке думала. И скажи ты пожалуйста — Федора-то и во сне не увидала. А…

— Перестаньте! — дико вскрикнула Тося. — Перестаньте! — Она бросилась вниз лицом на топчан, обхватив голову руками.

Тося поняла все. Поняла, что сон выдуман, поняла, что они знают все, поняла, что они пришли по этому делу, пришли добавить к ее страданиям новые.

Обе женщины молча смотрели на Тосю и ждали. Лицо Зинаиды посуровело. Плотной косой, собранной на макушке в четыре витка, она оперлась о стенку, скрестив руки и выпрямившись. Матрена Васильевна ссутулилась и как-то сразу постарела; концом белого в горошек платка, которым была повязана, она прикоснулась к глазам. Потом подошла к Тосе, чуть постояла около, присела к ней и положила руку на ее плечо. Но Тося резко встала и тут же снова села рядом с Матреной Васильевной и прямо посмотрела на нее. Затем снова перевела взгляд на Зинаиду, чуть задержалась на ее суровом в этот миг лице, опустила голову и беспомощно, тихо спросила:

— Что вам от меня надо?

Казалось, она и не ждала никакого участия, а внутренне собралась в комок и уже была готова выслушать безжалостные упреки и любые поношения. Зинаида сердцем поняла ее состояние. Она тоже подошла, села по другую сторону от Тоси и спросила:

— Попала в лапы к Игнатке?.. Не отвечаешь. И не надо. Сделает он из тебя половую тряпку и выбросит на задворки… Любишь? — спросила она без обиняков.

— Люблю, — решительно ответила Тося. — У вас что, есть расписание — кого полагается любить, а кого ненавидеть? Может, прикажете смотреть на человека вашими глазами?

— Есть такое расписание, — ответила Зинаида.

— Есть, — подтвердила Матрена Васильевна. — Есть. Честного любить, а подлеца ненавидеть. Такое у нас расписание, девонька. Исстари так заведено. Вот и живем по этому расписанию.

Зинаида задала Тосе сразу несколько вопросов:

— Ты что ж, Тося, не видишь, какой он коршун? Не заметила в нем злобы?

Тося сжала ладонями виски и, казалось, не слышала вопросов. Она только спросила:

— Федору сказали? Он знает?

— Пока не знает, — ответила Матрена Васильевна. — Но должен знать. Ты ему сама обо всем расскажешь.

— Я? Сама?! — с ужасом спросила Тося.

— Ты. Сама, — жестко ответила Зинаида. — А ты думала как? Ты думала, тебе страданье, а он — не человек? — Зинаида волновалась и повышала голос. — Ты, может быть, не знаешь, сколько он выстрадал и вынес? Знаешь! Знаешь! Но только сейчас ты слепая — ничего не видишь. Ты приехала в село и не видишь, чего хочет Игнатка и чего хочет Федор, что стоит Игнатка и что стоит Федор.

— Заметил он ей глаза, ирод, вот она и свихнулась, — подвела итог Матрена Васильевна. — Мужик он вон какой, завидный. Вот и ошиблась.

— Да стихи тебе небось читал, да на гитаре небось играл, — добавила Зинаида, не прекращая атаки. — Как же: несчастненький, гонимый всеми, одинокий. Эх ты!.. Овечка несмышленая… пожалела волка.

Тося молчала, не отнимая ладоней от висков. Зинаида тоже умолкла, Матрена Васильевна глубоко вздохнула и проговорила будто для самой себя:

— Эх-хе-хе! Вот ведь как можно влипнуть… Ай плохо… Ай плохо… — Потом к Тосе: — Ты слушай-ка хорошенько, что скажу. — Она отняла ладони Тоси от головы, повернула ее лицом к себе и так, глядя в глаза, сказала: — Как только Федор узнает, так и пристрелит Игнатку.

Тося задрожала всем телом. А Матрена Васильевна продолжала:

— Либо Игнатка изничтожит Федора. У них счеты давние. Ты понимаешь, девка, что ты наработала? Дрожишь? Горько? То-то вот и оно, что горько! — Она обернулась к Зинаиде, выпустив голову Тоси: — Говори теперь ты, Зина.

— Тебе… надо… уехать, — с расстановкой, почти тоном приказа сказала Зинаида. — Сразу же. Расскажи Федору и — уезжай. Или, пожалуй, напиши ему письмо и сматывайся.

Тося проглотила ком, застрявший в горле, и хриплым голосом, уже в полном бессилии заговорила бессвязно:

— Я не могу сказать Федору… Мне его жаль… Игната я… люблю. Он несчастный… Он станет другим человеком… Я… Мне… Я не знаю, что делать… У меня горит голова… Не надо никого убивать… Не надо!.. Я не знаю, что делать… Не убивайте никого…

— Уезжай, — твердо сказала ей Матрена Васильевна. — Одно спасенье всем вам троим: уезжай. На стороне там обдумаешь, решишь. Добра желаючи, советуем. Затем и пришли.

Кто-то вошел в переднюю комнату. Зинаида сорвалась с места и, приоткрыв дверь, бросила туда:

— Приема не будет. Врач болеет.

Хлопнула дверь в передней, потом — в сенях. Можно было и продолжать разговор, но оказалось, нечего говорить — все уже сказано.

В голове у Тоси мелькало: «Может случиться беда, а я — этому причиной. Кто-то может быть убитым. Они ведь знают характер Федора, иначе так не говорили бы… Если уехать, то оба будут несчастны — Игнат и Федор. Но разве Федор не „решит“ Игната и в том случае, если меня не будет?»

Домой, в хату Земляковых, они шли все втроем. Знали — Федор на работе, Миша в поле, дома никого нет. Так Тося и брела туда, куда шли ее спутницы, и делала то, что они приказывали делать, — она лишилась и без того некрепкой воли. Она уже безразлично смотрела на соломенные крыши и облупленные стены саманных хат, когда-то вызывавших у нее смешанное чувство жалости к людям, живущим на этом клочке степи, и страха перед бедностью и темнотой. Она не знала деревни совсем, никогда в ней не жила. И вот приехала сюда, полюбила всем сердцем, всем существом человека, которого все

близкие ей люди ненавидели, и оказалось, любить-то ей нельзя. Она никогда не ненавидела и не презирала никого в отдельности. Когда-то антоновцы убили ее отца, но она их никого не знала в лицо, поэтому ненависть ее была вообще к антоновцам. С годами это чувство затуманивалось и угасало. Но ведь Игнат убедил ее, что у антоновцев он не был, что никого не убил, что участие в оглоблинской банде — это его ошибка юности, за которую он расплачивается всю жизнь. Тося верила ему сердцем. Перед ней стал вопрос: «Неужели в отношениях с Игнатом только жестокость руководила Федором?» А другой голос говорил ей: «Но ведь и Игнат сказал, что ненавидит Федора, — значит, Игнат тоже жесток к Федору. Почему они непримиримы? Неужели „бывшие“ и такие, как Федор, люди вечно будут ненавидеть друг друга? На что же похожа будет жизнь на земле? Где же добродетель и справедливость? И что такое — справедливость?» Тося сама себе задавала вопросы и не находила ответа, потому что в любви к Игнату она пропустила мимо все, что делалось в деревне. Даже работа Федора иной раз казалась ей не очень уж важной. Мало ли кооперативов по всем селам, и в каждом есть счетовод. Обыкновенный счетовод. Федор хочет проводить коллективизацию, его считают одним из вожаков, но ведь и Игнат говорил ей, что он тоже за колхозы. Так Тося, любя, искала примирения в самой себе и среди людей в то время, когда люди готовились к решительному бою. Она запуталась и разрывала душу на части. Ах, если бы не разговор с Игнатом в тот последний вечер! Если бы не закралось сомнение в ее душу после разговора с ним! Тогда она пошла бы сейчас прямо к Игнату и осталась у него — будь что будет.

Но в памяти вставало искаженное злобой лицо Игната, такого она еще ни разу не видела, и слова беспощадной ненависти. Она любила и не знала, что же ей делать и как поступить. Неожиданно пришла мысль: «Если я уеду, то Игнат все равно меня найдет — он любит меня».

Когда все три женщины вошли в хату Земляковых, Зинаида достала из-под кровати чемодан Тоси и сказала тоном, не допускающим возражений:

— Укладывайся. Собирайся. Пиши Федору письмо. А ты, Матрена Васильевна, скажи Виктору Шмоткову, чтобы быстро запрягал кобылу и — сюда. До станции поедет. Тебе куда ехать? — спросила она Тосю.

— Мне? Я не знаю куда. Родных нет никого. Нигде нет. Поеду в область, к Василию Васильевичу в больницу.

Губы у Зинаиды чуть дрогнули, брови поднялись вверх. В самом деле, куда она поедет? «Родных никого нет. Нигде нет». Она подошла к Тосе, погладила по голове и зашептала:

— Ошиблась ты, Тося… Ошиблась. Не серчай на меня. Я знаю, я выстрадала сама, я свою любовь отвоевала сама. Поедешь — подумаешь. Только побереги Федора — уезжай. Ты его уже не любишь… Дай ему перемучиться… выдержать.

Ни Тося, ни Зинаида не плакали. Тося лишь прижалась к груди Зинаиды, положив руки на плечи. Так и стояли две женщины. Обе теперь понимали друг друга. Но Тося не понимала самое себя. Ей сейчас показалось, что она не может воевать за свою любовь, как Зинаида, что у нее все сделается само собою: она уедет, Игнат найдет ее и будет с ней жить. Он же сам сказал: «Никому тебя не отдам». Все вроде бы просто, но… Федор! Слова Зинаиды звучат в ушах: «Дай ему перемучиться… выдержать». И так захотелось сказать Феде одно слово, единственное слово, но всей душой — «прости». Она села за стол и написала короткую записку:

«Федя! Я уехала. Так надо. Прости! *Тося»*.

Сложила бумажку вчетверо и отдала Зинаиде. Потом подписала чистый лист бумаги и тоже отдала ей со словами:

— Для приемо-сдаточного акта. Перепиши имущество на пункте.

…Когда Виктор Шмотков, нахлестывая клячонку, выезжал уже из села, Тося остановила его, сошла с повозки и прямо подошла к избе Игната. На двери висел замок. Она чуть постояла, вернулась, села и сказала:

— Все. Поехали.

Не знала она, что Игнат в тот день сидел у Сычева и видел из окна, как Тося вместе с Зинаидой и Матреной прошла к Земляковым, как подъехал Виктор на запряженной уже обросшей и отсочавшей на летней траве шустрой лошаденке, как Тося села в повозку и уехала. Он видел все и понял все, но ничего не пытался предпринять. Только одно слово услышал от него Сычев в тот день:

— Водки!

Сидел он и пил, пока тут же не свалился и не уснул на полу. Семен Трофимыч посмотрел-посмотрел на него, передвинул в угол, как мешок с костями, подложил под голову пиджак и подытожил:

— Эх ты! «Борец»! Баба разум вышибла.

…Иван Федорович Крючков дважды подходил к медпункту, но каждый раз видел только замок. Лишь перед вечером он застал там Зинаиду: она уже составила список немудрящего оборудования и медикаментов и написала приемо-сдаточный акт («Сдано председателю сельсовета в присутствии зав. библиотекой»).

— Где Тося? — спросил он.

— Уехала, — ответила Зинаида.

— Как так уехала?

— Так и уехала. Села и уехала. Раньше нас сообразила, что делать.

— То есть как же так?

— Очень просто. Не поминайте лихом.

— Вот так — сразу… — он развел руками в недоумении. Сел. Посидел в задумчивости, покачал головой и с тоской сказал: — Вот все и кончилось.

— А может, только начинается, — возразила неопределенно Зинаида. Она спросила: — Где Игнат?

— Не знаю.

— А надо знать.

— Надо. Обязательно.

— Федор в кооперативе?

— Там.

— Пока не говори ему, Ваня. Скажу сама. Сама скажу. Сама! — Зинаида не выдержала — зарыдала.

Ваня, как мог, пытался ее утешить. Она утерла слезы. Больше она не заплачет, ей нельзя плакать, ей надо держаться крепче, она нужна Федору сильной и стойкой.

Федор пришел в тот день рано, вовремя. После беспокойной ночи и слез Тоси его тянуло домой. Дома никого не было. Он решил сходить за Тосей, но, выйдя на крыльцо, увидел Ваню и Зинаиду.

Зинаида, заметив Федора, остановилась, но потом решительно вошла в дом.

— Раненько мы с тобой сегодня пошабашили, — сказал Федор Ване.

— Не каждый же день до десяти сидеть.

— Заходи, Ваня, поболтаем, отдохнем.

Они тоже вошли.

— Что-то Тоси долго нет? — спросил, ни к кому не обращаясь, Федор, — Либо на дом к кому вызвали?

— Ее и не будет, — спокойно ответила Зинаида.

«И откуда у нее такая воля и сдержанность!» — подумал Ваня.

— В район выехала? — переспросил Федор. — Тогда почему же меня не предупредила? Нехорошо так.

— Совсем уехала… Навсегда! — рубанула Зинаида.

— Не шути, Зина. И без того что-то на душе неладно, а ты…

— Не шучу. — Она подала Федору записку Тоси.

Он пробежал бумажку глазами, посмотрел на сестру, потом на Ваню, не верил.

— Федя! Друг! — обратился к нему Ваня. — Все правда: уехала. Найди мужество…

Федор встал. Глаза его забегали по комнате, он подошел к кровати, поднял край приспущенного одеяла и увидел, что чемодана нет. А фотокарточка ее висит на стене рядом с тем вышитым платочком, что она когда-то прислала с Ваней в подарок. Он снова сел, опершись локтем о стол. И сразу в голове встали последние месяцы жизни с Тосей, ее супружеская холодность, недомолвки, замкнутость и вчерашние слезы; он понял, что с Тосей что-то неладное творилось, чего он в сутолоке и постоянной напряженности не заметил, просмотрел. Но что с ней, он еще не понимал, не догадывался. «Муж узнает последним», — говорят в таких случаях. Федору мерещилось другое: ему казалось, что Тосю задавила непривычная деревенская жизнь и она поняла якобы, что жить здесь не может, и честно ушла, любя его и страдая; а он жил борьбой за новую деревню, забыв о жене, будучи убежден в неразрывности их отношений. Как все оказалось сложно!

Ваня и Зина ждали вспышки, ждали проявления «характера» Федора, горячего и, как бывало иной раз в прошлом, безрассудного. Они приготовились ко всему. К их удивлению, Федор молчал. Он на какое-то время ушел в себя, смотрел на себя изнутри, как это бывает

только в минуты тяжких потрясений. Потом он может вскочить, схватить табуретку и ахнуть ее об пол, и тогда держись, не попадайся под руку никто. Но ничего этого не случилось. Он, все так же глядя в одну точку, спросил:

— Рассказывать будете?

— Страшно рассказывать, Федя, — ответила сестра.

— Все равно рассказывай.

— С Игнатом спуталась она, — выдохнула Зинаида. — Жила с ним, как с мужем… И уехала… от стыда, что ли… Может, по честности уехала…

Не сразу дошли эти слова до Федора. Но вот он встал, подошел к Ване, сжал ему до боли плечо и проговорил с дрожью и ненавистью:

— Он же, гад, теперь в душу мне залез грязными лапами! Что ему за это? А? — Он забегал по комнате из угла в угол. — Убить его мало.

— Руки пачкать не стоит, — осторожно возразила Зинаида.

— Убить и дурак может — дело нехитрое, — поддержал Ваня. — Ты сначала подумай. Может быть, и ты в чем-нибудь виноват, Федя?

— Да, виноват! — ответил он, не останавливаясь. — Виноват. Виноват в том, что в двадцать первом не придушил Игната. А можно было бы. Просмотрел. Недоглядел… Ну, потолковать с ним надо. У-у, вражина!

— А Тосю ты не проглядел? — строго спросил Ваня, смотря на друга. — В душу ее заглянул? Хоть раз подумал о том, что она пошла за тобой не оглядываясь и что ее надо было пока вести за руку? Не подумал, что дело находит нас и в воскресенье, а она среди нас была одинокой? — Ваня спешил высказаться. — Может, ты и встречался с ней только на постели, да и то не всегда, если дела были ночью? Все мы проглядели. Все в ответе.

— Не терзай, Ваня. Не надо. — Федор сел и беспомощно опустил руки. — Никто из вас тут не в ответе. Я да Игнат: двое в ответе. — Неожиданно Федор вскочил, набросил пиджак и фуражку, подошел к двери и спросил, оборотившись: — Когда уехала?

— Часов в десять, — ответила Зинаида, — Почему мне не сказала сразу?

— Боялась, Федя.

— Думала, укокошу Тосю? Да я… я… сам пять раз могу за нее умереть, хоть она и… сволочь.

— Боялась за тебя, — оправдывалась сестра.

— Струсила. Испугалась… Впрочем, почему же она — сволочь? Просто для нее я — ноль… — И он вышел.

Зинаида и Ваня переглянулись. Ваня направился было за Федором и спросил:

— Куда?

— Оставьте меня. Похожу один.

Федор ушел в переулок и вскоре оказался в поле. Ночь была тихая и облачная. Луна ныряла из облака в облако, то освещая землю, то скрываясь от взглядов людей. Июньская ночная свежая теплынь пахнула на него от ржи. Перепела изредка отчеканивали свое «спать пора». Где-то вдали, в ночном, нестройно пели хором ребячьи голоса. Федор что-то силился вспомнить, что-то надо было осмыслить, какой-то случай в этом поле, казалось, произошел или произойдет. Когда это было? Да! Это было в тысяча девятьсот двадцать первом году. В этом поле семнадцатилетним юношей он встретился с Васькой Ноздрей. Тогда была гроза и был дождь. Потом он тогда вернулся к умершей матери и убитому горем отцу… Потом он застрелил в бою Ваську Ноздрю. Все это было. Жизнь прошла в огромной борьбе в маленькой Паховке… И еще лезли в голову обрывки мыслей: «Решить Игната — дело нехитрое: пришел в хату и… готово… но так вот, из-за угла, делают только трусы и предатели… Не годится». «Не стоит пачкать руки», — вспомнил он слова Зины… Вопрос встал перед ним неожиданно, как удар по затылку: «Неужели же я хуже Игната, если она меня разлюбила?» И тогда вкралось чуждое ему раньше ощущение неполноценности, вызванной пренебрежением любимого человека… Потом ему до боли захотелось видеть Тосю. Он считал ее частью самого себя и поэтому, может быть, не думал о ее душе за все эти месяцы, как не думал о самом себе, утонув в делах. Но оказалось, он-то не был частью Тоси, как она была для него. У нее была своя жизнь с самой осени прошлого года, со времени приезда… «Догнать!» — мелькнуло в голове. Он находился уже близко от табора ребят в ночном, он слышал уже их говор и смех, он хотел было сесть верхом на любую лошадь и мчаться за Тосей, но вспомнил слова Зины: «Часов в десять уехала»… Поезд теперь ушел. Нет Тоси… И не будет. А Игнат остался. К нему надо — лицом к лицу! «Еще посмотрим, кто прочнее нутром», — подумал он и гордо выпрямился. Так он постоял несколько

минут и направился обратно в Паховку уверенной и твердой походкой. Шел так, будто уже точно знал, что он должен делать.

К хатке Игната он подошел в глухую полночь. Замка на двери не было — значит, дома. Постучал в окошко резко, как перед бедой. Хозяин с похмелья прохрипел:

— Кого черт носит?

— Черт к черту меня принес. Открывай!

Игнат растворил окно, выглянул и отшатнулся, узнав Федора.

— Зажигай-ка огонь. Давний твой «друг» прибыл «в гости». Встречай чем бог послал. — Голос у Федора был в тот момент твердый, властный и четкий. Но хата ответила молчанием. — Аль испугался, «герой»? Трусоват, трусоват, господин бандит. А открывать надо — ничего не попишешь: будем «беседовать».

Послышался голос Игната:

— Боюсь, что храбрый не выйдет из хаты трусоватого. Ты… лучше… уходи. Мне ведь все равно.

— А ты прямо из окна. Тебе ведь все равно, что из-под утла, что за углом.

Неожиданно окно захлопнулось, Игнат зажег лампу и, открыв дверь, стал на пороге.

— Только помни, — сказал он, — хлеб-соль у меня из дырочки подается на стол для таких дорогих гостей.

— А ты, хозяин, не стращай, а то я уж чую, как испуг наружу выходит. Угрожаешь — значит боишься. Ясно.

Федор вошел в хатку первым, окинул ее взором и сел за угол стола, без приглашения, как дома. На Игната он смотрел презрительно и, казалось, насмешливо. Игнат стал у печки, прислонившись спиной и держа руки в карманах брюк. Он без рубашки и бос, тугие мышцы выпирали на полусогнутых руках. «Сильный, черт», — подумал Федор и вспомнил Тосю. Он так резко встал, что Игнат невольно вздрогнул (но рук из карманов не вынул). А Федор вывернул карманы брюк и пиджака и сказал:

— Видишь? Ничего нет. С пустыми руками пришел. Даже и «гостинчика» тебе не принес. Ну? Вынимай, что там у тебя в кармане, и… бей. Бей! Раз уж в душу ко мне забрался, кончай. Не хочешь? Тебе бы из-за угла, чтобы шито-крыто. Так, что ли?

Игнат тоже вывернул карманы, сжал кулаки и объяснил:

— Не время. Подождем.

— Я так и знал. Мысли наши тут сходятся. Но только ты брешешь: в карманах нет, так где-нибудь есть поблизости.

— Тебе виднее, — коротко ответил Игнат.

— Тоже правильно. До чего же мы с тобой, сука, согласны стали! Ну-с, «дорогой друг», первая твоя «радость» от встречи прошла. Давай поговорим теперь «по душам».

— Не возражаю.

— Так вот. Один уголок моего сердца ты испоганил. Остальное я тебе не дам. Ты думал нас сломить? Подлостью? Думал, что ко *времени* я буду беспомощным и разбитым и, может быть, сопьюсь от горя? Так, что ли?

Игнат молчал, выжидал, а Федор, не останавливаясь, напирал:

— Так, конечно. Так ты и думал, нечистая сила. Ничего этого не будет — запомни. Слышишь? Не будет. Я еще сильнее стал. Я у тебя, гад, теперь до конца дней твоих грузом буду висеть на плечах, пока пощады не запросишь. Слышишь? Смерти просить будешь — не дам.

— У тебя? Пощады? — мрачно переспросил Игнат, — Не получится. Не ты один висишь. Я вам всем — лишний.

— Лишний — мало: подлый и вредный. Не играй со мной в благородство, не обманешь.

— Что ты пристал? — повысил голос Игнат. — Если бабочке твоей с тобой не сладко, то не я, так другой нашелся бы. Личные счеты всем будут видны сразу. Мстить угрожаешь?

Федор сжал зубы. Был такой момент, когда он потянулся к табуретке, чтобы размозжить голову Игнату, но слова о личных счетах охладили Федора.

А Игнат продолжал:

— Вчера вечером тоже был «гость». Гость на гость — хозяину радость. Тот предложил немедленно уехать. Нынче ты — предлагаешь просить пощады здесь, не уезжая. Кому верить? — ехидничал Игнат, так как догадывался, что Андрей Михайлович приходил без ведома Федора.

— Какой такой «гость»? — спросил Федор.

— Председатель — Советская власть на селе.

— Был, значит?

— Был. Почтил своим посещением и играл у меня перед носом «игрушкой», забавлялся.

— Не слыхал. Не слыхал. Ни от него не слыхал, ни от тебя сейчас не слыхал. А одному-то кто поверит? Никто. Тут — политика: подлому «будь здоров» не говорят.

— Понимаю. Все понимаю, как большой. Но только мне отсюда не уезжать.

— А зачем уезжать? Не надо. Думаю, Андрей просто боялся, что я тебе дырку во лбу просверлю. Ан ошибся он. Личных счетов сводить не буду. Живи тут. Хочу с тобой в одном селе пожить еще да посмотреть, что из тебя получится, когда коллективизация начнется, и как ты, погань, погибать будешь.

— Я не против коллективизации, — буркнул Игнат.

— Брешешь. Не верю. Ты еще клыки не показал.

— Не веришь — не надо. Мне-то от этого хуже не будет — хуже некуда.

— Опять брешешь. От этого-то тебе и не сладко: стану я тебе костью поперек глотки. — Федор встал, подошел к двери. — Я затем к тебе и пришел, чтобы сказать: теперь ты — мой враг не тайный, а враг — лицом к лицу. И еще: если уедешь, найду и… прикончу, хотя и отправлюсь в ссылку на твое место.

— Слыхал уже.

— Слыхал, но пока не увидал.

— Все? — спросил Игнат.

— Нет, не все. Последнее: Тосю не тронь — убью как собаку.

— Все? — повторил Игнат.

— Теперь все.

— А ну-ка я скажу на прощанье, товарищ Земляков.

— Кобель соколу не товарищ.

— Извиняюсь! Скажу на прощанье, — повторил Игнат — Тося сама меня найдет. Она без меня не может. Меня убьешь — ее убьешь. Слыхал?

— Нет, не слыхал. Говорю тебе, оглох я к твоим пакостным словам.

— Значит, «разрешили» остаться в Паховке?

— Живи. Очень мне захотелось пожить с тобой.

— А я, признаться, и не собирался уезжать. Хоть и попугали вы меня, да как-то не столь уж боязно. Поживем — увидим, — загадочно закончил Игнат.

— Поживем — увидим, — сказал и Федор.

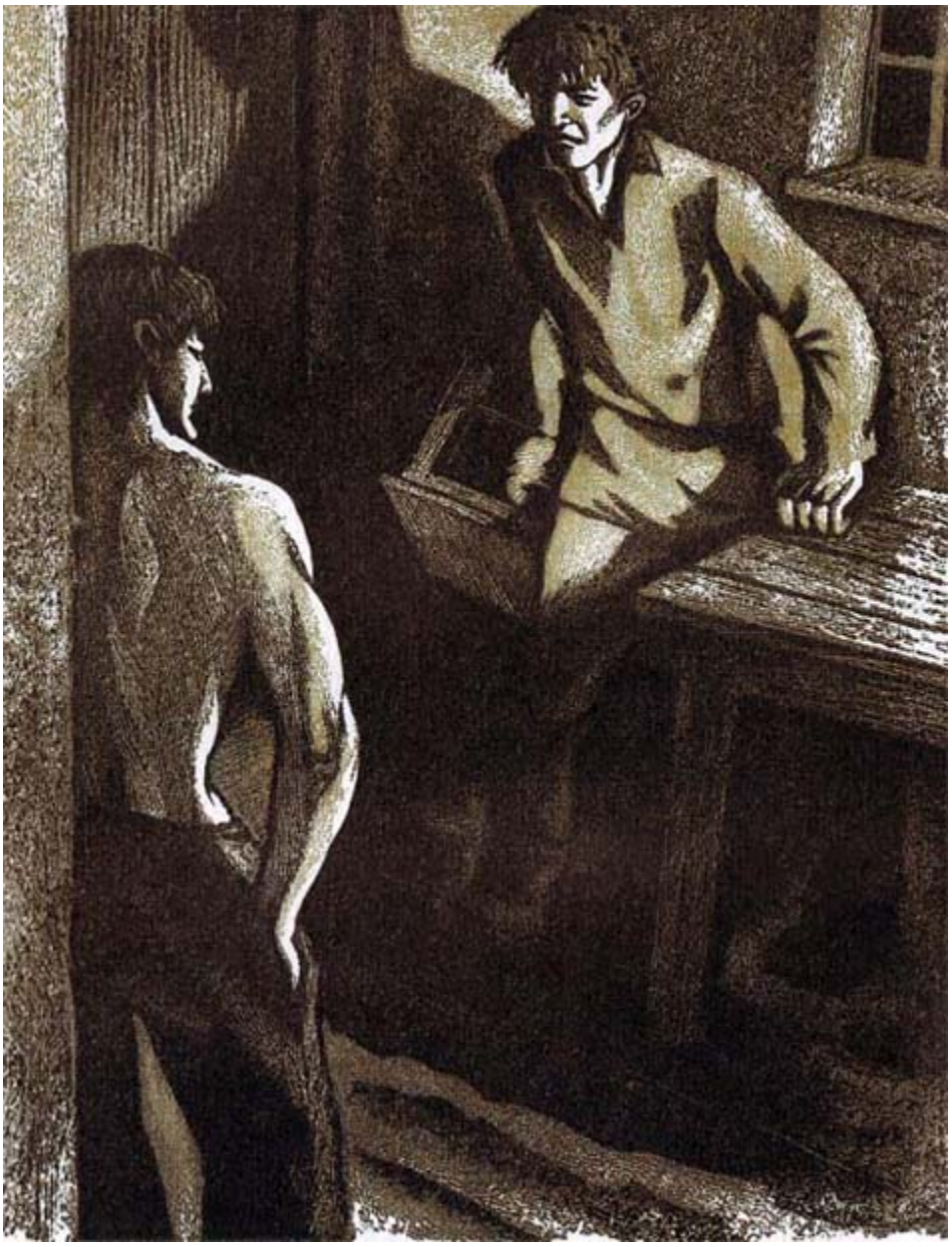
Он, казалось, спокойно вышел на улицу. Там он вздохнул всей грудью так, будто надышался в хате нечистот.

Андрею он рассказал потом о своем визите к Дыбину. Андрей посмотрел на Федора, положил обе ладони ему на плечи и проговорил:

— Вот ты какой… А я-то думал…

Федор сжал руку Андрея:

— Тяжко.



Глава восьмая

События в этом году нарастали быстро.

Агроном Земляков Михаил Ефимович, все еще остававшийся для многих Мишей, почти все лето разъезжал по селам своего участка. Он привозил новости и из района, от него первого узнали о том, что организовалась машинно-тракторная станция и что три новеньких трактора уже прибыли в Козинку. Негласно он уже составил план

севооборота будущего колхоза и для Паховки. На бумаге все выходило здорово: он уже видел поля без бурьянов и чересполосицы, а мысленно представлял себе, где и что будет посеяно, как посеяно, сколько будет урожая. Еще только-только появились первые колхозы, да и то в соседнем районе, а он уже мечтал увидеть поля такими, какими хотел видеть. Может быть, он один в Паховке и видел землю будущего и заражал этим не только Володю Кочетова, которому все казалось легко и просто, но и Федора с Ваней и Андрея Михайловича, знающего, как это все будет трудно. Матвей Степаныч Сорокин верил Мише просто и искренне, по-детски, однако колхоз он себе представлял прежде всего как единую конюшню, где стоят могучие битюжанки, готовые в любую минуту работать в поле, в извозе и даже на скачках. Матвей Степаныч с увлечением рассказывал свой сон наяву:

— Знаешь, Миша, что будет?.. — При людях он называл его по отчеству, а с глазу на глаз только по имени, по-свойски. — И-их, что будет! Всех лошадей заменим только на битюгов. А по осени, каждый год, обязательно скачки устраивать и пробовать на тяжеловозов. И тогда ни в одном селе таких лошадей, как у нас, не сыщешь во всей округе. Будут хорошие лошади — будет хлеб. Много хлеба! Ешь по самую завязку.

Все они мечтали об одном и том же, но каждый по-разному. Миша так загорелся картинами будущего, что часами мог просиживать в какой-либо группе крестьян и рисовать все, что видит. Поэтому, разъезжая по селам, он часто возвращался домой поздно вечером. Анюта в таких случаях уходила домой, не дождавшись любимого. Иной раз девчата шутили над ней:

— Твой-то опять закатился и о тебе забыл.

— А ему некогда, — отвечала Анюта. — Обо мне он не забудет — не такой человек. — Говорила она это спокойно и уверенно, так, что все чувствовали — дело у них прочно и навсегда.

Миша и правда постоянно думал о ней. Бывало, пыльный и грязный, подъедет к дому Кочетовых и спросит в окошко:

— Анюта дома?

А из хаты голос Василия Петровича:

— Анютка! Миша зовет. — Он тоже относился к их любви просто и открыто.

Потом они садились вдвоем на дрожки и ехали к конюшне.

Лошадь, когда-то купленную в складчину на три двора, Матвей Степаныч самолично передал в Мишины руки, хотя ежедневно проверял, все ли в порядке насчет сбруи, нет ли наминки и нагнетов. Агроному никаких средств передвижения не полагалось, кроме своих собственных ног, он обязан был по десять — двенадцать часов ходить пешком. Но Матвей Степаныч не допустил такого:

— Как это так, чтобы агроном — пешком! Что они там, с ума посходили, твои начальники? Бери кобылу да распоряжайся.

Так он рассудил.

Эту-то немудрящую лошадку и распрягут, бывало, Миша и Анюта вместе. Потом Анюта поливала Мише из кувшина воду, а он, раздевшись до пояса, умывался, плескался и отфыркивался. Анюта всегда замечала, если у Миши оторвется пуговица или появится непорядок в одежде; она тут же брала иголку и зашивала аккуратно. Любовь их была чистой, простой и ласковой — они ничего не требовали друг от друга, и каждый считал другого лучше, чем он сам. Может быть, в этом и есть секрет настоящей, счастливой любви.

Уже Федор с Андреем ходили к Василию Петровичу и, по обычаю, засватали Анюту. Все было решено. Казалось, что всему этому тихому счастью конца никогда не будет.

Так прошло все лето тысяча девятьсот двадцать девятого года. Подходила осень. Сначала она была обыкновенной осенью: с ведренными, заполненными паутиной днями, с отлетающими ласточками и печальными криками журавлей в степи, с перестуком цепов, с переплясом перекати-поля и распыляющим свою вату осотом, с запахами блинов и коржиков, дающих о себе знать за версту от села своим неповторимым аппетитным ароматом; потом были дожди и слякоть, когда Паховка казалась постороннему взгляду особенно заброшенной. Кто знает: заявись Тося весной, а не осенью — может быть, все было бы иначе. Но… что прошло, то прошло.

А небо было хмурое, земля раскисла — шли дожди.

В один из таких плаксивых, промозглых вечеров Миша сидел в своей хате с Анютой, прижавшись к ней щекой и слушая дробные переборы дождя за окном. Вскорости, как только установятся морозы, предполагалась их свадьба. Они уже все переговорили об этом и сидели молча. Федора не было дома. Он в последние месяцы приходил

поздно, сразу ложился спать, а утром вставал и уходил снова. В тот вечер кто-то постучал в дверь.

— Ну, я пойду домой, — сказала Анюта, вставая с табуретки и целуя Мишу на прощанье.

— Скоро мой дом — твой дом, — тихо сказал Миша и пошел открыть дверь.

У двери оказался не Федор, а Матвей Степаныч. Он шепотом спросил:

— Кто есть у тебя?

— Анюта. Она уходит домой.

Анюта вышла на крыльцо.

— Здравствуйте и прощайте, дедушка Матвей.

— Прощевай, девонька, прощевай.

Потом мужчины вошли в хату.

— Дело серьезное, Миша, — начал Матвей Степаныч. — Начинается! За тобой прислали и Володьку велели кликать на партячейку — двоих вас комсомольцев зовут.

— А что в полночь-то?

— Насчет колхоза. Секретарь райкома приехал.

Через некоторое время они оба были в сельсовете.

Там уже все оказались в сборе. Андрей Михайлович, Ваня Крючков и Федор склонились над бумагой и читали молча. Секретарь райкома, Некрасов Николай Иванович, шевелил листки блокнота и что-то вписывал, считая в уме. Володя Кочетов сидел в уголке, положив на колени ладони, мозолистые и желтоватые от постоянной дружбы с двигателем.

Некрасов посмотрел на вошедшего Мишу и сказал:

— С постели подняли агронома?

— Да нет, — смущенно ответил Миша, — так просто сидел.

— Право слово, сидел, — подсмеялся Матвей Степаныч. — Один сидел… А она вышла.

Все улыбнулись — знали, кто она.

— Садись, садись, агроном, — пригласил Некрасов.

— Остальных двух комсомольцев не звали? — спросил Миша.

— Пока — не со всеми. Хватит двоих вас, — ответил Федор.

Миша понял это по-своему: дело секретное, а им двоим доверяют.

Крючков открыл собрание партячейки и сразу же предоставил слово Некрасову. Тот заправил пятерней волосы назад и окинул взглядом всех, будто оценивая силу, способности каждого и всех вместе. По голове, присыпанной слишком ранними сединами, все увидели: постарел. Хрипловатым от усталости голосом он начал:

— Ну что ж, дорогие мои… время сплошной агитации кончилось — наступает сплошная коллективизация. — Матвей Степаныч глубоко вздохнул. — Боязно? — спросил у него Николай Иванович.

— Боязно, — бесхитростно ответил Матвей Степаныч, — То-то вот и оно. Скажу вам по душам: и мне, пожалуй, боязно. А вдруг провалим?

И каждый из присутствующих волновался.

— Не должны бы провалить, — заметил Андрей Михайлович не очень уверенно. — А подмогу нам надо. Двадцатипятитысячника дадите нам?

— Не дадим. Вам не дадим. У вас самая сильная ячейка. В районе половина сел без ячеек — один-два коммуниста, а третья часть сел и деревень совсем без коммунистов. Поняли?.. Об этом больше не надо говорить. Давайте читать письмо окружкома. Кто мастер художественного чтения? Иван Федорович, что ли?

Две руки сразу (Андрея Михайловича и Федора) пододвинули бумагу Ивану Федоровичу. Тот начал читать вполголоса, будто опасаясь, что его услышат за окном. В том письме окружкома разносили райком партии за либерализм и бездеятельность. Все запомнили слова из письма: «Многие районы округа имеют высокие проценты — от десяти до двадцати процентов коллективизации, а ваш — три процента… Ваш район созрел для сплошной коллективизации… Собрать общие сходки крестьян и вынести решения о коллективизации, *обязательные* для всех…»

Когда кончили чтение письма, Николай Иванович сказал:

— А теперь давайте поговорим. Серьезно поговорим… — Он опять заправил волосы ладонью. — Каждый из нас должен выполнять указание партийной организации, но… сознательно. Теперь надо нам выслушать мнение каждого.

— Кто первый? — спросил Крючков.

— Я первый, — отозвался Матвей Степаныч. — Как мне быть? Я ж — малограмотный человек! Как же мне теперь — «сознательно»?

Веришь иль нет, Николай Иванович: как ты сказал «сознательно», так я ажно заскучал. Я вот недавно понял, что несознательный. Взял я на пробу у Зинаиды Ефимовны в библиотеке Марксов «Капитал», начал читать и — хоть кол на голове теши! — ничего не понимаю. Ровным счетом ничего. Какое же я могу вам сейчас мнение сказать? Никакого. — И он сел, вытирая обильный пот, выступивший от такой речи.

— А сердце? — спросил Николай Иванович, — Сознательное?

— Что ж — сердце? — спросил сам у себя Матвей Степаныч и тут же ответил: — Сердце болит обо всем, да понимаю мало. Как это так «десять — двадцать процентов»? Разве души людские на проценты сочтешь? Не понимаю я в политике. Работать буду до гроба, а все ж таки кое-чего недопонимаю. «Капитал», к примеру, здорово недопонимаю.

— Ладно. Отвечу после, — сказал Николай Иванович без тени улыбки. Он, как никто другой, нутром чувствовал Матвея Степаныча.

Потом говорил Андрей Михайлович, задумчиво смотря в пол.

— Что значит «обязательно для всех»? — спрашивал он будто у самого себя, не глядя ни на кого. — Соберем, значит, собрание, заготовим постановление и будем голосовать до тех пор, пока добьемся «решения, обязательного для всех». Так, что ли? А что скажет крестьянин? Он скажет: силой загоняют — делов не будет. Вот Миша знает, как было в Оглоблине. А по письму выходит — и нам так надо. Я думаю, надо как-то по-другому, добровольно, без насилия. То, что было в Оглоблине, — большая ошибка.

— Раз уж Андрей Михайлович вызвал, выступлю, — заговорил Миша. — В Оглоблине так было: до трех часов ночи голосовали, до тех пор голосовали, пока осталось полсотни людей, готовых вступить в колхоз. И вынесли решение — «единогласно вступили всем селом». Потом стали лошадей сводить, а мужики с дубинками вышли. Бабы новому председателю колхоза рубаху разорвали снизу доверху. Так было. Не прибавил я ни на каплю. Слышали, Николай Иванович, об этом?

— Знаю, — ответил тот.

— У нас надо по-другому, — убежденно повторил Миша слова Андрея Михайловича.

— А как? — спросил Николай Иванович.

— Не знаю, — ответил агроном, — но не так. Обсудить надо, как делать.

Встал Федор.

— Мы без насилия не можем, — заговорил он твердо, сдвинув брови к переносью. — Над кулаком будет насилие… За бывшими бандитами надо глаз да глаз. Все может быть. Они знают: последняя ставка. Мы еще поговорим в конце собрания о Сычеве. Только дети могут думать, что у нас нет врагов, — он посмотрел на Мишу. — Насилие над ними! Жестокое насилие! Последнее! — Он стукнул кулаком о стол. — За середняка — горой стоять. Никакого повода, никаких карт в руки бандитам.

Только Андрей Михайлович один увидел в нем того Федьку, которого знал в тысяча девятьсот двадцать первом году. Николай Иванович смотрел на Федора расширенными глазами — он был наслышан о нем как о сорвиголове в юности; он будто пытался сравнить того Федьку, которого представлял себе, и того, что сейчас перед ним.

А Федор продолжал:

— Матвей Степаныч, Маркс сам не знал, как будут строить социализм… А ты, Мотька Сорокин, зашарпанный в прошлом нуждой, будешь строить социализм, И построишь.

— А как я его буду строить? — перебил Матвей Степаныч.

— Толкач муку покажет — вот так. Я много думал, Николай Иванович… Лучше с ошибками, но идти вперед, чем без ошибок топтаться на месте. Все.

— Что же ты предлагаешь? Насильно вынести решение, насильно согнать в колхоз всех сразу? — спросила Зинаида.

— Нет. Надо так сделать, как Матвей Степаныч предлагал час тому назад, вот там, в сенях. Скажи-ка, Матвей Степанович.

— По моему разумению, так надо, — тихонько отозвался тот. — Собрать, значит, сходку. Поагитировать, как и полагается. Можно и долго агитировать — не вредно мужику мозги прочищать, чтобы не ржавели. Поагитировать всем, хорошенько. И пусть мужики выступают, а им отвечать, как полагается. Ответить у нас есть кому, — он при этом ткнул пальцем в сторону Крючкова. — Потом, значит, голосовать так: «Кто за то, чтобы в селе организовать колхоз?» Допустим, подымут половина. Тогда сказать: «Кто поднимал руки —

останьтесь, а кто не подымал — выходите. Будем правление выбирать». Вот и все. Потом остальные вступать будут поодиночке. Пущай их почешутся маленько — мужика сразу не раскачаешь.

— Мы будем в колхозе с одной частью села, а такие, как Сычев и Дыбин, будут подбивать единоличников против нас. — Так сказала Зинаида.

— Не знаю я этого, — отмахнулся Матвей Степаныч. — Что с ними, с подлецами, делать, не знаю. Они и правда начнут «защищать» середняка от колхозов. Как, Николай Иванович, тут быть?

— Потом отвечу и на это, — успокоил его Некрасов.

Крючков слушал всех и рисовал на бумажке ветряную мельницу, но он не пропустил ни одного слова. Теперь предстояло сказать ему. И он заговорил.

— Мы ведь, Николай Иванович, почти обо всем вот так и говорили между собой. Не раз говорили. Может быть, мы высказываем мысли друг друга и здесь. Как видите, у нас нет сомнений в том, к кому применять насилие. Но… Как это сделать? Письмо окружкома — директива. Это письмо… Не придумаешь, что и сказать… Или мы не понимаем чего-то — и будем бессознательно выполнять инструкцию о процентах, или окружком ошибается. — Он волновался и все время поглаживал себя по щеке, чуть подергивая бровью, чего за ним до сих пор не водилось. — Наше село совсем не такое, как Оглоблино (там каждый десятый двор был в банде), и у нас делать надо совсем не так. Мы защищали Советскую власть почти все. Мы были бедные люди до революции, нищие. Стали немножко богаче, но далеко еще до хорошего. Очень далеко. В Оглоблине, конечно, будут организовывать колхоз с другим подходом, не так, как у нас надо… Вы можете нас обвинить в сомнениях, но не сказать того, что наболело, нельзя. И вот мы вам выложили все, Николай Иванович! Верьте нам, прошу вас. И мы знаем всех своих крестьян до одного. Что вы сделаете с таким середняком, как Виктор Шмотков, если он почувствует над собой насилие? Ничего не сделаете. Николай Иванович! Мы сомневаемся в правильности этого письма. Помогите нам. — Ваня сел и тяжело выдохнул, как после большой работы.

Все теперь не сводили глаз с Николая Ивановича, которого знали несколько лет и верили ему. Знали, как он заботливо смотрел в свое время за Андреем Михайловичем, знали, что он был другом Матвею

Степанычу, несмотря на огромную разницу в знаниях. Ждали: сейчас научит, сейчас узнаем, кто прав. Николай Иванович хорошо понимал, чего они от него ждут.

— Ну что теперь делать? Отвечу, пожалуй, всем сразу на главный вопрос: все на общем собрании не должно быть и близко похожим на применение силы… — Некрасов, казалось, обдумывал каждое слово, взвешивал, поэтому говорил с паузами, — собрание должно расшевелить тех, кто готов вступить в колхоз, но пока сомневается… Увеличить число желающих — в этом задача собрания… Пожалуй, надо принять предложение Матвея Степаныча: после общей сходки сразу провести и собрание *колхоза.* А записать на первом собрании так: «Считать решение данного собрания обязательным для всех *вступивших»*… Насчет процентов: сводки надо давать два раза в неделю, как требует окружком, — тут ничего особенного нет, учет вести обязательно. Важно, чтобы в погоне за процентами не наломать дров… Так я понимаю… Еще что? Верно, Федор Ефимыч: враги есть. Наши ошибки — козырь им в руки. Малейшее насилие над середняком им на руку — не забывайте все… Конечно, ошибки будут. Ведь никто до нас ничего такого не делал… Мы пока пойдем ощупью, — что скрывать! — но… надо прощупывать впереди себя хорошенько, чтобы не оступиться в яму. Мы обязаны делать возможно меньше ошибок… Вам я верю, ребята, — вывезете… С тобой, Матвей Степаныч, мы успеем наговориться вволю: в следующий приезд пойду к тебе ночевать. А сейчас пока отвечу тебе так: будешь строить социализм, хоть и не осилил Маркса. Нам его строить. Давайте начинать, товарищи. — Спокойный, ровный и неторопливый голос Николая Ивановича звучал так, будто он говорил за чашкой чая, в семье, за столом.

Но Федор и Ваня поняли и другое: Николай Иванович тоже сомневается в правильности письма окружкома и, соглашаясь с мнением партийной ячейки, нашел среднее (и «обязательно», но «для вступивших»).

— Как запишем? — спросил у всех Крючков.

Никто не знал, что ответить. Не записывать же, что партячейка выражает сомнение в правильности письма окружкома. Выход нашел Федор:

— В протоколе записать: «Письмо окружкома принять к исполнению — начать коллективизацию села».

Николай Иванович согласно закивал головой.

Потом посоветовались и решили назначить общую сходку села на следующее воскресенье. Как бы долго и много ни говорили они с крестьянами и между собой о будущих колхозах, но это решение («назначить на воскресенье») показалось и им неожиданным. Все получилось как-то сразу: агитировали, агитировали и вдруг — начинается. Начинается с этих строк сухого протокольчика в тетрадочном листе, где указан день и часы чего-то большого, неизвестного, но необходимого, такого, без чего выхода больше нет. Знали, что *обязательно*, но знали то, что это не должно быть понято крестьянами как обязательно. Матвей Степаныч после длительного молчания так и подытожил раздумья:

— Политика! Тут с этим делом ум распухнет — во! — И он всем показал десятью пальцами, как распухает ум от политики.

Перешли ко второму вопросу.

Николай Иванович достал из портфеля папку-скоросшиватель и открыл ее. Все, кто сидел около стола, увидели, что в папке подшито всего лишь два-три листа бумаги, исписанной четким почерком.

— Здесь, Федор Ефимыч, тебе ответ на выступление, — начал Николай Иванович. — Решением райкома и райисполкома доведено твердое задание кулаку Сычеву Семену Трофимовичу. В случае невыполнения в пятидневный срок — ликвидировать хозяйство, раскулачить.

— А что ж с ним самим делать? Куда его? — несмело спросил Володя Кочетов, до сих пор не проронивший ни одного слова.

— Изолировать из села, — ответил Николай Иванович.

— А дом? Двор? — спросил Матвей Степаныч.

— Колхозу, — коротко ответил секретарь райкома. И видно было, что здесь у него нет никаких сомнений и колебаний.

Без обиняков Крючков заключил коротко:

— Принять к исполнению.

Но от того, что сказал дальше Николай Иванович, все без исключения опешили. Он продолжал:

— И еще одно хозяйство намечено к раскулачиванию. Но решения пока нет, так как неизвестно мнение партячейки и сельсовета.

— Кто? — в недоумении спросили несколько голосов.

— Кочетов Василий Петрович, — ответил Некрасов.

Андрей Михайлович вышел из-за стола и зашагал по комнате в волнении. Федор недвижимо смотрел на секретаря райкома, не сводя глаз. Крючков привстал, да так и остался полусогнувшись. Володя Кочетов обхватил голову руками и застонал:

— Отца! Моего отца!!!

Один лишь Матвей Степаныч, окинув всех взглядом, сказал спокойно:

— Глупости все это, Николай Иванович. Сущие глупости. То ж — мой товарищ с детства!

— Да в чем дело?! — воскликнул Андрей Михайлович.

Николай Иванович пока не ответил. Он всматривался в каждого, проверял.

Миша побледнел. Обожгла мысль: «Анюта! Милая девушка… Ее „изолировать“ из села, отнять радость, разбить счастье». Он неожиданно для всех вскочил и закричал неистово, стуча кулаком по столу:

— Провокация! Клевета! Подлость! Василий Петрович — середняк, извечный трудовик! Если это случится — исключайте меня из комсомола. К черту! Все к черту! — И он закрыл лицо ладонями, опустившись на стул.

К нему подошел Федор:

— Ты что распустил нюни, Мишка? Ты сначала докажи, что прав, а потом о комсомоле выплевывай. Дешевенько ценишь комсомол, если с первого свисту да в истерику… Взять бы тебя за шиворот да уши надрать.

Крючков наконец сел, вытер рукавом лоб и, обратившись к Николаю Ивановичу, выдавил:

— Кочетова… не дадим — все его знаем.

— Знаете, а допустили до того, что арендатором стал. Есть заявление, правда анонимное: «…арендовал у гражданина села Козинки две десятины земли, обрабатывал ее наемной силой из села Козинки, полол просо и косил не сам». Вот видите, какое дело? А у нас есть точное указание: «главным признаком кулацкого хозяйства считать эксплуатацию чужого труда наемных рабочих, батраков».

Володя, покачиваясь как пьяный, направился к выходу. Крючков выскочил из-за стола, схватил его за плечи и повернул обратно со словами:

— Сиди. Еще ничего не известно.

— Все известно, — сказал Володя. — Все это было: снимал десятину и полол ее чужой силой. — Он бросил угрюмый взгляд на секретаря райкома и добавил: — Мой отец.

— Знаю. Садись. Давайте разбираться.

Володя сел.

— Говорите, — коротко обратился Николай Иванович ко всем сразу. Но после слов Володи все молчали несколько минут.

«Василий Петрович сам себя подвел под монастырь», — подумал Федор и спросил:

— Кто об этом знал, кроме Володи?

После маленькой паузы откликнулся Миша. Он, не поднимая головы, ответил Федору:

— Я знал.

Федор снова подошел к нему и сказал строго:

— Встань.

Миша встал.

— Ты ж, сукин сын, угробил человека. Удержать надо было, а ты промолчал. Что тебе за это?! — вскрикнул Федор и затряс брата за плечи.

Андрей Михайлович отстранил Федора от Миши и сказал:

— Меня тряси. Я тоже знал. Да не придал этому значения. Думал: какой он кулак? Сам же всю жизнь своим горбом все вывозит. А тут просто казалось: пусть больше хлеба делает. И дорезки козинские пустуют. Значит, если человек снял десятину… — Он обратился к Некрасову: — Десятину, а не две… Снял десятину и — кулак? Ерунда все это.

— Опять же — глупости, — присоединился Матвей Степаныч.

— Ты сядь, сядь, Федор Ефимыч, — успокаивал Николай Иванович. — Сядь. Не расходись. Давайте спокойно… Итак, Кочетов никогда не пользовался наемным трудом; снял не две десятины, а одну. Пахал сам?

— Сам, — ответил Миша.

— Сеял сам? — допытывался секретарь.

— Сам, — подтвердил Володя. — После узнал. Он и от нас тайком сделал. Ему, видишь, все мало своей земли.

— Та-ак. Прополоть сам, конечно, не мог, хотел скрыть от односельчан. Так? Так. Все это запишете в протокол точно, дайте мне выписку. Сам доложу в райкоме и райисполкоме. Мы же ошибаемся кое-когда… Вот и Кочетов ошибся. С кем не бывает… И еще: сколько он сдал государству хлеба? — спросил Некрасов.

Андрей Михайлович отыскал в шкафу книгу выполнения хлебозаготовок и молча подал ее Некрасову развернутой. Тот несколько минут смотрел, сверял и потом проговорил, глядя в книгу:

— Больше сдал… Просо… Ячмень… Рожь… Больше, чем с него причиталось, на… на одиннадцать центнеров. Все ясно.

— Десятину скрыл, а хлеб не скрыл, — подтвердил Андрей Михайлович, присаживаясь вновь к столу.

Федор исподлобья смотрел то на Мишу, то на Андрея Михайловича. В его взгляде был упрек: «Эх вы, растяпы!»

— Давайте решать, — предложил Некрасов.

Крючков коротко внес такое предложение:

— Партячейка категорически возражает. Согласны?

— Согласны, — ответили пятеро.

Только Володя промолчал.

После этого устроили перекур. Вышли на крыльцо. К удивлению, вокруг было все белым-бело — выпал снег и уже морозило. Зима в том году здорово запоздала, но зато пришла сразу, неожиданно, за одну ночь и осталась насовсем. После напряженного разговора в душной комнате всем было хорошо смотреть на свежий снег, и дышалось легко. Но как ни хорошо на улице, а заседание кончать надо.

— Теперь поговорим без повестки дня, — начал Крючков после перерыва. — Андрей Михайлович предлагает составить список крестьян, уже готовых войти в колхоз.

Но после короткого обсуждения решили, пока без списка, «пройтись» здесь в кабинете по дворам, наметить, с кем побеседовать перед собранием. Начали с крайних дворов, по порядку. Когда дошли до Виктора Шмоткова, Андрей Михайлович сказал:

— Этот пойдет. Маломощный середняк. К Федору его закрепить. Пойдет.

— Не-е! — возразил Матвей Степаныч.

— Виктор пойдет, — поддержал Федор.

— Нутренность у него тонка, чтобы — сразу, — противился Матвей Степаныч. — Конешно, оно обойдется помаленьку и — Витька пойдет. Ну сейчас — нет. Если что-нибудь изнутря его вздернет — беда какая иль встряска, — может, и сразу пойдет. А так — нет. Тонка нутренность. Как бы сказать, душа у него жидка.

Однако все, кроме Сорокина, согласились, что с Виктором все-таки будет легче, чем со многими другими, и с ним особой работы вести не придется. Только спустя некоторое время поняли, что допустили ошибку.

Рассвет подкрался исподволь. Сначала увидели все на окнах еле заметные елочки-узорчики первозимья, потом протискалась в комнату утренняя зимняя синь, вытолкала последние сумерки, оставшиеся от ночи, появившейся вчера еще с чернотропа. В комнате стало наконец светлее, чем вчера, хотя небо на дворе было еще облачным.

Когда все вышли, Миша сказал, увидев над горизонтом чистую полосу, как розовую занавеску на серых облаках:

— Будет мороз хороший.

— Вот и зима наконец пришла. Заждались. Зима пришла, — задумчиво повторил Николай Иванович. Прощаясь, он тихо сказал: — Все, о чем в эту ночь говорено, — могила. Пока сразу не выкладывайте, а особенно — о раскулачивании. Поняли? Ну… прощайте! — Он пожал всем руки. Володю похлопал по плечу, без слов. Сел в тарантас, посмотрел на коммунистов, будто расставаясь навсегда, и помахал рукой.

Они стояли на крыльце и некоторое время молчали, прислушиваясь к повизгиванию колес по снегу: последние звуки колес по первому снегу. Федор прислонился к перилам, Ваня стоял прямо на пороге, будто всматриваясь вдаль. Андрей Михайлович и Зина присели на перила. Матвей Степанович, устроившись на порожке у ног Вани, произнес:

— Уехал.

— Сани надо налаживать, — сказал Андрей Михайлович.

…Дома Федор сел на кровать. Голова от переутомления трещала. Мучительно трудно уснуть в такие часы: и хочется спать — и не уснешь. «Ах, как не хватает мне Тоси, — подумал он. — Тося, Тося!

Где-то ты теперь маешься?» Он откинулся на подушку, закрыв глаза. И нельзя было понять: спит он или не спит.

Миша долго ворочался с боку на бок, но наконец уснул. Федор открыл глаза, посмотрел на него, не поднимая головы, и тихо прошептал:

— Счастливый ты, Миша. Хорошо, желторотик. Хорошо. — Потом думал под стук головной боли: «Он и свадьбу отложил ради меня. Дескать, невесело будет Федору на свадьбе… Может, считает — забуду Тосю… Забыть нельзя».

Спал ли в то утро Федор, Миша не знал.

Глава девятая

Черной тоской потянулся по селу слух: все отберут — скотину, хлеб; детей — в приюты, жен будут обобществлять; это случится сразу же, как только сгонят в колхоз все село. Кто-то пускал слухи один одного мрачнее, слухи нелепые, убийственные, заставляющие днями не выходить из хаты или, не выпуская цигарки изо рта, просиживать кучкой в десять — пятнадцать человек где-нибудь на завалинке, тихонько обсуждая настоящее и будущее.

И еще молва пошла: середняков будут раскулачивать. Как после этого не пойти в закут под сараем и, прислонившись к стене спиной, часами смотреть на свою лошадь, непонимающе и тоскливо, будто прощаясь с нею навсегда и ощущая боль в груди. В противовес этим слухам, свои и приезжие ораторы и газеты обещают хорошую, небывалую на земле жизнь. Вот и поживи. Вот и определи, как жить и куда идти. Может, в колхозе лучше будет, а может, хуже, но решать самому; а как решить, если такого никогда, нигде, ни в одной стране не было. То было поколение крестьян с разорванной на две половинки душой.

Шла последняя неделя перед собранием. До воскресенья оставалось только четыре дня. В доме Сычева Семена Трофимыча тянулась тревожная жизнь, наполненная обидой, ненавистью и теперь уже отчаянием. Два дня тому назад ему довели еще одно твердое задание, такое, что выполнить его не хватило бы всего имущества. Он

осунулся еще больше, похудел, отчего борода казалась длиннее обычного, а глаза покраснели от бессонницы.

Однажды, далеко за полночь, он услышал легкий троекратный стук в заднее окошко, выходящее во двор. Он тихо открыл дверь, стараясь не разбудить Лукерью, и впустил Дыбина. Тот, прежде чем зажигать огонь, задернул занавески, хотя ставни были закрыты наглухо. Тихо поздоровались.

— Неделю не виделись, — сказал Игнат первым, садясь на стул. Но ему не сиделось — он сразу же встал и по привычке зашаркал по комнате из угла в угол.

— Мало радости нам в свиданье-то, — угрюмо буркнул Семен Трофимыч, стоя у притолоки. — Последние, должно быть, дни. Чует сердце.

— А я думаю, первые дни начала.

— Есть новости? — насторожился Сычев.

— Маленько есть, — хладнокровно ответил Игнат.

— Добрые вести? — нетерпеливо спросил Сычев.

— Разные.

— Выкладывай.

— С плохих начинать или с хороших?

— Валяй как хочешь — мне все равно.

— Так вот: Кочетову твердого задания не довели. Сорвалось. Это — первое. Второе: от Черного никаких вестей. Как провалился.

Сычев до сих пор так-таки и не знал, кто же такой Черный, где он есть и какое значение имеет он для него, Сычева, и для Игната. Он только слышал от Игната эту кличку и воспринимал как тайну, о которой ему не положено знать. Но, услышав слова «как провалился», Сычев озлился и выпалил:

— Разбежитесь вы как мыши перед пожаром: под застрехой только загорелось, а они из амбара как шальные… Пора сказать бы и мне, Игнат Фомич, что это за птица пропала невесть куда. Или откройся, или… — Сычев оборвал свою речь.

Но не таков Игнат Дыбин, чтобы не допытаться.

— Что — «или»? — спросил он незамедлительно.

— Хватит в бирюльки играть! — отчеканил Сычев. — Кто Черный? Что мне делать, если я доживаю последние дни? Выполнять

твердое задание? Нечем! Все! Остались руки. Одни руки. — Сычев сжал жилистые кулаки.

— Пока рукам воли не давать, — приказал Дыбин, — Себя погубите и… меня погубите. Дело погубите.

— Никакого «дела» я не вижу.

— А я вижу.

— Кто Черный? — резко отрубил Сычев. — Или… уходи.

— Уйти недолго. Это я могу… — Игнат присмотрелся к собеседнику. Его решительность, явное недоверие и озлобленность ко всем и вся были в высшей точке — злее быть некуда. И он переменил тон: — Но что сделаете вы один? Ничего.

— А что сделаем мы вдвоем?

— Это — уже другой вопрос. Повторяю: в Паховке нас двое. В каждом селе — два-три. Помните наш разговор? Вот. Слушайте: Черный в белохлебинских лесах. Будет ждать сигнала.

— А он «как провалился», твой Черный. — Этими словами Сычев окатил Игната как из ушата холодной водой.

Тот не ответил ничего. Задумался. Только вчера узнал в Оглоблине самую печальную для него весть: Черного ранили в перестрелке и забрали живым. Отряд его рассосался мелкими группами по два-три человека. Степка Ухарь тоже отсиживается в Оглоблине. Он-то и рассказал все Игнату, он же и передал последнюю инструкцию невидимки Черного — командира отряда: «Рассосаться по селам. Поднимать мужика в самый разгар коллективизации». Игнат рассуждал сам с собой два дня, прежде чем пойти к Сычеву. Он уже знал теперь, что отряд Черного ликвидирован, что «рассасывание» признак плохой, что по сигналу уже не появится отряд и не пронесется вихрем по двум областям сразу, втягивая в себя всех озлобленных. Дыбин понимал, что массовое организованное восстание — дело теперь мутное. Но не — таков был Игнат Дыбин, чтобы упасть сразу духом. Он сначала проанализировал свое личное положение: за ним теперь Федор Земляков следит, но он не найдет ни единой прицепки, чтобы обвинить его… в каких-либо действиях; отношения его с Тосей даже на руку Дыбину, потому что всегда можно обвинить Федора в личных счетах «из-за бабы»; Дыбин прожил в Паховке тихо, даже на мельнице работал, но его без видимой причины уволили; связь с лесной бандой была настолько редкая и тайная (один-два раза в год —

на постоялом дворе, на станции), что докопаться было невозможно. В этом он был уверен. Не зря же он избрал глухое селишко, где он всегда на виду. Теперь настало время действовать. И вдруг обожгла мысль: «Не выдал ли Черный? В ГПУ из черта пшеницы намолотят». У Дыбина выступил пот. Он перестал шагать и стал к окну перед занавеской, спиной к Сычеву. И вслед за этим пришло в мыслях жестокое решение: «Или теперь, или никогда. Выхода больше нет». Степка Ухарь говорил ему: Черный приказал: «до *выступления* сделать смуту — озлобить мужика». Все было ясно для Дыбина: в районе он возьмет это дело в свои руки. Он резко обернулся к Сычеву, который уже сидел на табурете и перематывал портянку, ссутулясь и не поднимая глаз. «Этот озлоблен до конца», — решил Дыбин и подошел к нему.

— Ну? — спросил он. — Потерял веру?.. Бывает. Трудно тебе. — Дыбин перешел на «ты», как и всегда, когда хотел высказать Сычеву что-то интимное или очень важное. — Да, Семен Трофимыч, дела серьезные. Гора на нас навалилась большая. (Сычев не проявил ни малейшего интереса и не поднял головы.) Скажу о Черном все. Слушай: его…

Сычев выпрямился, натянув сапог лишь на половину голенища, и уперся взглядом в Дыбина молча, недоверчиво. Тот продолжал:

— Его убили… Убили Черного в бою. Погиб… за тебя, за таких, как ты. Это был старый командир отряда, опытный. Слыхал же — в белохлебинских лесах неспокойно все время?

— Слыхал, — выдохнул Сычев. — Слыхал: пять кооперацій решили начисто. И банк пытались. Так это — он?

— Он.

— Убили, значит?.. Все пропало.

— Ничего пока не пропало. Идти нам той же дорогой.

— А что делать?

— Пока делать то же, что и делали последние недели, — ответил Дыбин. — Сеять смуту. Первое: слух об обобществлении мелкого скота и птицы. Второе: слух о том, что детей будут отбирать в пионерские отряды. Третье: слух о раскулачивании середняков. Четвертое: слух, что во всех селах бьют скот. Пятое, слух… Шестое: слух!.. Слух!.. Разложить мужика по частям, чтобы он не знал, куда шагнуть. Заставить побить скот, чтобы в колхоз — нищими! Со скотом

начинать сразу же, немедленно. — Дыбин уже требовал безоговорочного выполнения.

— А что со мной будет? — опять окатил его Сычев.

— То же, что и со мной. Или оба — паны, или оба пропали. Теперь связаны одной веревочкой.

— Да понимаю я, — раздраженно сказал Сычев. — Как твердое задание-то выполнять, если нечем?

— Никак не выполнять. Пусть все отбирают. Потом все вернете, когда будете… председателем сельсовета или… волостного правления. Понятно?

Сычев некоторое время смотрел в упор на Дыбина, взбудораженный его решительностью, красный от возбуждения. Потом категорически заявил:

— Я считаю: Федьку и Мотьку Сороку — в расход!

— Пока нельзя. Ни-ни! Приказ! Момент придет — тогда уж… всех пятерых. Чохом! С кого начинать — не важно будет… Это — если нам придется уходить. — Он опустил голову и уже тихо повторил: — Если нам придется уходить… — Минуты две он просидел молча, а затем встал и резко прошипел: — Даром мы в лес не уйдем!.. И… вернемся. Обязательно вернемся.

Часы уже пробили два. Дыбин приказывал, Сычев слушал. Они еще с полчаса говорили. На прощанье Дыбин сменил тон:

— Пора начинать со скотом, Семен Трофимыч. Дайте пожму вашу руку… Для будущей пользы народа, бог благословит! — Он задержал руку Сычева в своей и добавил: — Помните: все ваши личные оставшиеся три овцы и корова должны быть целехоньки — вы скот не режете, вы явно «осуждаете» эти незаконные поступки. В трех-четырех дворах закиньте «удочку» и — в сторону.

Из хаты они вышли вместе. Дыбин ушел домой огородами, Сычев — на крыльцо. Он чуть постоял, смотря вдоль улицы. Мороз сковал все, а низкие зимние облака сорили на Паховку снежинками, редкими и крупными. Сычев ощущал их лицом, но они его уже не радовали, как бывало, когда в таком случае приходила на ум пословица: «Декабрь снежный да холодный — год хлебородный». Он застегнулся на все пуговицы и пошел к Виктору Шмоткову.

Сычев остановился у хаты, мелко перекрестился и про себя произнес: «Господи благослови!» Затем тихонько постучал в окошко.

Звук этот показался ему очень громким, и он оглянулся по сторонам так, будто кто-то стоял позади или рядом.

— Кто? — отозвался из хаты Виктор сонным голосом.

— Открой, Виктор Ферапонтыч, — полушепотом сказал Сычев.

— Кто там? — уже громче спросил Виктор.

Кто-то в хате закашлял. Пискнул ребенок. Потом Виктор вышел в сени и приоткрыл дверь, не выходя на улицу и не впуская Сычева.

— Виктор Ферапонтыч! — обратился к нему тем же полушепотом ночной гость. — Помоги, пожалуйста!

— Чего там? — недоверчиво спросил Виктор.

— Помоги порезать скотину, пожалуйста. Один-то не осилю корову. Овчонок-то управлюсь, а корову… не управлюсь до света. В колхоз будут сгонять завтра. Все одно пропадет скотина. Уж лучше себе польза. Помоги! — торопливо шептал Сычев. — Оплачу и не забуду. Никто не будет знать — мы же только вдвоем.

— К-как т-так сг-сгонять?! — испугался Виктор, хотя уже и слышал такое, но еще не верил. Теперь вот и в самом деле начинается. Он застучал зубами как в лихорадке. — К-как, сг-г-гонять?

— Да уж ясно… Помоги! — молил Сычев. — Все режут.

— То есть как? — ополоумел ошарашенный Виктор. — А своя — куда? Твою резать, а моя — в колхоз? — Он заторопился, зашмыгал носом, замахал руками, как плетьми, в разные стороны и без удержу. — У тебя три овцы осталось да корова, а у меня четыре овцы, да телушка, да одиннадцать курей с кочетом. Твою порезать, а моя — в колхоз? Твою порезать, а моя — в колхоз? — задолбил он в смятении. — Не могу, не могу помогнуть. Никак не могу. Куды ж денешься! Все одно плохо.

— Да уж как хочешь, — смиренно перебил его Сычев. — Я, пожалуй, уйду. Поищу кого-нибудь. Ах ты горе наше! Ах, конец света! Все в Писании правильно сказано. Последние часы доживаем, — запричитал он, уходя.

Виктор вбежал в избу. Зажег лампешку без стекла, и она сразу зачадила тонкой и едкой копотью. От света засуетился рой тараканов, явно выражающих неудовольствие необычной побудкой. Встала жена Алена и села на край кровати, свесив ноги. Виктор окинул взором хатку. На деревянной кровати, огромной и широкой, как нары, спали вповалку все трое ребятишек, высунув из-под тряпья ножонки и

ручонки; казалось, они так перемешались с этим постельным хламом, что и не разобраться, кто где лежит. В люльке покачивался новорожденный мальчишка. Косолапая курица, изувеченная лошадью и принесенная с вечера в хату, сидела около печки, закрыв пленкой глаза. Из-под печки высунулся на свет маленький поросенок, деловито прохрюкал, прошелся по избе, как хозяин своего хлева, слегка ткнул носом курицу и зачавкал в корытце. Кому как, а Виктору казалось, что это и есть его настоящее хозяйство, что он после падежа коровы вновь начал «обрастать», «богатеть». Уже есть телушка, есть четыре овцы, есть поросенок, есть лошаденка уже без коросты, есть хата. Все есть, что человеку надо. «Что больше человеку надо? — подумал Виктор. — Ничего. Все есть». Извечная нужда только-только стала его покидать, и вдруг — сначала слухи, а потом вот оно: все надо отдать кому-то, куда-то, и бесплатно. Он стоял и полупьяными от неимоверно тяжких сомнений глазами осматривал хату. Что поделаешь, если эти поросячьи запахи стояли рядом с мечтой о будущем жирном борове, а попыхивающие во все отверстия мальчишки были его мечтой о будущих сильных помощниках отца? Каждому человеку — свои мечты. Они у всех разные. И по-разному люди понимают, что же человеку надо. Виктор думал о счастье по-своему: он уже не голодал, у него была скотина. А теперь ничего не будет. За что же это у него отберут кур, овец, телушку? И лошадь?

— А-а, та-ак! — крикнул он. — Алена! Одевайся!

— Куда? Зачем? Виктор, Витя! Что с тобой, родной?

— Скотину будем резать! Резать! Реза-ать! Завтра в колхоз погонят. — Он схватил нож и заскрежетал им о брусок.

Алена стала торопливо одеваться. Ребятишки проснулись и уселись в тряпье, глядя несмышлеными, недоумевающими глазенками на отца, такого небывало странного и страшного. В ночи тоскливо и жутко, под коптилку, свербил душу нож, облизывая стальным жалом брусок. Было страшно до слез. Потом родители вышли.

Во дворе Виктор привязал телушку обрывком веревки к подсохе так, что голова ее была плотно прижата к столбу. Потом он взял топор. Посмотрел на Алену и отвернулся в сторону. Вдруг он неожиданно, с размаху, ударил телушку обухом по голове, оглушив ее, и отпустил веревку… Телушка рухнула наземь. Виктор перерезал горло… Он еще раз пристально и страдальчески посмотрел на Алену, перевел взор

снова на телушку и зарыдал над трупом, зарыдал над угасшей надеждой на лучшую жизнь. Стоял, опустив длинные руки, и всхлипывал, утираясь рукавом кожуха. Было жутко, как на похоронах близкого человека. Алена завопила в голос, будто над покойником. Этот раздирающий вопль было слышно далеко по селу.

Где-то вдали кто-то тоже вопил. Кое-где послышался сдержанный гомон и тревожные шаги по снегу. Кто-то бежал по улице, задыхаясь и спеша.

Дети услышали со двора вопль матери. Старший, Ленька, выскочил босым во двор, увидел, как отец убивает овцу, вбежал снова в избу, схватил из-под печки поросенка и сунул его рядом с собой, в тряпки. Мальчишки сбились плотно, прижавшись друг к другу. Они ничего не понимали и поэтому не плакали. Косолапая изувеченная курица сидела и тоже не понимала, что живет последние минуты.

Было страшно.

Разве мог кто-либо подумать, что Виктор, всю свою жизнь тащившийся рядом с лихой нуждой и поэтому не имеющий времени для частых размышлений, так нелепо казнит себя и свою семью. Кто знает: может быть, Виктор и не виноват в том, что за него кто-то должен думать о его жизни, о его будущем. Кто-то должен думать!

После Виктора Сычев был еще только в двух-трех дворах, но и этого оказалось достаточно. Однако была у него и «осечка».

От Виктора он пошел к Кочетову Василию Петровичу, так же постучал в окошко, так же хотел повторить все, что проделал у Викторовой двери.

— Кто тут ночами шляется? — отозвался на стук Василий Петрович и высунул широкую бороду в приоткрытую дверь.

Сычев зашипел тревожно, жалостно и взволнованно:

— Завтра скот будут сгонять… в колхоз. Народ режет… Нас ведь с тобой кулаками считают. Ты бы…

— Пошел к черту! — гаркнул, как из медной трубы, Кочетов и захлопнул дверь перед носом Сычева.

…В ту роковую ночь были слышны стоны и плач людей, рев скотины, почуявшей кровь и всегда впадающей в отчаяние от этого запаха. Лошади трусились мелкой дрожью, перебирая копытами, встряхивая головой, у них слезились глаза. Из двора во двор клубком змей покатилась молва: «Режут скотину! Не зевай!»

И все же во многих дворах не пролилось ни единой капли крови. Одни не резали из жалости к животным, другие оттого, что душа стала ближе к тем, кто ратовал за колхоз, хотя о самом колхозе имели смутное представление, а третьи не трогали скот из-за страха. Тронь попробуй, если кто-то бегает по улице из конца в конец и пронзительно кричит:

— За убой скота расстре-ел! Расстре-ел, сукины вы дети!

То Матвей Степаныч Сорокин так нелестно обращался к односельчанам со своим особым методом «агитации». Иван Федорович Крючков поднял его, потом Федора с Мишей и Андрея Михайловича барабанным стуком в переплет рамы, в оба кулака. Он собрал их всех на ходу. Он не объяснял, а приказывал:

— Каждому по одной улице! Режут скот! Загонять «двадцатидворки» в одну хату, прекратить убой силой! Где надо — пугать оружием. Я отвечаю. — И он почти выкрикнул: — Прошляпили мы!

Они разбежались по селу. Вызывали в одну хату всех из участка «двадцатидворки» (все село было разбито на такие участки на случай пожара). Там, в хате, каждый из коммунистов действовал по-разному и на свой риск и совесть. Дороги были минуты! Сначала посылали вестового (любого из участка) собирать всех немедленно в одно место заранее и ждать: «Будет важное». Крючков входил, снимал шапку, становился у стола, обводил всех взглядом и коротко говорил:

— За убой скота — тюрьма!.. Расходитесь. В воскресенье — собрание, — и уходил первым.

А что можно было сделать, если за две-три минуты можно убить корову? Было ли время для агитации!

Андрей Михайлович прямо от дверей, не выпуская дверной ручки из руки, бросал в хату собравшимся:

— Если кто будет резать скотину — спущу шкуру! Опозорю — потомки помнить будут. Поняли?.. В воскресенье — собрание.

Федор садился за стол, доставал общую тетрадь и спрашивал, будто собираясь записать:

— Та-ак. Кто скотину зарезал?

Все молчали.

— Таких нет? Нет. — Хотя он и знал — есть. — Если завтра обнаружим мясо — суд! Все. — И спешил в следующую

«двадцатидворку», где его уже ожидали.

Миша, оставшись один на один с самим собой, не знал, как и что будет говорить. Но вот он вошел, глянул на суровые и испуганные глаза, понял смятение и тоску и сказал просто:

— Неужели из-за каких-то овец кто-либо из вас захочет стоять перед судом?

Никто не отвечал. Он завязывал беседу и тратил минут пятнадцать — двадцать — иначе не мог. И не понимал своей ошибки.

Матвей Степаныч Сорокин действовал совсем по-другому. Он сразу подумал: «Чего я буду агитировать? Я ж на это неспособен». Потом по-стариковски затрусил вдоль дворов по отведенному ему участку и кричал пронзительно, непохоже на него:

— Расстре-ел! За убой скота расстре-ел!

Так протрусил взад-вперед, а потом взял под наблюдение «опасные», по его мнению, дворы и, зная, что никто в эти часы не спит, тихо подходил к окну такого «опасного» и неожиданно кричал как на беду:

— Чего не спишь?! Скотину собрался резать, охальный ты человек?!

Как дух божий, он витал над дворами «опасных» и неустойчивых, оберегая от рискованного поступка.

Как бы там ни было, но большинство скота спасли. Лишь много дней спустя установили, что меньше всех зарезано на участке Матвея Степаныча, а больше всех — на участке Миши. Но к Виктору никто не заглянул — у него было тихо: когда коммунисты поднялись на аврал, он все уже окончил — с него ведь с первого и началось.

Та ночь надолго запомнится всем жителям Паховки, и будут о ней передаваться страшные рассказы из поколения в поколение о том, как люди сбились с пути и как их насильно, за шиворот, оттаскивали от края пропасти, над которой они стояли в неведении и сомнении. И бабы будут пересказывать в сотый раз, как овца сошла с ума, глядя на кровавую оргию, и бросилась на хозяина собакой. Может быть, трудно будет разобраться, где правда в этих преданиях, а где выдумка. Поэтому нельзя об этом не написать. Невозможно. Все это было.

…Светало. Земля была покрыта нежным, как пух, снегом. Иван Федорович первым увидел на площади труп красивой, серой в яблоках, лошади. Она еще не замерзла. Она лежала, растопырив ноги,

лежала с открытыми глазами, подернутыми мутью. Красавица была не из Паховки: кто-то привел ее из чужого села и убил, чтобы труп видом своим разрывал мужика на части. Злодей знал душу крестьянина, знал, что убитая лошадь — страдание и тоска до боли; знал он, что мясо лошади не едят не потому, что оно невкусно, а потому, что грех, великий грех есть мясо вечной кормилицы, безропотной и преданной до последнего вздоха. Крючков постоял около и подумал: «Где-то я просмотрел. Что-то упустил. Этак недолго и озлобить крестьянина».

Подошли Андрей Михайлович и Федор (они от сельсовета увидели всю картину). Крючков сказал:

— Кто-то «работает». Надо заявить в милицию.

Андрей Михайлович молча обошел лошадь вокруг, еще больше помрачнев. Федор только спросил:

— Когда соберемся?

— Вечером, — ответил Крючков. — Втроем.

— Где?

— Только не в сельсовете, — ответил Ваня.

— У меня, — предложил Андрей Михайлович. — Надо положить конец всему этому, — он указал на мертвую лошадь и, резко повернувшись, решительным шагом направился к сельсовету.

В ту же беспокойную ночь Кочетов Василий Петрович, захлопнув перед носом Сычева дверь, стал посреди хаты, задумавшись и расставив ноги широко, прочно. В избе было темно, и, казалось, все спали. Теленок в углу посапывал, вздыхая во сне. Но Володя не спал: он все слышал и наблюдал за отцом. Он еще ни одного слова не сказал ему о происшедшем на собрании партячейки. «Зачем раздражать и волновать, — думал он, — если все обошлось хорошо». Но у него не выходил из головы один вопрос: «Кто же написал анонимку? Никому никогда отец не сделал вреда, ни с кем не был во вражде. Кто же?» Володя слышал, как отец тихо порылся за припечкой и достал нож, которым при надобности кололи скотину; потом с этим ножом в руке бесшумно сел у стола и не шевелился. Сын не мешал, притворился спящим.

Тяжелые думы одолевали Василия Петровича. Вот, как на ладони, лежит вся его жизнь. Не помнить ее невозможно: вся она прошла в этой хате, в этом дворе, только с разными лошадьми. Лошади иногда

падали, он каждый раз выбивался из нужды и покупал новую. Все хозяйственные вещи, столбы, подсохи и плетни сделаны им самим, только его собственными руками, без какой-либо помощи со стороны, в одиночку. И вот теперь, при Советской власти, он нажил хорошую лошадь, отличную корову-ведерницу, восемь штук овец, тридцать кур; хлеба в этом году хватит-перехватит до нового, с остатком. Вырос сын-помощник, дочь на выданье подошла — жить бы Да жить теперь. «Но лучше ли будет жить в одиночку? — думал он. — Таким, как Сычев, не станешь, да и богаче, чем сейчас, тоже не будешь, а хуже — может быть. Скажем, пала лошадь — что делать? Сразу три года подряд недоедать, копить, мучить себя лишней работой. Если же в колхозе падет лошадь — не страшно». Но медленно, исподтишка подкрадывалась новая думка. «А земля? Чья она будет? Кому хлеб достанется?.. Один — работать, а хлеб есть — десяток: один с сошкой, а семеро с ложкой. А на своей полосе я — хозяин: я и завхоз, я и счетовод, я и председатель, я и судья сам себе». Вдруг ясно и просто пришло в голову: «А все-таки нужды в моей жизни было больше, чем достатка, — о чем речь! Хуже не будет, а такую жизнь можно добыть где угодно». Эта мысль держалась долго, не уступая места другим до тех пор, пока не вспомнил анекдот о богомазе:

«— Что это ты за чучело нарисовал в углу? — спросил богомаз у мальчика.

— Икона, — ответил мальчик.

— Да то ж не икона, а урода! Лучше купить хорошенькую.

— Хоть и кривенькая божья матушка, зато своя, — сказал мальчик».

«Вот видишь, — думал Василий Петрович, — даже дети знают: „мой“, „моя“, „свой“, „своя“, а я хочу скотину со двора сводить в колхоз».

Володя услышал, как отец вышел во двор, ступая тяжело и неуверенно. Он тоже соскочил с печи, сунул ноги в валенки, накинув шубу, вышел незаметно в сени и прислонился к косяку двери. Отец вошел к лошади в конюшню. Битюжанка всхрапывала и перебирала ногами, повернув голову к хозяину, — она волновалась и вздрагивала, слыша рев скотины и почуяв запах крови со двора Виктора Шмоткова. Жуть всему живому! Василий Петрович положил лошади на холку тяжелую руку.

— Ну, Краля, весной с жеребенком будем? — спросил он ласково. — То-то вот и оно, что — с жеребенком. Чужую землю будешь пахать. Да… Оно, может, и не так, ну жалко тебя, Кралька. — Он обходил вокруг лошади, гладил ее и говорил: — Нет, убивать тебя не буду — не дурак… А может, Кралька, в колхоз пойдем? А? Сам же на тебе и пахать буду. Да только вот боязно как-то — ну-ка да обманут. То-то вот и оно, что боязно.

Володя слышал, как лошадь начала жевать сено, успокоилась. Потом отец зашел также к корове, к овцам, разговаривал с ними, сморкался, кряхтел и наконец направился в хату. Сын бесшумно вскочил на печку, а отец зажег лампу и, увидев на столе нож, остановился в недоумении. Постоял-постоял так, покачал головой и тихонько проговорил:

— Ни себе, ни людям. Разве ж так можно?

Нож он прибрал на свое место и принялся плести незаконченную кошелку для корма, молча и сосредоточенно.

Деревенское зимнее утро уже обозначилось огоньками и в других хатах. Жена встала топить печку и украдкой посмотрела на мужа. Он, сидя к ней спиной, захлестывал хворостины в своем изделии. Потом перестал плести, задумчиво пригляделся к своему грубому, но очень прочному рукоделию и сказал будто про себя:

— Подумаем. — При этом он выпрямился, расправил золотисто-рыжую бороду, почесал кончик мясистого носа и, усмехнувшись, повторил: — Подумаем.

— А что «подумаем»? — спросил Володя с печи.

— А то подумаем, что тебе еще надо спать… И еще подумаем, как корову зарезать и овец, — добродушно сказал Василий Петрович, явно шутя.

— Господи! Что ты мелешь, Василий? — всплеснула руками Митревна. — Грех-то какой сказал!

— Ну, ты там! Заканючила. Дураков нашла. Шутку, ее тоже понимать надо. Мужики говорят промеж себя, а ты стой да слушай, — иронически и с хитрецой успокоил Василий Петрович.

— А еще подумаем, — подражал тону отца Володя, — как корову не резать и овец не резать.

— А еще подумаем, — продолжал шутить Василий Петрович, — какую вот хворостину выбрать для твоего мягкого места, хоть ты и

урос от такой линии. Надо бы тебе нахлестать, Володька, ей-богу, надо, чтобы ты за отцом не подглядывал.

— Я ж, папаша, хотел…

— За дурачка почел меня. Ну хватит, хватит…

По тону Володя догадался, что отец успокоился — он что-то решил.

После рассвета кто-то постучал в окошко. Василий Петрович вышел. В дверях стоял Федор.

— Зайду посижу малость, — сказал он.

— Заходи, Федор Ефимыч, милости просим.

— Уф, устал!.. Ну, Василий Петрович, много овец зарезал? — спросил Федор, когда они вошли в хату, и присел.

— Много, — ответил тот. — За всю жизнь примерно штук пятьдесят поел. Много.

— А в эту ночь?

— Ты о чем, Федор Ефимыч?

— Об овцах.

— А-а, об овцах! А я-то думал…

— Что думал? — спросил Федор.

Володя перехватил ответ отца:

— Он думал, какую хворостину выбрать для меня лично.

— Ну, я вижу, вы уже до меня здорово пошутили. Не об этом ты думал, Василий Петрович, не об этом — знаю.

Василий Петрович вздохнул, а Федор продолжал:

— Дай-ка мне кошелку твою. Так. Вот эту и возьми для Володи, если осилишь его.

Василий Петрович удивился малость.

— Дак развалится кошелка-то, если вытянуть из нее ту хворостину, какую указал. Любую вытяни из основы — кошелка пропала, а вместе они по ладу лежат, и вещь получается прочная. Ее, кошелку, если по ладу плетешь, то тогда только и прочно.

— Вот так и колхоз, Василий Петрович: все вместе и каждый на своем месте — прочно может получиться. Очень прочно!

— Хм, подумай-ка, как оно выходит: обнаковенная кошелка, а в ней правда есть… Дай-то бог.

— Если совсем не плести, то и никакой корзины не слепишь. И будем мы мотаться отдельными хворостинами — бери любую.

Соображаешь? — спросил Федор.

Василий Петрович чуть задумался. Потом, глядя в пол, сказал:

— Соображаю вроде бы. Уж если плести, то только прочно, по ладу. Кто ее знает, как оно будет?

Они помолчали.

— Я вот шел через площадь, — начал снова Федор, — и видел… убитую лошадь… Красавица!.. Лоб пробит обухом… Жалко.

— Что-о? — с ужасом спросил Василий Петрович.

Володя спрыгнул с печи, стал перед Федором и в волнении произнес одно слово:

— Он!

— Кроме некому, — подтвердил Федор.

— Это кто же «он»? Что за секреты у вас с Володькой? — спросил обиженно Василий Петрович, искоса поглядывая на сына.

Федор пока не ответил. Но когда Митревна вышла с подойником во двор, он наклонился к Василию Петровичу и тихо, шепотком, сказал:

— Дыбин. Если не сам, то — работа его. Больше некому.

Василий Петрович встал, сжал громадные кулаки, сверкнул взглядом из-под густых рыжих бровей и сквозь зубы процедил:

— Коней бить, гадина!

Некоторое время он неподвижно смотрел на сереющий рассвет, а потом грузно сел на скамейку и загрустил, расстроился.

— Не стоило бы рассказывать про лошадь, — сказал Федор. — Только растревожил. Не унывай, Василий Петрович. — Он подсел к нему. — Все будет хорошо. А пришел я совсем по другому делу. — Федор глянул на дверь горенки.

Василий Петрович понял Федора. Он встал и, приоткрыв дверь, сказал в горенку:

— Анюта! Поди-ка погуляй. Чего ты спозаранку опять шить взялась? Погуляй-ка. Овцам корму задай, кур покорми, свинье замешай. Погуляй-ка, погуляй-ка маленько… Мы тут поговорим — одни мужики.

Анюта вышла из горенки, поздоровалась с Федором, надела кацавейку и ушла. В этой семье слово отца всегда было неоспоримо, хотя он никогда не повышал голоса и с виду был спокоен. Неиссякаемое трудолюбие Василий Петрович передал своему

потомству; здесь работали все с малых лет по мере своих сил и слушались отца. Зато в семейных советах дети участвовали на равных правах, поэтому каждый хорошо знал свое дело и отвечал за него. В то утро Василий Петрович лишь для виду повторил некоторые обязанности Анюты, конечно, знавшей, что ей делать. Анюта поняла, что ее выпроваживают недаром, и подумала: «Наверно, насчет свадьбы говорить будут».

И правда, Федор начал с этого:

— Ну что ж, Василий Петрович, пожалуй, пора и молодых сводить. Сколько же они канителиться будут?

— Да ведь я-то что? Я не против. Чего надо, то надо. Но больно уж время-то тревожное.

— Молодым о молодом и думать, — возразил Федор.

Василий Петрович взглянул на Федора. Тот прочитал его мысли по глазам: «Тебе-то, мол, тоже надо думать о молодом, да не судьба с той бабочкой жить».

— Ничего, ничего, — перехватил Федор возможный разговор на эту тему. — Каждому своя линия. Мише с Анютой хорошая линия вышла. Когда и как будем?

— Надо — как и полагается. Определить надобно, с какого двора и что — вы, а что — мы обязаны.

— У меня другое предложение, сват: пусть Миша сам все представит. Зарегистрируются, привезет жену и пусть тратится на свадьбу.

— А попу?

— Без попа.

— Как так? — спросил недоуменно Василий Петрович.

— Без попа, — поддержал Володя. — Миша не позволит с попом.

Василий Петрович глянул на Федора, на Володю и решил: «Спорить бесполезно — все идет вверх ногами». Но после длительной паузы он сказал:

— Как там хотите, а я возражаю: обязан и я к свадьбе расход сделать. Борова Анюта сама выкормила — пущай весь туда идет. И приданое — как положено.

— Дело ваше — как угодно. А когда назначим?

— Как сам-то говорит, Миша-то?

— Он будет молчать, пока я не скажу, — ответил Федор.

— А как ты думаешь, Федор Ефимыч?

— Давайте, Василий Петрович, сыграем свадебку, когда будем колхозниками, через одно воскресенье. А?

— Не понимаю, — недоумевал тот.

— Ну, как колхоз организуется, так и повеселимся.

— А если не организуется?

— Будет колхоз, — твердо сказал Федор.

После довольно длительного раздумья, кряхтенья и почесывания в бороде Василий Петрович наконец произнес:

— Так и так.

Это значило не только то, что он согласен на срок свадьбы, но и вступит в колхоз.

— Цены нету папаше! — воскликнул Володя. — А я-то думал!..

— Что, непутевая голова?.. Ты «думал»! — Василий Петрович собрал в кулак рубаху на груди, прижал ее и тихим густым басом выдавил из себя: — Да я, может, душу свою напополам разорвал! Куда пойдем, как пойдем? Никто не знает… А решил так: куда вы, туда и я. Все равно деваться некуда… Трудно.

Федор с Володей понимали Василия Петровича. Федор уже хотел уходить, но спросил у Володи:

— Говорил папашке насчет заявления?

— Пока еще нет. Вчера-то, видишь…

Василий Петрович насторожился. Тогда Федор сел с ним рядом снова.

— Не надо только к сердцу принимать. Анонимка на тебя в район написана: арендовал под просо и скрыл от нас.

— Глупости. Я зерно сдал — хоть проверьте. И не скрывал я: Миша знал, Андрей Михайлович знал — сам председатель сельсовета.

— Так вот там написано: «Кочетов Василий Петрович — кулак».

— Как так — кулак? Постой, постой! — Василий Петрович вспомнил слова Сычева: «Нас с тобой кулаками считают». — Постой, постой! Мне уже один человек об этом самом говорил.

— Кто? — встрепенулся Федор.

Василий Петрович подробно рассказал о посещении Сычева прошлой ночью.

— Проясняется, — сказал Федор.

Он понял, что если Сычев произнес такие слова, значит, он знал о заявлении еще до приезда Некрасова, значит, нитка тянется из Паховки, а не из Козинки.

Дома Федор все взвесил, разложил по частям все происшедшее за последние дни и решил: «Дыбин начал действовать. Жил тихо несколько лет, а теперь, вот-вот только-только, начал „работу“. Все ясно. Кто кого — решат ближайшие дни». Оттого, что Дыбин показал свое лицо, Федору стало спокойнее — он уснул крепко и спал до обеда.

В те дни коммунисты спали три-четыре часа в сутки. Но и Дыбин, и Сычев, и Степка Ухарь тоже смыкали глаза только днем. Борьба шла тайная и жестокая, насмерть. Степка прибыл из Сибири в белохлебинский лес к сроку, теперь он днем сидел в тайнике под хатой одного из бывших бандитов, а ночью выползал и приходил в Паховку; тенью пробирался к Дыбину или подолгу стоял у дома Земляковых, притаясь в вишняке. Никто и не узнал бы теперь Степку Ухаря: он оброс черной бородой, щеки же и лоб были бледными до белизны, — белый человек с черной бородой! — сухой и кособокий после отместки за Федора, он ничем не напоминал бывшего удалого, разухабистого и бесшабашного Степку, когда-то ногами топтавшего Федора.

То были дни, когда жизнь не шла своим чередом — она кипела. И в этом клокочущем бурлении сталкивались надежда и отчаяние, любовь и ненависть, дружба и вражда, честь и коварство, преданность и предательство. Так кипящая вода очищается от вредных примесей.

Глава десятая

В следующую ночь, как было условлено, пришли в хату Андрея Михайловича Ваня и Федор. Совещание было коротким, без огня, в полной темноте. Никто не знал, о чем они говорили. Но утром, чуть свет, Володя Кочетов поскакал верхом в район с пакетом, на котором был короткий адрес: «Начальнику милиции». И еще, для всех неожиданно, объявили: общее собрание будет не в воскресенье, а завтра вечером, сразу после уборки скотины. Почему на два дня раньше намеченного срока — никому было не ведомо, кроме трех

человек. Никто, кроме них, не мог знать, что лишние два дня работы Дыбина могут стоить дорого, что у него тоже все обдумано, что к воскресенью что-то может случиться.

Дома Федор передал Мише наган и сказал два слова:

— Так надо.

— А ты как же? — спросил тот.

— Есть, — коротко ответил Федор.

Он «закрылся» на все замки, ни с кем в тот день не разговаривал, на вопросы отвечал односложно и кое-когда невпопад.

Часов в десять утра Ваня с Матвеем Степанычем вдруг ни с того ни с сего вздумали ехать в Оглоблино закупать для магазина куговые корзины и гужи для хомутов. Провели там полдня, объезжая по улицам и скупая у кустарей по высокой цене. Казалось, ничего особенного в такой торговой операции не было: председатель сельской кооперации не раз так делал. У соседки покойной тещи Андрея Михайловича они отдохнули с полчаса и вернулись в Паховку с целым возом товара.

Ваня вошел в правление кооператива, перекинулся с Федором несколькими словами, и тот сразу же пошел домой. Там Федор прошел в вишняки и смотрел на притоптанный точок под старой вишней. Для него все прояснилось: смертный его враг ходит по пятам. И он теперь похлеще Дыбина. Многолетний вопрос «кто — кого?» встал неумолимо и безотлагательно. И тут же Федор вспомнил Тосю: здесь, под старой вишней, они однажды сидели с Тосей рядом тихо и спокойно; это место вытоптали начисто сапоги врага, жестокого и безжалостного.

Федор и в опасности все думал и думал о Тосе. Он даже пробовал ей писать, но тут же рвал лист на части. О чем писать? Звать? Не пойдет — не любит. Да и самолюбие не позволяло. Ругать и порочить? Она и сама сомневается — иначе не уехала бы, а ушла к Игнату. Ждать молча и безнадежно? Нечего ждать. Совсем нечего. И трудно вот так, без надежды. Каждый раз, вспоминая при этом Дыбина, Федор сжимал кулаки и зубы.

В те предвечерние, последние перед собранием часы он пробыл дома один, лежа на кровати. В иные минуты ему хотелось встать, пойти к Дыбину и пристрелить на месте. Но он и сам сразу же убеждал себя в том, что такого Федьки, какой был когда-то, уже нет, а есть коммунист, Федор Ефимович Земляков, который обязан думать о

других, о Викторе Шмоткове, о Кочетове и им подобных. *Обязан!* Вот что было теперь стержнем жизни Федора, Вани, Андрея Михайловича и многих других. Но ему ни разу не пришла в голову такая мысль, которая примелькалась в газетах и поэтому потеряла первоначальную чистоту, — «Сначала общественное, а потом уж личное. Личное — на второй план». Он просто не смог забыть Тосю, он ее страстно и навечно любил и хотел, чтобы она была рядом, чтобы она поняла его. И вдруг мысль: «Научилась ли сама? Поняла ли Игната?» И тут же решение возникло само собой: «После собрания поеду к ней». Это решение несколько успокоило его. Он захотел подремать. Но зашел Ваня и поднял его многозначительными словами:

— *Пора начинать.* Пойдем, Федя.

Федор, вставая, повторил эти слова:

— *Пора начинать.*

…На сходку крестьяне шли в школу группами и в одиночку. Одни сначала заходили к соседу, беседовали, потом собирались по нескольку человек в какую-либо хату, делились слухами из соседних сел или новостями из газет, а уж после этого шли вместе; другие прямо из своей хаты направлялись к школе — так спокойно прошел по улице Василий Петрович Кочетов, а за ним циркулем прошагал Виктор Шмотков, что-то бормоча себе под нос и жестикулируя. Но недалеко от школы Виктор влился в одну из групп и произнес, казалось, ничего не значащие слова:

— Значит, пошли… Куды ж денешься!

Собирались медленно, нерешительно. Но каждый знал, что вопрос будет самый важный — «Как дальше жить?»

Поэтому вечером все взрослые мужчины и добрая половина женщин тесно набились в школу.

Женщины стояли особо, небольшой отаркой, прижимаясь друг к другу и неумолчно шепча между собой, Среди них, на голову выше, Матрена Васильевна Сорокина, повязанная праздничным платком в горошек. Мужики курили до одурения, отчего все предметы и сами люди казались сизоватыми, смутно вырисовываясь в дыму и чуть колеблясь. Пахло овчинами и потом. На потолке висела тридцатилинейная лампа с пузатым стеклом, то пригасая, то вспыхивая вновь и моргая, задыхаясь от недостатка воздуха.

Передние уселись прямо на полу перед столом, средние — плечо к плечу, приготовились слушать стоя, а задние стояли на партах, расставленных вдоль стен. Всем видно было место президиума, где пока что пустой стол с ведром воды на нем и жестяной кружкой.

К столу вышел Андрей Михайлович. Собрание дружно вздохнуло. Начиналось! Председатель сельсовета обвел взором собравшихся и тоже вздохнул, не удержался. Все волновались, но было тихо. Но как только Андрей Михайлович сказал первое слово «Товарищи!», все задвигались, прокатилась волна шепота. Он переждал чуть, до полной тишины, и произнес еще раз:

— Товарищи!

Все ждали, что он будет говорить вступительную речь и агитировать. Он же просто и коротко объявил:

— Надо выбрать президиум.

И каждому стало легче, потому что все пошло просто и обычно. Сразу же посыпались кандидатуры. Список кандидатов в президиум уже превышал десяток, а шум разгорался. Кто-то из заднего угла кричал:

— Почему Дыбина не записали? Я ж его прокричал два раза! Дыбина-а!!!

— Внесли и Дыбина! — так же громко ответил Андрей Михайлович.

— Не надо Дыбина! Доло-ой!

Наконец начали голосовать, споря и неистово ратуя за «своего» или «со своей улицы». Но тут пошло уже спокойнее. Только Виктор — шумоватый Виктор! — стоял на этом собрании молча и даже не поднимал руки ни за кого.

Матвей Степаныч спросил его, толкнув в бок:

— Ты чего же, Витька, не голосуешь?

Тот ответил угрюмо поговоркой:

— А по мне, хоть бы пес, лишь бы яйца нес, — и вышел с собрания.

Матвей Степаныч покачал головой и переглянулся с Федором. Тот моргнул ему и кивнул так, будто утешал: «Все обойдется».

В числе других голосовали и за Дыбина.

— Голосую! — объявил Андрей Михайлович. — Кто за Дыбина?.. Ни одного! Кто выдвигал — и тот не поднял.

Матрена Васильевна выкрикнула:

— Куцему зайцу — до хвоста!

От дружного смеха вздернулось пламя лампы, но сразу все стихло, будто веселье оказалось лишним при таком важном собрании.

Однако с первого круга президиум так и не выбрали — оказалось за двух кандидатов по равному количеству голосов, и надо было переголосовать. Переголосовали и успокоились, закурили все сразу. Когда Василий Петрович Кочетов, Иван Федорович Крючков и Федор Ефимович Земляков заняли свои места за столом, в школе было уже так жарко, что многие поскидали зимнюю одежду и запрокинули шапки на затылок или сдвинули их на ухо. В этот момент вновь вошел Виктор Шмотков и стал неподалеку от президиума (пропадал он минут двадцать).

Крючкову предстояло делать доклад. Он пошептался с другими двумя за столом. Решили: сначала председательствовать Василию Петровичу, а потом видно будет. Затем докладчик шептал на ухо председателю собрания повестку дня:

— О ходе кол-лек-ти-ви-за-ции… Понял? О ходе коллективизации…

Василий Петрович раза два пытался произнести про себя это слово, потом пробовал тихонько вслух, но ничего из этого не получилось — слишком новое и слишком трудное слово. Тогда он расправил бороду и бросил в собрание:

— Повестка дня — насчет колхоза.

Крючков начал доклад так:

— Товарищи!.. Откройте форточки, иначе лампа потухнет. Дышать нечем. — Потом в тон Василию Петровичу продолжал: — Повестка дня — насчет колхоза. Надо решить наконец, как дальше жить. Этот вопрос стоит сейчас в каждой хате, перед каждым из нас. — Он чуть помолчал и обвел всех взглядом. Он знал, что у каждого в уме стоит одно: «Как дальше жить?» Знал, что именно это и раздвоило крестьянина. А докладчик, молодой и сильный, обязан был ответить, убедить. Убедить в последний раз! Начал он с землепользования до революции. Кратко сказал, что в Центрально-Черноземной области — в Воронежской и Тамбовской вместе — два миллиона сто тысяч десятин земли было у помещиков, два миллиона — у кулаков, а четыре миллиона — у всех остальных крестьян. Каждая

четвертая десятина принадлежала кулакам! Он еще говорил о том, что Советская власть передала всю землю крестьянам, что после гражданской войны и разгрома кулацких банд крестьяне стали жить лучше, чем до революции. — Лучше или не лучше? — спросил он у собрания.

— Лучше! — ответили ему дружно, и сразу же все заговорили.

Это был итог кратчайшего исторического обзора.

Потом Иван Федорович, дождавшись тишины, продолжал:

— Хотя и лучше стало жить, но к богатой жизни дойти так нельзя, — Он увидел на лицах явное недоумение (как так «нельзя», если стало лучше?) и отвечал на взгляды: — Нельзя! Единоличное хозяйство будет порождать кулаков, а мелкое хозяйство будет разоряться от падежа даже одной коровы или лошади и увеличивать кандидатов в батраки… Потише, товарищи!.. Беру два примера из нашей Паховки. — Собрание приумолкло. — Что такое — Сычев? Если ему дать идти и дальше тем же путем, как он шел, мы вернемся к старому, когда каждая четвертая десятина — кулаку. Это и будет означать возврат к капитализму. Где же наше спасенье?

— Да не шебарши ты над ухом, чертов сын! — шикнул кто-то на соседа, видимо, пытавшегося поделиться мыслями о том, где его спасенье.

— Где спасенье? — повторил Иван Федорович. — Только в том, чтобы землей владеть вместе, коллективно. Вопрос стоит так: или назад — к капитализму, или — в колхоз! — Это он сказал резко, как отрубил. И услышал дыхание собрания в полной тишине.

— У кого горит шуба? — вопросил бас из средины.

И правда, в школе запахло горящей шерстью. Завозились, зашуршали, загомонили. Кто-то стал забивать ладонью тлеющую шерсть, кто-то выругался без стеснения матом, кто-то с кем-то заспорил — не разобрать. Было ясно: попытка сорвать доклад в самом интересном месте сделана. Федор толкнул Ваню коленом в колено, тот легонько ответил тем же. Это значило — Федор сказал: «Смотри в оба», а Ваня ответил: «Смотрю в оба».

Чад от шерсти защекотал в носу. Андрей Михайлович распахнул два окна и приказал:

— Открыть двери!

Через несколько минут помещение проветрилось, окна и двери закрыли, и докладчик продолжал:

— Жалко, конечно, шубу. У кого же она горела? От цигарки шерсть не загорится.

Из плотной массы тел послышался четкий голос родного его дяди, дяди Степана, воспитавшего и вырастившего сироту-племянника в своей большой семье:

— Ванятка! Это ведь у меня шубу-то зажгли. Я ее снял и положил рядом, а они, идолы, зажгли — целый пук трута сунули. И не заметил — заслушался. Сижу себе на полу, а она зачадила. Вот сукины дети!

Федор сжал зубы, а Ваня зло прищурил один глаз. Но Ваня был здесь Иваном Федоровичем, докладчиком — он бросил спокойно шутку:

— Ничего, дядя! Хуже тому, на ком шуба висит, а тело дрожит…

— Давай говори, Иван Федорович, — сурово сказал Василий Петрович, привстав за столом. — Тихо! — крикнул он в собрание как приказ.

Иван Федорович продолжал:

— Так. На чем мы остановились? Остановились мы… на шубе. — Все заулыбались, — Раньше мы видели убитую лошадь и порезанную без цели скотину… Это было хуже… Шуба — пустяк: укус комара. Слушайте, дорогие товарищи! Нам кто-то мешает жить! — Он повысил голос. — Кто-то не желает колхоза, кто-то хочет, чтобы вы нищими стали. Слушайте, товарищи! — Он посмотрел на Виктора, и тот заметил этот взгляд. — Или назад, в старое, куда тянут Сычевы, или вперед, в колхоз, — больше нет путей. Мы на этом вопросе и остановились. Но я еще приведу один пример. Что такое хозяйство Виктора Ферапонтыча Шмоткова? Пала корова или лошадь — он разорен. Всю свою жизнь он идет под ручку с лихой бедой и беспросветной нуждой, к которой уже привык. А кто поможет?.. Сычев?.. Не поможет! Толкнет к гибели — ему нужны рабочие руки. Где выход для Виктора? Только в колхозе. А таких, как Виктор, большая половина села. Вы меня поняли?

— Поняли! — ответило собрание хором.

— Тогда я кончил доклад. Давай, Василий Петрович, переходить к вопросам.

— У кого и что наболело? — спросил Василий Петрович. — Давайте вопросы.

Первый вопрос, по предварительной договоренности в партячейке, задал Матвей Степаныч Сорокин:

— Что будет обсуществляться в колхоз?

Иван Федорович ответил раздельно, с короткими паузами:

— Лошади. Волы. Сельскохозяйственный инвентарь. Больше ничего.

По школе прошелестел сначала тихий шепот, потом он превратился в легкий гул и наконец в общий гвалт: все заговорили, заспорили и закричали. Слышался настойчивый голос одного из споривших:

— А кто же набрехал? Кто набрехал, язва?

В гомоне мало кто заметил, как Виктор протискался к столу и в общем ералаше заорал своим пронзительным тонким голосом:

— Пустите! Пустите меня!.. Как так? — спросил он в упор у Ивана Федоровича, тяжело дыша ему в лицо.

И тогда все увидели Виктора у президиума, лицом к лицу с секретарем партячейки. Стало очень тихо.

— Как так? А овцы, а коровы, а куры?.. А… телушка!!! — выкрикнул он с болью и ужасом.

Ваня смотрел ему в лицо, искаженное, разбитое бедой, и в тишине сказал:

— Да, Виктор. Только тягло и инвентарь — плуги, бороны, веялки. Ничего больше.

Многие поняли в этих словах искреннюю жалость к Виктору. А тот смял шапку в руках, опустив голову на грудь. Вдруг он неожиданно поднял руку с шапкой вверх, лицо его осенилось каким-то небывалым для Виктора вдохновением, он круто повернулся к собранию и дико закричал:

— За что же он, гадюка, меня убил?! Мужички! Что же это такое? Разори-ил!!! Детишек загубил, ирод!

Виктор на глазах у всех стал вдруг гордым, он вскинул голову, лицо его преобразилось в благородное и возвышенное. И он… начал «выражаться». Именно выражаться, изливать душу! С точки зрения многих присутствующих это была изящная словесность, исходящая из уст человека, одаренного недюжинным талантом, хотя и раздавленным

тяготами жизни, талантом, вспышки которого проявились в минуты наивысшего напряжения. Лишь к концу блестящего выражения мыслей, через несколько минут, кое-кто из близко стоящих заметил, что Виктор с горя напился самогонки до самого высшего состояния, то есть до непоколебимой веры в свои собственные силы и способности.

Виктора было жаль до слез. В его необычном воодушевлении было что-то похожее на страшный плач израненной души. Но лучше бы уж он плакал — так жутко было его пробуждение. Лучше бы уж он плакал. Ведь были многие в таком положении. У тех, у кого в разных закоулках навалены куски и глыбы мяса, тоже подступал ком к горлу.

В прениях первым взял слово Андрей Михайлович, хотя и не очень-то он был речист на собраниях.

— Вот вы прослушали, товарищи, доклад. Лучше я не скажу — не умею, сами знаете. — Он неожиданно поднял руку и горячо выкрикнул: — Только до каких же пор мы будем волками жить — каждый на своей полоске?! — Потом протянул обе руки к собранию. — До каких пор будем душить друг друга на меже и биться с нуждой в одиночку! Советская власть дала землю… — Андрей Михайлович уже потерял пыл и сказал спокойно: — А мы хотим остаться рабами своей полоски. Нельзя так. Яснее ясного. Так я думаю, товарищи. А богатыми мы будем в колхозе. Ей-богу, будем, помяните мое слово.

Многие верили Андрею Михайловичу, но… боялись неизвестности.

Крючков и братья Земляковы наклонились друг к другу, перешептываясь: собрание шло хорошо, все было убедительно. Когда после речи Андрея Михайловича председатель дал волю «пошуметь промеж собой» (что он считал обязательным), Матвей Степаныч протискался к Виктору и защебетал ему на ухо:

— Витька! Не сумлевайся. Ну ошибка вышла у тебя — только и того. С кем грех не бывает. Думаешь, расстрел будет? Да ни боже мой! Это ж мы нарочно, чтобы остановить таких, как ты, дур… То есть того… Не сумлевайся. В колхозе помогнем. Оно отойдет. Ей-ей, отойдет с души.

Постепенно нарастал беспорядочный говор: сосед с соседом спорили и высказывали свои соображения горячо и громко. Но когда Василий Петрович, постучав предварительно кружкой о ведро,

спросил: «Кто возьмет слово?», то никто не хотел говорить; всем казалось, что они уже высказались перед близко стоящими, и — хватит. Поэтому несколько минут не было желающих выступить в одиночку. Зато стало опять тихо.

И вот из тишины, из задних рядов послышался этакий вежливый и спокойный баритон:

— Товарищ Кочетов! Позвольте слово.

Дыбин держал поднятую руку. Из президиума председатель некоторое время не отвечал. Крючков решил принять бой сейчас: если отказать, то Дыбин сочтет это за бессилие и получит перед собранием явный козырь. Поэтому он и сказал Кочетову:

— Дай ему слово.

Бросил он эти слова резко и поправился на стуле, будто приготовившись вскочить в любую секунду.

— Не дам! — отрубил Василий Петрович.

— Дай, — строго повторил Крючков.

Василий Петрович зачем-то тихонько дернул себя за бороду, видимо с досады, отмахнулся как от мухи и нехотя объявил:

— Слово имеет товар… то есть… Дыбин.

Тот протискался на средину, поближе к президиуму, но к столу не подошел. Крючков поглядывал на него искоса, а Федор смотрел Дыбину прямо в глаза. Игнат был в белой сорочке и при галстуке, чисто выбритый, с пробором «набочок». «Красивый, черт», — подумал Федор, вспомнив с болью о Тосе, и почему-то потрогал пистолет в кармане. Он почувствовал, как Миша стал позади него и чуть-чуть притронулся к нему рукой — дескать, что-то сейчас будет. Матвей Степаныч протолкался от Виктора к столу и оказался позади Крючкова, волнуясь и вздрагивая, как перед кулачным боем. Никто не заметил одного: Андрей Михайлович очутился позади Игната и, казалось, спокойно приготовился слушать (видимо, в те минуты, когда Игнат пробирался к средине, тот и занял позицию).

Дыбин пригладил волосы ладонью и начал:

— Дорогие товарищи! Некоторые из вас думают обо мне плохо. Я был в лагере врагов Советской власти. То были грехи зеленой юности. Я наказан сильно. Перед вами честно заявляю: в ошибках раскаялся, и жизнь моя принадлежит народу — вам. И я считаю своим долгом в этот решительный для вас час сказать: не сомневайтесь! Идите в

колхоз смело, всем селом сразу. Партия учит народ только хорошему. Здесь товарищ Вихров говорил: «До каких пор будем жить волками?» И правильно: волки вы и есть. — Недовольный гул волной прокатился в школе. — Поддерживаю товарища Вихрова. От всей души поддерживаю и доклад товарища Крючкова, уважаемого секретаря партийной ячейки. Но, товарищи! Надо помнить самое главное: в решении окружкома ВКП(б) сказано прямо — наш район «созрел для сплошной коллективизации». Об этом известно всем членам партии нашего села. Золотые слова! «Созрел для коллективизации!» Вы только вдумайтесь, товарищи! Надо так и выполнять здесь и говорить прямо: вынести постановление общего собрания немедленно — всем в колхоз. А завтра уж, если кто будет отказываться и сопротивляться, тащить его силой… — Кто-то из женщин ахнул от этих слов. — Разве постановление общего схода не обязательно для каждого гражданина? Обяза-тель-но! Это установка совершенно правильная. Я поддерживаю решение высших партийных организаций.

Собрание загудело роем.

— То есть как это так — «силой»? — спросил зло Василий Петрович из-за стола.

— Ну, не силой, а *обязательным* постановлением общего собрания, — поправился Дыбин.

Рой гудел все сильнее и гуще — казалось, его потревожили и пчелы вот-вот бросятся жалить, защищаясь. Послышался наконец возглас:

— А чего же партийная ячейка от нас скрывает?

— И вот, товарищи! — воскликнул окрыленный успехом Дыбин. — Дорогие товарищи! Ленин призывал нас к коммунизму. Мы подходим к нему вплотную. Мы на пороге! В инструкции окружкома прямо сказано: «обобществление скота». Почему здесь выдвигают только о лошадях? А коровы, а овцы — разве не скот? Почему останавливаться на куцей форме колхоза?.. Мы должны поддержать программу партии о коллективизации, о переходе к коммунизму и обобществлении средств производства, а если нужно, то и любого имущества, необходимого колхозу. Да здравствует колхоз! Все в колхоз! Ни одного двора вне колхоза!

Будто огромный холст разом разорвался в школе: так со скрипом зубовным и потным матом взревело собрание. В гвалте по отдельным

выкрикам было трудно разобрать, что получится из этого взрыва.

— Ты что брешешь?! — вскрикнул Матвей Степаныч.

— Куда клонишь? — кричал зычно Василий Петрович, забыв о роли председателя. — Куда загинаешь? Что не даешь подумать народу?

— Скрыва-аю-ут!!! — дико кричал кто-то.

— Змея — Дыбин.

— Тише! Подумать надо!

— Обманывают! Нас обманывают!

Дядя Степан Крючков впился пальцами в свою бородку, тормошил ее безжалостно и кричал надрывно:

— Брешет собака Дыбин! Я тебя, подлеца, нутрем чую! — При этом он запрокинул голову, не заметив, как упала шапка с головы, ее затоптали и затолкали ногами невесть куда. Он грозил кулаком. — Не верьте ему, мужики! Не верьте!

Из угла вылетело:

— Сначала — лошадей, а потом — и жен!

— Наши жены — это не Федькина б…

— Не верьте бандиту-у!

Вдруг кто-то в общем гвалте заорал дико и злобно:

— Беспортошников-коммунистов доло-о-ой!!!

И сразу же после этого выкрика, как по команде, кто-то с улицы через оконное стекло бросил камнем в лампу, но промахнулся. Камень попал кому-то в плечо, и потерпевший кричал:

— Бандиты-ы! Собрание срывать, гады!

— Бей бандитов!

— Ножа в бок Дыбину!

Только сам Дыбин стоял, казалось, спокойно, невозмутимо и смотрел на президиум, не спуская глаз и не вынимая рук из карманов. Всем своим видом он выражал одно: и чего люди так раскипятились!

Тревога нарастала. Андрей Михайлович тенью стоял позади Дыбина. Зинаида оставалась среди женщин и что-то горячо доказывала. Остальные коммунисты стянулись к столу. Они приняли бой и обязаны были идти немедленно в контратаку. Нужны были самые срочные меры — дело решалось минутами. Василий Петрович что-то в бессилии кричал, надрываясь, но разобрать что-либо не было никакой возможности. Виктор напролом, молча попер на Дыбина, над

головами сверкнул его нож, чьи-то руки сразу схватили руку Виктора и скрутили вниз, а он кричал, пьяный и готовый на все с горя:

— Глотку ему искромсаю! Глотку! Глотку!

Ваня изо всей силы крикнул Федору, хотя и был с ним рядом:

— Давай, Федя!

Никто не предвидел такого яростного возбуждения людей (кроме разве Дыбина). Ваня еще не знал, чего он ждет от Федора. Он просто верил в него и был убежден — сейчас должен говорить только коммунист с большой волей, с самой большой волей из всей партийной ячейки. Может быть, он этого и не знал, а почувствовал сердцем. И Федор понял друга.

Но что может сделать Федор, если в диком ералаше, где уже начали хватать друг друга за грудки, никто и не услышит его голоса! И все-таки Федор мысленно тут же решил: «Убить! Или он меня — пулей или я его — словом». И вот он взобрался на стол и стал во весь рост. Появление на столе человека уже само собою привлекло внимание всех без исключения. Он стоял и молчал, подняв кулак. Казалось, стоит изваяние, бросившее кому-то вызов, зовущее кого-то вперед за собой. Люди смотрели на него и постепенно замолкали, утихали. Наконец стало совсем тихо. Слышно только возбужденное дыхание собрания и отдельные хрипы. А он стоял и молчал. Тишина достигла предела: если бы не дышали, то показалось бы, что все окаменели. В этой тишине, от которой шумело в ушах, раздался спокойный голос Федора:

— Что ж, Дыбин, стреляй. «Варяг» на столе, — И он опустил кулак.

Матвей Степаныч рванулся к Крючкову, вцепился сухими пальцами в его рукав и прошептал тревожно:

— Ваня!.. Стрельнет!!!

Крючков резко встал и в напряжении пригнулся, будто приготовившись к прыжку. Мелькнула мысль: «Дыбин догадался — пришли его последние часы: выстрелит».

— Не хочешь? — так же тихо и уверенно продолжал Федор. — Силы у него нет, товарищи. Вот он и бьет подлостью. Бандит, Дыбин Игнат, сегодня стал провокатором. Не верьте. Не поддавайтесь на провокацию. Давайте говорить о деле. Давайте на эти часы забудем,

что есть Дыбин… *Потом вспомним.* — Последнее слово он произнес подчеркнуто многозначительно и слез со стола.

Кто-то шумно вздохнул в одиночку, но все услышали этот вздох. Потом все до единого человека следили за Зинаидой — она пошла к Дыбину. Как ни тесно было, а ее пропустили беспрепятственно. Остановившись перед ним, она гневно отчеканила ему в лицо:

— Ты… Ленина не упоминай… не по твоим губам это… По-о-дле-ец!

Слово это хлестнуло, как удар бича. Звук его еще долго стоял в ушах. И снова наступила тишина. Это была очень сильная тишина, потому что внутри каждого была буря.

К столу пробралась Матрена Васильевна Сорокина. Она стояла, высокая, прямая, широкогрудая, и смотрела в упор на президиум, вполуоборот от собрания:

— Товарищ Крючков! Ваня! Ответь, сынок, хорошо… Андрей! — обратилась она в средину. — Ответь и ты. Мужики с ума посходят — не знают, где правда. Скажите прямо: овец, кур, коров — будут обсуществлять или не будут? Будут гнать силой или не будут? Нутренность у мужика может не выдержать. Ну?.. Скажите, чтоб и Дыбин слыхал. Эй, Дыбин!.. Дыбин! — крикнула она в собрание, выискивая глазами. — Желаем, чтоб и тебе ответили. Разевай рот — сейчас вкладывать будут.

От дверей крикнули:

— Ушел твой Дыбин. Выскочил как угорелый…

— Какой это «мой»? — огрызнулась Матрена Васильевна, — Нужен он мне как пластырь на здоровый глаз.

Крючков ответил:

— Ложь и клевета. Ни о какой коммуне разговора нет — мы говорим об артели. Это главное. Ни коровы, ни овцы, ни куры обобществляться не будут. Точно говорю. Силой гнать никто не будет. Отвечаю за свои слова головой. — Но он все-таки ничего не сказал о письме, где сказано о решениях сходок, «обязательных для всех». Еще на партийном собрании он понял, что Некрасов обошел эти три слова. Да и не имел он права разглашать письмо, адресованное партячейке. Его поразило, откуда мог знать обо всем этом Дыбин, но эту мысль он оставил до будущего. Закончил он ответ просто: — Мы решим здесь, как быть. За вами слово.

— Я скажу, — воспрянул Матвей Степаныч. — Так давайте: кто за колхоз — поднимем руки и останемся тут, в школе, а кто против — пущай до дому уходит.

— Правильно!

— Идет так! — откликнулось собрание отдельными голосами.

— Голосую! — ухватился за это предложение Василий Петрович.

Снова все стихло. Решалось! Надо было поднять руку и остаться или не поднимать и уйти. Уйти нетрудно, но зачем? Чтобы снова не спать ночей и думать, думать, думать — что же делать?

— Голосую! — повторил еще раз председатель собрания. Вдруг он увидел в глазах многих того самого раздвоенного человека, знакомого по своим думам, и прервал самого себя: — Нет, подождите! Речь скажу и я. — Неожиданно для всех он сжал кулаки, потряс ими над головой и зычно выдавил все, что было в его силах и способностях: — Не можно так жить! С тоски пропадешь! — И сразу же тише: — Знамо дело, боязно, но… начинать надо все равно. Я… останусь тут. — И уже в третий раз, спокойно, поправив бороду, торжественно сказал: — Голосую!.. Кто за колхоз… поднимем руки, товарищи. — И поднял свою, первую, она возвышалась над всеми, широкая, трудовая ладонь.

В сизой дымке поднимались руки одна за другой. Но Василий Петрович все еще не считал — он хорошо знал народ своего села.

Вот Виктор Шмотков отвел правую руку от шапки, но рука, будь она неладна, не послушалась и вверх не пошла; он уперся ею в бок, чтобы прочнее держалась, и даже глянул на нее — так ли лежит.

Василий Петрович стал считать, шевеля губами.

— Вслух считай! — потребовали несколько человек.

Он стал считать вслух:

— Сто пять… Сто шесть… — При каждом появлении новой руки он возвышал голос. — Сто десять! Кто еще? Витька! Ты чего же?

— Сто одиннадцать! — воскликнул Виктор облегченно и сам недоумевал, как это рука оторвалась сама собой и взмыла вверх вместе с шапкой. И Виктору стало легче.

После того как Василий Петрович закрыл общую сходку, добрая половина крестьян ушла: они неловко потолкались между всеми и — бочком, бочком — пробирались к двери; там неуверенно надвигали поплотнее шапки, нерешительно оглядывались назад и тяжелой

походкой выходили на крыльцо. В школе стало просторно и спокойно — остались те, кто голосовал за колхоз. Против колхоза не голосовали (председатель сходки даже не сказал таких слов: «Кто против?»). Тем самым был оставлен «резерв» для каждого ушедшего из школы: он не против колхоза — он еще подумает.

Здесь же сразу открыли первое в истории села общее собрание колхоза. Сначала решили выбрать трех: председателя, заместителя и завхоза. Дядя Степан заговорил первым:

— Завхозом-то — Матвея Степаныча. Обязательно.

— Выходи, Матвей, — обратился к нему без обиняков Василий Петрович.

Матвей Степаныч, ни слова не говоря, вышел к столу и поклонился собранию низко, по-старинному. В ответ на это дружно поднялись руки. Так и получилось тогда само собой, что выборы начали с завхоза.

Кандидатуру Федора внес сам Крючков и добавил:

— Лучшего председателя не найдем. — Теперь собрание проходило тихо, серьезно и спокойно — здесь были только те, у кого душа почти стала на место. После голосования Федор, по примеру Матвея Степаныча, последовал старинному обычаю, которым подчеркивалось уважение к обществу и ответственность перед ним: он поклонился собранию низко, как полагается, чем все остались весьма довольны.

Выборы правления прошли спокойно, а Федор Ефимович Земляков стал председателем колхоза «Новый чернозем».

Уже начали расходиться по домам, как в школу вошли четыре человека: Андрей Михайлович, какой-то незнакомец и два милиционера.

— Ты откуда? — тихо спросил Федор у Андрея, когда тот подошел вплотную (пока Крючков читал документ незнакомца). — Куда ты смылся с собрания?

— Где был, там нету. Расскажу потом. — И так же тихо добавил: — Уполномоченный райкома и райисполкома приехал.

— Где ты его нашел?

— Подхожу к школе, а он с милиционерами подъехал.

Уполномоченный пожал руки сидящим за столом и всем, кто стоял близко, назвал свою фамилию:

— Лузин.

Милиционеры просто козырнули всем сразу и сели рядышком, как близнецы, одетые во все одинаковое.

Лузин спросил, не обращаясь ни к кому:

— Устали? — и, не дожидаясь ответа, сказал с нижегородским акцентом: — На сегодня-то хватит.

— А мы уже закончили, — подтвердил Крючков. — Колхоз есть!

— Мне сказали — у вас намечено на воскресенье. Почему передумали? — спросил Лузин.

— Долго рассказывать, — ответил Андрей Михайлович за всех. — Все узнаете.

— Ну хорошо. Тогда сделаем так: на двадцать минут останемся здесь. Расскажете мне, и я кое-что расскажу маленько.

Этот разговор происходил около стола и так тихо, что колхозники мало чего поняли, кроме одного: приехал уполномоченный из района и два милиционера.

…Было уже три часа ночи, когда тесным кружком коммунисты уселись вокруг стола. Лузин, прежде чем начать совещание, обратился к милиционерам:

— Вы, робята, подежурьте-ка около школы-то. Не ровен час, *кому-то* захочется послушать маленько, а этого пока не след. — Оба милиционера вышли, а он продолжал: — Дело, робята, серьезное. — По такому простому обращению, нижегородскому говорку и проскочившему слову «робята» все поняли, что перед ними — простой трудовой человек, хотя по одежде — руководящий (черная гимнастерка, галифе, широкий пояс). Он и сам без стеснения пояснил: — Давайте-ка поговорим по душам. На меня-то особо не лупите очи — я ведь такой же, как и вы. Из-под Нижнего я. А работал в Ельце, на цементном заводе, рабочим. Потом в Белохлебинске — на чугунном, заместителем директора, а теперь вот в район бросили. На колхозы бросили. И вам скажу прямо, как мужик коняге: чем могу, помогу, а воз-то тебе везти. Сперва разберемся давайте. Вот. Скотины много порезали?

— Есть, — неопределенно ответил Крючков. — Проморгали.

— Тоже не здорово. Поэтому и с собранием поспешили — понимаю. А что думаете делать дальше?

Вместо ответа Крючков сказал:

— Небось вы и привезли новости. По ним и будем правиться.

Остальные согласно поддакнули.

— Если так, то слушайте *новости*, — многозначительно подчеркнул Лузин. — Секретаря-то райкома, Некрасова-то, сняли с должности.

Крючков вскочил, Федор медленно встал, Андрей Михайлович выругался незаметно для самого себя, а Матвей Степаныч охнул как от боли.

— Сняли, — продолжал Лузин. — «За либерализм в коллективизации и за потворство кулакам» — так записано. — Он вздохнул. — Вот они дела-то какие, робята… Тебе, Крючков, — выговор. Тебе, Вихров… Ты — Вихров? Ага. Тебе — выговор. Обоим вам — за самый низкий процент коллективизации и за этого… Как его? — Он достал из кармана бумажник, из него вынул лист бумаги, пробежал глазами. — И за Кочетова Василия Петровича. Скрыли его как кулака, арендатора, нанимателя. Вот. Четыре заявления на него есть, а вы вроде защитили.

Все опешили. Никто сначала не смог произнести ни слова. Первой промолвила Зинаида, просто, по-женски:

— Чепуха-то какая!

— Какая такая чепуха? — спросил у нее Лузин.

И только после этого всем захотелось высказаться.

— Чепуха! — воскликнул Крючков.

— Он же вечный середняк, Кочетов-то, — старался убедить Лузина Матвей Степаныч. — Разве ж это допустимо! Человек — трудовик, все своим горбом, а его в кулаки записали. Невозможно.

— У него сын — комсомолец, — сказал Миша, волнуясь. — Самый хороший парень. Кто это там наворочал?

— Клевета, — сказал Андрей Михайлович. — Кто писал заявления?

— Если бы нам с тобой показали эти заявления. Я знаю столько же, сколько и ты, — ответил Лузин.

Только один Федор не произнес ни слова. Лузин, поворачивая голову то к одному, то к другому из говорящих, видимо, растерялся. Не верить он не мог. И тогда он спросил:

— А как же быть? Я ведь привез решение райисполкома о раскулачивании Сычева и Кочетова.

Наконец отозвался Федор:

— Мы Кочетова раскулачивать не будем. — Эти слова он сказал так, будто вопрос не подлежит больше никакому обсуждению.

Лузин видел по лицам, что заставить их нельзя. У него мелькнула мысль: «Вернуться в райком и все рассказать». Но потом он вспомнил, как новый секретарь рвал и метал по поводу «низкого процента» в Паховке (ноль!), как он всю партячейку обозвал подкулачниками, и мысленно решил: «Ехать бесполезно. Лес рубят — щепки летят». После этих коротких размышлений он сказал так:

— Вот что, робята: выполнять партийное поручение я обязан. И вы обязаны. Жалуйся, но делай. Будем делать. Все. Делать завтра, ночью.

Выход нашел Крючков, предварительно пошептавшись с Федором:

— Ладно. Решение есть решение. Но имущество Кочетова не трогать. Опечатать и — не прикасаться. Сам свяжусь с областью, сегодня же отправлю пакет. Я докажу.

— Ну так и так, — согласился Лузин. — С утра ему — твердое задание, а ночью… Ничего не попишешь. — Он чуть помедлил и добавил еще: — Так, должно быть, надо. Попал я с вами как кур во щи… Ладно. Хлопочи, Крючков. Пока имущество Кочетова трогать не будем.

Теплом пахнуло от последних слов Лузина. Крючков понял, что в райкоме ему, секретарю партячейки, уже не доверяют. Больно ему стало от этого, и появилось ощущение какой-то не то неполноценности, не то изолированности от того огромного и могучего, что называется партией и что вошло в его существо уже нераздельно с его мыслями и делами. А вот Лузин, чужой и незнакомый, понял: он глянул на Крючкова и просто сказал:

— Ночевать я пойду к тебе.

— У меня семьища-то знаете какая? Я — девятый.

— Десятым буду. Я, брат, тоже из такой семьи… Так вот и бились до революции с одной лошаденкой… Да! О чем я? Забыл главное. Есть еще второй вопрос. Кликните милиционера, того, что пониже. Ярков его фамилия.

Когда тот вошел, Лузин спросил у него:

— Где у тебя ордер-то?

— Тут, — прихлопнул милиционер по карману.

— Дай.

— Не имею права.

— Молодец. Дело тут серьезное, робята. Ордер есть — арестовать Дыбина. Тут, кажись, все ясно. Может, тоже защищать будете? — пошутил Лузин.

— Почему не арестовать? — ответил вопросом Матвей Степаныч. — Арестовать можно. Этому мы все в спину поклонимся, когда провожать будем.

— А чего же волыните? — спросил Андрей Михайлович у милиционера.

— Ждут, когда сбежит, — сказал Федор.

— Уже были у него — на хате замок, — спокойно объяснил милиционер. — Как появится — возьмем.

— В Оглоблино ушел, — сказал Андрей Михайлович. — Сам видел — пошел через луг. С собранья и — через луг.

— А какое основание для ареста? Ничего не можете сказать? — спросил Крючков.

— Не могу знать, — ответил милиционер. — Наше дело выполнить, а ваше — помогать.

— Вот вам помощь, — предложил Андрей Михайлович, — идите в Оглоблино. Пятая хата от края — там он обязательно, только там.

…Но ни в Оглоблино, ни дома Дыбина не оказалось. Не появился он и утром. Не было его и днем. Пропал, как в воду канул. А поздно вечером следующего дня загорелась его хата. Тушить ее никто не осмелился: на потолке рвались винтовочные патроны до тех пор, пока не обвалилась крыша и потолок, — не подойти. Так и сгорела хата Игната Дыбина. По его поручению поджег ее Степка Ухарь, предварительно выведя лошадь из сарайчика. Игнат смотрел из-под кручи реки на зарево и знал, что горит та самая хата, где он провел такие счастливые и незабываемые часы с Тосей. «Где-то она теперь? — подумал он. — Все кончилось, и навсегда, безвозвратно».

О приезде милиционеров ему стало известно еще до того, как они вошли в школу, еще в тот момент, когда они прямо с ходу направились к его хате: он, пройдя часть луга, спетлял, отводя след, вернулся скороходом в Паховку чуть раньше Андрея и стал в тени на противоположной стороне улицы, посматривая на свою хату. Дыбин

видел милиционеров своими глазами, когда они подходили к его двери и потрогали замок. Все было ясно. «Конец: надо уходить — Черный выдал», — решил он. А разыскав Степку, приказал поджечь все — хату и сарай. Он просил его открыть замок и выпустить кота, но Степка огрызнулся:

— Я тебе — дешевле кота? Буду там валандаться с кошкой. Твою хату запалить — надо на пузе полкилометра тащиться: чуть промах — и зацапают. Обдумает ведь такое: кошка!

Так и сгорел тот котенок, подобранный в мельнице и превратившийся в пушистого кота, ласкового и игривого. Жаль было Игнату кота, очень жаль. Ведь только и было за всю жизнь две слабости, две забавы — Тося и кот.

Федор, Ваня и Андрей чуть ли не рвали на себе волосы, когда узнали об увертке Дыбина, и между собой ругали милиционеров всякими словами. Но они не могли знать того, что творилось в области в эти дни. А Игнат Дыбин был начеку, зная об аресте Черного и заметив позади себя Андрея на собрании; но там он был в безопасности, потому что сначала проверил, нет ли милиции, а тогда уж заявился в школу. Разве ж можно заловить Дыбина, если он самолично убедился в том, что приходили его брать. Не знали коммунисты и того, что Дыбин близко от них — всего за десять — двенадцать километров, в лесу, за полчаса езды на его отличной лошади.

…После пожара в Паховке настала тревожная ночь.

Сычев заперся на все замки. Кочетову Василию Петровичу Миша сказал обо всем накануне, когда выбежал из школы. Василий Петрович сразу весь обмяк и ничего уже не понимал, сидя за столом, уставившись на свежевыпеченную ковригу хлеба. Володя сел верхом на битюжанку и уехал к родным за двадцать километров. Миша еще раз, после пожара, пришел к Кочетовым и сказал Анюте:

— Пойдем… *Домой,* совсем.

Она отрицательно покачала головой:

— Не могу, Миша, оставить стариков сейчас. Папаша-то, видишь, совсем расстроился. — Она тут же, при отце, прильнула к плечу любимого и заплакала.

Миша не видел ее плачущей, кроме как в тот незабываемый счастливый вечер в поле.

— Трудно тебе, Анюта. Все обойдется. Все будет хорошо, — утешал ее Миша, а у самого подступал ком к горлу.

Когда горела Игнатова хата, Федор тоже смотрел на пожар издали. «Где-то теперь Тося? Место, где она была с Игнатом, горит и скоро превратится в кучу золы». Дома сел за стол, обхватив голову руками, и мучительно думал обо всем: о Тосе, о колхозе, о Кочетове. И все это было очень-очень важно. После размышлений о том, как помочь Василию Петровичу, если отправленная Ваней жалоба не дойдет до обкома, ему пришла мысль: «Где-то кто-то в чем-то ошибся, а Паховку трясет лихорадка от одного предположения: если Кочетова раскулачат, то затронут и других середняков. Ведь именно так и думают в селе сейчас, в эту ночь. Сидит теперь Василий Петрович и ждет как лиха… Ошибка в политике может принести людям не только неприятности, но и страданье. Сейчас это так… но… что поделаешь!» Казалось, он дремал. Когда же вошли Ваня и Андрей, он встал и спросил:

— Готовы?

— Готовы, — ответили оба.

Глава одиннадцатая

Игнат не ошибся. В те дни шел судебный процесс над группой бандитов во главе с командиром банды Черным. В газетах об этом пока не упоминалось, но областной город все равно питался слухами, проникающими из зала суда.

Тося, живя у знакомой старушки, не могла не слышать разных толков об этом суде. Но ей было все неинтересно: слишком надорвана была ее душа. Здесь, вдали, Федор казался ей гордым, ненавидящим ее всем своим существом, а Игнат — озлобленным и на нее, но готовым в любую минуту прийти к ней куда угодно. Она не знала, что творится в Паховке, но не интересовалась и городом. Был когда-то человек, которому она могла бы излить душу, — Василий Васильевич, старый, любимый врач, — но она его не застала: за две недели до ее приезда он умер. Тяжкое одиночество, пришло к Тосе и точило как червь. Лицо ее потемнело и осунулось, появились первые морщины. Куда ей теперь деваться? Перед Федором была виновата, ведь она бросила его в самые трудные для него дни; в сознании возникла мысль, высказанная кем-то

и где-то (она не помнила, кем и где): бросить даже чужого человека во время болезни или опасности — ничуть не лучше предательства; и она поняла, что это ощущение останется у нее черным несмываемым пятном, как печать на совести, до конца дней. Поэтому и не могла писать Федору. Но почему же Игната так ненавидят в Паховке? Этот вопрос она всегда связывала с Федором: он честный человек, он не живет для себя (а она-то хотела жить только для себя), он слишком много выстрадал, чтобы ошибиться в Игнате; помнила она перекошенное злобой лицо Игната и слова ненависти к Федору и его друзьям. Все чаще и чаще приходила мысль о том, что она ошиблась, что полюбила того, кого не любят люди. Но… Игнат неожиданно вставал перед ней сильный, страстный в порывах любви. Все начиналось снова, снова замкнутый круг, из которого, казалось, невозможно выбраться.

Однажды к ней в комнату вошла старушка хозяйка и окликнула:

— Тося!

Но она не слышала, неподвижно смотря в угол.

— Тося! — еще раз позвала хозяйка и подошла вплотную, положив руку на плечо. — И что же ты такая чудная, ей-богу? Ты послушай-ка, что скажу. Новость есть.

— Скажите… новость, — безразлично произнесла Тося, не изменяя позы.

— Ты про суд слыхала?

— Да.

— А у тебя кто-нибудь Жилин, родня, был?

— Кроме отца, никого не было. Мать умерла.

— Отец-то — Жилин, значит?

— Жилин.

— Слышь, что машинистка рассказывала: какого-то продовольственного комиссара Жилина поминали на суде.

Тося встрепенулась.

— Продкомиссар?

— Да.

— А что? Что упоминали?

— Говорит она, машинистка-то: убийцу того продкомиссара нашли. На суде выяснилось. Уж не твой ли, дорогуша, папа был тот Жилин?

— Кто сказал? Где она, машинистка? Скорее! — Тося вся загорелась. Она с болью вспомнила отца, вспомнила, как он, уезжая с продотрядом, поцеловал ее в последний раз, она даже услышала сейчас легонький скрип портупеи, когда он к ней тогда наклонился, и почувствовала его ласковую руку на своей голове. — Папа! Папа! — Тося рыдала. Ко всем страданиям и сомнениям прибавилось воспоминание об отце. Его убили. Кто убил, где убили — было неизвестно, даже трупа не нашли. Убили бандиты — много бандитов, как ей казалось. А теперь вот говорят слово «убийца». Кто он? Тося схватила хозяйку за руку и сказала, как выдохнула: — Ведите к машинистке. Сейчас.

Она шла по улице растрепанная, в незастегнутом пальто, со сбившимся на сторону платком.

…Вечером она уже была в квартире судьи. Встретил ее пожилой седой человек, ничем здесь не похожий на судью — в сорочке нараспашку и домашних туфлях. Он пригласил сесть. Тося села и сразу начала сама:

— Я — Жилина. Дочь продкомиссара Жилина.

— Вон что! — удивился судья. — Вы что-нибудь хотите дополнить?

— Я ничего не знаю. Я только хочу знать: кто его убил? Мне надо знать.

— Милая девушка, — мягко заговорил судья. — Прошло девять лет. Кто убил — никто не знал. И вот один из бандитов теперь рассказал, как все произошло… Стоит ли передавать подробности? Вам будет тяжело.

— Рассказывайте, — твердо сказала Тося.

— Продотряд из десяти человек бандиты застали сонным. Девять человек уничтожили сразу же. Самого комиссара отряда, Жилина, допрашивали связанного, пытали. Потом его убили.

— Кто? — зло спросила Тося.

— Несколько человек. Подтянули его к круче над рекой, поставили на ноги и… залп… Так он рассказал. Вам тяжело, детка, все это слышать. Не стоило бы. Но что поделать! Крепитесь…

— Но кто же, кто?! — выкрикнула Тося, уставившись на судью.

— Из всех участников зверской расправы остался в живых один — тот, что сейчас арестован. А из «летучего отряда по борьбе с

продразверсткой» жив еще один, но пока неясно, участвовал ли он в убийстве вашего отца или был на другом «деле». Впрочем, «заслуги» его от этого не уменьшаются. Но он уже отбыл свой срок после того, как явился с повинной сам. Кличка его Орел.

— Кто — Орел? — сухо спросила Тося.

— Дыбин Игнат Фомич… проживающий сейчас…

У Тоси потемнело в глазах. Лицо ее стало мертвенно-бледным. Она потеряла сознание.

Очнулась Тося в чужой комнате, на чужой постели. Возле стояла пожилая женщина и тот самый судья. Она все вспомнила! Несмотря на уговоры, решительно встала и, пошатываясь, ушла.

Дома взяла чемоданчик, простилась с хозяйкой и направилась на вокзал. В голове была только одна мысль: «В Паховку! В Паховку! В Паховку!» Она не знала, зачем туда едет, но надо туда, только туда, в Паховку.

Никто из коммунистов Паховки не знал и не мог знать, что предполагаемый арест Дыбина вызван выяснением дела в областном суде. Надежных оснований для ареста за дела в Паховке явно не было: никто же не мог (кроме Сычева) доказать, что Дыбин подстрекал к убою скота, поэтому распоряжение на арест оставалось отчасти загадкой. Осталось тайной для всех и то, что Дыбин улизнул от милиции. Он был умен и хитер.

В ту ночь, когда еще не догорела его хата, Игнат пробрался задами к Сычеву и тихо подал условный сигнал (два тройных удара в окошко).

— Семен Трофимыч, уходить надо, — сказал он строго, когда тот вышел. — Решка! В лес.

— Никуда не пойду. Пошел к черту! Погибну — не пойду.

— Дурак! — выпалил Дыбин на прощанье.

— Игнат Фомич! Игнат! — натужно шептал Сычев в темноту.

Дыбин пропал, будто провалился в черноту ночи.

Сычев вошел в хату. Теперь он озлобился на Игната: «Сукин сын! Меня подставил под убой, со скотиной-то, а сам — в тени. Теперь скажет: „Укокошь кого-нибудь“, а сам — в лес. Хватит. К черту! Погибаю. Конец».

Часа через два, около полуночи, в дверь постучали.

— Кто? — тревожно спросил Сычев из сеней.

— Открывай.

Сычев узнал голос Андрея. Открыл и вернулся в хату. Там он сел за стол перед бутылкой водки, початой еще раньше. Вошли сначала два милиционера и уполномоченный райкома Лузин, за ними Андрей Михайлович, последними — Федор и Ваня: всего шесть человек. Лукерья прижалась к мужу боком, и он ощущал дрожь ее тела. Но сам хотя и тревожился, а не струсил.

— А-а, пришли! Милости прошу! — пригласил он. — По стаканчику! Садитесь.

Никто не сел. Андрей Михайлович прочитал громко:

— «Решением исполкома райсовета, хозяйство гражданина села Паховки Сычева Семена Трофимовича, признанное кулацким и не выполнившее твердого задания хлебом, подлежит ли-кви-дации»…

— Всё? — спросил Сычев. — Та-ак. — Он выпил полный стакан водки, вытер усы и бороду и вдруг притворно засмеялся: — Ли-кви-да-ции!.. Да пожалуйста! Ха-ха! Милости просим! — Он выпил второй стакан — бутылка оказалась порожней. Потом оглядел всех и спросил: — Так, значит, выпить не желаете? Не надо. Кулак так кулак, — сказал он решительно и, сразу же изменив выражение лица, запел пьяно и насмешливо: — Впере-ед за-аре на-австре-ечу, та-ва-ри-щи в ба-арьбе-е. Хе-хе-хе!

Лукерья закрыла лицо передником и не отходила от мужа.

— Прошу следовать за мной! — отчеканил милиционер. — И вашу супругу прошу. Продуктов взять на три дня.

Сычев, выходя, остановился в дверях и, подмигнув Федору, сказал уже заплетающимся языком:

— Как я тебя в колодец-то! Помнишь?

— Ты меня спас, ты меня и убил, — ответил без колебаний Федор.

Сычев сжал кулаки, прищурился и прошептал тихо и зло:

— Еще не убил. *Еще* не убил.

Так и вышел он из своей хаты: один милиционер впереди, другой позади. У крыльца уже стояли сани-розвальни, запряженные тройкой добрых лошадей (когда подъехали — Сычев не слыхал). Он запахнул тулуп, взял Лукерью под руку и усадил в сани. Потом тяжело ввалился и сам, молча, без единого звука. Все, кроме милиционеров, оставались в хате.

Там Лузин сказал:

— Опись имущества — утром. Сейчас — к Кочетову. Кто пойдет?

— Никто, — ответил за всех Андрей Михайлович.

— Ох, робята, робята! Беда мне с вами… Сам пойду. С милиционером вдвоем.

— Нет. Не пойдете и вы, товарищ Лузин, — отрезал Федор. — Я пойду. Один.

— Ну и ну! — удивился Лузин, покачав головой. — Ну и катавасия! Сам аллах не разберет вас.

Федор пошел к Кочетовым. Василий Петрович недвижимо сидел за столом, беспомощно опустив руки.

— Ты чего, Федя? — спросил он чужим голосом.

— Василий Петрович, сват! Слушай и верь. Мамаша с Анютой пусть сейчас же идут ко мне в дом. Анюта там и останется. Ты запри дверь и отдай ключи мне. Сам иди — садись в сани… Придется попутешествовать. Мы с Ваней написали письмо о тебе в обком и в ЦК… И еще кое о чем. Верь: говорю правду.

Василий Петрович задал самый главный, по его мнению, вопрос:

— А как же скотина? Кто ее будет кормить? Я-то — что! Скотина пропадет — чем семья жить будет?

Федора до глубины души тронул вопрос Василия Петровича. Он отвернулся, чтобы скрыть дрожь нижней губы. Нервы сдали совсем. Бессонные ночи и треволнения сделали свое дело. Большие силы требовались Федору, чтобы сказать последние слова:

— Ну… пойдем, сват.

Василий Петрович встал, перекрестился в передний угол и глухо проговорил, обращаясь к дочери и жене:

— Прощайте, покедова… Кто ж его знает, как оно будет там?

Анюта и мать ее приникли к нему и тихо плакали.

Потом Василий Петрович вышел со всеми вместе, сам запер ворота изнутри на засов, а дверь снаружи на замок, отдал ключи Федору и сказал еще:

— Не дай хозяйству загибнуть, сват Федя. И о них подумай, — кивнул он на женщин.

— Ей-богу, вернешься, сват. Голову даю на отсечение — вернешься, — убеждал Федор, теперь уже, казалось, спокойно.

— Дай-то бог, — утешительно согласился Василий Петрович. И видно было, что ему от слов Федора все-таки стало легче.

Когда подошли к саням, Федор сказал:

— Вот вам еще «кулак».

Сани отъехали. В них было пятеро: Сычев с женой, Кочетов, один милиционер и возница.

Ваня Крючков стоял, стоял вместе с другими на крыльце и неожиданно выпалил в сердцах:

— И какого дурака занесло в наш район!

— Как сказать, — откликнулся Лузин. — Каша крутая заварилась… А насчет «дураков» — тихонько. Чуешь иль нет?

— Чую, — сердито ответил Крючков, запирая дверь Сычева и готовясь ее опечатать.

Вдруг Лузин вскрикнул:

— Что это?! Смотрите! Зарево!

Вслед за ним Андрей Михайлович закричал уже во весь голос:

— Пожа-ар! Пожа-ар!!! Рятуйте, добрые люди! По-жа-а-ар!

Сразу в трех местах села вспыхнули пожары.

…К утру не стало трех хат: у Андрея Михайловича, у Ваниного дяди — Степана Крючкова и у Матвея Степаныча Сорокина.

Когда Миша бежал на пожар, его ранили из-за угла в левую руку. Он дважды выстрелил в ответ и вернулся бегом домой, зажимая рану. Федор, Андрей, Ваня и Лузин держались все время неразлучной четверкой и потому избежали нападения.

Начался террор. Злой дух Дыбина и Степки Ухаря витал над Паховкой. Что мог сделать один милиционер Ярков? Он беспомощно разводил руками, составлял протоколы на пожарах, опрашивал, допрашивал — только и всего.

Утром Федор, осматривая соломенную крышу своего сарая, нашел раздерганную дыру и в ней фитиль с патроном, наполненным порохом. Фитиль заглох. Значит, надо ждать еще.

Экстренно собрали заседание партячейки. Решили просто и коротко: дома не ночевать, выловить или убить.

Но кто — кого, еще не было ясно, потому что на второе собрание колхоза, где надо было решать, как ухаживать за лошадьми, как собрать корм, кого выбрать конюхами, не пришло и половины колхозников. Кое-кто из них обнаружил «подметные письма» с угрозами и назначением дня расправы. Поэтому и боялись не только идти на собрание, а даже выходить из дому. Страшные были те ночи в Паховке.

…А Василий Петрович все ехал и ехал.

Тоскливо повизгивали полозья саней. Всхрапывали лошади, позвякивая удилами. Снежное поле в ночи было опутано мутью. Иной раз казалось, что не сани едут, а мимо них проползают смутно видимые вешки. И тогда Василию Петровичу чудилось: все ползет назад, жизнь его остановилась, а он сидит среди снегов, покрывших чернозем.

Но вот он услышал, что подкова у одной из лошадей пощелкивает.

— Негоже так, — сказал он вознице. — Подкова отрывается. Себе убыток и лошади вред. Следить надо.

— Какой мне убыток! — добродушно возразил тот. — Не мое же. Оторвется — купют.

— Тебя как зовут-то?

— Мироном зовут.

— А меня Василий.

Вмешался милиционер:

— Разговаривать не велено.

Снова слышны только полозья. Их звук не радовал Василия Петровича, как раньше. Куда он едет? Зачем? В чем он виноват? За что его, как арестанта, везут под охраной? За что? Эти вопросы больно отдавались внутри так, что кольнуло сердце. Он не мог ответить себе, но и без ответа оставить был не в силах. И он не утерпел:

— Товарищ милиционер! За что?!

И сколько тоски послышалось в этих словах! Голос Василия Петровича дрогнул. Он повторил еще, но уже совсем тихо:

— За что?

Милиционер молчал, но и не остановил арестанта.

— Аль уж ты не человек? — теперь, казалось, спокойно спросил Василий Петрович.

— Да откуда же я знаю — за что?! — неожиданно с горечью ответил милиционер. — Приказано — выполни… Служба такая.

— Известно дело… Ну раз так, то…

— Не велено… Прекрати разговор…

— Служба, — согласился Василий Петрович и умолк.

Но вопрос «за что?» стоял неотступно. И так обидно стало Василию Петровичу, что он снова не сдержался и через некоторое время сердито бросил в серую зимнюю ночь:

— И бог, должно быть, забыл о нас.

Милиционер сказал:

— Ты сядь-то поудобней. Чего на одной коленке прилип к саням? Садись сюда.

Василий Петрович сел с ним рядом.

— Василий, значит? — спросил тот.

— Ага, Василий… Петрович по отцу. Кочетов моя фамилия. А твоя?

— Мешков…

— Конечно: служба, она разная бывает… — Василий Петрович помолчал и спросил: — Значит, едем?

Милиционер не ответил. Он сидел, опершись на винтовку.

В ту роковую ночь трех пожаров сани остановились у районного нардома в Козинке. Кочетов встал сам. Сычева с трудом растолкал милиционер (так крепко спал он спьяну). Лукерья взяла мужа под руку, и они втроем пошли впереди милиционера.

В зале уже было человек двадцать мужчин с женами, детьми и узлами. Никто не спал. Кто-то из женщин вопил как по покойнику. Сычев хорохорился во хмелю.

— Все тут кулаки? — крикнул он входя. — Аль еще остались где?

Никто не ответил на такую «шутку», да и сам он понял, что не туда загнул.

Василий Петрович сразу же хорошо поел, считая это сейчас самым главным, потом присел прямо на полу в уголке, втянув голову в плечи, так что виднелась одна борода, и приготовился подремать. Но вскоре услышал голос:

— Выходи!

Начался переполох. Люди связывали узлы и котомки, натягивали валенки и сапоги, перематывали онучи. Куда погонят — никто не знал. Василий Петрович поднялся с пола, вышел мимо двух милиционеров, стоящих в дверях, а на улице стал в «четверку», как ему указали. Так и пошли колонной в окружении конвоя. Куда, зачем — он тоже не понимал. Просто было страшно — и все.

На дворе потеплело. По пояснице и по ветру Василий Петрович определил: быть оттепели. И пожалел, что пошел в валенках. «Куда уж лучше для такого дела лапти, — подумал он. — А вот не сообразил. Март на носу — распустить вполне может. Не сообразил. А надо бы

мне духом-то не падать, а собираться как полагается в дорогу». Рядом с ним, справа, шла женщина лет сорока и все время бормотала непонятную ему молитву (должно быть, сектантка) или принималась вопить в голос. Мужчина средних лет, видимо ее муж, уговаривал и упрашивал:

— Ну, Глашка! Ну, слышь? Брось. Чего там! Не мы одни. Вишь, сколько нас? Куда-нибудь переселят, и будем жить. Не реви. Брось. Сердце у тебя больное — чего сама себя губишь? Брось, Глаша, не надо.

Сосед Василия Петровича слева, плотный и осанистый мужик, шел в лаптях, с туеском за плечами, шел прямо и молчал. Только подходя к станции и увидев, что их подгоняют к вагону, произнес первые слова:

— В вагон грузить будут. — И еще добавил будто самому себе: — Одно жалею: не достал Культяка.

— Кто это — Культяк? — спросил муж Глашки.

— Культяк? Прозвище такое, — ответил хмуро мужик с туеском. — Председатель сельсовета у нас хромой. Жалко — не прикончил.

— Господи! Да что ты говоришь, неумный! — зашептал ему сзади кто-то. — Охрана услышит — решка тебе.

— Вернусь — прикончу и панихиду в нужнике отслужу из матерков, — хотя и тише, но зло проговорил «молчальник».

Больше от него никто уже не слышал ни слова. Но Василию Петровичу стало страшно идти с этим человеком. Он почему-то вспомнил своего председателя сельсовета и подумал: «Хороший он у нас человек. А этот похож на Игнатку-бандита», — и покосился на соседа.

На станцию пришли с рассветом, все было видно. Их загнали в товарный вагон, сделали перекличку и задвинули дверь наглухо. В вагоне уже было порядочно людей. Кто-то соорудил из жестяной банки, тряпья и постного масла «фунек» и зажег его. Здесь же оказалась и печка-буржуйка, рядом дрова и кадка с водой. Перед огоньком возилась баба с мальчиком. Кто-то уже пристраивал на печку котелок, чтобы варить, кое-кто стал закусывать. Вагон оживлялся, обживался с каждой минутой. Но лица оставались суровыми, недоверчивыми, непроницаемыми — никто никому не доверял.

Сычев ничего не ел. Он только пил воду, поднося трясущимися с похмелья руками кружку. На второй день он заболел и кричал в бреду:

— Смерть! Моя смерть! Моя, моя! Это вот моя!

А вагон перестукивал и перестукивал. На какой-то станции Сычеву дали лекарства, и к нему часто стал наведываться сопровождающий состав врач. Помаленьку Сычев начал поправляться, но пока не вставал. Василий Петрович подсаживался к нему, и они перебрасывались короткими фразами. Такой уж человек Василий Петрович, что в беде забыл обиду.

— Значит, едем? — спрашивал он у Сычева.

— Едем, — отвечал тот.

— Куда же мы едем?

— Бог один знает.

— Поправляешься?

— Ага. Лучшеет. Грудь остудил в санях-то.

— Через водку, должно быть?

— Должно быть.

Разговорить дальше Сычева было невозможно.

На пятые сутки пути, ночью, в вагоне умерла женщина — та самая Глашка. Муж плакал навзрыд и кричал:

— Люди! Помогите умереть!

Труп ее закопали на глухой станции, в перелеске. А, на следующую ночь мужа нашли мертвым; он перерезал себе бритвой горло. Василий Петрович молился и дрожал.

Дня через два после этого случая на большой и людной станции, где состав стоял уже целые сутки, вошел в вагон человек с портфелем, вынул список и стал выкликать:

— Серов! Есть? Ко мне. — Он выкликнул так около десятка фамилий, и вдруг Василия Петровича ударило как обухом: — Кочетов! Есть?

Василий Петрович встал.

— Выходи.

У дверей собралась группа в десять — двенадцать человек. Незнакомец сказал им:

— Вам всем — домой. Ошибка вышла. Телеграмма на вас есть. Выходи из вагона.

Счастливцы запрыгали на землю один за другим, вслед за начальником. Только Василий Петрович подошел к Сычеву, протянул ему руку и сказал:

— Прощай, Семен Трофимыч, не поминай лихом.

— Прощай, — угрюмо ответил Сычев.

— Может, передать что накажешь?

— Кому? Родни-то нету…

— Плохо тебе — нету родни, — посочувствовал Василий Петрович. — Так ведь без детей и прожил.

— Прожил. Без детей… Но, пожалуй, передай…

— Кому?

— Всем! — воскликнул Сычев. — Всем передай: жалею, что Федьку не задушил своими руками. Жалею! Слышите, люди! — крикнул он в вагон. — Жалею! — И забился в истерике.

— Свят, свят, — пробормотал Василий Петрович.

Он поклонился Лукерье и выпрыгнул из вагона. Там, на путях, начальник с портфелем уже торопил Василия Петровича:

— Какого ты там лешего мешкаешь? Еще кто там остался из *наших?* Нету? Пошли скорее. Мне ведь вас и к кассе надо довести да еще бежать опять. Вон их сколько вагонов. Везде побывать надо. Вас много, а я один. Не отставай! А что делать — черт их знает. Приказано задержать поезд и отпустить кое-кого… Номера вагонов не указаны, а телеграммы есть на кого-нибудь — найди попробуй. Либо перекличку забыли сделать, либо районы перепутали, а тут целая область в составе. Найди ты его теперь, попробуй. Сам черт не разберет. Так ведь и уедут в Сибирь невиновные.

В голосе его слышалась забота и беспокойство, а с виду был строгим, да еще с пистолетом. У кассы он передал группу другому начальнику (без портфеля, но с пистолетом тоже) и сказал ему:

— Билеты обеспечить. Вот этим. — И спросил: — Как же нам быть? — Он постучал по портфелю. — На пятнадцать человек нету номеров.

Тот ему ответил:

— Может, кто помер дорогой.

— «Помер, помер»! Не думаешь. Искать надо… Фу, черт! — Он закурил, доставая и папиросы и список одновременно. — Кто-то там

небось сводку ахнул — «Раскулачили на сто пятьдесят процентов», а мы тут ищи их теперь. — И ушел.

Так Василий Петрович в тот же день отправился обратно по бесплатному билету. Домой он ехал быстрее — за шесть дней обратного пути прибыл уже на свою, последнюю станцию. С тех пор он возненавидел железную дорогу на всю жизнь. Много лет спустя, когда его станут спрашивать: «Как она там, Сибирь-то?» — он ответит всем одинаково: «Куды ни поезжай — железная дорога, конца-краю нету».

Двадцать дней пропутешествовал Василий Петрович. Целых три недели! Он не знал, что случилось в те дни в Паховке.

Шел он со станции, а душа болела: как-то там теперь в родном селе? Лучшего места в мире для него не было и не могло быть. Идет март — через месяц-полтора уже и сев. «Хлопотать, надо хлопотать — весной один день весь год кормит», — думал он, торопясь.

…А за дни отсутствия Василия Петровича в Паховке, несмотря на террор, колхоз жил. Над крыльцом Сычева появилась вывеска «Правление колхоза „Новый чернозем“», во дворе же устроили стойла и свели туда лошадей. Матвей Степаныч проводил здесь день и ночь — он чинил хомуты, прилаживал их к лошадям, нумеруя корявыми цифрами прямо на клещах каждого хомута; спорил до одурения с теми, кто обязательно хотел работать только на *своей* лошади (иначе выйдет из колхоза). Пока хозяйство колхоза заключалось только в конюшне, здесь и находился неотступно новый завхоз.

Федор частенько стал засиживаться в правлений, выполняя пока две обязанности — председателя и счетовода. Вечером он закрывал прочные сычевские ставни, оставаясь невидимым с улицы и не расставаясь с наганом.

Последняя неделя была тихой. Казалось, бандиты оставили Паховку в покое. Но Федор не верил — он знал Игната Дыбина лучше, чем кто-либо, и был начеку. Андрей Михайлович и Ваня ожидали встречу с бандитами, залегая за сараями, вишняками или канавками около своих дворов. Они почти всегда дежурили вдвоем, а Федор караулил на пару с милиционером. В те вечера, когда Федор оставался работать в правлении, милиционер Ярков тенью кружил вокруг колхозного двора, совсем недавно принадлежавшего Сычеву. Ярков тоже опасался поджога колхозного имущества и оберегал. Кроме всего

прочего, у Яркова были все основания бояться этого случая, потому что начальник милиции так и сказал ему:

— Сожгут колхозный двор — голову оторву!

Конечно, тут на сторожей надейся, а смотри и сам.

Он похудел за эти дни, даже почернел, но пост свой нес героически. Молодой малый, лет двадцати трех, он совсем недавно надел милицейскую форму, приехал раскулачивать Сычева и Кочетова и забрать Дыбина, а пришлось здесь остаться насовсем — приказал начальник.

В один из вечером ом вошел к Федору в правление.

— Сидите? — спросил он.

— Сижу, — ответил Федор и взглянул на вошедшего. Ему стало жаль молодого милиционера — так он осунулся в Паховке. И он сказал: — Пошел бы ты, товарищ Ярков, хоть раз выспался как следует. Разве можно такое вынести? — Федору даже и не пришла в голову мысль: как же он-то выносит такое, — Поди-ка, поди-ка на квартиру — выспись, а я подежурю один. А часа в два сменишь.

— Никак не могу. Служба, — возразил Ярков. — Это ведь у солдата хороша пословица: «Солдат спит, а служба идет». У нашего брата совсем по-другому: участковый милиционер спит — служба уже не идет.

— Служба службой, а спать надо. Ложись-ка тут на лавке. Ложись, ложись, ничего. А мне все равно надо размяться — покараулю.

Тот лег. А Федор спросил:

— Семья-то есть, товарищ Ярков?

— Есть, — ответил он с лавки, уже закрыв глаза и лежа навзничь. — Есть отец, мать, сестренка. Из армии пришел недавно.

Через минуту Федор спросил еще:

— Женатый?

Но ответа не было: Ярков уже спал мертвым сном. Федор вышел во двор. Под сараем он увидел Матвея Степаныча: тот сидел на ящике и под фонарем чинил гужи. Федор забеспокоился:

— Матвей Степаныч! Что ты делаешь?!

— Чиню.

— Что ты делаешь?! — повторил Федор. — Туши фонарь немедленно. И — спать. Сидит весь на виду. Дня ему не хватает.

— Ладно. Кончаю. Сей момент. Да еще и рано — десяти нету, а *они* в это время не «работают»… Я человек такой — час-два заснул и — готово дело: хватит на сутки.

Федор вышел за двор и стал за плетнем. Он ощутил спиной, что оперся на колья, оставленные у подсохи (Сычев когда-то заготовил для хозяйства). Федор взял один кол в руки и, наклонившись, уперся им в землю — стоять стало удобнее и легче. Впереди черная пустота, позади Матвей Степаныч и дружно похрустывающие лошади. Ночь была темной, небо закрыто тучами, под ногами мокро, с крыши изредка капало: первая предвесенняя оттепель осталась и на ночь. Старики говорят — весна будет ранняя, если первая оттепель остается в ночь. «Не надо бы ранней весны в этом году, — подумал Федор. — Ранняя весна — сухая весна, а это плохо. Зяби нету почти ничего — вся весновспашка. Когда ее поднимешь? Пересушишь землю и — только». Он стал думать, что надо сделать, если весна будет ранняя, и что — если будет поздняя. Новый председатель колхоза заботился о будущем. Мысли шли своим чередом, а он стоял, прислушиваясь и не шевелясь, всматриваясь в темноту. Так человек, думая о близком или далеком будущем, никогда не знает, что может случиться сегодня.

Не больше как через полчаса подул ветер — сразу, как сорвался, — плотный, настойчивый и влажный по-весеннему. Матвей Степаныч потушил фонарь, видимо собираясь уходить в свою обугленную хату, с забитыми и наскоро замазанными окнами, без крыши (черный сруб остался от пожара). Но он неожиданно спохватился: «Где же ключ от ворот?» Пошарил по карманам, пощупал на ящике и около него, еще раз обшарил то место, где работал, но ключа не было.

— Куда ты пропал, нечистая сила? — бормотал он себе под нос.

За порывистым ветром Федор ничего этого не слышал. Матвей Степаныч чиркнул спичкой под сараем, пытаясь зажечь фонарь, чтобы поискать ключ. Федор заметил это и… вздрогнул. Совсем рядом, в двух-трех метрах от него, кто-то легонько, видимо нечаянно, шурхнул ногой о хворостину, и сразу же, в тот же миг… выстрел! Федор с размаху, изо всей силы ударил наугад колом… и навалился на преступника. Вгорячах он схватил его за горло, но, почувствовав, что тот весь обмяк и недвижим, выпустил из рук. Матвей Степаныч

притих. Федор бросился к нему, обежал плетень сарая, вскочил в заднюю калитку и крикнул:

— Матвей Степаныч!

— Стой! Кто идет? Стрелять буду! — выкрикнул из-под сарая милиционер Ярков, выскочивший из правления в ту же минуту, как раздался выстрел.

— Я, — откликнулся Федор. — Где Матвей Степаныч!

Они нашли фонарь и, подняв его, увидели: Матвей Степаныч лежал около ящика навзничь, прижав бок обеими руками; сквозь пальцы проступила кровь. Федор опустился перед ним на колени.

Люди уже бежали со всех сторон. Зазвонил набат. Двор наполнился народом, фонари мерцали и бегали в темноте. Заморосил дождь: небо сердилось и хлестало косым холодным, еще зимним, дождем. Федор наклонился над Матвеем Степанычем и, держа его голову обеими руками, повторял одни и те же слова:

— Дедушка Матвей… Дедушка Матвей… Дедушка Матвей…

За сараем Ярков нашел Дыбина, оглушенного ударом кола. Ему перевязали голову и заперли в амбар сразу же, как только пульс стал прощупываться. Охранял его сам Ярков, никого не подпуская близко.

Матвея Степаныча внесли в правление колхоза, положили на широкую сычевскую лавку и перевязали рану. Тройка лихих битюгов помчалась в Козинку за врачом, а с нею Крючков послал донесение.

Народ толпился во дворе, волновался. Кто-то крикнул:

— Судить его, подлеца, самосудом!

А в ответ голос:

— Ты что, единоличник? Как собрание решит, так и будет. Решим: самосуд — значит, самосуд — мы теперь хозяева.

Пожалуй, никто не заметил своеобразной логики этой фразы, потому что внимание всех привлек голос Виктора Шмоткова. Он подбежал к двери амбара, скрестил руки на груди перед милиционером, как перед божьей матушкой, и попросил его умоляюще:

— Отдай ты его нам, пожалуйста! Ну прошу: отдай, Христа ради! Богом прошу — отдай!

— Раз-зойди-ись! — повелительно крикнул Ярков и даже решительно оттолкнул Виктора.

— Ну дай же ты мне хоть раз по роже его съездить, жестокий ты человек! Дай же, непонимающая ты личность! — Виктор уже выходил из себя. — Не дашь — амбар зажгу! Нету моего терпенья!

Виктора силой оттащили от амбара несколько человек. Он попытался отбиваться, но обмяк под уговорами, притих и, сморкаясь на землю через два пальца, прислонился спиной к воротам и смотрел на амбар, смутно выступающий в темноте.

Колхозники не расходились до утра. Ваня Крючков был то среди них, то о чем-то шептался с Андреем Михайловичем, то входил в правление к Федору, который не покидал Матвея Степаныча и сидел около него вместе с Зинаидой и Анютой Кочетовой. Женщины оберегали Матвея Степаныча и не допускали к нему колхозников; Зинаида открыла окно и давала раненому нюхать нашатырный спирт или смачивала им его виски — на большее ее медицинских познаний недоставало.

Ваня еще раз вошел в правление, Федор уже сидел за столом, облокотившись и закрыв глаза.

«Спишь ли? — мысленно обратился к нему Ваня. — Спишь ли ты, неукротимая натура?.. Больно тебе, друг. Мне — тоже. Полно! Смерть проходила сегодня и мимо тебя, близко проходила. Живи. Держись, друг ты мой, на всю жизнь». Ему хотелось произнести все это вслух, но он ничего не сказал. Он только подошел к Федору и положил ему руку на плечо. Федор слегка пожал ее, не изменяя положения. Бывает иногда так в жизни, что слова оказываются лишними и ненужными.

Светало.

Вместо одной тройки приехали из Козинки две. На первой — врач с фельдшерицей и Миша Земляков, полторы недели пролежавший в больнице (простреленный бицепс стал заживать); на второй тройке — сам начальник милиции и два милиционера. Медики вместе с Мишей поспешили к Матвею Степанычу.

Анюта сначала и не заметила Мишу, но когда, оглянувшись, увидела его, то подошла и поцеловала при всех. Миша увидел: на ее невинном девичьем лице пролегла первая поперечная морщинка над переносьем, уткнувшись в одну бровь. Он только погладил ее волосы и сразу же подошел к Федору.

— Читай, Федя, — сказал он, кладя перед ним газету.

Федор отодвинул ее на край стола. «До газет ли сейчас!»— говорил его взгляд. Он кивнул в сторону Матвея Степановича, закрытого фигурами врача, фельдшера и Зинаиды, будто хотел сказать: «Не сберег я его. Не сберег. А мог бы, если бы силой, за шиворот оттащил от беды». Газета осталась лежать на столе со своим кричащим и поразительным заголовком передовой «Головокружение от успехов». Она в те минуты, казалось, никому была не нужна.

Врач запретил везти Матвея Степаныча в больницу, поэтому его понесли через улицу в дом Земляковых.

Матрена Васильевна от болтливой и не очень умной соседки узнала-таки о беде, хотя и не сразу. Та соседка разбудила ее и прямо так и ляпнула:

— Матвея убили! Доктор приехал!

А она-то ничуть не беспокоилась: думала, Матвей опять заночевал возле лошадей.

Матрена Васильевна пересекла дорогу процессии. Носилки и все, кто за ними шел, остановились. Она посмотрела в лицо мужу. Тот приоткрыл глаза и… улыбнулся. Матрена Васильевна выпрямилась, гордая, суровая и непреклонная перед бедой. Чем она гордилась?.. Она не проронила ни слезинки, но, собрав силы, сказала:

— Ничего, Мотенька! Одюжеешь. Выхожу, — и пошла уже рядом с носилками, чтобы ни на час не бросить мужа и друга.

Никто никогда не слышал, чтобы Матрена Васильевна так ласкательно называла при людях Матвея Степаныча. Только теперь это стало можно, потому что он стал для нее великим героем. Так, все ближе и ближе подходя к границе своей жизни, она все больше и больше любила строптивого, непоседливого, колготного, честного Матвея вечной и самоотверженной любовью. Она прожила жизнь для всех людей на свете, для своих детей, отданных войне, а больше — для своего Матвея. Она и в этой беде шла гордо, чтобы Матвей видел, верил ей и в ту минуту.

Слава тебе, великая русская богиня труда!

Миша с Анютой шли за носилками рядом с Зинаидой. Она шепнула Анюте:

— Смотри на Матрену Васильевну. Смотри!

— А что? — недоумевала Анюта.

— Вот как надо любить! Всю жизнь, всегда, везде!

Анюта поняла. Она, не отрывая взора, смотрела на Матрену Васильевну, вцепившись в здоровую руку Миши.

Перед тем роковым случаем в хате Земляковых скопилось много жильцов. Жил там Федор, Андрей Михайлович с Зиной (теперь, после пожара, бездомные), Кочетовы дочь и мать, хата которых все еще была опечатана; теперь прибавились Миша, Матрена Васильевна и полуживой Матвей Степаныч. «Куда столько народа в одной хате!» — подумал Миша, входя. И вдруг он вспомнил и воскликнул:

— Да что же я делаю! Газета! — И выбежал из хаты. Он вернулся в правление, схватил Федора за плечо, подтянул Ваню за пояс к столу, оторвав его от начальника милиции, составляющего протокол, и, как глухим, крикнул: — Да читайте же, черт вас подери!

Через час было общее собрание колхоза: читали статью Сталина «Головокружение от успехов». Потом читали второй раз. После того как пришла на следующий день почта, читали и дома и в группах прямо на улице посреди дороги.

Потом прошел тревожный слух: в Оглоблине разобрали из конюшни лошадей и хомуты, растащили по домам. Раз, дескать, «добровольно», то давай сызнова голосовать «кто за колхоз — поднимите руки», а там посмотрим. Слухи подтвердились. Больше того, в Оглоблине бабы напали на председателя колхоза вторично, прямо рядом с правлением, загнали его в дом, а сами развели лошадей (мужчины остались в стороне, отсиживаясь по домам, а с бабы спрос малый). Уполномоченный Лузин по распоряжению райкома выехал туда на помощь тамошнему уполномоченному. Плохое сотворилось в Оглоблине — все начинать снова. Но в Паховке ничего подобного не случилось. Все ждали одного: что будут делать с Игнатом Дыбиным.

С дверей Кочетовых Андрей Михайлович с Мишей сняли пломбу, и вселились сразу две семьи: две женщины — хозяева, Андрей Михайлович с Зиной и Миша. Он остался здесь просто, как само собой и разумелось. Матвею Степанычу было спокойнее — с ним теперь жили только Матрена Васильевна и Федор.

В то же утро, когда Матвея Степаныча уложили на постель Федора, в село вошел рыжебородый и широкоплечий странник — то был Василий Петрович Кочетов. А часа через два после него вошла в крайнюю хату Тося, измученная тридцативерстной ходьбой со станции. Она шла всю ночь напролет, несмотря на темноту и ветер. В

хате, куда Тося зашла, она попросила напиться, жадно выпила кружку воды и проговорила:

— Я чуть посижу.

Потом прислонилась спиной к стене и закрыла глаза. Она не знала, у кого сидит, и с горечью подумала: «Я даже не узнала людей в таком небольшом селе».

Так двое путников появились в Паховке в одно и то же утро. Только Тося-то, в порыве больной души, шла и шла без остановки, а Василий Петрович переночевал на полпути у добрых людей.

Василий Петрович подошел к своей хате тяжелой походкой. Оттепель расквасила его валенки, но где-то в пути, в роще, он подвязал их липовой корой, внутрь насовал соломы да так и шлепал, волоча за собой полупудовые ноги. И вот он в своем доме, в своем дворе, где все отдает родным запахом, где на всем лежит печать его трудовых рук.

— Вася! — завопила Митревна. — Соколик ты мой родной!

— Ну, ну, ты! — утешал он, — Что — как по покойнику? Радоваться надо, а ты вон чего.

Жена сразу утихла и стала снимать с него котомку, приговаривая:

— Ну вот и слава богу! Ну вот и слава богу!

После этого Василий Петрович бегло, непохоже на него, перекрестился и тогда только сказал:

— Ну здравствуй, Митревна! — и поклонился, прикоснувшись рукой к земле.

То же самое сделала и Митревна. Сразу же она начала хлопотать: греть воду, чтобы помыться ему с дороги, поджаривать картошку. И вся светилась счастьем. Горе осталось позади. Она ни о чем пока не расспрашивала, а только отвечала мужу и считала, что иначе ей и нельзя себя вести в такую минуту.

— Где же Володя с Анютой? — спросил он.

— Пошли опять читать.

— Что читать?

— Опять же эту газету… Всем читают вслух.

— Какую? Как называется-то?

— Дай бог памяти… — Митревна вскинула глаза к потолку. — Темная я у тебя, Вася. Как ее?.. Кружение… кружение головы от… Вспомнила! Кружение головы от успеха. Кажись, так. Все тут вверх торманами перевернулось.

— Не перевернулось, — степенно возразил Василий Петрович, — а все становится на свое место. Так что в политике я теперь маленько разбираюсь. Поездил — повидал разных людей.

— Ну и хорошо. Вот и хорошо, — ворковала Митревна. — А Миша-то у нас живет.

— Пущай живет. Так, значит, надо. — Он вздохнул. — Без свадьбы обошлось — вон оно как получилось. — После минутного молчания и короткого размышления о свадьбе он спросил: — Еще тут какие дела в селе случились?

— Матвея-то ранили, — осторожно сообщила она самую важную свежую новость.

— Как так? — встрепенулся Василий Петрович и встал.

— Игнатка Дыбин… Говорят, под Федора Ефимыча метил, а Матвея стрелил… Сидит он, Игнатка-то, в амбаре, подлый. А Матвей у сватов наших лежит, бок у него прострелен. Вот грех-то какой!

Василий Петрович немедля обулся в сапоги, надел чистую рубаху, расчесал волосы и бороду и сказал:

— Я — к Матвею.

— Уморился ведь, — попыталась остановить его Митревна. — Чуть отдохнул бы — и пошел.

— Довольно совестно, если я к товарищу детства пойду только отдохнумши.

— Ну иди, иди. Правда, будет нехорошо.

Василий Петрович вошел к Земляковым и глянул на Матвея Степаныча. Тот, увидев его, тихо проговорил:

— Вот и хорошо… Присядь-ка.

Гость сел и ничего не спрашивал. Просто он сидел, а товарищ лежал, и было хорошо на душе у Матвея.

Так прошло несколько минут — они только смотрели друг на друга. Потом Василий Петрович спросил:

— Плохо?

Матвей Степаныч не ответил на вопрос, а чуть слышно объяснил:

— Кишки целы. Право легко зацепил — краешек.

— Скажи ты! Вот какой сукин сын!..

Матвей Степаныч поманил Василия Петровича пальцем («Наклонись, дескать, — говорить тяжко»). Тот нагнулся, а больной прошептал с трудом:

— Озлобился небось, Василий?

Выпрямившись, Василий Петрович ответил, не раздумывая, будто он уже все решил раньше:

— Вишь оно какое дело-то… Значит, когда полешь тяпкой, скажем, подсолнух, то вырубаешь сор. Так? Ага. Но иной-то раз тяпнешь по сорняку, а попадешь-то по подсолнушку и — срубишь его, беднягу. Растил, растил да срубишь. Жалко. Ну вишь оно какое дело… Тяпка-то все же мимо меня проскочила. Чего ж тут озлобляться: полоть-то надо — ничего не поделаешь.

— Так, так… Так, Василий… — шептал Матвей Степаныч, закрыв глаза. — Так, Василий, так…

Матрена же все время сидела, не проронив ни слова, — она считала недопустимым вмешиваться в разговор в такой час.

Когда Василий Петрович вышел от Матвея, то с крыльца увидел, что у амбара Сычева собирается народ, волнуется, ропщет. Среди гула голосов он разобрал слова:

— Игнатку-бандита отправлять будут в район.

Вышла и Матрена Васильевна. Вместе с Василием Петровичем они заспешили к народу.

У правления, между амбарами и воротами, стояла тройка начальника милиции. Сухие, быстроногие рысаки беспокойно и нетерпеливо переминались, поплясывая и позвякивая удилами.

Василий Петрович подумал:

«Ой хороши кони! Ой хороши!»

Глава двенадцатая

Игнат пришел в сознание вскоре после того, как его заперли в амбар. Первое, что он ощутил, была страшная головная боль. Он простонал. Потом уж почувствовал на одной руке ремень, вытянул другую руку в сторону и подумал: «Был связан. Развязали, но чересседельник забыли». Он сел. Сквозь стук в голове услышал ропот и гул голосов. Слышал он, как Виктор Шмотков «выпрашивал» Игната у милиционера. «И этот ненавидит», — подумал Игнат и вновь откинулся навзничь Он уже теперь старался не слышать голосов

снаружи, Пришла мысль и врезалась болью во все тело: «Все Жизнь кончена». Он встал на колени и, запрокинув голову, прошептал:

— Все. Жизнь кончена.

Отчаяние овладело им. Он помнил, как когда-то сам явился в милицию, как был суд, как его отправили в ссылку. Все помнил. Но тогда он не впадал в отчаяние, тогда видел впереди возможность жить. Будто в тон его мыслям, около амбара он услышал голос Андрея Михайловича. Тот спрашивал, видимо у милиционера:

— Очухался Иуда-то?

— Слыхать, шевелится, — ответили ему.

«Иуда! — отдалось в голове Игната. — Я — Иуда. Ах ты… — он искал оскорбительное слово для Андрея, — ах ты… сволочь!» И вновь злоба заполнила его всего. Он с трудом встал и пошел по амбару вдоль стен, обшаривая и прислушиваясь; потом залез в закром, стал на какой-то мешок, нащупал перекладину-перевязку над закромами, взялся за нее обеими руками и так замер. Внутри чей-то голос тревожно шептал: «Скоро — смерть. Скоро — смерть». Стало страшно. От страха, полного бессилия и безнадежности Игнат зарыдал. Где-то в глубине его существа зашевелилось раскаяние: «Может быть, жизнь прошла не так? Может быть, я хотел грудью остановить паровоз?..» И он шептал в темноте амбара: «Жить, жить, жить! Может, простят! Покайся, проси, проси…» Но вдруг врезалось: «Не простят! Черный выдал. Все. Конец!» И вновь неистощимая злоба полилась теперь и на Черного. Дыбин раскаивался и изгонял раскаяние, озлоблялся и вновь раскаивался. Смена этих чувств происходила минутами. Так часы, лишенные маятника, начинают часто-часто отстукивать, повторяя все то же самое, что и с маятником, но они перестают показывать время. Возник вопрос: «А может быть, Черный не выдал? Может быть, кто-то другой? А к чему это я? Все равно расстреляют… Не сообразил: Федька никогда бы не чиркнул спичкой… Промашку я дал!»

Он сел на мешок. Голова еще сильнее затрещала от боли, и поэтому на несколько минут стало безразлично неизбежное. Некоторое время он сидел бездумно. Но незаметно для самого вспомнил себя мальчишкой за прилавком магазина рядом с отцом; потом вспомнил, как отобрали магазин, как отец уходил с белыми и вновь вернулся ночью, тайком, а вскоре умер от тоски, оставив единственного сына,

Игната; вспомнил, как он, Игнат Дыбин, пробрался в отряд Антонова, в город Кирсанов, и как встретил там знакомого по гимназии, с которым они четырнадцатилетними мальчишками «играли» в эсеры; «настоящим» эсером Игнат стал считать себя уже в банде Антонова. Вспомнил крах этой банды… потом — Кучума… Оглоблино… Паховка… Федька!.. Андрей! Враги по гроб жизни. Мысли бежали и бежали, приближаясь к чему-то важному, самому важному… Что-то силился вспомнить, но никак не мог. «Не схожу ли с ума?» — подумал он. Опять Федор встал перед ним, уверенный, спокойный, гордый победой своей жизни над жизнью Игната. И наконец, в часы отчаяния, он вспомнил то, что никак не мог найти в горящей голове, вспомнил… Тосю! Она в мыслях появилась такой, какой он держал ее в руках.

И он понял, что Тося была его единственной радостью в злобной, мстительной, хитрой, наполненной предательством жизни. Игнат сам себе показался ничтожным и жалким, а она — святой. Ведь он хотел связью с Тосей просто отомстить, вывести из строя Федора, внести сумятицу и разлад, но оказалось, Тося победила Игната — она пробудила в нем того человека, каким он мог бы быть и раньше. И вот образ Тоси стоял перед ним. Захотелось жить. Жить! Увидеть Тосю хотя бы один раз. Только посмотреть и… Что? Умереть? Нет! Не надо умирать, не надо! Игнат запрокинул руки на затылок, откинувшись назад, и застонал. За дверью кто-то сказал, услышав стон в амбаре:

— Отживел, бандюга, рычит.

Потом Дыбин услышал, что говор на улице все усиливался, поднимался ропот, люди все подходили и подходили; услышал, как подъехали сани. Затем — голос:

— Игнатку-бандита отправлять будут.

Потом — незнакомые голоса:

— Подайтесь назад! Назад, товарищи! Дайте проход!

И тон приказа:

— Отступить до краев амбара! Дальше! Так стоять. Так.

Загремел замок, щелкнул дважды ключ, свет ворвался в амбар. Дыбин стоял уже у двери во весь рост, с перевязанной головой. Он шагнул через порог, смотря вперед, на сани, запряженные тройкой. Слева и справа милиционеры. Начальник милиции приказал:

— Связать!

Дыбину связали руки назад и подвели к саням. Гул голосов усилился, и теперь уже ропот перерос в крики:

— Бей его, гадину!

— Каменюкой его, черта!

— Стой ты, несмышленый! Милиционеру в голову можешь попасть.

Конвоиры заспешили: они втолкнули Дыбина в сани и сели по бокам, а начальник — на козлы, рядом с кучером, но лицом к арестованному. Толпа напирала — она уже обтекла тройку и сгрудилась впереди нее. Начальник слез и пошел с револьвером вдоль стены людей, оттесняя всех дальше. Образовался круг с коридором.

И в этот момент из толпы вышла русоволосая, с кудряшками у висков, усталая и внутренне разбитая Тося. Все ее увидели и сразу притихли. А она пошла к саням, как в забытьи, не отрывая взгляда от Игната. Он расширил глаза: «Она пришла к нему, она не забыла, она любит». Игнат не выдержал и вскрикнул:

— Тося!

— Назад! Гражданка, назад, — неуверенно сказал милиционер.

Начальник милиции попробовал отстранить ее рукой, но она шла и шла, медленно переступая с ноги на ногу, будто боясь кого-то разбудить. Может быть, начальник так и подумал, что это — жена арестанта. Шагов ее не было слышно — она шла как призрак. И вот она остановилась у саней. Игнат криво и горько улыбнулся. Тося смотрела на него немигающими глазами. Вот эти губы, щеки, глаза, высокий лоб она любила, она целовала и ласкала не раз. Тося взяла Игната обеими руками за плечи, повернула его лицо к себе, пристально-пристально посмотрела в лицо и… плюнула в глаза!.. Он вскинул голову, как от удара, запрокинувшись назад. Начальник милиции решительно отстранил Тосю, и тройка рванулась с места.

Тося чуть постояла, зашаталась и упала на руки Матрены Васильевны, оказавшейся в ту минуту рядом. Матрена Васильевна внесла ее, как ребенка, в амбар, вышла оттуда и в ту же секунду крикнула:

— Расходись, мужики! Теперь тут вас не касается. Ну? Я чего сказала?!

Ни Федор, ни Ваня не пожелали смотреть на отправку Игната Дыбина — они сидели в правлении, тут же рядом. Зинаида вскочила к

ним и крикнула:

— Тося! — и выбежала.

Оба друга метнулись вслед за ней.

…Тося очнулась. Рядом стояли Матрена Васильевна, Зина, Ваня и Федор. Она обвела всех затуманенным взглядом. Она не плакала и ни о чем не просила. Федор погладил ее по голове.

Ваня Крючков вышел из амбара незаметно и направился вдоль улицы. Ноги его слушались плохо, в голове застучало — он был похож на чуть подвыпившего человека. Пришел в правление сельпо, сел за свой стол и пытался работать, но рука сама написала на чистом листе бумаги два слова: «Тося приехала». Он порвал эту бумагу и отбросил в угол.

— Да где вы все провалились? — раздраженно спросил Лузин, входя к Крючкову. — Ищу, ищу — как в воду! Дела, брат, завернулись на всю гайку.

— Что еще стряслось? — спросил Ваня равнодушно.

— Не стряслось, а растряслось. Нового секретаря-то райкома — фьють — проводили с треском. За левацкие загибы в коллективизации. В окружкоме перетрясли здорово. Комиссия из ЦК партии ездит по области.

— Правда?

— Все истинная правда. Чистая правда, как слеза!

Ты слушай-ка: Некрасов-то опять сидит на своем месте. Понял?

— Дай я тебя, товарищ Лузин, обниму! — Тот самый Иван Федорович, за которым никаких сантиментов никто не замечал и кого потихоньку прозвали «монахом», обнял уполномоченного райкома.

Лузин похлопал его по плечу и, забывшись, заговорил своими нижегородскими словами:

— Вы, робята, партию нутрем чуете. У вас — правильно. А вот в Оглоблине все полетело чертокопытом: растащили по домам. Как крысы порвали мешок на части: ни мешка, ни зерна.

— Обойдется, — уверенно сказал Ваня.

— Обойдется, — подтвердил Лузин. — Только бы вот мне пожрать маленько надо. Со вчерашнего дня — ни крохи. В Оглоблине-то куска хлеба не достать. Зачал было говеть, да брюхо стало болеть.

— Знаешь что? — спросил Ваня.

— Не знаю.

— А я знаю: для такого случая можно даже и выпить.

— Почему не попробовать? Магазин рядом. Тогда и Землякова надо позвать, и Вихрова, и агрономчика вашего.

— Вихрова кликнем, а тем двум сейчас не до этого. К ним, брат, счастье пришло на порог.

— И к нам же пришло! — удивился Лузин. — Почему только к ним? Для всех хорошо.

— Не о том, — неопределенно сказал Ваня и отмахнулся, — Потом скажу. Тебе же есть надо: чего же тут хорошего, если не жравши, — сострил он, стараясь и Лузина не подпустить к своей сокровенной тайне.

— Надо. Ой как надо перекусить!

Все втроем (Крючков, Вихров и Лузин) разрешили себе отдых: выпили на троих поллитровку и тихонько беседовали до позднего вечера.

— После того, что сгондобилось, душа успокоилась, робята. Ей-ей! — заключил первый стаканчик Лузин.

И правда, душа у них успокоилась. У Вани она никак сначала не хотела становиться «на место», но водка разогнала налетевшую на него сегодня грусть, и он казался тоже спокойным и счастливым. Он так умел.

Часов в десять вечера окна Паховки озарились заревом пожаров. Сразу загорелось несколько хат. К счастью, оттепель, смочившая крышу сверху, не дала перекинуться огню на соседние с пожарами хаты, но пять семей новых колхозников остались без крыш. Игната Дыбина увезли, а Степка мстил — иначе и предположить было нельзя, но пока еще никто не знал, что в эту же ночь Степка Ухарь оставил Паховку совсем и после поджогов кружил с четверкой таких же, как и он, вокруг Козинки.

В ту ночь после пожаров Крючков лежал рядом с Лузиным в правлении сельпо (тут они и ночевали теперь вдвоем, так как дядя Степан сам ютился в чужой хате). Оба долго не могли уснуть. Лузин сказал, будто оправдываясь:

— Рано, Иван Федорович, душе нашей на покой укладываться.

— Рано, — подтвердил Ваня.

— Спать, спать, — предложил Лузин.

— Спать, — соглашался уже в который раз Ваня, но все так же лежал с открытыми глазами, подложив ладони под затылок. Через несколько минут раздумья он сказал: — А что мне пришло в голову…

— Что тебе пришло в голову, неуемный?

Ваня ответил не сразу. Он, казалось, взвешивал ответ. Потом повернулся на бок, оперся на локоть и спросил:

— Неужели он не знал?

— Кто?

— Сталин.

Лузин сел и подвинулся к Ване вплотную:

— Это ты к чему?

— Вот мы прочитали «Головокружение от успехов»… Вроде бы получается так: внизу напортачили, а сверху было не видно, как идет дело… А ведь давали сводки телеграфом об «успехах»… Выходит, он не знал? Как ты думаешь?

— Загадку ты заганул крепенькую… Должно быть, знал.

— А какое же тогда «головокружение»? Так или не так?

— Может, так… А может, и не так… Оно видишь какое дело: сверху нажали, в округе пережали и… — Лузин осекся, не договорив.

— Но *он*-то знал или не знал? — настаивал Ваня. — Вот что мне интересно. Не мог *он* не знать этого самого — «нажали», «пережали».

— Да что ты ко мне пристал как банный лист, — ощетинился Лузин не то шутя, не то всерьез. — Я-то откуда ведаю? «Знал, не знал», «нажали, пережали» — задолбил как дятел. Не философствовать надо, а… выполнять. — Он чуть подумал и добавил ворчливо: — Горе мне с тобой… Дотошный ты, Ванек… Спи. Хватит.

Сгоряча Ваня не заметил, что Лузин назвал его ласкательно впервые и что это много значило. Он разошелся.

— А я не сумею так: выполнять и не думать! Если с первых шагов из округов начали докладывать только об успехах, то и правда ни бельмеса не будем знать. Как хочешь суди, но скажу: неправильно это, если сами себя обманывать начали.

— Да ты не кричи… Не кричи, — осадил его Лузин. — Вот наболтаешь так-то и… попадет, как куцему на перелазе: дырка-то в плетне одна — палки не миновать… Чего мы с тобой понимаем в большой политике? Ничего.

— А надо понимать, — напирал Ваня, — И сам ты так думаешь.

— Может, так, а может, и не так, — снова уклонился Лузин от прямого ответа, повторив эти слова.

Ваня решил, что Лузин, видимо, не хочет откровенности, не доверяет. Ему показалось это обидным, оскорбительным, и он «закусил удила».

— Чудно! — воскликнул он. — Даже поразительно! Неужели возможно такое положение, когда я, коммунист, стану жить так, что не буду высказывать своих мыслей прямо… «Некоторые», оказывается, могут. А я так не буду. Так не должно быть! — Ваня выпалил все это горячо, нажав на слово «некоторые».

— В мой огород камушек запустил? — спросил Лузин.

— Хотя бы.

— А такой пословицы не слыхал: «Слово — серебро, а молчание — золото»?

— Не надо мне сейчас этого «золота». Не желаю! Лучше добрая медь, чем злое золото.

Казалось, назревала никому не нужная ссора. Но Лузин, видимо, понял, что его собеседник издергался в последние месяцы и уже не в силах совладать с собою.

Он догадался, что его сдержанность Ваня принял болезненно, как недоверие, но снова лег и не стал спорить.

Через некоторое время он сказал, вздохнув:

— Эх ты, Ванек, Ванек… День и ночь-те же думки… Но… пока мы с тобой маловато понимаем. Надо смотреть — что будет дальше. Что было, то прошло, что будет, увидим… Толкач муку покажет… А с бухты-барахты кричать не след. Сперва надо разобраться самим, а потом уж… — Потом еще добавил: — Сам понимаешь. Все. Спать.

— Спать, — согласился еще раз Ваня и в темноте пожал ему руку повыше локтя. — Не серчай, Петр Петрович.

За три недели знакомства Петр Петрович впервые услышал свое имя и отчество: до этой минуты он был здесь «товарищ Лузин».

Оба долго еще не могли уснуть. Лежали молча. Лишь далеко за полночь сон пересилил раздумья.

…Проснулись они неожиданно. Оба вскочили одновременно и схватились за наганы: кто-то ударил кулаком в переплет рамы… Потом забарабанил так, что выскочила шибка стекла. Они, не сговариваясь, прыгнули со столов и стали в проемах стены, с двух сторон окна.

Ваня увидел в темноте, как человек тяжело поднял руку и еще раз постучал, уже тише.

— Кто? — спросил Ваня громко и в ту же секунду прыгнул на шаг в сторону.

Ответа не было. Но после испуга спросонья было ясно: не бандиты. Оба вышли в сени, приоткрыли дверь на улицу. Около крыльца стоял… Федор.

— Что с тобой? — тревожно спросил Ваня.

— …

Федор тяжело взошел на крыльцо.

В комнате они зажгли огонь, забыв об опасности, и увидели, что Федор без шапки, в одном пиджачишке, с взлохмаченной головой, лица на нем не было.

— Или еще кого укокошили? — беспокойно спросил Лузин и тотчас же потушил лампу.

И тогда Федор сжал до боли руку Вани и выдавил:

— Ушла…

— Тося!!! — с ужасом крикнул Ваня и затряс его за плечи. — Да говори же, говори!

— Уложили в постель… сам сидел на табуретке, дежурил… прислонился к стене, задремал — не выдержал… Проснулся — нет ее… одежда осталась.

— Искать! — приказал Ваня.

— Искал, — как эхо откликнулся Федор. — Ноги не слушаются. — Он вдруг выкрикнул: — Ванятка, друг!

Ваня выскочил на улицу. Лузин — за ним, а на бегу сказал:

— Куда тебя одного-то поперло! Шлепнут как муху. Я с тобой.

Забрезжил рассвет.

Федор вышел из правления почти вслед за Ваней и Лузиным. Горячее участие друга будто укрепило его. Он искал Тосю, искал, уже всматриваясь в предрассветную мглу, хотя надежды не было ни искорки — только жуткое отчаяние, горе, предчувствие неотвратимой беды.

Но где искать? Куда она ушла? Этого никто из них не знал.

Никто не видел, как Тося тихонько встала, прислушалась к ровному дыханию Федора, шагнула раз, другой… Матвей Степаныч во сне бредил и отчетливо произнес: «Зачем лошадь… холера…»

Матрена Васильевна чуть похрапывала. Тося на цыпочках вышла в сени, сняла со стены веревку и вышла на огород. Под босыми ногами скользила и выдавливалась между пальцами чуть оттаявшая земля, смешанная еще кое-где со снегом, холодная и хлюпкая. Тоскливо прокричал на колокольне сыч и замолк. А она шла — как привидение, в одной рубашке. Она была на грани безумия. В голове стучали одни и те же слова: «Черная совесть… Черная совесть…» Они ударяли как обухом. Тося все прибавляла и прибавляла шаг. Потом уже почти бежала, будто хотела уйти от этих слов, преследующих, жгущих голову. Все для нее в мире остановилось — были только эти два слова. Избавиться от них невозможно, забыть их нельзя до конца дней, как страшную рану. Они возникли неожиданно, там, еще в постели, и подняли ее на ноги; они гнали ее от Федора, Матвея Степаныча и Матрены Васильевны; они жутью отдались вдруг внутри, придя, казалось, сами собой из глубины неимоверных страданий: они гнали ее к гибели, эти два слова.

Тося прошла огородами почти до конца улицы, к одинокой ветле, что стояла на отшибе, на Игнатовой усадьбе. У ствола Тося подняла лицо вверх. Она дрожала — холод пронизал ее насквозь.

…Руки не слушались, окоченели.

…Кто-то обхватил ее сзади и прижал к себе, повторяя шепотом: «Тося, милая… Тосенька, Тося…» Потом надел на нее пиджак, накинул шапку и взял на руки.

Она не знала, кто это.

Ваня нес ее, прижимая к груди. Позади хлюпал большими сапогами Лузин, озираясь по сторонам. Он только и сказал:

— Застудиться можешь, в одной-то рубахе.

Но Ваня не замечал пронизывающего холода. Он не помнит, как попал сюда. Просто в мыслях возникла зола от Игнатовой хаты и одинокая ветла — туда его и влекло. Четко он помнит только одно: в предрассветном утре увидел белое привидение у ветлы и бежал, бежал.

А Федор еще от речки заметил в своей хате огонек. И заспешил. Искорка надежды вспыхнула и потянула его домой. Когда он вошел, то увидел: Ваня и Лузин сидели на табуретках, а Матрена Васильевна склонилась над кроватью: там лежала, укутанная одеялом и шубой, Тося. Лицо ее было синевато-бледным, она дрожала в ознобе.

Федор бросился к кровати.

Тося вскочила. Села. Дико посмотрела на Федора: казалось, не узнала. Потом рывком отодвинулась к степе, перевела взгляд на Матрену Васильевну и снова на Федора. Роковые два слова ударили вновь в голову. Она рванулась с кровати на пол, но Федор схватил ее на руки, чуть попридержал так и положил, уже затихшую, обессиленную… Она открыла глаза, зажала ладонь Федора в свои руки, холодные и сухие, и шепотом произнесла:

— Что делать?.. Что?.. Что?..

Слез у нее не было.

— Жить! — ответила Матрена Васильевна и отстранила Федора. — А вы, мужики, вот что: выходите…

Не сразу дошло до всех мужчин: встал только один Лузин.

— Ну, — резко напомнила Матрена Васильевна, — кому сказано? Ошалели. Расквасились… Матвей, отвернись.

На улице уже рассвело. Но лампа все еще горела, забытая всеми, уже никому не нужная. Так бывает и в жизни: отслужит свой срок огонек и оказывается ненужным — он никому уже не светит и никому не мешает, горит до тех пор, пока не зачадит, замирая и еле вспыхивая; потом про него скажут — потух. И только. Разве мало жизней, похожих на такой огонек!

Ваня и Лузин не перекинулись ни единым словом. Так они дошли до своего временного жилища — правления сельпо. Лузин там, у ветлы, догадался обо всем. Но лишь здесь, у порога, он осторожно спросил:

— Значит, любишь?

— Не надо об этом, Петр Петрович, — Ваня махнул рукой. — Не надо. Никого не люблю.

— Врешь?

— Вру.

— Да-а, — протянул Лузин. — Круто тебе… Чистая у тебя, Ванек, совесть… Живи так.

— Хватит!

— Ладно. Не буду.

Заря уже заполыхала. Зарево казалось совсем близким, оно горело где-то там, за курганами.

Федор стоял у себя на крыльце, ждал… и мысленно повторял слова Тоси: «Что делать?.. Что?.. Что?..»

…А тем временем Дыбина домчали до районного села Козинки. Тройка остановилась у одноэтажного здания милиции. Это был обыкновенный четырехкомнатный домик. Около него сохранились только следы бывшего палисадника (торчали пенечки сирени и два-три столбика от ограды). При милиции, в том же домике, была простая, обыкновенная «кутузка» — чулан с крошечным окошком, зарешеченным железными прутьями. Туда и водворили Дыбина. Ему развязали руки и принесли еду. Он выбил из рук милиционера кастрюлю. Потом привели врача. Тот сменил повязку на голове и коротко заключил:

— Папаха спасла. До свадьбы заживет.

Игнат же и врачу не сказал ни слова.

На первом допросе не произнес он ни звука. Так в милиции и не услышали голос Дыбина — казалось, он онемел и оглох. На второй день он от еды уже не отказался, но продолжал молчать.

Прошел день. Прошла ночь. В следующий день, вечером, было получено распоряжение доставить Дыбина под строгим конвоем в Белохлебинск, в тюрьму. Наступала последняя ночь Дыбина. Караул усилили: уже охраняли четыре милиционера — по два человека через каждые два часа. И всего-то было в отделении семь милиционеров, а Дыбину дали четырех.

В час ночи на окраине села, с опушки лесочка-колка, застрочил пулемет. Пули изредка, очередью, свистели и над центром села. Послышалось несколько винтовочных выстрелов с другого конца села. Похоже было на перестрелку.

Начальник милиции прибежал в отделение в расстегнутом кителе и наскоро наброшенной на одно плечо шинели. Немедленно он послал вестового к секретарю райкома партии и председателю райисполкома с запиской: «Срочно покинуть квартиры». Около Дыбина он оставил только двух человек, а с остальными четырьмя, запрятав лошадей в крайнем дворе, залег на выезде из села против колка, откуда перестукивал пулемет. Лишь после того как огляделся в канаве и прислушался к редким коротким пулеметным очередям, он понял, что пулемет строчит без всякой цели, в белый свет, для паники. Кольнула

мысль: «Провокация! А у преступника только двое». Он стремглав помчался обратно к милиции, но было уже поздно.

Степка Ухарь с двумя бандитами, в короткой схватке, без выстрела, вызволил Дыбина и скрылся в то время, когда один стучал пулеметом, а другой постреливал из винтовки с противоположной стороны.

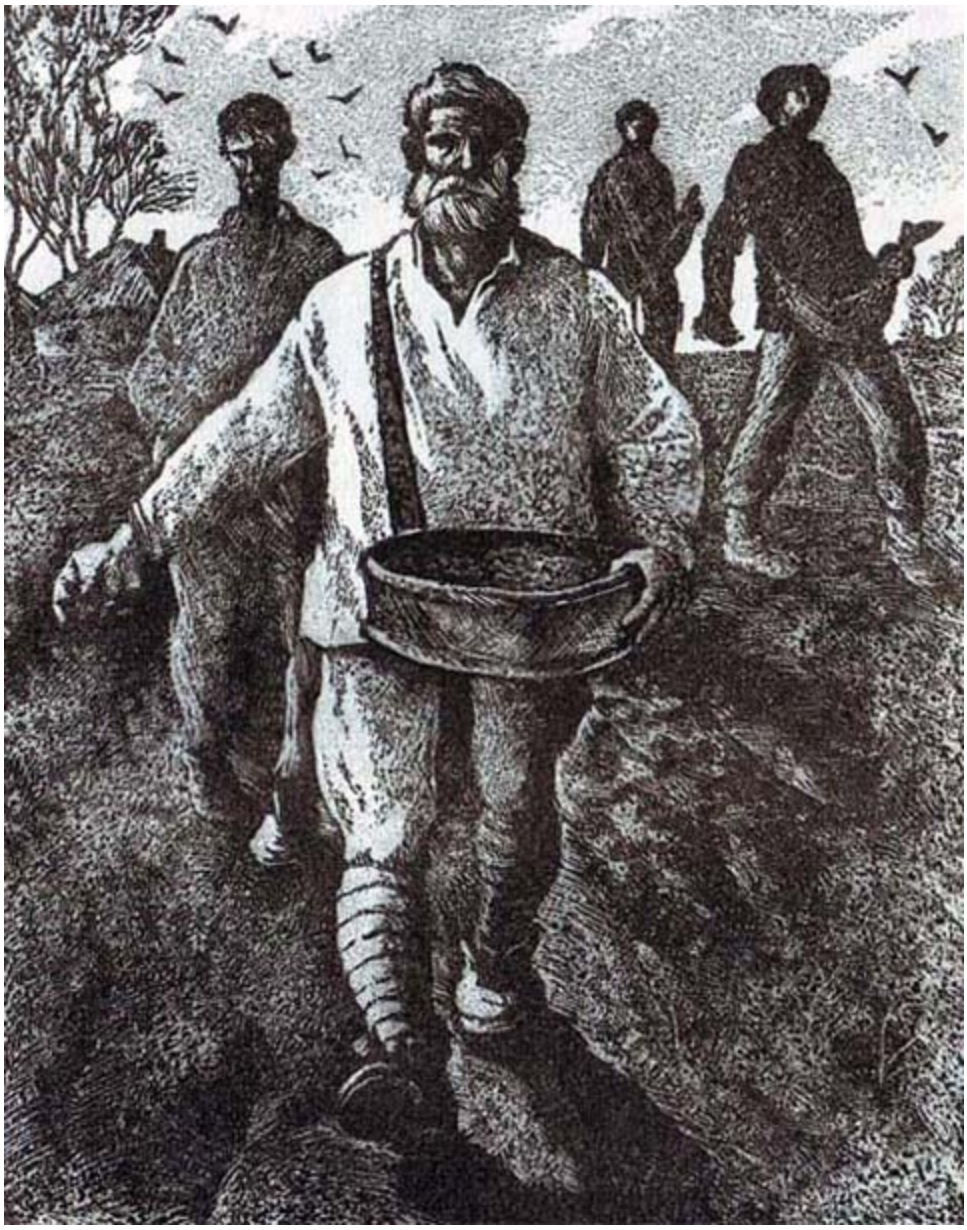
Утром нашли на опушке колка изуродованный станковый пулемет — «максимку», брошенный и уже бесполезный. Бандитов настойчиво искали, но не нашли. Игнат Дыбин остался жить.

Спустя несколько недель прошел слух: будто бы кто-то, сбежавший из этапа и задержанный уже на румынской границе, рассказал, что Дыбин и Ухарев накануне, во время бури и слякоти, перешли в Румынию. След пропал.

Все эти вести на короткое время вновь всколыхнули Паховку. Начальника милиции сняли и разжаловали. Толку-то? Но хотя Дыбин был жив, он уже далеко и потревожить теперь не мог.

Новые дела, заботы и новое взбудораженное время постепенно заглушали и последние вести о побеге Дыбина.

…Через месяц после той ночи подошел к сроку и первый колхозный сев. Первые колесные тракторы, поначалу удивительные как чудо, поднимали чернозем. Но сеяли на конных сеялках или вручную, по-старинному, вразброс. Василий Петрович Кочетов шел с лукошком впереди всех севцов, шел без шапки, как к паперти храма. Широко ступая с правой ноги, он размашисто выносил вытянутую руку вперед и веером искусно выбрасывал семена, а солнце в эту секунду успевало брызнуть на них золотом. Василий Петрович шел по мягкому, пышному чернозему уверенно и не колеблясь. За ним вышагивал длинный Виктор Шмотков и старался — очень старался! — делать все так, как Василий Петрович. Не беда, что у него пока не так-то хорошо получалось, как у переднего севца. Виктор ощущал под ногами новую почву, вывороченную тракторным плугом: на такую глубину она никогда не пахалась.



Председатель колхоза, Земляков Федор Ефимович, стоял на пригорке, подставив открытую грудь легкому и ласковому весеннему ветерку. Но и в труднейшие дни сева он думал и думал о жене. Она тяжело перенесла горячку, лежала в больнице. Теперь же была уже дома, остриженная, похожая на серьезного не по годам ребенка.

В тот день она и в поле стояла перед глазами такой, как он видел ее вчера вечером. Тогда, по просьбе Матвея Степаныча, он собрал вместе с землей горсть рассыпанных семян пшеницы и принес домой. Тот еще утром взмолился: «Принеси ты мне хоть горстку семенков. Хоть понюхаю их». Тосковал старик, лежа в постели, о поле, о весне.

Матвей Степаныч держал семена на ладонях и восхищенно смотрел, просветлев и улыбаясь. Потом сказал:

— И землица тут. Пахнет черноземом… В каждом зёрнышке жизнь. Пахнет жизнью… Понюхай-ка! — обратился он к Тосе.

А она их взяла, долго рассматривала, пересыпая из ладони в ладонь, потом и правда понюхала и… прижалась к ним щекой.

Федор понял, что слезы ее были первыми слезами после долгих и тяжких мучений. Это было вчера.

…Весенний полевой ветер шевелил волосы на непокрытой голове Федора. Урчал трактор. Погромыхивали конные сеялки. В поле было много-много солнца. Казалось, что оно и пело тысячами трелей жаворонков.

И чем ярче оно светило, тем сильнее переливались отблески на гребнях борозд. Чернозем то поднимался в мареве, то вновь опускался, дрожал в весеннем беспокойстве.

Чернозем дышал!

Но это было только начало, от которого вздрогнул весь мир и заговорил то тревожно и зло, то с радостью и восхищением. Одни называли это началом гибели, другие — началом новой жизни на земле.

ЛЕГЕНДАРНАЯ БЫЛЬ

Очерки, рассказ

Легендарная быль

И врагу поныне снится
Дождь свинцовый и густой,
Боевая колесница,
Пулеметчик молодой.

Из песни «Тачанка».

Документальный очерк

Вечер опускался над Новой Калитвой. Заходящее солнце, казалось, чуть постояло над горизонтом и брызнуло огненно-красными отливами по могучему, величавому Дону. В широкой сенокосной пойме, совсем недалеко от того места, где я остановился, послышалась песня. По дороге ехала подвода, откуда и несся разудалый и стремительный напев:

Эх, тачанка-богучарка,
Наша гордость и краса,
Богучарская тачанка,
Все четыре колеса.

Парень помахивал кнутом и во всю силу пел. Я не ослышался: припев повторился точно так же. Поэт, написавший «Тачанку», совсем не писал такого. Есть в той известной песне «тачанка-ростовчанка», «тачанка-киевлянка», «тачанка-полтавчанка», а такого нет. Видимо, поправка эта пришла из соседнего Богучарского района. Нельзя же, в самом деле, представить себе Южный фронт гражданской войны без богучарской тачанки. Вот и внесли поправку.

И сразу мысли ушли в прошлое, в то далекое прошлое, когда не было автомобилей, тракторов, велосипедов, не было хлеба. А был тиф… И шла гражданская война. Четыре мощные силы объединились тогда против молодой Советской республики: белогвардейцы,

интервенты, голод и тиф. Москва и десять губерний — вот и вся территория, оставшаяся не занятой врагом. Колчак был под Вяткой, Юденич — под Петроградом, Деникин — под Тулой, Миллер — около Шенкурска, а голод и тиф — почти везде… Вот какие воспоминания может вызвать обычная для наших дней песня.

Очень трудно представить, что все эти тяжкие и в то же время славные годы были давно. Передо мною сидит бывший лихой и неистовый пулеметчик Богучарского полка Опенько Митрофан Федотович, поэтому и кажется, что все было недавно, так же недавно, как твоя собственная юность.

Человеку, перевалившему за пятьдесят-шестьдесят, часто кажется, что молодым он был совсем-совсем недавно. Так уж устроен человек. И ничего не поделаешь.

Но хорошо тому, кто, вспомнив свою «недавнюю» молодость, не пожалеет ни о чем. Так, ни один богучарец, с кем ни поговори, не жалеет о прожитой жизни. Но обязательно каждый из них жалеет о том, что у них не оказалось своего Фурманова. А ведь когда генерал Деникин со своими хорошо вооруженными и обученными казачьими частями в панике уходил из Ростова, то он бросил приближенным такую фразу: «Если бы мы бились так, как богучарцы, то давно были бы в Москве».

Враг относился к богучарцам не только с ненавистью и страхом, но и с уважением к их беспредельной храбрости.

И вот я сижу и слушаю Опенько Митрофана Федотовича.

*** * ***

Суровый выдался декабрь в восемнадцатом году. Метели вихрили по степям Черноземья. Скрипели полозья, визжали обмерзшие колеса тачанок, упрямо продвигавшихся навстречу армии белых. Шли красноармейцы Богучарского полка, закрываясь воротниками или иной раз просто платками, повязанными вокруг шеи. К ночи буран рассвирепел. Он стегал лицо, слепил глаза, забрасывал на ходу тачанки сугробиками по углам. Снег набивался за воротник и, растаивая, стекал каплями за спину.

Полк шел не на отдых. Полк выходил в бой. Всю эту массу разнообразно одетых идущих и едущих вооруженных людей можно было принять за гигантский, многотысячный табор.

Вдруг все преобразилось. Как неведомый ток, пробежал по степи приказ командира полка Малаховского. Из уст в уста передавалось:

— В цепь…

— Занять станцию Евдаково…

— Без шума в цепь…

— Пулеметы по местам…

И полк растаял. Будто буран разметал людей по степи, свирепея все больше и сильнее. Казалось, уже нет никакого полка, а есть два твоих соседа по цепи, слева и справа. Но так только казалось. Каждый знал, что впереди Малаховский, что он никогда не бывает позади в таких случаях, а во время боя может появиться неожиданно там, где его никак не предполагали встретить.

А когда приблизились к окраинам Евдаково, полк ожил. Ударили орудия, цепь открыла огонь, застрочили пулеметы, ворвавшись к крайним хатам. Белые не видели противника. Разве ж могли они предположить, что в такую жуткую пургу возможно наступление? Все получилось настолько неожиданно, что один из двух полков белых спешно стал отходить без боя, по направлению к деревне Голопузовке.

Тачанка Опенько ворвалась в село Евдаково. Она разворачивалась и сыпала свинцом, чтобы снова тут же нырнуть в буран и стать невидимкой, круто свернув в сторону или шарахнувшись в вишняки.

— Красные дьяволы! — неслось откуда-то из метельной кромешной мути.

А на этот голос и скрип бегущих сапог тачанка поворачивалась задком и давала очередь-другую. Надо было для этого только два слова Опенько:

— Крохмалев! Дай!

И первый номер, Тихон Крохмалев, «давал». При этом он не переставал прибавлять прибаутки со «среднепечатными» вставками. А что можно сделать с Крохмалевым, если он всегда веселый и танцор «мировой»? Впрочем, что можно сделать и тачанке, мечущейся в зверской пурге? Главное, если бы она была одна. Но слева строчит вторая, справа — третья, там — четвертая. По стрельбе белым ясно

одно: цепь близко, где-то рядом с невидимками-тачанками, у крайних хат. А буран рвет и мечет. «Слепой» бой был в разгаре.

И вдруг… пулемет заело! Он отказал в тот момент, когда беляки, оправившись от первого смятения, стали отстреливаться. Они были совсем близко, в нескольких десятках шагов. Второй номер, Гордиенко Андрей, молчаливый и замкнутый парень, коротко сказал баском:

— Давай, Митрофан, лупанем их из винтовок. А?

Он как бы спрашивал командира расчета Опенько. Он готов был всегда молча и хладнокровно бить белых. Скажи ему сейчас Опенько «Давай лупанем», и он возьмет винтовку и зашагает вдоль хат, выглядывая из-за угла в мутную метель.

Но Опенько ответил:

— Ни пулемета не будет, ни тебя не будет. Выходить из боя, — приказал он. — Быстренько устраним и…

В эту секунду завизжали около уха пули. Кажется, с двух сторон сразу. Белые нащупали!

— Гало-оп! — крикнул Опенько.

Кони сорвались с места. И помчалась «боевая колесница» вдоль переулка, туда, где не слышно выстрелов. В эту ночь буран был великим помощником вооруженных крестьян-богучарцев.

Так расчет тачанки Опенько оказался за селом, в лощинке, как раз в том месте, где несколько минут тому назад спешно проследовал отходящий пехотный полк белых. Они отходили в степь длинной колонной с обозом и кухнями. Видимо, план их был таков: «Вы пришли из бурана, а мы уйдем в буран. Мы хорошо одеты, сыты. Вы, если попробуете преследовать, померзнете».

Но не думал об этом Опенько. Важно было в те минуты одно: пулемет должен работать! Молча, понимая друг друга, Опенько и Гордиенко спешно устраняли дефект. А Крохмалев держал вожжи и разговаривал с лошадьми:

— Видите, какая неприятность вышла?.. То-то вот и оно, что неприятность… Лошади, и те понимают. — А через некоторое время окликнул: — Андрей!

— Что?

— У меня спина мокрая. А у тебя?

— Ну и черт с ней… Пройдет? — спросил Андрей у Опенько по поводу какой-то детали пулемета.

— Конечно, пройдет! — ответил Крохмалев, приняв это по адресу своей спины. — Вот разобьем белопузых, подсушимся, подчистимся. Вшей не будет. Каждый день будем обедать и ужинать. Вот жизнь, так жизнь! А? — Но никто ему не отвечал. — Женюсь. Обязательно тогда женюсь, будь я проклят.

Опенько молчал. Он сжал челюсти. Изредка он отрывался от работы, высовывался из-под брезента и пристально слушал пургу. От света фонарика, что светил под брезентом, надо было сначала присмотреться, чтобы увидеть даже Тихона Крохмалева, сидящего рядом. Но Опенько только прислушивался. И слышал: бой продолжался, белых теснили богучарцы в сторону, противоположную той, куда отступил их второй полк.

Так два полка белых оказались оторванными друг от друга. Преследовать отходящий полк было некому: не было сил. Значит, сюда, к тачанке, своих ждать не приходится. Эти мысли пронеслись в голове Опенько. Он все понял, но сказал так:

— Черт возьми! Стоять в такое время! Что скажет Малаховский?! Понимаешь, Тихон? — И он со злобой сплюнул, снова нырнув под брезент.

Крохмалев вздохнул и проговорил:

— Ясно: наших тут не жди, а белопузики могут прорваться. Плохо дело, дорогие мои лошадушки. Мокрые мы все — могём померзнуть, как та капуста на корню: был мягкий, будешь твердый… Митрофан! А Митрофан!

— Что там еще? — откликнулся Опенько из-под брезента.

— Лошади-то потные. Если еще минут двадцать постоим — решка. На себе пулемет потащим. А гармонью Андрееву бросим тут.

Гордиенко правда всегда возил с собою гармонь-двухрядку. Это он, высунувшись, «успокоил» Тихона:

— Я тебе «брошу»… по скулам за твою агитацию. — И сразу же мирно: — Сейчас. Почти готово.

— А может, выпрягу да погоняю их маленько? Пропадут ведь.

— Не смей! — крикнул раздраженно Опенько. — Ты только отошел с лошадьми, а он, беляк, тут как тут. Еще минут пять. Передергивай вожжами, давай плясать на месте.

— Это мы могём, если дозволено. Я ж держу так, чтоб вам не шевелило там. А ну, играй! — И он принялся орудовать вожжами. —

Эхма! Такой тройки на земном шаре нету! Давай, пляши!

А буран хлестал тачанку, одинокую, заброшенную в степи, оторванную от своих.

Только-только Опенько удовлетворенно крякнул, окончив возню с пулеметом, и вылез из-под брезента, как Крохмалев схватил винтовку и крикнул:

— Белые!

— Ра-азвернись! Приготовьсь! — скомандовал Опенько и сам приложился к пулемету. Он еще не видел ничего. Видеть мог только Тихон, обладавший кошачьим зрением и к тому же не ослепленный фонарем.

Но вот из бурана вынырнула тройка. Теперь ее видит и Опенько. Он уже поправил по привычке шапку, сдвинув ее на затылок, чтобы не мешала. Но…

— Виноват! — закричал радостно Тихон. — Как есть свои! Держись, Митрофан Федотыч! Сам Малаховский припожаловал.

Тройка вороных, запряженных в сани, обшитые рогожей, с разбега остановилась около тачанки.

— Опенько, ты?

— Так точно, товарищ Малаховский.

— Доложили — ты замолчал. Так и знал — нырнешь в лощинку.

Здесь Малаховский знал каждый кустик, каждый ярок. Но как он проскочил сюда, вслед белым, и понять было невозможно. Для этого надо было либо обогнуть фланг белых, либо пересечь их линию. Обогнуть он, конечно, не успел бы. Только впоследствии выяснилось. Он шагом въехал в расположение врага во время бурана, остановил какого-то солдата и спросил:

— Скажи-ка, браток, где штаб первого полка? Срочно нужен командир полка.

— Отошел на Голопузовку, ваше благородие!

— Как стоишь, скотина?! Смирно! Генерала не признал!

— Виноват, ваше превосходительство!

Тройка скрылась в метели, как провалилась сквозь землю.

И вот Малаховский наткнулся на тачанку. Он сидел в санях в расстегнутой бекеше защитного сукна. Богатырь с виду, он, казалось, не признавал ни зимы, ни бурана. А серая, в смушку, папаха не была даже надвинута на уши. Ему было жарко.

— Что случилось? — спросил он.

— Отказал пулемет, товарищ Малаховский.

— Готово?

— Готово.

— За мной!

И тройка помчала его в бешеной скачке в пургу. За тройкой — три кавалериста, из разведчиков. За кавалеристами — тачанка-сани, а за ними сорвалась и тачанка Опенько. Их было только одиннадцать человек: три — верхами, семь — при пулеметах (на первой тачанке четверо) и сам Малаховский.

— Это куда же мы теперь? — спросил Крохмалев.

— За Малаховским, — ответил Опенько.

— Понятно. Вижу: за Малаховским.

— А он куда? — спросил Гордиенко.

— Туда…

— И это понятно, — сказал Тихон с иронией. — Задача ясная: за Малаховским… А ты есть хочешь, Митрофан? — И, не дожидаясь ответа, дополнил: — Жрать хочется. Нам там поесть не дадут?

— Дадут, — ответил Опенько, — Горяченького, с огонька.

— Как это позволите понять? — притворялся Крохмалев.

— Ты что, не видишь? Полк белых-то отошел сюда. Оттуда — мы, а они — сюда.

— Приблизительно соображаю. Малаховский что-то задумал. А что, пока не пойму. Но, кажись, вскорости пойму.

— Веселый ты парень, Тихон, — угрюмо сказал Андрей. — С твоим характером всю землю можно пройти пешком.

— А мы ее на тачанке проедем, — уточнил Крохмалев и промурлыкал: — «Всю-то я вселенную проеду…»

Совсем неожиданно для своих подчиненных, вразрез их разговору, Опенько сказал:

— Так, ребята. Старик наш ненадежный. Часто капризничает.

«Старик» — это пулемет, накрытый брезентом. Видно, Опенько думал об одном и том же, о пулемете.

— Спервоначалу-то он ничего, — резонно возразил Гордиенко, — а как в долгом бою, то стал того… Заменять надо.

— Ему уж сто лет с неделей… Так что подпускать надо ближе. И спокойно. Главное, спокойно.

На эти слова Опенько рассмеялся Тихон и вставил:

— «Спокойно», как Опенько.

Он знал, что Опенько — парень-пружина, Опенько сам горяч, как раскаленный.

— Ну, загоготал! Хватит. Говорю, подпускать ближе, и — все. — Но сказал он это совсем без злобы, а так, чтобы замять разговор.

Все равно три парня, которым всем вместе немногим более шестидесяти лет, останутся в бою такими же — находчивыми, смелыми, преданными друзьями.

Буран хлопотал свирепым хозяином степи, с воем и ревом. Трое парней, одетых в крестьянские кожухи, прижавшись друг к другу, мчались вместе с бурей туда, за Малаховским, что впереди. И они были частью бури. Люди жили в буре и сами были бурей.

Вдруг лошади неожиданно осадили и пошли шагом. Потом стали. Впереди, совсем близко, в нескольких шагах, хутор. Малаховский выслал вперед кавалериста. Через несколько минут тот возвратился. В хуторе спокойно. Въехали и стали в затишек.

— В Голопузовку на разведку — двое, — приказал Малаховский двум кавалеристам. — Остальным покурить. Тихо, без шума.

Кавалеристы рысцой окунулись в метель.

Малаховский подошел к Опенько.

— Ну как, Митрофан, не замерз?

— Все в порядке, — ответил тот. — Только вот у Крохмалева неладно: вода по спине бежит. И жениться хочет. — Все тихо, сдержанно посмеялись, а Опенько добавил: — И земной шар собирается объехать на тачанке.

Малаховский положил одну руку на плечо Опенько, другую — на плечо Крохмалеву и сказал:

— И все это хорошо: и жениться и объехать земной шар. Это очень хорошо. Верь, Крохмалев, что объедешь. Главное — верить… А холод потерпите, ребята. Вот кончится война, и зацветет жизнь. Я ее вижу, эту жизнь. Хорошая будет она.

Девять человек стояли тесным кружком, и казалось, не было среди них командира полка, а был хороший старший товарищ, друг, тот самый товарищ, строгий и требовательный в бою, но простой и душевный на отдыхе. Таков Малаховский.

Буран выл между хатами и сараями. Хутор спал. А девять храбрых ожидали двух. Те двое вынырнули из метели так же неожиданно, как в нее и окунулись. Один из них доложил:

— Пехотный полк белых вышел из Голопузовки минут двадцать назад. Идут тихо. В хвосте кухня. Прикрытия нет.

Малаховский смотрел в бурю. Он будто что-то вспоминал или прикидывал в уме.

Потом застегнул бекешу, поправил папаху и тихо, но твердо сказал:

— А ну, ребята, ко мне еще поближе. — И затем продолжал уже решительно, тоном приказа: — Догнать хвост. Всем стрелять беспрерывно, не переставая, — сидеть на хвосте. Кавалеристам — с флангов хвоста и вдоль колонны. Белые попытаются занять оборону в балке, собьются в кучу. В тот момент одна тачанка остается на краю яра и молчит, ждет сигнала; кавалеристы со мной — в объезд, зайдем с другой стороны балки, в тыл. Я начинаю тремя выстрелами. Немедленно со мною — пулемет с другой стороны. А тебе, товарищ Опенько, надо… Тебе, дорогой, ворваться молча в балку, в самую гущу и… — Он совсем изменил тон и душевно продолжал: — Сам понимаешь — буран, паника. И еще имейте в виду: добрая половина полка — мобилизованные, полк сформирован неделю тому назад. — И вдруг он снова изменился, выправил грудь и четко спросил: — Задание ясно?

— Ясно! — ответили все.

— За мной! — И Малаховский вскочил в сани.

Снова стремительная скачка наперегонки с ветром.

Так же неожиданно остановились.

Выстрел! То Малаховский открыл огонь по «хвосту». Первая тачанка, вырвавшись вперед, развернулась и застрочила по белым. Опенько мчался вперед правой стороной дороги, вне поля действия того пулемета. По приказу Малаховского первая тачанка замолчала. Опенько выскочил на дорогу, в нескольких метрах от хвоста колонны, и его «старик» заговорил, отплевываясь от беляков свинцом, выбрасывая огоньки. Белые ответили редким беспорядочным винтовочным огнем так, что даже не слышно было свиста пуль: они стреляли без цели, в белый свет, ускоряя марш.

Малаховский подскакал к Опенько и крикнул:

— Прекратить огонь! Давай второй тачанке!

Так два пулемета, сменяя друг друга, «висели на хвосте» противника. А три кавалериста с флангов постреливали из бури то там, то тут. И полк свалился в балку.

— Стоять тут! — приказал Малаховский расчету первой тачанки, — Опенько, готовьсь! — И умчался в объезд, сопровождаемый кавалеристами.

В яру крики и гомон сливались с бураном. В этом месте был широкий тупой отрог балки — Малаховский это предвидел. Он объехал отрог на другую сторону и, подойдя вплотную к сгрудившимся белым, выстрелил три раза. Кавалеристы начали одновременно с ним. С другой стороны затараторил пулемет.

— Окружили! — дико прокричал кто-то в балке.

А с горы бешеным вихрем слетела в балку тачанка Опенько. Он уже видит врага слева и справа. Вот он уже внизу, в самой гуще.

— Стоп! — командует он тихо. — Веером! — И застрочил.

Разворачиваясь кругом, тачанка вертелась вьюном и осыпала белых. Завизжали пули во все стороны. В жутком буране нельзя было врагу понять, откуда стреляют. Казалось, со всех сторон: снизу, сверху, с боков. Поднялась невообразимая свалка. И в этом месиве беспорядочной, хорошо вооруженной толпы — зычный голос Малаховского:

— Окружили! Бросай оружие! Сдавайсь!

— Сдавайсь! — кричали кавалеристы.

— Сдавайсь! — ревел медведем Андрей Гордиенко.

Сверху, не переставая, сыпал пулемет, отрезая отрог от балки. Опенько вертелся на дне балки. И вдруг… отказал пулемет!

— Сдавайсь! — гремел Малаховский.

— Старик! Старик! — почти плача, обращался юный Опенько к пулемету, как к живому. — Старик! Что же это ты? — И он с остервенением ударил по металлу, ударил до боли в кулаке. — Сдавайсь!!! — зарычал он в бурю и в упор выстрелил в подбегавшего к нему офицера.

Тачанка рванулась вверх, на край. И тут Опенько увидел: в метре от тачанки мелькнул пулемет, а около него, сбоку, лежал труп, уткнувшись в снег лицом.

— Давай к своей тачанке — помогайте им, — приказал он остальным двум. — Прощайте, ребята! — И… вывалился в снег на всем скаку.

— Стоп! — рявкнул Гордиенко.

Крохмалев кошкой прыгнул к Опенько:

— Митроша! Ранило?

— К своей тачанке… Ну! — зашипел он на Тихона.

Приказ есть приказ: тачанка взмыла вверх.

Белые толпой стали выбираться из отрога, отстреливаясь вкруговую.

«Где Опенько? Что с ним? — думал Малаховский, стреляя беспрерывно. — Уходят, а он молчит».

Опенько полз в рыхлом сугробе к пулемету противника. «Почему молчит пулемет? — думал он. — Наверно, расчет разбежался, а один, что лежит, убит наповал». И полз быстро-быстро, забыв о том, что сейчас зима, буран, ночь. Он толкнул в бок человека, лежащего около пулемета. Тот не пошевелился. «Готов», — подумал Опенько. Ощупал пулемет — оказался «максимка». Рядом ящик с лентами патронов.

— Ах вы, сволочи! Опенько еще покажет… — проговорил он вслух, сжав зубы.

И застрочил. Застрочил в десяти метрах от противника. Застрочил в одну точку, перерезав поток отступающих из балки, как ножом.

— Сдавайсь! Сдавайсь!..

Кричали это паническое слово уже не только Малаховский, но и десятки других голосов — кричали белые.

Но что это? Опенько почувствовал, как лента пошла плавнее, уже не требовалось подправлять ее, прекращая для этого огонь. Оглянулся и увидел: тот «труп» в солдатской шинели и с закутанным в башлык лицом подавал ему ленту. Опенько выхватил пистолет…

— Земляк, земляк! — быстро заговорил «труп», — Не узнаешь? Сосед твой — Кузьма Бандуркин, из Подколодного. По голосу узнал, как ты ругнулся.

— Кузьма?!

— Я.

— Ладно. Подавай. Потом разберемся.

Пулемет сыпал вновь. Уже вдвоем они перетащили его в то место, где «перерезали» колонну, и теперь отсекли совсем часть полка,

оставив в балке.

— Второй батальон! Прекратить огонь! — командовал Малаховский несуществующему батальону. Он сам оказался где-то близко от Опенько и, сложив ладони рупором, кричал во весь голос: — Я, командир Богучарского полка, приказываю пленным сложить оружие на левый склон балки! Слушай команду! Я, командир Богучарского полка, приказываю… — повторял он несколько раз.

Знали белые, кто такой Малаховский. И вот он сам здесь. Значит, полк здесь.

— Слушай команду! Оружие на левый склон!

…Метель утихала. Брезжил рассвет. Близко, совсем под дулом пулемета, запорошенные снегом пленные складывали около Опенько винтовки, подтаскивали пулеметы, оставляли все это и спускались вниз, строились.

— Кузьма? — спросил Опенько, лежа у пулемета и не сводя глаз с подходящих вереницей пленных.

— А?

— Как же это ты попал к белякам?

— Мобилизовали в «добровольческий полк». Пришли втроем с винтовками и мобилизовали, прямо за обедом.

— И ты пошел?

— Пошел, — с горечью ответил Кузьма.

— Должен я тебя убить. Опозорил ты наше славное Подколодное.

— Теперь мне все одно. Только я не виноват, Митрофан. Я расскажу.

— А чего ж ты лежал в снегу?

— Притворился убитым. Или замерзну, думаю, или утеку к своим.

— К каким к своим?

— К вам. Я бы все одно утек.

Они лежали в снегу, коченея и стуча зубами, пока последний пленный не положил винтовки. Стало видно все вокруг. В балке было уже тихо.

Казалось, ветер устал, обмяк, окончил бой. Пленные, построившись в три шеренги, около которых хлопотал Малаховский, увидели перед собой… только два пулемета, направленных на них.

— Кузьма? — снова обратился Опенько.

— А?

— У тебя еда есть какая-нибудь?

— Хлеб есть, мясо вареное есть.

— Дай. Больше суток не ел. И взять негде.

Крохмалев и Гордиенко спустились вниз на своей тачанке. Они увидели Опенько: он сидел рядом с беляком и ел мясо с хлебом. Жевал он медленно, через силу. Лицо его было черно, щеки ввалились, волосы выбились на лоб и прилипли. Такая ночь стоила нескольких, месяцев, а может быть, и нескольких лет.

— А этот «башлык» чего тут? — злобно спросил Гордиенко, бросив взгляд на Кузьму Бандуркина. — Чего не строишься, чучело? Ну!.. Так вот и раскрою черепушку… Гад!

За Кузьму ответил Опенько чуть охрипшим, надорванным и простуженным голосом:

— Пойдешь в мою тачанку, Кузьма. — Он разломил хлеб на две части и отдал Тихону и Андрею. — Ешьте, ребята… Спать хочется. — И еще добавил: — Он нашу правду почуял. Не трожьте его.

…До тысячи человек пленных, четыре пушки, десять пулеметов, сотни винтовок, весь обоз с имуществом полка — таков был результат ночной легендарной операции. Большинство пленных снова вооружили, и Малаховский повел их в обход, чтобы ударить казакам с тыла. Они пошли за Малаховским, а среди того же дня были уже в бою. Этот тыловой удар, неожиданный и стремительный, решил исход боя: так начался разгром наступавшей Южной армии генерала Иванова и левого фланга Донской армии генерала Краснова. Богучарский полк вышел в глубокий тыл противника. Белые спешно, в беспорядке отступали.

…А вечером Опенько вошел в хату какого-то села (он не помнит какого), сел около печки на пол и тут же уснул. Гордиенко осторожно перенес его на кровать, лег с ним рядом. На полу, на постланной соломе, спал Крохмалев. Он лежал навзничь, положив забинтованную руку на грудь, волосы откинулись назад, пересохшие губы что-то шептали — он бредил. Кузьма Бандуркин управил лошадей, вошел в хату и лег рядом с Крохмалевым. Уснул он не сразу — слишком много потрясений произошло за последние дни. Наконец уснул и он. В хате стало тихо. Только с печки слышался шепот: там сидела, свесив ноги, пожилая женщина, смотрела на спящих и, утирая фартуком глаза, шептала:

— Молоденькие-то все какие… Дай вам бог счастья…

Двадцать два года было в то время Опенько. Горячая и славная юность!

*** * ***

А сейчас генерал-майор в отставке Валентин Александрович Малаховский переписывается с Опенько Митрофаном Федотовичем.

«Дорогой соратник и боевой друг Митрофан Федотович!» — пишет генерал. «Отец наш и товарищ!» — пишет Митрофан Федотович своему любимому командиру. Какая трогательная и теплая дружба, скрепленная кровью!

Валентин Александрович Малаховский живет сейчас в Риге. Митрофан Федотович Опенько — в Новой Калитве.

Если вам доведется быть в Новой Калитве, то вы спросите: «А где тут проживает Опенько?» И вам могут задать контрвопрос: «А не тот ли Опенько, что взял целый полк?» Но это уже будет легенда. Он был не один, их было «много» — одиннадцать человек славных богучарцев. Это была легендарная быль из жизни легендарного Богучарского полка.

Многие из них были ранены по нескольку раз. Сам Малаховский (впоследствии командир двадцатой кавалерийской Богучарской дивизии Южного фронта) за годы гражданской войны был ранен… двадцать раз! Только Крохмалеву Тихону не удалось проехать по земному шару, не удалось и жениться: он убит при подавлении одного из восстаний казаков. Славный был парень, удивительно теплой души человек, веселый и смелый.

Они отдали сбою юность тому будущему, что зовется сейчас настоящим. И о них, о богучарцах, еще не написано слово, еще не спета песня.

Слава им, погибшим и живым! Слава храбрым!

Новая Калитва — Острогожск.

1957 г.

ОТ АВТОРА

После опубликования «Легендарной были» прошло двадцать лет. Уже не осталось в живых никого из героев повести… Иногда, бывает, вернешься к папкам, от страниц которых веет делами более чем полувековой давности; в них и письма В. А. Малаховского, пронизанные неугасимым оптимизмом и теплой любовью к солдатам революции и гражданской войны, — таким он оставался до конца жизни; с фотографий смотрит на меня М. Ф. Опенько: то юный, стройный, в изящной форме курсанта Кремля, то седой шестидесятилетний председатель профкома машинно-тракторной станции. Работал он до последних дней жизни, а о честности его и преданности и теперь все еще ходят воспоминания в Новой Калитве.

…От тех времен далеких прошло пятьдесят пять лет. Целая жизнь! Теперь-то можно было бы написать лучше, но я решил оставить все так, как легло на бумагу в 1957 году еще при жизни двух героев. Пусть читатель сравнит сам — что было и что есть в нашей жизни.

Г. Т.

1977 г.

Митрич

Рассказ

На стене висит охотничье ружье.

Бывает так: посмотришь на ружье и что-то вспомнишь. И потекут мысли в прошлое. Всплывают в памяти мягкие вечера в августовском лесу, окружающем осоковое озеро, утренние зори весны, ласковая осень с золотисто-желтым ковром листьев или бодрый, как юность, беззаботно-веселый солнечный зимний день первой пороши. Многое вспоминается. И везде ты проходишь не один. Кто-то встает в памяти среди этого прекрасного, родного и любимого.

А отлетающие журавли! Они напоминают почему-то о прожитых днях. И так хочется лететь с ними! Но когда услышишь первую трель скворца или жаворонка, не хочется некуда улетать — ты стоишь и с замиранием сердца слушаешь. Слушаешь дыхание родных просторов, слушаешь и биение своего сердца и тот же крик журавлей, вернувшихся снова. Они вернулись! И журавлиная песнь уже не кажется такой печальной, как осенью. Нет, она радует и веселит в опьяняющем весеннем смешении перезвона трелей, далекого урчания тракторов, запаха набухающих почек деревьев и ласковых «барашков» молодого тальника, примостившегося на островке половодья. Нежные эти барашки! Нежные, как мочка уха ребенка.

И все это жизнь.

И все это вспоминается. И среди всего этого — люди. Много людей, разных. Много потому, что много лет прожито, много раз повторялись веселые весны, и красивые, по-своему печальные осени, и бодрые, а иногда суровые зимы. Но среди множества разных людей всегда кто-то неотступно живет в памяти.

…Тот весенний вечер во время половодья помню хорошо.

Уже почти стемнело, когда, покинув лодку и подкормив кряковую утку, я раскладывал костер на берегу половодья. Сумерки весной наступают, кажется, как-то сразу: то видишь далеко-далеко, а повозись чуть, забывшись, — через двадцать минут и соседний дубок еле рассмотришь. И вот уже остаются одни силуэты: опушка леса, кусты

орешника, одинокий татарник на меже — все черно, все кажется крупнее, чем днем. В такие вечера природ в каком-то тихом, торжественном ожидании счастливого и большого — все ждет настоящей зеленой весны.

Совсем недавно в могучем раздолье половодья утонула зима, а уже вербы обозначились почками, пахнущими по-весеннему, и запах подснежников струился весело в воздухе, заставляя невольно улыбаться каждого, кто любит родное. Весенний тихий, безветренный вечер был наполнен звуками, по тоже тихими: пискнула где-то вблизи мышь; над опушкой прокричал запоздавший любовник-вальдшнеп свое скрипящее «хор-хор-хор»; кто-то невидимый шуркнул в кустах: ласка ли, хорь ли — неизвестно; просвистели утиные крылья, а издали, с острова, донесся переговор гусей, обсуждающих весенние дела. Но все эти звуки до того были осторожны, до того мягки, что тишина не нарушалась и оставалась такой же ласковой.

Но вот разгорелся костер, и окружающее совсем ушло в темноту, покрылось черной завесой. Лишь ближайшие кусты казались живыми — они шевелились и вздрагивали в играющих отсветах огня. Потрескивание костра уже не позволяло различать тонких звуков, зато как уютно на этом светлом пятачке среди всеобщей темени!

Вот тогда-то я и услышал, как кто-то медленно, не спеша подходит к костру: добрый ли человек, враг ли — неизвестно. Из темноты вырезалась фигура крупного человека.

— Огонек, — как-то задумчиво произнес он. И потом уж поздоровался: — Добрый вечер!

— Добрый вечер! — ответил и я.

Незнакомец снял с плеча ружье, сумку с селезнями и присел перед огоньком на колени; потом по-хозяйски поправил костер палкой. Все это он делал молча, смотря в огонь и будто не обращая внимания на мое присутствие. Казалось, он хозяин, а я гость, но ничуть не наоборот.

— Значит, охотиться в наши места заехали? — спросил он ровным баритоном.

Теперь он смотрел на меня. Было понятно: он с первого взгляда определил, что дело имеет с человеком не из здешних мест.

— Заехал, — говорю. — Назначили агрономом в Лисоватое. Послезавтра приступаю к работе.

— А-а… — протянул незнакомец неопределенно. — К нам, значит. Я-то из Лисоватого.

Затем он расстегнул ватный пиджак, вынул из-за пазухи сверток, развязал его, достал оттуда краюшку хлеба, посолил и стал есть. Во время еды спросил:

— А вы откуда прибыли?

— Из Шустовалова.

— У вас-то там как?

— Насчет чего?

— Насчет колхоза. Всех — того?

— Все вступили.

— А у нас не все: двое отказались — уехали из села, в город.

Он замолчал снова. Перестал есть. Задумался. Потом вздохнул и, как бы застеснявшись своего вздоха, взглянул на меня. Что-то тяготило моего собеседника. И я решил продолжить прерванный разговор.

— А вы, — спрашиваю, — вступили?

— Вчера отвел лошадь… — Он вздохнул уже без стеснения. — Отвел… — А помолчав, добавил: — Жеребая…

— Жалко, значит?

— А как же… Думки разные. — Он положил на колено хлеб, почесал за ухом, чуть сдвинув треух на висок, и продолжал: — Привычка. Жеребеночком купил ее. Воспитал. Работал на ней… Отвел теперь. Совсем отвел. Нету лошади.

Он безнадежно махнул рукой, взял краюшку и снова принялся жевать. На левой ладони он держал разостланную тряпицу, в правой руке — краюшку хлеба; откусывая хлеб, он чуть наклонялся к тряпице, собирая крошки. Делал он все это так, как делают дети, когда едят халву. Ел и молчал.

Я тоже ел и посматривал на собеседника. С виду он был спокойным, неторопливым. В меру широкий нос, небольшая, но плотная борода как нельзя лучше подходили к могучим плечам. Глаз его не было видно под густыми сдвинутыми бровями; он казался суровым. Ему можно было дать лет пятьдесят пять.

— А давно купил лошадь-то? — спросил я.

— В двадцать шестом году. Жеребеночком, говорю, купил. Четыре года ей теперь.

— А до этого были лошади?

— Не было. При советской власти нажил, при советской власти и… прожил.

Закусывать мы кончили одновременно. У меня остался кусочек хлеба, и я по привычке бросил его недалеко от себя. А мой собеседник стряхнул крошки с тряпицы на ладонь, проводил их в рот и недружелюбно заговорил:

— Я так думаю: не пройдет коллективизация.

— Это почему же? — спрашиваю.

— Ты вишь кусок бросил, а надо… крошки беречь. Когда я подметаю ток, то, может, на такой кусок и намету всего-навсего. А ты выбросил.

По тому, как он неожиданно перешел на «ты», я понял, что потерял его уважение.

— Ну, крошки-то не экономия, — пытался я оправдаться.

— Не постой за кроху, и всего ломтя не станет. Слыхал такую пословицу?

Мне нечего было возразить, и я только сказал:

— Конечно. Да.

— То-то вот и оно. И в колхозе так может получиться: один будет по зернышку собирать, а другой кусками выбрасывать. — Он немного помолчал и продолжал: — Опять же эти самые трудодни… Как это так?

— Ну, будут записывать, а потом распределять — кто сколько заработал.

— Здорово! — ухмыльнулся он. — Здорово! Год работай, а там… Нет, ты мне дай квитанцию такую: проработал, дескать, день. И чтобы печать была.

Спорить я не стал, потому что и сам еще не знал, что лучше — просто записывать или давать квитанции с печатью. А до трудовых книжек мы еще не додумались.

— И лошади, скажем, тоже… На моей вчера же работал Илюха Козодой. Всю в мыле пригнал. Ну, как это так? — спрашивал он не то у себя самого, не то у кого-то отсутствующего, но только ко мне этот вопрос не относился: он просто не считал меня лицом компетентным, видел во мне юнца со школьной скамьи. Однако я спросил прямо:

— Не верите в колхоз?

Он пристально посмотрел на меня. Подумал. Потом уж ответил совсем мягким тоном, не похожим на недавний:

— Как тебе сказать? Не то чтобы не верю, а… сумлеваюсь. — Он наклонил голову в задумчивости. — Оно ведь на всю жизнь. А как все получится — неизвестно. Сумлеваюсь.

Так с наклоненной головой от посидел еще немного и неожиданно сказал:

— Пойду.

— Домой?

— Домой.

— А на утреннюю зорьку не хотите остаться?

— Хватит: четырех убил.

Так же неторопливо он собрался, перемотав портянки, и сказал:

— Прощевайте!

— Как же звать-то? А то просидели вечер, а…

— Митричем зовут, — ответил он уже на ходу.

— До свиданья!

Его чуть-чуть сутуловатая спина медленно потонула в темноте.

Где-то далеко прогоготал гусь. Костер затухал. Звезды стали еще ярче, и Млечный путь перекинулся торжественным мостом через весь мир. В ушах прозвучало: «Сумлеваюсь… Не то чтобы не верю, а сумлеваюсь…» Именно тогда я и почувствовал остро, по-настоящему: началось новое, большое, началась борьба за нового человека. Почувствовал, несмотря на свою молодость.

Я разгреб остатки костра, подмел то место ветками сушняка, постелил сухой прошлогодней травы и улегся спать. По уснуть сразу не удалось. Какая-то неловкость оставалась внутри от знакомства с Митричем, но что это такое сразу не мог сообразить. И вдруг понял! Встал, отыскал со спичками тот, брошенный кусочек хлеба, подул на него со всех сторон и положил в сумку.

Было мне в то время двадцать пять лет.

Колхоз «Заря» в Лисоватом входил в мой агрономический участок. Там я и поселился.

Однажды при встрече спрашиваю у председателя Лисоватского сельсовета Сучкова:

— Виктор Филатьевич! Какое ваше мнение о Митриче?

— Коршунков?

— Да.

— Василь Митрич. Та-ак. А что? — спросил он еще раз и, как показалось, посмотрел на меня подозрительно.

— Знакомый.

— Контра чистая ваш Митрич. — И с откровенной неприязнью осмотрел меня с головы до ног. Он сдвинул широкую кепку на затылок, засунул обе ладони за узкий кожаный поясок и пояснил: — Во всех мероприятиях контра.

— Кулак?

— Если бы кулак — раскулачили бы. Не придерешься. А контра.

— Объясните поподробнее, — попросил я.

— Поживешь, молодой человек, — может, и увидишь. Зря с ним связался. «Знакомый»! — ухмыльнулся он, сдвинув губы на одну сторону.

По официальному тону председателя и по иронической улыбке можно было легко почувствовать, что неприязнь к Митричу в какой-то степени перешла и на меня. Сучков ушел, даже не попрощавшись.

А недели через две после этого случая мы с председателем колхоза, Махровским Иваном Степановичем, объезжали поля. И увидели такую картину. Пар десять лошадей, запряженных в бороны, стояли на отшибе, неподалеку от трактора. Никого около них не было. А у трактора собралась группа колхозников, вчерашних единоличников. Среди них был и Митрич. Шел какой-то большой спор. Мы услышали голос Митрича:

— Тогда слазь, к чортовой матери!

— Это как так — слазь? — кричал тракторист с сиденья. — Ты меня не сажал!

Мы подъехали. Сошли с тарантаса. Спор сразу прекратился.

— В чем дело? — спросил Иван Степанович.

Никто не ответил.

— Почему не работаете? — повторил Иван Степанович.

Заговорил Митрич:

— Если так работать — лучше не работать. Это что? — указал он на сеялки. — Одна сеет, а другая портит. Вы ж нас так угробите.

Как раз в этот момент и подъехал председатель сельсовета Сучков. Он, не слезая с седла, крикнул:

— Опять против! Опять не так!

— Опять не так, — ответил угрюмо Митрич и, отвернувшись от нас, смотрел вдаль, в поле.

— Чего ты с ним валандаешься? — обратился Сучков к Ивану Степановичу. — Выгони ты его из колхоза!

Иван Степанович ничего не ответил. Он вместе со мной осматривал обе конные сеялки, спаренные для тракторного сева. Спокойный, как всегда, скупой на разговоры, он держался за короткий русый ус двумя пальцами и о чем-то думал. Потом посмотрел на меня, слегка прищурившись, будто спрашивая: «Ну, новый агроном, что скажешь?»

— Попробовать надо, — говорю ему, отвечая на взгляд.

— Ну, давай попробуем. Заводи, — сказал он трактористу.

Тот завел трактор и потихоньку поехал. Мы пошли за сеялками. Высевающий механизм одной из сеялок то работал, то вдруг начинал стучать, сотрясая сеялку, и переставал выбрасывать семена. Получались невидимые огрехи, обнаружить которые можно только после всходов. Мы остановили агрегат и оглянулись. Все боронильщики стали расходиться по местам; один из них безнадежно махнул рукой и выразился непечатным словом. Митрич шел к нам, а рядом с ним ехал верхом Сучков.

— А куда выгонишь? — спрашивал у него Митрич.

— Место найду. Раз ты против советской власти…

Митрич остановился около нас и перебил Сучкова, глядя ему прямо в лицо:

— Такая советская власть, как ты, мне не нужна.

— А! Та-ак! Без контрреволюции не можешь слова сказать! Будьте свидетелями, — обратился он к нам.

— Опять таскать будешь, — угрюмо и зло сказал Митрич. — Не поймешь: мы ведь через твои дела перво-наперво и видим советскую власть.

— А какая же тебе нужна советская власть? — горячился Сучков.

— Вот такая, — указал Митрич на Ивана Степановича.

— Может, прекратите? — спросил у спорщиков Иван Степанович.

— Вот это поддержал! — воскликнул Сучков. — Развалишь ты колхоз.

— Нет. Не развалю.

— В сельсовете о тебе вопрос поставлю.

— Ставь.

— И поставлю! — Он отъехал от сеялок, но сразу же вернулся и спросил: — Сеять будете или так стоять?

— Ремонтировать сеялку будем, — ответил Иван Степанович.

— Исправную?! Ремонтировать?! — воскликнул Сучков.

— Исправную. Ремонтировать, — нехотя ответил Иван Степанович и обратился ко мне: — Что будем делать?

— Придется разбирать. С полдня простоим — ничего не поделаешь.

— Ведь сеет же, сеет! А вы — ремонтировать! — озлился совсем Сучков и помчался в галоп от сеялки.

Все помолчали.

— Прямо замучил, — заговорил первым Иван Степанович. — Шагу не даст ступить по-своему, а сам не смыслит. — И спросил, глядя в землю: — Ну, что ты с ним будешь делать?

— В газету написать, — сказал я. — Новые формы хозяйства — по-новому и руководить надо. Раз написать, два написать — поймет, исправится.

Митрич посмотрел на нас поочередно, почесал висок и заключил:

— Из свиной щетины кудрей не завьешь. Не способен.

Сеялку отремонтировали.

А к концу посевной получили новенькую тракторную сеялку. Митрич стал сеять на этой сеялке, хоть и видел-то ее первый раз в жизни. Он ровным счетом ничего не понимал в механизме, а только следил за тем, чтобы семена сыпались ровно и заделывались хорошо. В противном случае он останавливал трактор и категорически запрещал двигаться вперед. Даже секретарь райкома, а не то чтобы какой-либо уполномоченный, не смог бы заставить Митрича поступить иначе. В таких случаях он посылал кого-либо из ребятишек или шел сам за мной, за Иваном Степановичем или за бригадиром тракторного отряда.

Все детали машины он называл необычно, по-своему: шестеренки — «зубовые колесики», сошники — «клевцы», высевающие катушки — «рубельки» (видимо, от слова «рубель»). Только колеса сохраняли свое настоящее название, известное еще прадедам Митрича. К слову сказать, и тракторист, молодой малый, тоже ничего не понимал в тракторной сеялке. Вот так и сеяли в те, давно ушедшие в прошлое

времена. Трудно тогда было агроному, а еще труднее председателю колхоза.

И все-таки по настоянию Сучкова на заседании сельсовета вынесли Ивану Степановичу выговор «за срыв сева исправной сеялкой» и предложили Митрича «снять с сеялки как сомнительного в политической плоскости вопроса». Сучков голосовал это предложение трижды, то есть до тех пор, пока не получилось большинства.

Вскоре в районной газете появилась моя статья «Самодур Сучков». Я решил заехать к Митричу домой и показать ему статью самолично. Но он встретился мне по дороге. В руках у него был посошок, за спиной — сумка.

— Далеко? — спрашиваю.

— В райком.

— Не ходи, Митрич. Вот смотри. — И я показал газету.

Он здесь же медленно прочитал, шевеля губами и время от времени почесывая висок. Потом расправил бороду, надвинул картуз плотнее и сказал:

— Здóрово. А все-таки пойду. Это дело, — он указал на газету, — потянется далеко. А надо сразу.

Отговаривать его я не стал — знал, что бесполезно.

Секретарь райкома Некрасов принял Митрича хорошо. Усадил его в кресло.

— Как вас величать? — спросил он вначале.

— Василь Митрич Коршунков — кавалер георгиевского креста.

— Постой, постой! Что-то я вспоминаю… Где-то я слышал…

— «Контра», — напомнил Митрич.

— Гм… Да. Точно — «контра». — Теперь уже Некрасов смотрел на Митрича испытующе. — Что же вы хотели?

— Повидать вас хотел.

— Ну, вот я.

— Значит, такое дело. Не получится ничего из колхоза: без хлеба могем остаться.

— Не понимаю.

— Тут и понимать нечего.

— Вы что, против колхоза?

— Нет. Не против. Но сумлеваюсь.

— В чем?

— И в вас вот сумлеваюсь.

— Это дело ваше, — с оттенком недружелюбия сказал Некрасов.

— Ясно, мое. Только не обижайтесь. Я правду говорю. К примеру, вы главный райком. А почему Сучкова допустили к советской власти?

— Выбрали, — неопределенно ответил Некрасов.

— То-то вот и оно. Вам же и поверили. Вы же тут обсуждали, а мы вам верим. Вот я и сумлеваюсь теперь.

— Вот оно что! Да-а, — протянул Некрасов.

— Да. Были, значит, кулаки. Сучкову надо было их осаживать. Осаживал. Нас не касался. Теперича кулак притих, а он привык осаживать. Ну и… не туда прет. Не может простого сумления отличить от контры.

— Так, так. Говорите, говорите!

— А я все сказал: — сумлеваюсь и в вас. Должны видеть все до тонкости.

Некрасов развернул газету со статьей о Сучкове. Митрич внимательно следил за собеседником и молчал. Потом секретарь райкома посмотрел в окно и, задумавшись, сказал:

— Да… Сучков часто говорит, что он «стоит на платформе советской власти»… А получается вот как.

— Не верьте вы ему. Не верьте. Он, может, и стоит на платформе, да поезд-то давно уж ушел дальше, а он все стоит.

Некрасов рассмеялся. Но Митрич не улыбнулся. Он сказал:

— Ничего тут смешного. Все правильно. — И, кажется, даже обиделся: взял картуз, сумку и встал, приготовившись уходить.

Некрасов тоже встал из-за стола, усадил Митрича, отнял картуз и сумку и сказал:

— Все рассказывайте подробно. Все. С самого начала. Как жили до колхоза, как дела в колхозе, дома.

— Так, значит. Кобылу я отвел в колхоз жеребую. Теперича ее помаленьку стал забывать. Ну, трудно забыть такую лошадь: иной раз заскребет в душе так нудно — не без того…

И Митрич рассказал обо всем, что случилось в его жизни за последний год.

…После того-как Сучкова сняли с поста председателя сельсовета, он, выпивши, встретил меня по пути в правление колхоза,

остановился, посмотрел в упор и произнес презрительно:

— Писака… Хуже контры. — Потом взялся рукой за затылок, смяв фуражку, скривил тонкие губы и воскликнул: — Была советская власть — нет советской власти! Все! — и пошел дальше, покачиваясь.

Он, бедняга, и не подозревал, что, кроме меня, в его катастрофе виноваты и Митрич, и секретарь райкома, и Иван Степанович, с которым беседовал наедине Некрасов. Мне почему-то было жаль Сучкова, опоздавшего, по выражению Митрича, на поезд и не понявшего этого. Он не стал пьяницей. Нет. Он просто попил несколько дней с горя и бросил. Из колхоза никуда не ушел и работал заведующим фермой, а несколько лет спустя — кладовщиком.

А Митрич так и жил — с виду спокойный, но внутренне напряженный.

Шли годы.

Колхоз «Заря» жил неровной жизнью: иной год на трудодень дадут подходяще, а при недороде — граммов триста — пятьсот хлебом и около полтинника деньгами. В такие годы Митрич становился угрюмым. На общих собраниях он говорил мало, коротко, но всегда ругался: и председателю Ивану Степановичу, и райкому, и агроному — всем доставалось. На одном из отчетных собраний, когда Иван Степанович сообщил о недороде яровой пшеницы как причине маловесного трудодня, Митрич попросил слова и спросил:

— Зачем сеем яровую пшеницу, если она у нас спокон веков не родила?

— План, — коротко ответил Иван Степанович.

— Так и будем без хлеба, — заключил Митрич при общем одобрительном гуле собравшихся.

— Надо искать пути повышения урожая яровой пшеницы, — вступился я за Ивана Степановича, — а это не так просто.

— Вот и ищи эти самые пути. Найдешь — тогда и давай, сей, — сразу возразил кто-то из задних рядов.

И вдруг Митрич неожиданно вышел к столу и сказал, обращаясь к президиуму, будто говоря от имени всех:

— Значит так: деды пробовали сеять — не родилась, мы пробовали — не родилась, а вы на моем пузе опыты с яровой пшеницей… Не будет дела из нашего колхоза.

Ну, что ему ответить? Мы переглянулись с Иваном Степановичем. Потом он посмотрел в окно и застучал пальцами о стол: дескать, нечего ему ответить, попробуй ты. Приходилось говорить о том, что мы не сделали всего, что надо сделать для урожая яровой пшеницы, что виноваты и мы и колхозники. Но Митрич еще раз встал и сказал в заключение:

— Уж как апельсин хорош! Да нельзя же его у нас, в Воронежской, сажать. Нельзя? Конечно, нельзя. А скусно. Ой, скусно!

Сдержанный шопот прокатился по собранию. Послышался легкий смешок.

А вечером, после собрания, мы сидели с Митричем на завалинке и разговаривали по душам.

— Кто виноват? — спрашивал Митрич прямо, без обиняков.

— Планы не те, — отвечал я.

— А ты пиши, стучи, говори там наши слова: «Не родит, мол, спокон веков». Пиши в газеты — ты умеешь. Ты напишешь, другой напишет — сразу поймут. Ведь хотят же там, вверху, хорошей жизни народу? — спрашивал он и поднимал палец вверх. — Хотят, — отвечал он, и я поддержал его кивком головы. — Хотят, — подтверждал Митрич еще раз с полной уверенностью. — Откуда же у вас такой рыбий закон: «Плыви — молчи, лежи — молчи»?

— Не в этом дело, Митрич. Ученые говорят, что яровая пшеница будет по пласту родить, что «белое пятно», где она якобы не давала урожая, выдумано, что она должна родить. Надо пласт создавать из многолетних трав.

— Не будет она родить, — категорически заявил он. — Народ лучше знает. Не будет. Ее «швейка» заедает (так он называл вредителя яровой пшеницы — шведку). А «белое пятно-то» не у нас, а в мозгах того ученого, который народа не слышит. А мы от этого в сумленье входим.

Вот так Митрич всегда и сомневался, всегда искал разрешения своего сомнения. Иногда мучительные вопросы оставались неразрешенными, и он надолго замолкал. Но работал ежедневно — от зари до зари. Даже если уходил на охоту в дни особо сильных сомнений, то только на зорьку, а к утру — в колхоз, на работу. Сомнения же свои он мог высказывать любому. Приедет, например,

какой-нибудь уполномоченный из области, Митрич и с ним может сразиться.

Однажды после такого спора уполномоченный из области в присутствии Некрасова спросил у Ивана Степановича о Митриче:

— Что за колхозник?

— Работник хороший, — ответил Иван Степанович коротко, как всегда, — но… с душком.

— Это как понять?

— Работает хорошо, но всегда недоволен чем-нибудь.

— Чем именно? Точнее.

Иван Степанович помялся. Ответил не сразу:

— Недостатками… неправильным руководством… планированием. Мало ли чем…

— Был раскулачен?

— Нет. До революции — бедняк. С двадцать шестого года — середняк.

— Странно! — удивлялся приезжий руководитель. — Колхоз уже десять лет существует, а у вас такие… митричи. Запустили массовую работу. Запустили. Массовую работу запустили.

— Ничего странного, — не особенно смело, но с достаточной уверенностью возразил Иван Степанович. — Ему почти никогда не возможно возразить — всегда в точку.

— Значит, и против планирования агитирует тоже «в точку»? — И уполномоченный в упор рассматривал Ивана Степановича.

И Иван Степанович решился:

— В точку, да. Не родит же яровая пшеница? Нет. А кукуруза родит, да ее нам не дают. Колхозники-то в годы недородов живут усадьбой. А что на усадьбе? Картофель… кукуруза.

После этого и уполномоченный, и Некрасов, и Иван Степанович замолчали. Они смотрели в разные стороны, поочередно барабанили пальцами по бочке, около которой стояли на току, потом закурили и начали говорить о погоде, о сроках уборки, о заготовках — в общем, о самых важных делах. Интересно, что Некрасов совсем не вмешивался в этот разговор — он изредка улыбался, будто говоря: «А посмотрим, что извлечет уполномоченный из таких прений». Потом-то они, может быть, между собой к говорили на ту же тему — не знаю. Наверно, говорили. Умный был человек!

А Митрич в тот день продолжал скирдовать снопы. Он стоял на скирде, пропуская через свои руки, может быть, шестую тысячу снопов за день, и, конечно, ругал своих помощников-скирдоправов:

— Ну, как кладешь гузырь?! Куда затянул? Ямкой сложишь — мокрость пройдет до дна… Я чего сказал?! Надо все планово делать. Планово, — повторял он несколько раз, подразумевая под этим «хорошо», «толково».

Никто не видел Митрича уставшим. Никогда он не спешил, но и не сидел без дела. И все-таки ему никто из приезжавших (уполномоченных или другого начальства) не доверял, видя в нем человека ненадежного. Этому отчасти способствовал и Сучков, работавший с тысяча девятьсот тридцать восьмого года кладовщиком колхоза; он при всяком удобном случае произносил свое слово «контра» и добавлял:

— У нас народ — беда! Любому руководителю шею свернут. С таким народом выйдешь в передовые — держи карман шире!

Но, несмотря на утверждения Сучкова о народе, свертывающем шею «любому руководителю», Иван Степанович бессменно оставался председателем колхоза. Каждый год на отчетных собраниях его разбирали «по косточкам», ругали напрямик, обвиняли в смертных грехах — «сеет не то, что надо сеять», «денег мало дает на трудодень», «свиньи убыточны». Послушает иной раз такое кто-либо из районного руководства да и поставит вопрос в райкоме о переизбрании председателя. Так действительно и случилось однажды, когда сам Некрасов чуть-чуть не ошибся, но колхозники его поправили.

Дело было так. Приехал он на отчетное собрание. Сначала, как и полагается, сделал доклад о работе Иван Степанович. Потом критиковали председателя по всем швам. Сильно ругали! Видит Некрасов — недоволен народ. Открылись ему и недостатки, которых он не замечал раньше. Вот он и поставил вопрос о замене председателя. Тут-то и началось.

— Кто имеет слово по вопросу о замене? — спросил председательствующий на собрании старший конюх Егор Ефимыч Ермолов.

Никто не отвечал. Молчали. А потом из заднего угла при общем молчании послышались громкие возгласы, совсем не относящиеся к повестке дня:

— Мишка!

— А?

— Ты быка загнал?

— Загнал. А что?

— Как «что»? Бык же.

— Ясно, бык.

— Кто имеет слово? — повторяет вопрос Егор Ефимыч. Он стоит за столом президиума, чисто выбритый, высокий, жилистый, очень крепкий, несмотря на свои полсотни лет, и ждет ответа. — Кто имеет слово?

В ответ — голоса:

— Покурить бы.

— Уши попухли от недокура!

— Перерыв! Надо перекур.

А от стены кто-то заговорил с этакой тонкой иронией:

— И что это у нас за председатель колхоза! На собрании — не покури, в клубе — не ругнись, в коровнике — фартуки белые на доярках. Тьфу!

— Конешно, перерыв надо, — перебил его другой голос без всякой, казалось, связи.

— Объявляю перерыв! — крикнул Егор Ефимыч густым басом, отлично идущим к нему.

Да и что оставалось делать председательствующему, если поднимается галдеж и никакого укороту сделать нельзя — хоть звонок разбей. Егор Ефимыч хорошо знал народ своего колхоза.

Почти все вышли из клуба, разбились на группы и разговаривали уже тихо. Потом от одной из таких групп отошел Митрич и направился прямо к Некрасову. Он подошел к нему и заговорил, отведя его чуть в сторону:

— Я прошу слова насчет председателя.

— Пожалуйста! Вот начнем сейчас — первым и выступите.

— Нет, я вам хочу сказать. Одному. — И, не обращая внимания на удивление собеседника, начал так: — Иван Степаныч — человек партейный. Знаем мы его с самого малу, с пастушонка. В подпасках он у меня ходил. Понимаете: сирота! — И замолчал, ожидая того, какое действие произведут эти слова.

— Таких биографий много, — сказал Некрасов. — Но надо смотреть, как руководит. Свиноводство-то в плохом состоянии? В плохом. В поле…

Но Митрич перебил без стеснения:

— Конешно. Географиеф таких много. И толк не из каждого выходит. — И продолжал начатую ранее речь: — Сирота, значит. В комсомолах ходил — телят пас, до колхоза. В партию поступил, тоже до колхоза, — на «фордзоне» работал в СОЗе[2]. А пото-ом уж, потом выбрали в председатели. Правильно: география его без образования. Но скажу: книжек у него полон дом. И такие толстючие есть — как саман. Прямо — саман!

— Да вы же сами уничтожили его своей критикой! — воскликнул Некрасов.

— Ну, что вам сказать! — воскликнул уже и Митрич, хлопнув руками по бедрам.

Подходили к ним поодиночке и другие. Прислушивались. Курили, конечно, весьма сосредоточенно. А Митрич, оглядываясь на подходивших, продолжал убеждать собеседника:

— Разве ж мы его изничтожили? Нет. Саду у нас сорок гектар: при ком посажено? Коровы: где лучше? А? Мы все это понимаем, видим. А раз видно, то чего об этом и говорить! Нечего об этом язык чесать.

— Вы же, вы сами ругали его десять минут назад, — обратился Некрасов к окружающим.

Все почувствовали некоторую неловкость. По взглядам было видно, что каждый так и думал: «А ведь и правда — сами же разделали Ивана Степановича под орех». И вот уже большинство собрания окружало Митрича и Некрасова. Лишь Иван Степанович не выходил из клуба, догадываясь, что разговор идет о нем, да счетовод из учтивости оставался с ним в помещении. От такого скопления свидетелей в разговоре «с глазу на глаз» Митрич постепенно терял дар речи, как и всегда: в этих случаях он мог сказать разве две-три фразы. И он сказал напоследок, незаметно перейдя на «ты»:

— Такое дело, понимаешь… Был у меня сын, Павел. Помер он — двое внучат при мне выросли. И мать ихняя померла… Помер. — Он прямо смотрел в глаза Некрасову и закончил: — А ведь я его раза два порол ремнем, Пашутку-то. Разве ж я его не любил… сына?

Общее молчание прорвалось сразу со всех сторон:

— Мы ругали, мы и уважаем!

— Не желаем менять Ивана Степановича!

— Только колхоз поднялся на ноги и — менять!

— Не на-адо!

Из зала, клуба вышел счетовод и зазвонил колокольчиком, приглашая к продолжению собрания.

Входили, переговариваясь, балагуря, спеша докурить остатки цыгарок, чуть задержавшись для этого в дверях. В зале стоял шум. Казалось, собрание будет бурным.

Еще раз прозвонил звонок. И снова тот же вопрос Егора Ефимыча, заданный уже со вздохом:

— Кто имеет слово?

В зале тишина.

— Кто имеет слово?

Слышно — жужжит муха на стекле окна. Вслед за вопросом Ермолова послышался полушопот женщины:

— Осподи! Вот уж еще пристал!

Сказано это тихо-тихо, но все услышали и поняли, что относится это к председательствующему. Сразу — взрыв хохота! Некрасов смеялся со всеми вместе. Егор Ефимыч тоже смеялся, хотя и позванивал вяло звонком, и, наконец, спросил:

— Что же будем делать?

— Резолюцию писать, — ответил за всех Митрич.

— Сперва работу надо признать, — вставил Сучков, ожидавший бури и втайне мечтавший о председательском месте (работать кладовщиком он считал ниже своего достоинства, не подозревая того, что находился именно на своем месте).

— Как признаем работу? — спросил у собрания Егор Ефимыч.

— Хорошей! — крикнуло сразу несколько голосов, будто сговорившись.

— Голосую!

Признали работу хорошей, а дальше, в резолюции, шел длинный перечень недостатков, такой длинный, что не укладывался на двух листах.

Вот так и получалось: Иван Степанович оставался бессменным председателем колхоза с начала его организации. Уже сад стал

доходным, а там и на конопле, в низах, стали получать до двухсот тысяч дохода, бахча приносила не один десяток тысяч. Год от году доходы росли и уже перевалили через два миллиона, трудодень через восемь рублей перескочил, не считая хлеба, — колхоз стал самым лучшим в районе, а Митрич… все ругался и всегда был чем-либо недоволен. Он даже и на Ивана Степановича ходил жаловаться в райком, этот беспощадный старик.

…Внуки Митрича, Николай и Петр, выросли, казалось, незаметно: то были недавно мальчишки, а то уже оба на машинах — Николай на тракторе, Петр на комбайне штурвальным. Оба плотные, коренастые — «в дедову породу пошли», как говорил Митрич не без удовольствия. Может быть, им иной раз и хочется поспать подольше, да дед теребит. У него правило: вставать до восхода солнца. Людей, которые встают после солнышка, он просто считал лентяями, недостойными земной жизни. Такая уж философия была у Митрича. Но как бы там ни было, а жизнь все улучшалась и улучшалась. Ребята стали хорошо зарабатывать, Митрич не хотел от них отставать — в дом пришел достаток. И Митрич стал подумывать, что пора оженить внуков. Он высказал мне эту мысль спокойно, как решенное, выкладывал расчеты по расходам на это важное дело и заключил:

— Иначе нельзя. Разве ж это работа? Ему вставать на смену, а он только-только от соловьев прибыл… Да и старуха моя… того… слабеет: молодую хозяйку надо в дом.

И все это говорилось просто, обыденно, без тени намека на то, что и самому Митричу идет шестьдесят восьмой год, что он воспитал двух внуков, что это было очень трудно, что были годы бесхлебья, когда выручала усадьба. Ничего этого Митрич не говорил и, видимо, об этом не думал. Он только частенько ругал ребят, которые, как ему казалось, работают вполсилы. Да все так же высказывал свое недовольство непорядками в колхозе, в районе, в области и, прямо скажу, добирался иной раз до самого правительства. Так однажды он мне и сказал:

— Дали нам трактора и разные машины — спасибо! В ноги могу поклониться за то. Вот могу поехать в самый Кремль, стать на коленки и поклониться. Но… — тут он разводил руками, поднимал мохнатые брови в удивлении, — но налог-то с колхозников неправильный: с земли надо брать, а не со скотины. И еще скажу: да дайте же нам возможность сеять то, что нам хочется… Ну? Как? — спрашивал он в

упор, не опуская бровей, глядя открыто и доверительно мне в лицо и отряхивая колени так, будто он только-только встал с земли.

Посмотрит, посмотрит Митрич так — и улыбнется. А я высказывал ему свое искреннее убеждение в том, что в социалистическом государстве необходимо планировать сверху. Мы спорили, но Митрич оставался при своем мнении, настойчиво высказывая его из года в год.

А некоторые люди, из районного руководства, услышав такое, не спорили с ним, а утверждали, что «митричи» — люди опасные, подрывающие доверие к общественному плановому хозяйству. И Сучков со всей категоричностью произносил снова свое неизменное «контра». Не было доверия к Митричу со стороны начальства.

Но мы с Иваном Степановичем понимали, что Митрич очень хорошо знает землю колхоза, помнит тысячи разных местных примет, почти точно определяет сроки сева разных культур, поэтому и шли к нему сами за советом. И кроме того: куда ни поставь Митрича в колхозе — он все сделает только отлично. Он в совершенстве владеет мастерством скирдоправа, знает толк в выпасах, точно знает, в каком поле можно пахать глубоко, а в каком нельзя; никто лучше его не наладит упряжь или телегу. А к его «особым» мнениям и постоянным сомнениям волей-неволей прислушивались, обсуждали между собой, иной раз спорили. Иногда Митрич сам приходил в правление и спрашивал у нас с Иваном Степановичем:

— Никак завтра собираетесь просо сеять?

— Даем наряд, — отвечаем.

— Обождите: бобовник не зацвел.

— Задержим же сев! — воскликнет Иван Степанович.

— И правильно задержите. Бобовник, он зацветает, когда земля нагреется. А просу в холодной земле — могила.

Митрич уходит, а мы решаем: часть посеять «по Митричу», а часть — по-своему. И получается: «по Митричу» лучше — урожай больше.

Но Митрич старел. Незаметно, но старел помаленьку — белели все сильнее волосы, баритон стал отдавать хрипотцой. И все же это был еще сильный старик: попрежнему он ежедневно являлся на работу и работал так, что дай бог молодому так сработать. А по праздникам надевал очки с ниточками вместо заушников и читал газету или

слушал хороводные и протяжные песни. Сидел на завалинке, закрыв глаза и не снимая очков, слушал. Послушает, послушает, встряхнет головой, скажет:

— Ух ты! Какой голосище-то у Мариши. Вот ведь какие девки бывают на белом свете! — и снова почитает газету.

Водки он не пил совсем, никогда. А Кольку, внука, явившегося раз пьяным в хату, выпорол ремнем без каких-либо раздумий, несмотря на то, что парню шел двадцать первый год. Мало того, что Николай два дня подряд украдкой почесывал зад, Митрич еще и припугнул его:

— Вот пойду в этот самый твой комсомол да скажу: «Напился, мол, сукин кот» — они тебе там на собрании гуртом еще добавят ремня.

— Ну уж… Ладно, — ворчал Николай.

— То-то вот и ладно. Иван Степанович поумней тебя, а видал ты его пьяным?

Николай молчал.

— Не видал, — отвечал за него дед и задавал вопрос: — Понятно?

— Понятно, — сдавался внук.

— Ее, дуру чортову, водку, пить-то надо с умом. Без настоящего ума к ней и прикасаться нельзя… Молод еще.

После этого случая у них в семействе ремень получил особое название — «вытрезвитель».

Так вот и жил Митрич со своими правилами, простыми и четкими: любя внуков, он их не баловал; работая не покладая рук в колхозе, возмущался недостатками; любя советскую власть, иногда поругивал и ее, если считал что-то неправильным согласно своему убеждению и хозяйственным соображениям. При этом ему совершенно было неважно, что о нем подумают (по крайней мере так казалось со стороны).

В те памятные дни Митрич был оживленным — он еще и еще раз обсуждал с ребятами вопрос о свадьбе. Купил дополнительно кабана, откармливал бычка, ездил за покупками. Для меня все же оказалось неожиданностью, когда он, войдя к Ивану Степановичу, сказал:

— Ну что ж… К тебе, Степаныч. Ребята просят в сваты. Николая сватать, за Маришу.

Это был особый знак уважения и почтения. И Иван Степанович, несмотря на занятость, не отказал. Свадьба была назначена на последнее воскресенье июня — самое удобное время, когда и прополка закончена и пары готовы, но уборка еще не начиналась, а сено в копнах. Все было предусмотрено, чтобы не нанести ущерба в тракторном отряде и в колхозе. Да и время хорошее — зелень, цветы, тепло: гуляй хоть сутки напролет.

О водке тоже договорились: гостям — до отвала, хозяевам — в меру, «по мере возможности», как выразился Митрич.

До свадьбы оставалась одна неделя. Все было готово.

И вот…

Среди дня, во время обеда, кто-то неожиданно застучал в окно, застучал кулаком в переплет рамы так сильно, что, казалось, сейчас посыплются стекла.

— Кто? — спросил я, вскочив из-за стола и подбегая к окну.

— Открывай! Беда! — крикнул Иван Степанович.

Я выскочил на улицу. Он положил мне на плечо руку и чуть сжал: рука его слегка дрожала.

— Одевайся! Война!

Черная туча наплыла на солнце и мрачной тенью поползла над селом.

Кто-то проскакал по улице верхом. Где-то заголосила женщина. Беспокойный, тревожный, как при напасти, говор пошел по селу. Завыла собака, днем завыла. Очень редко воют собаки днем. Люди спешили с поля: тарахтели брички, звенело привязанное позади телеги ведро.

К правлению колхоза собирался народ. Люди шли туда, где определялась их судьба, шли так, будто там, в правлении, еще могли что-то сделать, чтобы предотвратить лихо. «А может быть, это еще и неправда», — думал каждый.

В правлении — уже битком. Репродуктор, потрескивая, молчал. Кто-то сказал, нарушив тяжелое молчание:

— Как же это так: мы с ним договор заключили, а он — вон что?

— Значит, подлый, собака, — ответил угрюмый голос.

И снова тишина. Курили. Изредка перебрасывались односложными фразами. Все ждали голоса из репродуктора. А репродуктор потрескивал и молчал.

Но вот все услышали позывные Москвы, потом голос Вячеслава Михайловича Молотова. Молотов обращался к народу.

Война…

Враг напал на Родину.

Митрич стоял рядом со мной. Картуз он держал перед собой, опустив руки. Белая прядь волос перекинулась на щеку. Он стоял молча, не шевелясь, склонив голову, будто сосредоточенно смотрел в землю. Так он стоял все время, пока говорил Вячеслав Михайлович, не пошевелился и тогда, когда говорил Иван Степанович и другие. А когда закончился стихийный митинг, Митрич посмотрел на меня, откинул прядь волос, надвинул картуз. Он что-то хотел сказать, но, видимо, трудно это было ему сделать. Я тоже смотрел ему в лицо. Оно было сурово и… спокойно. И вот он сказал то, что хотел:

— Ребят собирать надо. Пойду. — И пошел размеренным шагом, совсем не по-стариковски.

А через день провожали новобранцев. Провожали всем колхозом — от мала до велика. Женщины плакали. Новобранцы пели песни. Играла гармонь. Старики шли молча, угрюмые, знающие, что такое война. Вдруг неожиданно все затихало, все шли молча, семейными группами, растянувшись по дороге. Но вот… ударила снова гармонь. Ударила… плясовую. Русскую!

Ах, гармонь, гармонь! Простая гармонь! Великую службу несешь ты на нашей земле. Это твоя теплая радость струится в цветущем вишняке, когда первая любовь зарождается в душах молодых парней и девушек; это ты отщелкиваешь частушки, от которых парень краснеет, пьяница бригадир прячется на задворках, а лодырь волей-неволей идет на работу; это под твои залихватские переборы выскакивают обличительные четверостишия, такие, что самому господу богу становится тошно; это ты врезаешься «Барыней» внутрь человека, так что трясутся поджилки, и все равно не выдержать никому, кто родился в России, — все равно пыль из-под каблуков полетит!.. Это твои печальные звуки раздаются по осеннему заморозку, придавившему последнюю траву, и тогда кажется: идет где-то парень и тоскует о том, что не женился, а жениться, край, надо; идет этот парень и жалуется белому свету: ой, как надо жениться! Это ты, гармонь русская с заемными басами, бодришь народ на току в самые тяжелые страдные дни; это на твоих белых ладах, перекрывая дальний рокот тракторов,

подыгрывает жаворонкам тракторист, свободный от смены. Да что там говорить! Тебя и соловей не боится: ты играешь любовную, а он рядом, тут же в кустах шиповника, поет свое, но очень похожее по настроению и смыслу. Но ты же, — ты, гармонь! — в предвечернем затишье боя, под глухую далекую бомбежку, прибавляешь силы утомленному солдату и напоминаешь ему о нежных и ласковых березах у колхозной околицы, о родных бескрайных полях, о милых сердцу людях, о Родине. Вот какая у нас гармонь!

Только ведь это я сейчас так говорю, а тогда я просто услыхал плясовую и повернул лицо к Митричу. Рядом с ним, с котомками за плечами, шли оба внука. Митрич посмотрел на меня, потом на Петра и вдруг, как мне показалось, улыбнулся. Да, он улыбнулся, толкнул Петю в бок и сказал:

— А ну, Петруха, покажи нашу породу! — и неожиданно ударил картузом о дорогу.

Петя снял котомку, обеими руками поплотнее закрепил на голове кепку и пошел в пляс. Нет! Никто в Лисоватом так задорно не плясал до рождения Петьки! А с виду — скромный белокурый паренек с удивляющимися всему на свете глазами. Он не знает, что такое война. И дед это чувствует, дед хочет, чтобы он подольше не знал этого, и кричит:

— Наддай, Петруха! Дроби! Дроби больше! Не плачь, бабы-девки — Расею никто не поборет!

…Потом снова шли, то переговариваясь, то молча. Так и дошли до станции: плакали, плясали, молчали и думали, думали об одном: «Что-то будет?»

…Первый звонок. Тишина. Провожающие стоят у вагонов.

— А телушку продай, — говорит колхозник лет сорока своей тихонько плачущей жене. — Хлеб расходуй с умом… Война войной, а ребятишкам жрать надо. А обо мне что печалиться? Обуют, оденут, накормят. Не один иду — не плачь…

— Ничего, Коля! — говорит Митрич. — Приедешь — оженим. — Он смотрит на невесту Николая, стоящую рядом, и спрашивает: — Ждать будешь, Мариша?

— Буду, — отвечает та и плачет.

У Николая навертываются слезы, и он, обнимая, целует невесту.

— Вот видишь: будет ждать. Не горюй — все будет, как и должно быть… планово, — произносит Митрич.

Второй звонок. Мертвая тишина. Гудок паровоза. Несколько женщин бросились с воплями к подножкам вагонов, а одна из них обняла поручни и запричитала старинное причитание:

— Улетает сизый голубь, улетает в бурю. На кого-то спокидает он свою голубку! На кого ж ты спокидаешь деток-голубяток да под той ли черной тучей — горькою судьбою? Ой вы, тучи, черны тучи, облаки небесны, схороните мого мила, спрячьте от напасти…

— Гражданка! Поезд отправляется, — строго и официально заявил кондуктор и решительно, силой, оттащил женщину от вагона.

Голос кондуктора был сухим, строгим, и многим было не по себе от этой строгости, пока не увидели, что по лицу кондуктора текли слезы. Все плакали. Только Митрич стоял, смотрел на ребят и советовал мягко, ласково и, казалось, спокойно:

— Главно дело — портянка должна быть сухой завсегда, простиранной. Нога в холе — телу вольно. Это — само главно для солдата. И окромя того: случаем придется с пищей туго, то в тот день затягивай «вытрезвитель» сразу на две дырки — способней в походе будет. Солдатская жизнь, она, брат, наука. — Последние слова он сказал уже тогда, когда поезд тронулся, и он немного прошел за ним по перрону.

И вот поезд отошел. А люди все стояли и стояли и смотрели вслед. И вдруг у Митрича тоже покатились слезы. Он не рыдал, даже не всхлипывал: просто катились слезы по внешне спокойному, суровому трудовому лицу, которое каждый день видит восход солнца. Ребята уехали, не для кого казаться бодрым — вот и покатились слезы.

…Через две недели провожали на войну и Ивана Степановича. Всем колхозом проводили. Говорили речи, обещали, что колхоз останется передовым. А Ивану Степановичу надо было говорить ответное слово. Он встал на табуретку, сказал:

— Дорогие мои товарищи! Дорогие старики! Мы… — Он не смог дальше говорить и неожиданно, будто торопясь, у всех на глазах, приложил платок к глазам. — Мы… будем воевать хорошо… Прошу вас… Больше хлеба!

Колхоз плакал…

Если вы, дорогой читатель, видели, как плачет колхоз, провожая на войну любимого председателя, то поверите и мне, что очень трудно это описать: слишком дрожит все внутри человека, когда он вспоминает такое. Слезы народные жгут сердце. Это не были слезы неверия и слабости. Нет! Это были те самые, знакомые всем нам слезы, которые потом перешли в ожесточенную ненависть к врагу. В начале войны наш народ не умеет ненавидеть, так же как умеет прощать после войны.

— …Больше хлеба! — повторил еще раз Иван Степанович уже твердым, окрепшим голосом, повторил громко, во всю свою силу, так, будто хотел, чтобы его слышали все колхозы.

— Будет хлеб! — крикнул Митрич. — Не сумлевайся!

— Будет! — повторили эхом старики и женщины.

Молодежи призывного возраста среди провожающих уже почти не было.

Шла война. Председателем колхоза избрали Егора Ефимыча Ермолова — бывшего старшего конюха. Руководил он, исходя из одного плана — хлеб фронту. И это было всем понятно. Бывало, идет он раненько, перед рассветом, вместе с бригадиром вдоль улицы, увидит — из трубы дым не идет, заходит в хату и говорит, почесывая морщинистую бритую щеку:

— Слышь, Марья! Может, пораньше бы истопила печку? Опоздать можешь.

И Марья, работавшая восемнадцать часов в сутки, стыдливо опускала глаза и отвечала:

— Проспала, Ефимыч, уж ты не серчай…

— Ну, к чему! — И уходил.

Ложился Ефимыч позже всех, вставал раньше всех, а если надо было, то сам и косил и пахал. Очень крепкий человек!

А война шла. С фронтов приходили печальные вести: враг продвигался с поразительной быстротой. Наши войска отступали. Осенью, в слякоть и изморозь, застревали автомашины отступающих войск, проходила пехота, измученная, угрюмая. А в колхозе рыли картошку, спеша убрать до морозов. Женщины, старики и дети копались в грязной и мокрой земле посиневшими руками, сносили картофель в бурты, а вечером отправляли собранное в ближайшую воинскую часть, с последующим переоформлением в отделе заготовок.

Бывало, напекут в обед картошки, сядут есть тут же, в борозде, и молчат. Потом кто-то из женщин скажет, вздохнув:

— Отступают.

— Отступают, — подтвердит другая.

Алена Вишнякова, хрупкая с виду женщина, проводившая мужа и сына, потихоньку заплачет. Но подходит Митрич, одетый в зимний кожух и плащ, и говорит душевно, но строго:

— Нельзя. Ему от этого будет хуже. Право слово, такая примета есть. Прекрати, Алена, прекрати. Что ты, аль добра ему не желаешь?

И Алена переставала плакать, потому что плакать о живом — плохая примета: Митрич знает лучше.

Иногда Митрич выходил на дорогу, когда женщины, отдыхая, засыпали замертво, смотрел на проходящие войска, думал, взвешивал. Низко нависали над землей осенние косматые облака, мжил, как через мелкое сито, дождик-моросей, хлюпала слякоть под разбитыми солдатскими сапогами, измесившими эту грязь от Польши до колхоза «Заря». Солдаты шли, кого-то проклинали, кто-то кого-то ругал матом, Митрич подходил ближе и обращался к ближайшему солдату:

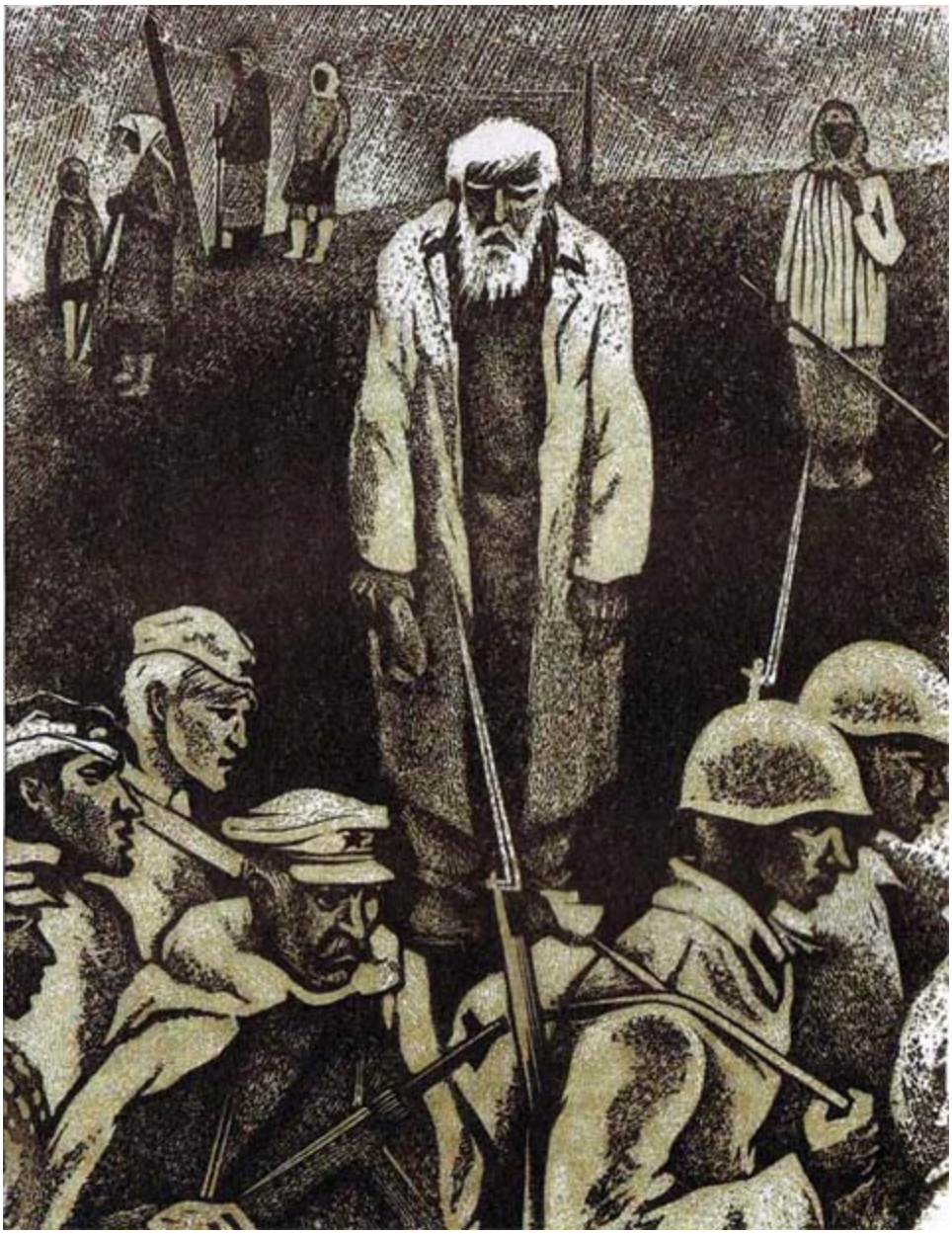
— Ну, как там дела-то, ребятки?

— Прет, собака…

— Как же теперь, ребята? А?

— Вот… говорят, закрепляются наши, — неуверенно ответит солдат.

— А зачем же вы того… уходите?. Как же так, ребята? — И горечь слышалась в словах Митрича, и упрек, и тяжкое сомнение, какого не было у него еще никогда, никогда за всю долгую жизнь.



Солдаты уходили от этого упрека, понурые и молчаливые. А Митрич все стоял и стоял у дороги, провожая их взглядом. А потом шел снова рыть картошку, рыл до сумерек скрюченными пальцами и рассказывал женщинам:

— С командиром роты говорил. Сказал: «Закрепляются»… Закрепятся и — хоп! — крышка. Уж командир роты знает!

Конечно, выдумывал он все это сам и усердно распространял среди женщин. Но чаще он оставался угрюмым, молчаливым. Старел он буквально неделями. А к весне тысяча девятьсот сорок второго года уже ходил с палочкой, тяжело на нее опираясь. Печальные вести все

ниже и ниже гнули Митрича, но он неизменно вставал рано, даже раньше Ефимыча, выходил в поле, «разламывался» помаленьку и работал, работал. В ту весну он был ответственным за качество сева тракторными сеялками, поэтому находился при них неотступно.

Однажды, во время сева, к сеялке подъехали на военной тачанке два солдата.

— Здорово, дед! — поздоровался невесело один из них.

— Здорово, солдат! — ответил Митрич.

— Давай нам проса пару мешков. Шамать нечего — от снабжения отстали. Обрушаем — пшено будет.

— Поди в правление и спроси, — резонно заметил Митрич. — Это не мое, а колхозное.

— Может, и сеять-то не стоит, — заговорил второй.

— Как так? — спросил дрогнувшим голосом Митрич.

— Так — через месяц-другой, может, и сюда докатится, — ответил первый солдат.

Митрич преобразился: он вытянулся, выпрямился, посмотрел вдаль, в поле, потом на сеялки, на бурт мешков с просом, на солдат этих двух, воткнул свою палку с чистиком на конце в землю, расправил плечи и сказал:

— Подойди ко мне, солдат.

Подошел тот, что заговорил первым, и спросил:

— Ну? Насыпать, дедушка?

И вдруг, неожиданно, Митрич ударил его в лицо кулаком. Ударил со всей былой силой. Ударил так, что солдат упал навзничь.

— Какой части?!! — заревел Митрич на второго. — Какой ты солдат, если не веришь… твою мать!!!

И второй солдат опустил голову. Потом очухался и первый; он посидел на земле, вытер рукавом кровь с лица и стал искать глазами ушанку, но встретился взглядом с Митричем, наклонившимся над ним. Тот помог ему встать и сурово спросил:

— Ну, как?

— Эх, дед, дед! — с горечью ответил тот. — Самим тошно и… стыдно. — И ударил ногой по земле с озлоблением. Потом нагнулся, взял горсть земли, сжал зубы так, что выступили на челюстях желваки, и сказал: — Наша земля-то… Тошно, дедушка!

— Тошно? А нам-то, а твоему отцу, твоей матери не тошно? Не должон ты сумлеваться, сукин ты сын! Закрепляются. Понимаешь: закрепляются… Мне генерал говорил, сам генерал. А сюда не придет он. За Дон не придет!

Трактористке-девушке Митрич строго-настрого приказал молчать об этом случае. А в бригадном стане рассказывал так:

— Подъезжают двое солдат. Спрашиваю у них: «Как там дела?» Отвечают: «О! На Дону такую силищу скопили, что не только немец, а даже все государства пойдут, и то — ни можно». «Ну, говорю, нате вам за такие добрые слова ведро проса. В ступе протолкете — каши наварите». Хорошие ребята! — Но все же добавлял: — Только кое-кто из слабых нутром распустились маленько, отступаючи. Ну, теперь-то все пойдет планово. Главно дело — хлеб им надо.

То ли Митрич в раздумьях сам дошел до той мысли, что Дон будет гибельным рубежом для врага в этой местности, то ли краем уха услышал в частых разговорах с военными, но случилось все именно так — немца здесь через Дон не пустили и начали бить его беспощадно. И до Лисоватого враг действительно не дошел, хотя был в Воронеже. Митрич, казалось, ободрился, повеселел, но без палки уже не мог ходить. Однако палка палкой, а на душе нет того камня, что лежал и давил. К тому же от Николая получил письмо, утешающее, бодрое. А Петр писал: «По легкому ранению определили в госпиталь. Пролежу месяца три, а там отпустят, наверное, домой». Какое уж там у него ранение — молчал, но главное — жив.

Пошли добрые вести одна за другой. Немца погнали обратно. А хлеба требовалось все больше и больше. Все понимали это без слов. Не хватало лошадей — стали запрягать коров колхозников; не хватало семян в колхозе — свозили свое собственное зерно, сберегаемое и хранимое про черный день; не хватало людей — каждый трудился за троих. Митрич, несмотря на преклонный возраст, работал ежедневно. И никаких сомнений у него не возникало. Никаких!

Но вот отгремели орудия. Прозвучала по стране радость победы. Начали приходить домой оставшиеся в живых. Вернулся Иван Степанович, без левой руки, и через неделю принял снова колхоз. Пришел Николай, в чине лейтенанта, с пятью орденами, и сел за руль трактора. Вернулся и Петр, без ступни — на протезе, но тоже занял свое место штурвального на комбайне.

Все налаживалось. А Митрич вдруг, для всех неожиданно, заговорил своим давнишним, довоенным языком. На общем собрании в присутствии нового председателя райисполкома Тачкова он сказал:

— Неправильно! Мы в войну и половины пшеницы яровой не сеяли, а хлеба давали больше. А люцерна! На кой ляд ее? У нас спокон веков проса рожаются да кукуруза, а нам люцерну да яровую пшеницу суют.

— Да вы, дедушка, что: против основы нашей жизни, против планирования идете? Вы уже старый — не понимаете. А если понимаете, о чем говорите, это еще хуже, — убеждал Тачков.

— Я еще не стар: семьдесят седьмой только. Люди до ста живут. Только я говорю: или там вверху не видят, что нельзя сеять то, что не надо? Сколько лет об этом говорю!

— Мало ли что вы захотите, дедушка. Может быть, вы советской власти не захотите.

И Митрич уже кричал всердцах:

— А какая же это советская власть — проса рожаются, а их нам дают сеять столько, что и гулькин нос кашей не намажешь. Сумлеваюсь! Не пойдет так дело. Контроль нужен, слов нет, но чтобы сеять то, что родится.

Старые, старые, давно знакомые речи Митрича!

А новый председатель исполкома уже спрашивал шопотом Ивана Степановича:

— Что это за дед? Что он делал во время войны?

— Обыкновенный колхозник, — отвечал Иван Степанович тоже шепотком. — Делал то же самое — работал.

— Хвостизмом от тебя пахнет, товарищ председатель колхоза.

— «Сумлеваюсь», — возражал, улыбаясь, Иван Степанович, подражая Митричу.

А после собрания мы втроем засиделись в правлении. Иван Степанович говорил председателю райисполкома:

— А подумать хорошенько — Митрич-то и прав. Что важно? Больше получить хлеба и кормов. А это значит — не сеять таких культур, которые дают плохой урожай.

Нечего было возразить против этих слов. И все втроем решали: посеять сорок гектаров проса «сверх плана» за счет «погибшей»

люцерны, а озимые увеличить (опять же «сверх плана»), используя картофелище и площадь после уборки чечевицы.

Только Митричу этого было мало. Он главному (главному!) агроному райзо сказал однажды, после лекции о травополье:

— Мы твою структуру не понимаем пока. Сперва хлеб требуется всем и мясо, а потом эта самая, как ее, структура.

— Ты, дед, ставишь вопрос вверх ногами, — горячился агроном.

— Так и надо. Попа если поставишь вверх пятками, тогда только и узнаешь, что он в портках ходит.

А агроном уже ворчал вполголоса:

— Эх-хе-хе! Корявая старина… — и начинал все снова, искренне предполагая, что его не понимают.

И удивительнее всего то, что Митрич продолжал терпеливо слушать. Слушал каждый год по нескольку раз, сомневался и возражал. Возражал всегда.

…Но вот уже и подошло время, когда Митрич не смог нести обычной для него физической работы, — пришла старость. А не работать он не мог — шел в поле и все-таки работал. Иван Степанович все это замечал и думал о том, как облегчить труд Митрича. Наконец он вызвал его к себе и говорит:

— Василий Димитриевич! Бахчу некому охранять. Нужен надежный человек. Может быть, станете… сторожить?

Митрич, в пропотевшей пятнами рубахе, оперся подбородком на палку, посмотрел в пол, подумал. Потом поднял глаза на Ивана Степановича, увидел, что председатель-то тоже совсем седой, прикинул, что Ивану Степановичу уже за пятьдесят пять, и сказал:

— Что ж поделаешь… Бахчу надо воспитывать. Надо. Дело твое — кого поставить.

И стал жить в поле, в шалаше.

Ночами Митрич не спал — ходил по бахче, а если послышится шорох, стрелял из ружья вверх и кричал: «Держи, держи его! Егор! Забегай справа!» Никакого Егора с ним не было: это он так — для острастки.

Ребятишки, конечно, шалили, подползая на животах и откатывая арбуз в овес, и ночные крики Митрича регулярно повторялись. Охранял он добросовестно. Утро он встречал так: дождется восхода солнца, трижды, по привычке, перекрестится на него, умоется

родниковой водой и пойдет осматривать бахчу. Крал ли кто, заяц ли обгрыз зеленую дыню, волк ли полакомился спелой дыней — все заметит Митрич. То сорняк вырвет при обходе, то плети поправит, то арбуз перевернет для дозревания. Потом, к вечеру, доложит обо всем Ивану Степановичу: какой урон за ночь и что сделано днем. После утреннего обхода сноха, Мариша, жена Николая, занесет завтрак. Митрич позавтракает и ложится спать на часок-другой.

И вот однажды случилось так. При утреннем обходе бахчи Митрич почувствовал, что ноги как-то отстают от него — сделались тяжелыми, непослушными. За всю свою жизнь Митрич ни разу не болел никакими болезнями, а тут вдруг, ни с того ни с сего, ноги отяжелели. Мариша принесла завтрак, стала у шалаша и смотрит на деда. Он увидел осот в междурядьях и захотел уничтожить, как это делал обычно. Попробовал выдернуть — никак. Еще раз попробовал — не выдернул. Постоял-постоял около сорняка, покачал головой, глянул на восход и вслух спросил сам себя:

— Что же это ты, Василь Митрич Коршунков? А?

Потом обернулся к шалашу, увидел Маришу и пошел к ней. Шел медленно, волоча ноги, зачеркивая носками свой последний путь по полю. Подошел. Сел. Сказал:

— Вышел конь из упряжки — и пустую бочку не везет…

— Что с вами, дедушка?

Он посмотрел Марише в глаза, светло улыбнулся и без какой-либо горечи сказал:

— На днях помру, Мариша. Подводу мне — домой надо.

Дома приказал себя искупать, постелить на кровать чистое белье, надеть смертную рубаху, припасенную покойницей женой, зажечь лампадку. И лег сам, без чужой помощи. Зашли соседки-сверстницы, засветили две свечи и предложили Митричу позвать батюшку.

— Не грешил я — не в чем каяться, — ответил им Митрич. — Бог, он на меня в обиде не будет… И не особо дружно мы с ним жили… а обижаться… ему… не на что.

Он говорил все реже и реже. Лежал, смотрел в потолок и — странно! — изредка улыбался, расправляя брови и чуть поднимая их вверх. Умирал человек и улыбался. Улыбался суровый всю жизнь, обыкновенный человек, не свершивший ни одного героического поступка.

Неожиданно он поманил к себе Николая. Тот подошел.

Медленно заговорил Митрич:

— Коля!.. Хотя ты и партейный, а… может, попа-то ко мне позвать… Грех вспомнил: солдата… ударил… — И Митрич замолк.

Даже если и позвали бы священника, Митрич уже не смог бы ничего ему сказать о своем грехе. Он умер.

В осенний ясный и тихий день проводили Митрича на погост. В числе других шли и мы с Иваном Степановичем. Легкая паутина плыла в воздухе. В чистом светло-голубом небе курлыкали невидимые журавли, парящие в высоте. Ласточки, собираясь к отлету, уселись на телефонные провода, будто и задержались они для того, чтобы проводить Митрича: сидели рядами, как черно-белые живые бусы, и осенним прощальным щебетанием заполняли село.

И не было ни у кого слез: так провожают из жизни человека, который сделал все, что мог сделать, для которого поэтому и смерть — логический конец, поражающий своей простотой и ясностью. И если бы кто-либо стал горевать, то самому Митричу, будь он снова жив, было бы обидно. Но, верьте, было у меня необычное для этого случая чувство, которое я и сам, пожалуй, еще не определил тогда точно: это было чувство благодарности за то, что он жил рядом со мной.

А в поле в это время тяжелым и сочным земным грузом лежали, будто нарочито разбросанные богатой осенью по бахче, громадные арбузы и дыни. Воткнешь нож в такой арбузище, а он лопнет вдоль, не дожидаясь движения ножа, лопнет в нетерпении, брызнув сахарным соком. Дескать, берите, поминайте Митрича! И вот лежат розово-красные куски арбуза, они тоже свидетельствуют о мощи земли и людей, работающих на этой земле. Осенью всякие плоды земли очень хороши! Они — для жизни.

Здравствуй, жизнь!

Прошла зима. Наступила весна.

За несколько дней до весеннего сева мы с Николаем ушли на охоту по селезням. И снова был вечер. Был и костер.

Настрелявшись вдоволь, мы улеглись спать рядом. Николаю около тридцати, мне — скоро полсотни, а мы с ним большие друзья. Он теперь бригадир тракторного отряда в том же Лисоватом, в колхозе «Заря».

И я рассказал Николаю, как четверть века назад вот на этом самом месте впервые встретил Митрича. Лежал со мной рядом богатырь-тракторист, лейтенант запаса Коршунков, и слушал. А потом сказал:

— Вот ведь как трудно было расстаться с лошадью… Ну, дай мне сейчас эту самую лошадь! Что делать с такой обузой? Куда ее девать? — Он помолчал и добавил: — А насчет хлеба — правильно. «Не постой за кроху — всего ломтя не станет».

Была та самая ласковая тишина, когда все живое ожидало настоящей зеленой весны. Так же вдали прогоготали гуси, так же свистели крылья невидимых в темноте уток, так же струился запах подснежников, как и каждую весну. Весна повторяется. Но каждую весну появляется новое в человеке. И в этом большая доля счастья людей, живущих на земле.

Дорога идет в гору

Очерк

1. Старые места, старые друзья, давние дела

И вот Острогожск уже позади. Под автомобиль убегает тот самый Воронежско-Бирюченский шлях, который в свое время вел к крепости города Ольшанска, основанного в 1645 году при царе Алексее Михайловиче. Города давно уже нет. Он сыграл роль защитника «от ворога с Крымской земли» и прекратил существование. Теперь на его месте село Ольшан.

По этой же дороге Алексей Кольцов гонял гурты скота, складывая в пути свои душевные песни и никогда не расставаясь с заветной тетрадкой стихов. Именно вблизи этой дороги, на лугу, вечером у огонька, сын прасола Кольцов читал однажды печальные песни крестьянам. А потом Н. В. Станкевич, услышав об этом, пригласил в свое имение удивительного песенника и с восторгом узнал в нем неизвестного еще России поэта.

По этой же дороге мчались когда-то лихие тачанки Малаховского и пронеслась неудержимая лавина конницы Буденного, защищая измученную, голодную, тифозную, но уже несгибаемую Россию, уже непобедимую, потому что она стала свободной.

На этой же дороге грохотали танки с черной свастикой. И та же самая дорога была усеяна потом трупами «незваных гостей» и изуродованными орудиями и бесформенными останками танков.

Так всплыли в памяти большие куски истории России.

А дорога бежит и бежит. Она ведет в село Ольшан, где теперь колхоз «Россия». В таком древнем историческом месте лучшего названия для колхоза не придумать. Пожалуй, и всю историю колхозного движения можно прочитать в этом селе…

И вот уже стою на высоком обрывистом и неприступном берегу Тихой Сосны, на месте древней крепости. Лет десять назад вот так же я смотрел с этой точки на деревни и села в долине реки. Тогда здесь

было одиннадцать колхозов, одиннадцать правлений, столько же непонятных севооборотов, пятьдесят семь членов правления, более тридцати бригадиров и заведующих фермами с десятком коров на каждой или и того меньше. Добрая сотня людей ходила в начальстве колхозов, но не было ни молока, ни мяса, скот страдал от бескормицы в большинстве колхозов. Участковый агроном метался из колхозика в колхозик «на своих на двоих», составлял планы и собирал отчетность, графам которой числа не было.

Четверть века я знаю колхозы Острогожского района. Перед глазами иной раз встает начало колхозной жизни со всеми сомнениями колхозника, иногда с прямым недоверием посматривающего на хату правления или весьма снисходительно говорящего юнцу агроному ходящую здесь поговорку: «В мае лужи — агроном не нужен». Но чаще всплывают в памяти живые или уже ушедшие в мир иной друзья — колхозники, трактористы, первые комбайнеры и первые председатели, все те, что отдали лучшие годы жизни колхозу с первого дня его основания: получали они два килограмма зерна на трудодень — работали, получали двести граммов — работали, ничего не получали — все равно работали. Это были люди с огромной верой в будущее коллективного хозяйства; трудности государственные они принимали за свои личные. Они искали ошибки и недостатки только в своих собственных делах и говорили о них, не стесняясь в выражениях.

И это тоже история колхозов, история человеческих отношений нового общества, история становления нового человека. Ведь никто же не знал, как практически надо строить социализм! Знали одно: строить обязательно и неизбежно. Из старой России надо было сразу перешагнуть в новую Россию, от рукояток сохи перейти к баранке трактора и управлять им, пока не снимая лаптей. Люди, утверждающие, что это было просто, легко, всегда радостно и весело, ничего не увидели, ничего не смыслят или не хотят осмыслить происшедшее и происходящее. Впрочем, в мастерах по присыпке сахарной пудрой истории колхозной жизни недостатка не было. А ведь когда-то чертовски было трудно колхознику и председателю колхоза.

…Я спешу записать эти строки, потому что вспоминаю. И боюсь забыть.

В 1932 году, весной, получив план сева, я обошел закрепленные за мной поля колхоза имени Сталина Григорьевского сельсовета. Ни одной борозды зяби! Прежде чем посеять, надо было вспахать и заборонить. Чем? В распоряжении был один трактор (три «ХТЗ» на три колхоза!) и десятка два лошадей. Если все пахать, то… Тут же на поле высчитал: если все пахать, то сеять придется до июля, то есть до начала уборки ржи. Это все равно что не сеять половины весеннего клина. Недосев! Страшное для агронома слово, жуткое для колхозника. Решение пришло такое, какое могло прийти только в двадцать шесть лет: не пахать! Все, что можно, не пахать. Поля из-под картофеля, подсолнечника, чечевицы, бахчи не трогать плугом, а прямо сеять после боронования без лишних разговоров. Это было вопиющим нарушением всяких агротехнических инструкций того времени, наполненных словами «запретить», «предупредить», «пресечь попытки», «строго наказывать вплоть до отдачи под суд» и тому подобное. (Печальной памяти «централизованная агротехника» взяла свои истоки из тех лет.) Помню, сеяли — спешили, боялись, как бы начальство не наехало из района. Посеяли во влажную почву. Были дожди. Потом отличные всходы. И затем… «возбудить материал» на агронома за грубое и самовольное нарушение агротехники. Но самое интересное заключалось в том, что урожайность-то в колхозе имени Сталина оказалась самой высокой — тринадцать центнеров вкруговую. Высокий для того года урожай. (В среднем по району семь центнеров зерновых с гектара.) Никакого суда, конечно, не было.

Помню все: пахать было не на чем и нечем.

И еще помню, как в голодном тысяча девятьсот тридцать третьем году стояла у порога правления колхозница и сквозь слезы говорила тихо, просяще и, казалось, безнадежно:

— Как же быть-то? Их пятеро… Корова упала… Как мне без мужика-то? Хлеба! — И она протягивала руки ко мне, агроному, приехавшему случайно «в чужой» колхоз, не закрепленный за мной.

Она, может быть, была готова говорить об этом каждому встречному… Мне не забыть ни ее слез, ни ее безвременных морщин. А вечером началось заседание правления. Оно шло до утра: распределяли остатки хлеба, в том числе и… семена. Все до единого килограмма. Не знаю, что бы могло случиться, если бы государство не оказало тогда помощи хлебом и семенами.

Все это было.

А потом пошли то благоприятные, то засушливые годы, пошла ломка полей, вводили и тут же низвергали севообороты, чуть ли не ежегодно землеустраивали колхозы и перевыбирали председателей. Потом стали заводить кое-где пришлых председателей (из того же района), которые, по всем предположениям, не могут «идти в поводу у отсталой массы».

Что скрывать! Хлеб шел со скрипом, не говоря о мясе, молоке и масле. А все-таки хлеб шел. Все больше и больше появлялось новых машин. Все больше и больше появлялось новых людей, несмотря на то, что много способной молодежи уходило из села.

Но мои старые друзья никуда не уходили. Они верили и работали. Великую веру коммуниста надо было иметь, чтобы не только идти самому, но и вести за собой людей тогда, когда в сельском хозяйстве было очень трудно. Очень.

Я знаю многих и многих таких людей. И счастлив, что жил с ними до старости.

Самые интересные из такой вереницы, оставшейся в памяти, — это рядовые труженики да бессменные председатели колхозов — местные и двадцатипятитысячники, многолетний труд которых есть сама живая новая история. Жизнь таких председателей прошла от лозунга «Засеем весь яровой клин!» до лозунга «Догоним Америку!». Менялись руководители в колхозах, менялись секретари райкомов и председатели райисполкомов; многие из них уходили из-за малодушия, некоторых «уходили» по собственному желанию, а бессменные стояли, как столпы. Прочный народ — бессменные, крепчайший у них корень. Сила их в огромной вере.

И ехал-то я сюда, в Острогожский район, затем, чтобы увидеть их, бессменных, послушать, посмотреть, что же они тут наделали за последние годы, остались ли их колхозы передовыми и теперь. Но только перед этим мне захотелось вновь постоять на высоком историческом обрыве и окинуть взором заселенную добрыми людьми большую долину, которая вся вместе называется колхоз «Россия», посмотреть на этот кусочек новой России.

В старых местах вспомнились старые, давние дела, вспомнились старые друзья.

2. Почему?

Николая Андреевича Бояркина в районе знают все. И я ворошу память: где и при каких обстоятельствах встретил его первый раз? Постепенно вспоминаю: он в тот час выступал на совете МТС.

— *Принципилярно* я с такой расстановкой тракторов не согласен, — сказал он в своей речи. И доказал.

Так с этим словом «принципилярно» он и засел у меня в памяти. Только не вспомню, в каком это было году. Давно это было — мы с ним были еще совсем молоды.

И еще всплыло в памяти, как с экскурсией председателей колхозов мы обходили поля госсортоучастка. Я старался объяснять и доказывать, отвечал на множество вопросов. Бояркин сначала слушал. Потом стал «придираться»:

— А чего же это у тебя нету яровизированной пшеницы-то?

В уголке губ у него мелькала этакая усмешка. Он даже подморгнул мне незаметно для прочих. То была тонкая шутка: яровизированная была, но… она как-то не очень у нас удалась.

После он пристал с вопросами. Ему надо было знать все, что можно взять для своего колхоза. И прямо-таки требовал:

— Ты *должон* знать, что мне делать на меловых землях. Заставляют пахать только глубоко. И сеять там яровую пшеницу. Ну спашу на двадцать пять сантиметров, ну выверну мел наружу, потом-то что будет? Убить меня тогда мало. Это неправильно. Я так считаю.

Он стоял передо мной молодой, энергичный, кряжистый, всегда откровенный, прямой, с беспокойным сердцем; стоял человек, на плечи которого легла большая ноша, казалось, не по его силам. На нем была ситцевая косоворотка с расстегнутой верхней пуговицей, а рука, привыкшая к рукоятке сохи или плуга, но нисколько не к письму, слишком часто устанавливала на место новый картуз. Было ему тогда двадцать четыре года, выглядел он юношей. В тот день он сказал неожиданно и грустно:

— Два года подряд засуха. Ежли не дам на трудодни, то… — Он помотал головой и добавил; — Табак дело. А меня заставляют и семена вывозить… Чтоб с семенного участка — и прямо на ссыпку. Неправильно! Это совсем неправильно. Я выполню хлебозаготовку, выполню, но зачем мне мешать?

Юноша думал о людях, о государстве.

Как это было давно! И как это было все-таки недавно!

В двадцать два года он — бригадир. В двадцать три — беспартийный председатель колхоза «Сталинская пятилетка». В тридцать семь лет — председатель укрупненного колхоза имени Дзержинского уже с пятилетним партийным стажем. В сорок три года — председатель еще более крупного колхоза «Россия». Такой путь прошел этот самый юноша в косоворотке, с «дипломом» сельской начальной школы, такова кривая его роста. Только пусть читатель не подумает, что Николай Андреевич скакал из колхоза в колхоз для укрепления, на манер некоторых: все перечисленные на его кривой колхозы — это… один и тот же колхоз, но с разными названиями; просто Николай Андреевич захватил все бывшие одиннадцать колхозиков не сходя с места. Отлучался он из села Ольшана только тогда, когда с запада нагрянули черные тучи со зловещей свастикой. Уходил он старым шляхом, через могучий обрыв древней крепости, и пришел обратно той же дорогой. И принес с собой две раны… Вся остальная жизнь — здесь, в родном селе, в родном колхозе. Вся жизнь! Без остатка. Он и разговаривает с оттенком особого, ольшанского, диалекта, но это не имеет никакого значения.

Десять тысяч гектаров земли в колхозе «Россия», из них шесть тысяч только пашни. Около семи тысяч разных животных, около полтысячи ульев, двадцать шесть тракторов и двадцать один комбайн разных марок, два десятка автомобилей, более двадцати разных стационарных двигателей… Это же больше, чем в свое время имела иная МТС! Три клуба, восемь красных уголков, две библиотеки, свой радиоузел, свой, далеко известный, ольшанский хор. Дай бог иному районному городу столько!

«Вот куда ты пришел, парень в косоворотке. И как-то ты теперь справляешься с такой махиной колхозом?» — подумал я, подъезжая к правлению.

Правление колхоза «Россия» скорее походит на главную контору совхоза: в двух комнатах — счетные работники, по коридору налево — дверь в маленький кабинетик секретаря парткома, прямо — дверь в зал заседаний. Тут же в зале письменный стол председателя колхоза Николая Андреевича Бояркина, то есть своего кабинета у него просто-напросто нет: заходи в любое время.

И вот мы уже сидим у секретаря парткома Василия Викторовича Жидкова, в его кабинетике. Сидим старые знакомые. Говорим кое о чем. Так себе: вспоминаем кое-что. И вслух думаем о жизни колхозов. Говорили мы так, говорили и незаметно для себя оказались заваленными годовыми отчетами и разными цифрами, которые подбрасывали нам по нашей же просьбе из бухгалтерии. Мне много приходилось иметь дело с цифрами, поэтому знаю, что иные из них приводят в уныние, а иные поднимают настроение не хуже музыки. В тот день у меня было хорошо на душе, потому что увидел: колхоз растет из года в год.

В 1957 году денежный доход был в 3,7 миллиона, а в 1960 году прыгнул до 6 миллионов рублей. Все обязательства колхоз перевыполняет — молоко, мясо, яйца и прочее; за последние четыре года количество крупного рогатого скота увеличилось почти вдвое: было в 1957 году 1225 голов, а стало на первое июля 1961 года 2121 голова. Если разделить эту цифру на все количество дворов в колхозе, то получается 2,2 головы на двор. Прибавьте еще по одной корове на двор в личном пользовании и вы получите *три головы* крупного рогатого скота на двор. Такого не было за всю долгую историю старинного села! Вот у кого учиться, как увеличивать продажу мяса и в то же время увеличивать поголовье. За первое полугодие этого года уже надоено полторы тысячи килограммов от каждой коровы — это не от десятка, а от сотен коров. Можно бы перечислить много таких прямо-таки воодушевляющих цифр, но… очерк остается очерком, а не сводкой. Одним словом, звание почетное — передовой колхоз.

Но именно за этим победным маршем цифр передо мной и встал вопрос: *почему?* Почему во многих колхозах хуже? Почему другие колхозы, где председатели по образованию не чета Бояркину, не имеют таких показателей, как здесь? В чем причина отставания некоторых колхозов?

И мне захотелось встретиться со знакомыми председателями. Среди них большинство — тридцатитысячники, многих знаю еще до призыва тридцати тысяч. Кстати, в тот же день в районе проводилось совещание комбайнеров, и я поехал туда в надежде на встречи с председателями, но с тем, чтобы сразу же вернуться в Ольшан — додумать.

3. Чувство ответственности

Комбайнеры — народ хлопотный. С ними всегда интересно. Это, так сказать, высшая квалификация сельского механизатора. Они же и самые отчаянные, если надо говорить начистоту о недостатках. Они так насели на «Сельхозтехнику», так расчехвостили эту новую организацию и ее руководителей, что управляющий «Ростом» (районный отдел сельхозтехники) вынужден был признать прямо:

— Со сменой вывесок получился непорядок со снабжением.

Во многих выступлениях комбайнеров слышалась боль сердца.

— Я на бумажку не писал речь… Сейчас еще что-нибудь придумаю, — вслух подбадривал себя комбайнер Загуменный из колхоза имени Ворошилова. — Ведь как оно получается? Мой комбайн «С-4» «разули», а «бобика» (автомобиль «ГАЗ-69»), «бобика» обули комбайновой резиной. Как мне теперь быть? Вот я и кукую на степном корабле. До каких пор?!

Сагайдачный из колхоза «Россия», помогая речи энергичными жестами, выложил всю правду о том, как они дорабатывают дома машины после капитального ремонта, сделанного в РТС. Он говорил о безответственности в этом деле. Он *требовал* ответственности.

И только один-единственный из всех, Соловьев из колхоза «Память Ленина», заявил о полной готовности и дал громкое обещание за весь колхоз. И в ту же минуту, как только он сошел с трибуны, буквально выскочил комбайнер Сапрыкин (из того же колхоза, что и Соловьев) и взволнованно атаковал своего коллегу:

— Здесь вот… Соловьев заявил о готовности… И, значит, призывал… последовать… Да неправда же это! Мотор лежит в мастерской без шкива! И у второго комбайна мотор не готов! А ведь через день-два мы начинаем уборку… Товарищи! До каких же это пор слушать неправду?! — И он сошел с трибуны.

Зал горячо аплодировал за такую короткую речь. Зал не хотел неправды и печальной памяти парадности со многими восклицаниями. Секретарь райкома партии М. М. Мамонов тоже не хотел неправды — он всем им сказал, что за несколько дней до уборки в районе еще не готово около тридцати комбайнов: нет запасных частей; он согласился с критикой свистопляски со снабжением запасными частями и тут же

устроил баньку снабженцам, легкую баньку, потому что и он понимал: не все от них зависит, от районных исполнителей распределения.

О многом договорились люди на этом совещании. Видно было: в районе умеют советоваться с людьми, считают это за самое важное. И слышно было биение сердца народа и большое, огромное чувство ответственности.

А я искал глазами своих знакомых председателей колхозов. Как хотелось, чтобы их сердце билось здесь в такт народному пульсу! Но… их не было. И я стал расспрашивать о них, перечисляя фамилии, — где они и что делают.

И что же? Нет их в колхозах. Из всех тридцатитысячников остался только один Жигульский, да и тот уже переведен в другой колхоз.

Где же они теперь? Оказывается, везде. Они рассеялись по всей дорожке — от района до самого областного управления сельского хозяйства, но только не в колхозах.

Из колхоза «Криниченский» тридцатитысячница Е. П. Блакитнова переведена с повышением — председателем Острогожского горсовета, но и там ей не дали развернуться, она уже работает на газопроводе. После нее в колхозе уже третий председатель. Колхоз продолжает хромать — он все время держится на подпорках района, он все еще узкое место. Из колхоза «Родина» тридцатитысячник Н. С. Степанов переведен директором в совхоз «Победа», а оттуда напрямик в областное управление сельского хозяйства.

Иные просто не справились в колхозе, хотя когда-то руководили колхозами. Иные, как Г. И. Казаков из «Памяти Ленина», ушли по собственному желанию обратно в областной город.

А передовыми в районе остались колхозы, где старые, бессменные, с беспокойными сердцами и большой верой председатели, те самые, что живут одной нераздельной жизнью с колхозниками, те самые, у кого радости колхозников — их радости, печали колхозников — их печали; те самые, чья история жизни есть история колхоза, как у Николая Андреевича Бояркина или у Ивана Трофимовича Партолина (о нем позже).

Конечно, кое-кто из читателей скажет мне, что на примере двух-трех районов нельзя делать выводы и что многие тридцатитысячники сделали огромное дело. Да, во многих и многих районах они перевернули все на иной лад, многие из них — такие, как Дмитрий

Петрович Горин (колхоз «Подгорное» Воронежской области), из отстающих, слабых, иной раз почти парализованных колхозов сделали лучшие в области колхозы. К ним едут учиться иностранные делегации. О них пишут писатели, и сами они пишут книги. И это великолепно! Великолепно, что горячее сердце передало свой пульс тысячам колхозников. Но будет неправдой, если не сказать о таком частом явлении, когда к подбору тридцатитысячников в некоторых местах подходили с бравой миной, с криками «ура» и «да здравствует», а по существу формально. Так появились целые районы, где в конечном счете тридцатитысячников уже нет или почти нет, но не стало и некоторых способных «местных» председателей.

С такими мыслями я и вернулся в колхоз «Россия», к улыбающемуся, вечно занятому, непоседливому и беспокойному Николаю Андреевичу.

4. «Фурманов и Чапаев»

И снова мы втроем: Василий Викторович Жидков, Николай Андреевич Бояркин и я. Мы едем по полям. В тот день было тихо, безветренно. Пшеница стояла густой, непробойной и сплошной щеткой — пройти по ней невозможно. Могучая кукуруза набегала на автомобиль, распластав сочные листья-крылья. Каждый шестой гектар пашни здесь занят кукурузой, а всего, на зерно и силос, более тысячи гектаров. И нигде — нигде! — нет плохой кукурузы, ни одного гектара. Только здесь, в поле, понятно становится, откуда у Николая Андреевича тысячи центнеров так называемого переходящего фонда силоса и почему колхоз «так просто» разрешил задачу резкого увеличения поголовья скота. Сахарная свекла, несмотря на бездождье в те недели, казалась вымытой с мылом — с широкими, поблескивающими на солнце листьями. Куда ни поезжай в поле, везде следы добросовестной работы механизаторов, этих тружеников с пчелиным характером, работающих от снега и до снега. И мне вспомнилось выступление комбайнера Сагайдачного на вчерашнем совещании: он говорил как хозяин, он требовал ответственности от других как должного. Механизаторы колхоза «Россия» имеют на это полное право.

Эту мысль я высказал моим спутникам, когда мы остановились полюбоваться посевами. А вопрос «почему» стоял передо мною неотступно: «Почему у других хуже?» И я задал этот вопрос прямо:

— В чем секрет вашей удачи? Скажите оба, что вы думаете. По душам.

Оба переглянулись. Задумались. Николай Андреевич прикладывал лист кукурузы к ладони, Василий Викторович теребил султан крайнего растения.

Василию Викторовичу лет тридцать пять — тридцать шесть. По сравнению с председателем он выглядит совсем молодым. Скромный внешне, он скромен и внутренне. Сколько бы дней мы ни говорили, никогда не скажет о себе. Человек с трудной юностью, трудной жизнью, очень трудной для него войной не умеет говорить о себе. Но мне известна его жизнь. В семье путевого обходчика было десять детей, один из сыновей — Василий. Покупка даже новой рубахи была событием. Латаные ботинки Василия протоптали нелегкую дорожку до школы и обратно. Окончил семь классов, работал токарем, а затем фрезеровщиком. В 1944 году окончил военно-воздушную школу, летал стрелком-радистом. За два сверхсрочных года службы закончил девятый и десятый классы вечерней школы. Потом окончил трехгодичную партшколу в Тамбове. Потом — учитель физкультуры, председатель Ольшанского сельского Совета, инструктор райкома партии. И вот теперь секретарь парткома колхоза.

Человек работал всегда, с самого детства. И вдруг узнаю, что несколько месяцев назад Василий Викторович окончил заочно экономический факультет сельскохозяйственного института. А мало кто знает, что после того как трагически погиб его отец (попал под поезд), вся огромная семья легла на плечи Василия Викторовича. Самый маленький брат учится сейчас в пятом классе средней школы… Полуслепая мать… И все-таки передо мной стоит человек с большой верой, с неистощимой силой, бодрый духом коммунист.

И как это меня прорвало задавать им двоим такой вопрос: в чем причина их удачи в колхозе! Их жизнь пролетела в моих мыслях молниеносно, а внутренне я уже злился на себя: разве ж не ясно, в чем причина! Вот они — оба здесь. Но вопрос задан.

Николай Андреевич чуть прищурил глаз, сдвинул кепку набок, мне показалось, что он ответит первым. Это уже не тот парень в

косоворотке, а слегка располневший, вплотную подобравшийся к своему полувеку председатель, речь которого уже не сравнить с тою, что была у парня от сохи, который когда-то говорил «принципилярно». И он указал на Василия Викторовича.

— Он лучше знает, — сказал он и улыбнулся.

— Причина удачи? — переспросил Василий Викторович и тут же ответил: — Люди.

Его взгляд встретился с моим. В чистых и честных его глазах не было ни единой искорки хитрости или неуверенности в ответе.

Хорошо знаю о их трогательной дружбе, несмотря на разницу возрастов и несмотря на то, что Николай Андреевич уже был председателем колхоза в то время, когда Вася Жидков бегал в пятый класс школы. Один остался на «базе» начальной школы, потому что жизнь ушла в колхоз, вся, из минуты в минуту; другой окончил три учебных заведения, получил высшее образование без отрыва от работы. И все-таки оба как нельзя лучше дополняют друг друга: природный талант организатора подружил с теоретическим и практическим умом. Мне оставалось дополнить их ответ.

— Люди и вы, — сказал я. — Так?

— Кроме успехов, у нас еще много недостатков, — уклончиво ответил Николай Андреевич, явно смутившись.

— Это, пожалуй, точнее и… важнее, — поддержал его молодой друг.

Прямо с ходу Николай Андреевич сел на своего конька и пошел и пошел о недостатках: подсолнух за железной дорогой не такой, трубы для автопоилок не сумел добыть, и был у него какой-то бригадир, который относился к животноводству как недруг колхоза, и в одной из бригад невероятная себестоимость мяса. Он все видит в таком огромном хозяйстве!

— Ты думаешь, мне не больно смотреть, что один комбайн не готов? — обратился он ко мне и решительно отбросил на затылок кепку — точь-в-точь как тогда, в юности. — Тут душа трещит, а запчастей нету. Эта самая «смена вывески» — РТС, «Сельхозтехника», «Ростнарост»— вот она где мне засела! — Он похлопал себя по загривку. — Вот она где! И в печенках еще.

— Ну это, скажем, не ваш недостаток, не колхозный, то есть не от вас зависит.

— Как это не от нас?! — Он прямо-таки ужаснулся. — Как так не от нас? Писать надо. Требовать надо. Чтоб вверху знали. Кто же там узнает, если мы будем молчать? Раз на душе тревожно, обязаны мы… Сам понимаешь…

— А может быть, Николай Андреевич, зря так-то… — сказал Василий Викторович. — Ведь колхозы за последний год получили запасных частей чуть ли не вдвое больше, чем в прошлом году. Знаешь, как в некоторых колхозах зверски обращаются с машинами? До полного износу, до аварийного состояния. Не тут ли гвоздь?

— И тут гвоздь есть тоже. Согласен. Судить надо за такое отношение к машинам! — Он уже горячился. — Большое дело, государственное: колхозная машина! А кое-где никто за нее не отвечает. Но факт есть факт: в «Сельхозтехнике» и в «Росте» пока еще непорядок со снабжением. Уж не напутал ли тут чего-нибудь Госплан? Как это так? Новая организация сделана для того, чтобы было лучше, а стало со снабжением хуже. Это же факт? Факт.

Разговор продолжался и в автомобиле. Обсуждали и вопросы планирования. Самая интересная фраза Николая Андреевича из последнего разговора на эту тему была такой:

— Думать надо.

Что ж, я посоветуюсь с другими председателями. И тоже подумаю. Но об этом несколько позже.

Мы ехали по полю мимо великолепных, просто даже радостных хлебов. У лесной полосы уже стояли наготове комбайны и тракторы, ожидая только приказа к выступлению. Хлеб готов — завтра косить. Но не было у обоих руководителей огромного хозяйства той спешки, нервотрепки и суеты, какие часто бывают в других местах в те же дни. Они оба знают что-то такое, чего не знают многие другие. Они просто умеют что-то, чего не умеют некоторые другие. Один — организатор, другой — идейный руководитель. Они уважают друг друга крепко, по-братски. Почему-то мне вспомнились Фурманов и Чапаев, а в голове стояли точные, как мне кажется, слова: «Люди и вы». Ничего, что они сами не приняли этой формулы, все равно это так и есть.

И еще подумалось: «Как часто в некоторых колхозах секретарь партийной организации следует на запятках у председателя. Как часто они, секретари, оказываются ниже председателя по образованию,

уровню развития, экономическим знаниям. А вот здесь, в „России“, наоборот: „Фурманов и Чапаев“».

Кто знает, может быть, и в этом есть часть ответа на вопрос «почему». Над этим стоит подумать.

5. О золотых руках

Незадолго до уборки в колхозе «Россия» вечером состоялось многолюдное собрание: колхозники сошлись для чествования своих передовиков. Десять человек — лучшие из лучших — были окружены теплом сотен сердец, вниманием и любовью. Каждый из них получил ценный подарок. Их приветствовали от души колхозники и руководители. Они отвечали на это с волнением. Не было длинных речей, но были горячие слова.

Мария Николаевна Гуляева работает в животноводстве тридцать лет, из них дояркой — шестнадцать лет. Ей пятьдесят три года. Ее уважают и любят все от мала до велика. С большим почтением и какой-то особой теплотой всегда говорят о ней председатель колхоза и секретарь парткома, уже знакомые читателю.

Призывно подняв руку, она сказала в заключение своей короткой ответной речи:

— Работать всю жизнь… До последнего дня…

Соломонида Ивановна Букалова двадцать один год работает дояркой. Двадцать один год! Сейчас она уходит на пенсию, но сама себе подыскала преемницу. Ей и передает почетная труженица свой опыт и своих коров. Это ее родная дочь Варя.

Соломонида Ивановна тоже ответила на поток тепла несколькими словами. Все видели: у нее дрожали руки от волнения. Дрожали рабочие руки, золотые руки! И это волнение передалось всем присутствующим, как волны необыкновенной силы, волны души человеческой. Видел, как у Николая Андреевича Бояркина подкатился ком к горлу и тоже была внутренняя дрожь. И как этому не быть! Ведь Соломонида Ивановна и Мария Николаевна хорошо знают, как начинал работать их бессменный председатель, а он знает их смолоду, начавших свой трудовой путь в саманной развалюшке, называвшейся тогда «фирма». Он и сейчас стоит, этот первый колхозный

сарай-«фирма», оштукатуренный, беленький. Вот уж действительно своеобразный памятник: «С чего начинали!»

Помню, мы, как-то остановившись около этого здания, переглянулись с Василием Викторовичем, а он сказал:

— Это было давно.

И все было понятно, потому что рядом очень хорошее здание молочнотоварной фермы и разные постройки, сделанные навек.

На том вечере люди с золотыми руками мало говорили о себе — они больше благодарили, обещали всем работать лучше. Убеленные сединами и совсем юные, почти школьники, были предметом восхищения. В клубе по стенам вывешены плакаты, рассказывающие о жизни и достижениях этих великолепных людей колхоза. Им подносили букеты цветов, их окружили цветами. И среди цветов — юные, стройные комсомольцы, слава им!

Катя Соколова за первое полугодие надоила 2060 килограммов молока от каждой коровы; Вера Расторгуева — 1900, Мария Соколова — 1876, Надя Рослякова — 1821 килограмм. Все они члены ВЛКСМ. Можно бы перечислять еще и еще.

Откуда столько комсомольцев-передовиков в одном колхозе? Оказывается, в колхозе «Россия» есть комсомольско-молодежная молочнотоварная ферма. Здесь ее называют «Центральная». Она, пожалуй, центральная не только в колхозе, а и среди окружающих колхозов. Из двадцати восьми доярок на ферме девятнадцать комсомольцев; заведующий фермой, Николай Николаевич Тютерев, тоже комсомолец. Они всегда ведут за собой остальные фермы колхоза.

Хороша, очень хороша задумка в парткоме о работе с молодежью! Но сколько кропотливого повседневного труда положено в парткоме, чтобы так объединить людей разных возрастов единой верой в успех.

И вот эти лучшие люди сидели на вечере чествования и жизнью своей, трудом учили других. Некоторые из них не знают, что такое война, другие помнят три войны. Некоторые не знают, что такое нужда, другие помнят вкус лепешек из лебеды и щавеля. Но зато все, все до единого, знают, что они пришли к тому, чего никому никогда ни при каких обстоятельствах не отдадут; они все знают: им строить этот дом — им в нем и жить. Попробуйте здесь рекомендовать председателя, который не собирается жить с ними долго, — не

получится, не примут. В колхозе «Россия» не получится. Или попробуйте коммунистам колхоза рекомендовать секретаря парткома, который явно через год-два повернет оглобли, — тоже не получится.

Их, коммунистов, в колхозе девяносто четыре, вместе с кандидатами. Если начертить кривую роста колхоза и рядом кривую роста партийной организации, то они до удивления идут рядом, одинаково, круто вверх. С 1957 года по настоящее время вступили в партию сорок пять человек, из них двадцать два человека за последние полтора года. Сила! Горы свернуть можно.

И прямо скажем, Василий Викторович и Николай Андреевич свертывают горы — они все время идут впереди и ведут за собой. Прав он, Василий Викторович, когда определил причины успеха одним словом: «Люди». Думаю, прав и я, когда сказал: «Люди и вы». Но, к сожалению, не в каждом колхозе можно добавить это самое «и вы».

И после всего этого я не смог выбросить вопрос «почему».

Почему в некоторых других колхозах я не видел той теплоты и веры в людей, которая сама есть счастье? Почему в них еще далеки от тех удивительно волнующих встреч с золотыми руками, тех встреч, что в колхозе «Россия» называют вечерами чествования? Почему кое-где председатель колхоза фактически превращается в единоначальника, к которому иной раз трудно попасть колхознику на прием? Почему? Может быть, потому, что партийная организация колхоза не вошла еще в каждый дом колхозника, а рекомендованному райкомом в председатели товарищу якобы надо обеспечить авторитет во всех случаях?

Возможно. Вполне возможно. Над этим тоже надо подумать.

И мы думали. Говорили по душам на берегу реки Тихая Сосна.

Есть места на этой реке необычайной красоты. Одно из них — Изосимово, где теперь птицеферма колхоза «Россия». Было тихо-тихо, не шевелились даже листья на деревьях. На склоне разгуливали тысячи кур. По реке плавали тысячи уток. От птиц все белым-бело. А сизый вечер опускался над долиной реки. Зеленый луг, белые птицы, сизый вечер, синеватая река — это было прелестно и незабываемо.

— Как же здорово на земле! — сказал Николай Андреевич.

Среди этой тишины и неповторимой красоты земной послышался призывный женский голос, сочный, музыкальный:

— Ути-ути-ути! Ути-ути-ути!

И вся река отозвалась тысячеголосым утиным кряканьем. Из-за поворота реки показалась лодка, а на ней во весь рост стояла женщина в белом. Это она подавала команду «домой». А несчетное число больших и маленьких уток разом заголосило — домой, домой. Они плыли впереди лодки, позади, с боков, вылезали из камыша и травы.

— На ночлег собираются. Ух ты! Крику-то сколько, — сказал Василий Викторович, кивнув в сторону фермы.

— Вот так и живем, значит, — утвердил нашу беседу Николай Андреевич.

У меня в ушах все еще звучали слова: «Как же здорово на земле!» Вот так они и живут. И страстно хотят, чтобы всем на земле было хорошо. Для этого они живут — коммунисты.

Мы сидели на берегу втроем. Кажется, обо всем переговорили за эти дни. Мне не хотелось уезжать. Очень не хотелось оставлять эти места, этих добрых двух друзей, у которых многому можно научиться, и этот сизый вечер, по-настоящему русский, родной, эти могучие поля и луга.

Птичий гомон умолк как-то сразу. И такая глухая тишина вновь оказалась вокруг, так спокойно стало на душе, что хотелось только молчать. Молчать и слушать величественную тишину… Мы сидели прямо на траве. И было хорошо.

Мне показалось, что я услышал биение сердец двух друзей.

6. Корень вопроса

В колхоз «Красная звезда» приехал ранним утром, еще до солнца. Знаю здесь каждую дорожку, каждый куст.

Очень хорошо зорькой, холодком, побыть в полях. Солнце, еще не показываясь из-за горизонта, осветило почти половину неба. Вторая половина совсем синяя. С восточной стороны цветы клевера розовые, с западной — еще почти темные. Кукуруза с одного бока уже лоснится, кажется — подсвечивает чуть, а с другого — густо-темно-зеленая, издали почти черная. Росы нет, сухо. И очень, очень тихо. И прохладно. Воздух чист и прозрачен. Лес, на краю поля, молчит, кажется — сосредоточенно и спокойно ждет солнца. Подсолнечник, как по команде, повернул шляпки туда, откуда вот-вот выйдет источник его жизни и всего живого на земле. Все ждет солнца. И я

жду. Смотрю, думаю и жду… И оно взошло. Земля, казалось, вздохнула. Но тишина еще не нарушалась ничем и никем. Хорошо!

У опушки леса, на пенечке, я и расположился с тетрадью в руках. Самое время было для того, чтобы утречком кое-что записать, уложить, как говорится, в порядок «багаж».

Оторвал меня от работы настойчивый и неожиданный звук трактора. Он рассек утреннюю тишину на осколки, выбил из моих рук ручку и тетрадь, затормошил поле беспокойно и требовательно. День начался.

Я посмотрел вниз. С пригорка было видно, как начали скирдовать сено: все механизировано, все рассчитано до подробностей. Смотрел и вспоминал.

С многолетними травами в колхозе «Красная звезда» происходили когда-то интересные и теперь уже поучительные дела. В свое время здесь был отличный севооборот. Потом, как известно, многолетние травы «попали под обстрел». Бывший секретарь райкома требовал «ликвидировать травы». Ругали агронома и председателя колхоза «травопольщиками». Было. А они помаленьку продолжали свое дело — сеяли травы. Этакие «неуступчивые»! Нет чтобы «уважить» начальство, а они — вон что… После того, как структура посевных площадей резко изменилась и вошла кукуруза, в «Красной звезде» продолжали сеять и многолетние травы — они идут под озимь. При этом себестоимость одного центнера сена многолетних трав доведена в 1960 году до двух рублей сорока копеек (в старых деньгах), в то время как себестоимость сена естественных угодий — около десяти рублей. Если к тому же напомнить, что в 1960 году заложено кукурузного силоса в три раза больше, чем в 1959 году, то становится понятно, откуда здесь много молока и мяса и почему колхоз идет впереди не только в районе.

Мне эти данные известны. Но ведь хорошо помню и другое: как трудно было председателю и агроному отстоять свою точку зрения на севооборот вообще и многолетние травы, в частности. Очень интересно знать, как у них теперь с этим делом и как они «ухитряются» планировать. У кого же искать ответ, как не у Ивана Трофимовича Партолина, бессменного председателя колхоза «Красная звезда» с 1934 года. Это один из «китов» района, самый крупный —

его видно далеко. К тому же с ним тринадцать лет подряд работает в колхозе лучший агроном района Борис Филиппович Аниканов.

К ним я и еду теперь. А по пути продолжаю вспоминать.

Четверть века знаю Ивана Трофимовича. Не раз были у нас с ним всякие откровенные разговоры. Пожалуй, мне знакома и вся его биография. Ему уже шестьдесят четыре года — старейшина председателей всего района. За плечами много: служба в царской армии, ранение, артиллерист Красной Армии с 1918 по 1922 год, потом командир орудия; потом — в единоличном хозяйстве; в 1928 году разделился с братьями и, получив одну лошадь, превратился в ломового извозчика; потом коллективизация; он активный участник организации артели и затем полевод, бригадир, председатель колхоза. Вот и все. Но сколько труда, лишений, поисков и беспокойных ночей за этим «вот и все»! У Ивана Трофимовича больше половины сознательной жизни отдано колхозу — вот что скрыто в последнем слове его биографии: «председатель». Эта половина жизни еще видна, даже более видна, и из… цифр.

Недавно мне пришлось познакомиться с интересными цифрами в некоторых колхозах: сколько в день зарабатывает колхозник, то есть какова реальная заработная плата за один рабочий день.

С этого и началась наша беседа.

…Долгонько я не видел Ивана Трофимовича — года два. Но тем интереснее встреча. И вот он стоит передо мной и улыбается с прищуром, отчего морщинки от уголков глаз растекаются лучиками; широкоплечий, с большим лбом, просеченным глубокими вертикальными морщинами над переносьем; брови слегка вразлет. Он и раньше был чуть сутуловат — много груза переносили эти плечи! — а теперь, вижу, погнулся еще малость. Взгляд у него внимательный, иногда с хитрецой, как и у каждого умного человека, умудренного жизненным опытом.

Иван Трофимович положил ладони на стол — большие рабочие руки. Эти руки знают, что такое тяжелый труд.

— Как зарабатывают колхозники, спрашиваешь? Это мы разом. — Он перелистал свой годовой отчет, отпечатанный на машинке, и ткнул пальцем. — Вот тут.

Читаю вслух:

— «Денежная оплата одного *выхододня* в 1960 году: в полеводстве — двадцать три рубля десять копеек, на молочнотоварной ферме — семнадцать рублей пятьдесят копеек, на свиноферме — пятнадцать рублей девяносто копеек, в огородничестве — пятнадцать рублей тридцать копеек, на овцеводческой ферме — двадцать три рубля восемьдесят копеек, трактористы — сорок один рубль двадцать копеек»[3].

Меня интересовало это слово, «выхододень», еще и раньше. В передовых колхозах этот показатель стал тогда одним из важных. Ведь стоимость трудодня не определяет фактического заработка колхозника за рабочий день. Точным определением в данном случае служит вся сумма оплаченных трудодней, переведенная в деньги и разделенная на число рабочих дней. Это и есть выхододень.

Над этими цифрами можно задуматься: в них тоже половина сознательной жизни председателя и тринадцать лет жизни агронома. Хорошо помню, как колхозники когда-то давно любыми путями стремились устроиться на работу в городе. Теперь это для них в прошлом.

— Не уходят теперь из колхоза? — спросил я шутя.

— За уши не оттащишь, — ответил он тоже шуткой. — Ведь к этому заработку надо еще прибавить доход от усадьбы и домашнего хозяйства. Зачем ему уходить? В самом деле, зачем? В высшие учебные заведения уходят, а так — нет. Смыслу нет. Видишь — выхододень? — И он еще раз указал пальцем в отчет.

«Уж не успокоился ли он на этом?» — подумалось мне. И я задал вопрос:

— Думаешь, потолка достигли?

— Да что ты, Николаич! — воскликнул он. — Как мог подумать! — Он развел руками. — Делов непочатый край… Хочешь, скажу тебе самое главное?

— Хочу.

— Так вот. Животноводство-то у нас, кроме овец, кроликов и птицы, пока… бесприбыльно. Полеводством погашаем. Сказал — «потолок»!

— А в чем же дело?

— В себестоимости продукции полеводства, кормов главным образом.

— Вот, — говорю ему, — у Дмитрия Петровича Горина в колхозе «Подгорное» один центнер силоса в прошлом году стоил двадцать копеек в новых деньгах.

— У нас дешевле: восемнадцать копеек. Но и это дорого. Зерно тоже надо делать дешевле. А до потолка — ой-ой сколько!

Иван Трофимович поднял руку и посмотрел вверх так, что было понятно: не видно еще «потолка».

— И что же мешает снижению себестоимости?

При этом вопросе вошел Борис Филиппович Аниканов.

— Вот он нам и поможет разобраться, — сказал Иван Трофимович, хотя по выражению лица было видно, что он и сам знает.

Мы ввели Бориса Филипповича в курс нашего разговора. Он сначала подумал. Этот человек не будет торопиться — не в его характере. С виду он спокоен, с умными, проницательными глазами. Он остался еще все таким же «плотным брюнетом», каким знаю его давно, — с густыми черными бровями и темным цветом лица не только от загара; но густые волосы сильно присыпаны сединой. Ответил он не сразу, зато прямо-таки отрубил мысль. Тихим, спокойным и уверенным голосом сказал:

— При таком планировании и пренебрежении к севообороту трудно снизить себестоимость продукции скоро. А нужно и *можно* — скоро.

Для меня, признаюсь, было и раньше кое-что непонятно в планировании культур в колхозах, но впервые я услышал о таком особом значении этого вопроса в снижении себестоимости. Я спросил у Бориса Филипповича:

— Ведь в снижении себестоимости продукции главный рычаг — механизация. Не так ли?

— Согласен, — ответил он. — Но есть и другие факторы. Без них и механизацией не достигнешь. Вот, например, у нас в колхозе: был образцовый севооборот, теперь фактически его нет. При неправильном чередовании, помимо снижения урожая, размножаются сорняки. А чередование идет, как бы сказать, по методу «из двух зол выбирай лучшее», то есть «пословица наоборот». Вот так.

— А поподробнее? — допытывался я.

— Валяй начистоту, — поддержал Иван Трофимович.

— Начистоту? — переспросил Борис Филиппович и сел поперек стула, облокотившись на спинку. — Если начистоту, то планирования снизу, как оно должно бы быть, нету. Скажем, в этом году мы могли посеять ячменя только пятьдесят гектаров. Нет, вызвали нас в исполком райсовета, к председателю. Говорят: «Посеете сто двадцать гектаров ячменя». — «Не можем». — «Можете». — «Не можем». — «Можете!» Так ведь и посеяли сто двадцать гектаров. У нас две тысячи восемьсот тридцать гектаров пашни. Из них триста шестьдесят — песков, четыреста пятьдесят — меловых. Кому же лучше знать, что нам сеять в данном году, — председателю райисполкома или нам здесь, на месте? — И он грустно закончил: — А ведь я скрепя сердце должен уродовать севооборот, идти на явное — понимаете, на явное! — снижение урожая, то есть повышаю себестоимость продукции полеводства, а значит, повышаю и себестоимость продукции животноводства… Да так, весь обвяжись механизмами, ничего не добьешься.

Иван Трофимович кивал в знак согласия. Он резюмировал:

— Планировать надо только строго в севообороте. Только так.

Борис Филиппович продолжал:

— А нам каждый год так поправляют планы, что хоть волком вой. То же и с урожайностью: дали мы в 1960 году двести десять центнеров сахарной свеклы с гектара, вкруговую, со всей площади. Казалось бы, ну так и так — что поделаешь: маловато для нашего колхоза. Нет таки вызвали опять. Опять говорят, в райисполкоме же: «Комиссию пошлем, не верим». Едет комиссия. Здравствуйте вам! «Пиши — двести восемьдесят центнеров с гектара…» Или вот по кукурузе: средняя урожайность была двести пятьдесят центнеров с гектара, а райисполком дал в область триста пятьдесят. Дело это, конечно, прошлое, теперь не повторится. Можно бы об этом и не вспоминать. Но о чем это говорит? О недоверии к нам. Зачем так?

Вступил в разговор снова Иван Трофимович:

— Обидно становится, когда тебе не верят ни в планировании, ни в учете урожая. Такое опекунство пора кончать.

— А как бы вы стали планировать, если бы вас посадить в Госплан? — спрашиваю. — Вообразите, что вы оба сидите там и планируете. Ну?

— Это вообразить трудно, — ответил Иван Трофимович. — А подумать можно. Значит, так… Первым делом мне надо иметь план продажи государству — раз. Второе: устанавливаю потребность внутри колхоза и кормовую базу. Третье: определяю оплату колхозникам. Четвертое: устанавливаю среднюю урожайность, но только не завышенную, избави боже. И тогда выяснится пятое: потребные площади посева по культурам в полях севооборота.

— А мы начинаем с последнего — с площадей по культурам: вот вам цифры площадей, а там как бог на душу положит, — сказал Борис Филиппович.

— По-вашему, выходит, мы планируем вверх ногами, с конца, а не с начала. Так, что ли? — недоумеваю я. — Но как же тогда вас понять: сначала вы говорите, что планировать надо только строго по севообороту, а потом, выходит, это самое последнее, пятое?

— Не так, — категорически отверг Иван Трофимович, — Ты дай мне контрольные цифры один раз. Понимаешь: *один раз*, а не пять раз в год, как это у нас бывает. Вот задача Госплана. И это самое главное, первое. А то ведь, к слову сказать, не только мы, председатели колхозов, получаем многократные планы и дополнения, а и секретари райкомов-то вертятся как белка в колесе, аж жалость берет. Ты только войди в их положение… Да что там! А надо бы так: получаю я план продажи государству — и все! Остальное мы поведем строго в соответствии с севооборотом. Только мне надо верить. Доверять, не опекать. Понимаешь, какая петрушка получается? Мы, колхоз, должны определять площади посева. И это должно быть стабильно, то есть как укладывается в севообороте.

— А вдруг вы не захотите сеять кукурузу? — полушутя спрашиваю у Ивана Трофимовича.

Ответил за него Борис Филиппович:

— Не-ет! Как же так — не захотите? А что без нее делать? У нас сейчас каждый пятый гектар пашни под кукурузой. Структура площадей посева по культурам уже приблизительно определилась. Ну и надо бы вводить срочно севообороты и, может быть, даже наказывать тех, кто сверху или снизу будет нарушать их и расстраивать. В конце концов дело теперь уже не в том, чтобы увеличивать площади под кукурузой у нас, например, а в том, чтобы получать высокие урожаи на тех площадях, какие уже есть, получать

дешевый корм и зерно. Кукуруза вошла прочно — ее уже не вытолкать никакими судьбами. Как это так — не захотим? Очень даже захотим и столько захотим, сколько вместит севооборот. Будем и дальше улучшать севообороты. Ведь это не тот колхоз, где в любом месте кол воткни — вырастет яблоня.

— Тут она, собака, и зарыта, — сказал Иван Трофимович, встав из-за стола. Он подытожил: — Снижение себестоимости — в высокой культуре земледелия. А она, культура-то, не может прийти без правильного, четкого севооборота. Тут корень вопроса. Пример: если сеять подсолнух по подсолнуху, то ты хоть в десять раз больше дай машин — ничего не выйдет: «волчок» заест и сорняки задушат.

Он прошелся по комнате и дополнил свою мысль несколькими вопросами:

— Что? И в этом нельзя доверять председателю? И тут надо опекать? И тут надо комиссию присылать из райисполкома? Да полно! Нельзя так.

Он сел и задумался.

Борис Филиппович смотрел в пол и тоже думал.

«Беспокойные сердца у них, неугомонные, требовательные к себе и людям. Вот ведь у них самая высокая оплата выхододня, самая низкая себестоимость кормов в районе, они идут впереди всех вместе с колхозом „Россия“. Казалось бы, что им еще надо? Нет, им надо все. Им надо, чтобы было лучше и лучше, больше и больше, все выше и выше. Им ли не доверить полностью и планирование и культуру земледелия в колхозе! Наверно, им правда обидно. А ведь они хотят больше дать государству и больше дать колхозникам, они умеют это сочетать. В передовых колхозах так оно и бывает: чем больше колхоз продает государству, тем больше по сравнению с другими он оплачивает труд колхозников…» Такие мысли промелькнули в голове, пока я смотрел минуты две на задумавшихся собеседников.

— А может быть, оно так и будет — по-вашему, — сказал я.

— Тоже так думаю, — согласился Иван Трофимович. — Иначе ничего не придумать.

«У него веры хватит на тысячи людей, которыми он руководит. И знаю, что выхододень он оплатит и в этом году хорошо, — ему верят люди, которыми он руководит. Но… не всегда верили люди, которые руководили им, — думалось мне. — А председателя колхоза пора бы

оценивать не только по тому, сколько он дает корма животным и сколько надаивает молока, а еще и по тому, какова оплата выхододня. В отстающих колхозах (они, к сожалению, есть) этот показатель не учитывается, вероятно, потому, что он весьма неутешителен. Об этом надо говорить прямо и открыто и, главное, искать причины „нервного расстройства“ хозяйства, которое рассчитывает только на энтузиазм колхозников да надеется на то, что городские рабочие к концу года будут на подхвате и помогут убрать урожай. Иван Трофимович знает, как этого не допустить. Он идет впереди, но он не спокоен. Он ищет, беспокойно ищет. Ему можно поверить, потому что половина сознательной жизни отдана колхозу. И Борису Филипповичу верю. Хочется, чтобы верили ему и другие. Воспитаннику Тимирязевской академии, отдавшему колхозу лучшие годы жизни, нельзя не верить».

Так я думал в тот час. Так я думаю и теперь.

…Мы крепко, по-дружески, пожали друг другу руки.

Дорога звала.

7. Маленькая экскурсия

И снова в путь. Снова поля, поля и поля. Изредка, у лесной полосы или в лощинке, поближе к роднику, увижу притаившуюся тракторную будку, а вокруг нее множество разных машин и орудий. И я заезжаю, встречаюсь с друзьями, знакомыми. И многое узнаю из того, чего не знал: так быстро движется жизнь и так велики изменения за последние годы.

Побывал и у своего давнего коллеги, агронома М. М. Котлярова, председателя колхоза «Первое мая», где изменения в поле меня поразили. С удовольствием побыл в тракторном отряде совхоза «Победа», где бригадиром давний мой товарищ по труду в поле Н. С. Устьянов, который, кажется, умер бы, если его заставить просидеть без дела дня три. Встречался со многими трактористами и колхозниками. Все это люди, к кому лежит мое сердце, о ком всегда вспоминаю с благодарностью за их каждодневный почетный и великий труд, о ком надо — очень надо! — писать обязательно. Пусть не посетуют на меня за то, что напишу не сразу…

Тетради полны записей. Сердце полно радости оттого, что проехал по старым местам и незаметно для себя протянул нить из

прошлого колхозов к настоящему, оттого, что мы уже научились делать большие урожаи, оттого, что люди уже не те, что были, — они стали лучше, внутренне красивее и внешне бодрее.

У меня было хорошо на душе. Нет, не утерпел! Заскочил еще раз на часок-другой в колхоз «Россия». Вместе с Николаем Андреевичем Бояркиным и Василием Викторовичем Жидковым мы совершили на автомобиле маленькую экскурсию… в прошлое: поехали на то место, где было когда-то имение Н. В. Станкевича. Оно расположено в десятке километров от Ольшана, на границе Воронежской и Белгородской областей.

Еще сохранилось несколько деревьев от бывшего сада помещика, за ними никто не ухаживает, они доживают век уже корявые и причудливо неприглядные — последняя память о прошлом. Развалины древней церквушки, построенной отцом философа В. И. Станкевичем в 1839 году, поросли чертополохом. Мы стояли на маленьком пятачке старой России и смотрели вниз, на луг, чуть задернутый дымкой дали.

Василий Викторович сказал в раздумье:

— Вот на том лугу, наверно, Алексей Васильевич Кольцов и читал мужикам стихи.

— Почему так думаешь? — спросил Николай Андреевич.

— А как же? Ведь он гнал гурт скота. Значит, остановился на ночь, на выпас… А вечером и читал.

— Это он его позвал с луга в помещичий дом? Вот сюда? — Николай Андреевич показал на то место, где был когда-то дом.

— Должно быть, так…

— Во всем Ольшане было двадцать человек грамотных, — проговорил, казалось, без всякой связи Николай Андреевич. — Книжечка такая есть у нас древняя, ее какой-то псаломщик писал — там написано: грамотных двадцать человек… Подумать только!

Разве нам надо было много слов, чтобы понять друг друга!

Разве ж мог иметь в мыслях помещик, хотя бы и такой талантливый и ищущий истины, как Н. В. Станкевич, что вот здесь будут так стоять эти два «мужика», два потомка тех, кто защищал Родину от набегов врага и чьи внуки и правнуки, преклонив колена в помещичьей церквушке, просили бога, чтобы он дал хлеба. Разве ж мог он подумать, что мужики будут управлять всеми окрестными землями как хозяева, что они преобразят землю и… самих себя.

Но это свершилось. Свершилось что-то необыкновенное, великое, чего до сих пор многие там, на Западе, не могут понять. Даже мы сами, прошедшие трудный путь к новому, не всегда как следует оцениваем то, что свершилось в нашей жизни и что сталось с человеком.

Так мы и думали, стоя все рядом.

Через несколько минут мы покинули это место. А еще через некоторое время мы уже въехали в могучую, веселую, густую и радостную озимую пшеницу; потом скрыла от нас горизонт кукуруза. Мы приехали с маленького пятачка старой России в новую Россию — в колхоз «Россия».

И мне стало спокойнее на душе.

Но на трудном подъеме все равно будут возникать вопросы «почему» и «как надо лучше». Их надо решать возможно быстрее. Когда дорога идет в гору, не надо брать с собой ничего лишнего.

Мы разговаривали об этом как друзья и расстались друзьями.

…И вот я снова в пути. Путь продолжается. Дорога зовет. Дорога идет в гору.

Июль — август 1961 года.

Город помнит!

Очерк

Солнце еще не вставало, но уже завладело половиной неба: на горизонте оно золотисто-голубое, вверху — голубовато-розовое, дальше, к западу, темновато-голубое. Три цвета, пронизанные голубизной, и никаких переходов-границ.

Утро. Весна.

Город, вполоборота, обращен грудью к восходящему солнцу.

Стою у Помяловского спуска, опершись на перила. Внизу синевато-молочный туман так плотно закрыл пойму, что кажется, пойди напрямик — поплывешь. А в утренней дымке, что над туманом, еле-еле выступают верхушки домов на левом берегу. Тихое утро, спокойное, мирное. Хороши утренние зори в моем Черноземном крае!

И туманы утренние хороши. Люблю смотреть на туманы. Кажется, за ними скрыто прошлое. Бывает, вот так закроешь глаза и…

Встают перед тобой могучие сосновые леса, там — на левом; дубы вековые раскинули богатырские шатры свои по крутояру, здесь — на правом берегу. Глубокая и широкая река с островом посредине… Хозяин дремучих лесов — медведь; огромный и добрый зверь — лось; умный и трудолюбивый строитель — бобр; храбрый, неуклюжий, но быстрый кабан; и трепетный олень…

Может быть, поэт смотрел отсюда же, от угла семинарии, и сложил строки:

Тому давно, в глуши суровой,
Шумел тут грозно лес дубовый,
С пустынным ветром речи вел,
И плавал в облаках орел…

«…Ни где бо видети человека, точию пустыни велия и зверие множество», — записал дьякон Игнатий в конце четырнадцатого века, проезжая через эти места. То было утро Черноземного края, печальное

утро моей земли после страшной ночи хана Мамая, «быша во мнозе сила», уничтожившего русские поселения и здесь.

Время всегда покрывает историю дымкой тумана. Века уходят за веками, унося за собой города, государства, цивилизации. Туманы истории! Один города умирают и воскресают вновь, другие так и не поднимаются, умерев однажды, третьи живут тысячелетиями. Но у каждого из них свое неповторимое утро жизни.

Мой город помнит себя с того тысяча пятьсот восемьдесят пятого года, когда он был обозначен на самом краю Московского государства. А дальше, на юг, — «дикое поле». Город родился в боях на засечной линии, город-крепость, город-воин.

Синела степь безгранной далью,
И, притаясь за вал с пищалью,
Зажечь готовый свой маяк,
Татар выглядывал казак…

Так увидел поэт в пелене тумана утро своего города, своего края, увидел отсюда, вот с этой точки. И кто знает, может быть, отрывок из поэмы, откуда взяты эти строки, лучше любой исторической гипотезы ляжет на сердце поколений, пронизав лучом поэзии туман истории.

Город помнит свое утро. Он помнит и восстание казака Герасима Кривушина, и подметные письма Степана Разина, и полковника Дзиньковского из Острогожска, города-побратима, решительно ставшего на сторону Разина всем полком. Город помнит и восстание Кондрата Булавина, его поражение и тягостный конец повстанцев… Город помнит! Он смолоду был боевым воином Родины, свободолюбивым, непокорным и непримиримым к угнетателям, чужим и своим.

Город помнит и царя Петра. Помнит царя-умельца, который сам себе шил сапоги-ботфорты, искусно владел плотницким и столярным инструментом, сам спроектировал корабль на 58 пушек и сам же командовал частью первого флота. И твердыня турок, Азов, пал.

История русского флота начинается с Воронежа. Город помнит Петра. Стоят на часах истории Успенская церковь и колокольня

Акатова монастыря — свидетели бурной Петровской эпохи. Стоит и сам Петр Великий.

…А кисея тумана над рекой тает. Очертания луга проступают так, будто появляются острова, но теперь уже на светло-сизоватом фоне. И вот солнце, вполшара, брызнуло лучами на город. Он стоит грудью к солнцу! День начался. Новый день — новые дела, новые думы.

Прошлое надо помнить еще и для того, чтобы думать о будущем. И город помнит.

Ремесленные мастерские.

Заводики.

Крепостное право и нищенство…

Заводы!

Беспросветный труд одних и богатство других.

Безысходность и протест…

И вдруг взорвалось! Взорвалось «красным петухом» в степи и боевыми дружинами в городе в 1905 году. Как не помнить! Тут память города свежа и чиста, как память сердца.

Память сердца! Днем, в крутоверти жизни, она уступает место заботам дня. А ночами прошлое иногда приходит само и стучится в сердце. В такую ночь хорошо побыть у А. В. Кольцова и И. С. Никитина.

…Луна заливает город. Посеребренные ею дома чередуются с тенями. Короткие тени от деревьев дрожат и чуть-чуть покачиваются на тротуарах. Трудовой город спит спокойным сном. А тени прошлого дрожат в отблесках фосфорического света.

В эту ночь хожу по парку: от Кольцова к Никитину и обратно. От одного к другому. Они — боль сердца русского! История оперирует фактами. Поэзия — только сердцем.

Стою и будто слышу:

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

Песня — стон поэта… Израненного и раздавленного «грязным миром». Но ведь это он, противоборствуя «грубой» жизни, изнывая под ее прессом, в суровой той действительности бросил клич с верой в будущее!

Размахни крылами:
Поднимись — что силы,
Может, наша радость
Живет за горами.

И он же воскликнул в письме к апостолу российской мысли, своему другу В. Г. Белинскому: «…буду биться до конца-края… и когда… упаду, — мне краснеть будет не перед кем, и перед самим собой я буду прав!»

И он упал. Упал, правый.

Через восемь лет после него другой певец России народной, измученной и убогой, напишет, будто принимая эстафету:

К чему колени преклонять?
Свободным легче умирать.

…Лунный свет. Я шагаю от одного к другому и обратно.

Глубоко и горько задумался Иван Саввич. Во всем облике — дума о Родине. И тоска. В безвольно опущенной ладони, в скорбной согбенной позе и в преклоненной безутешно голове — Россия!

Это он ей спел:

Не легка твоя будет дорога,
Но иди, — не погибнет твой труд.

И кажется: только-только он стоял на пьедестале во весь рост, с поднятой рукой и, гордый, провозглашал, как пророк:

Падет презренное тиранство,
И цепи с пахарей спадут…

Но… задумался. Сел. И произнес:

Придет ли, наконец, пора,
Когда блеснут лучи рассвета…

В поэте — Россия! Это ее надежды и сомнения он пел, ее печаль и беспросветность, убожество и могущество, ее широкие степи, ее голубую даль и ее же цепи.

Позже примут эстафету и от Никитина сердца других поэтов. Но эти двое — наши родные. Они ходили по тем же улицам, где мы ходим. В нас — часть их сердец. Они для нас незабвенные вовеки.

Город помнит!

Тысяча девятьсот семнадцатый год!

За-дре-без-жа-ли осколки разбитого, окрашенные отсветом пожара. Закачалось оно и-и-и… р-рухнуло!

Разрушали старый мир!

Через пять дней после Петрограда — переворот в Воронеже. Чернозем бурлил. Вместе с Воронежем восстал Острогожск — старый и верный побратим-воин. Чернозем дышал гулко. Дышал трудно: то со скрежетом зубовным, сбрасывая ярмо и цепи, то с восхищением и надеждой — Ленин, Свобода, Революция!

Революция шла и в человеке, она прошла через каждого человека, и он сам становился иным: либо — новым, либо — отброшенным историческим взрывом, либо — смятым колесницей истории.

Да, была Россия, расколотая надвое…

Нельзя забыть того кипящего времени, когда Россия, расколотая надвое, — на друзей ее и врагов, — была зажата в кольце контрреволюции. Не забыть повального тифа, холеры, голода и героизма.

Россия в тисках!

А Воронеж? Воронеж оказался на границе Советской власти и Донщины — стана белогвардейцев. Будто снова город встал на грани с «диким полем». В числе первых из городов встретил удар Каледина,

Краснова, потом Мамонтова и Шкуро. Черноземный край не сдался и победил, несмотря ни на что.

Камни хранят память о героизме тех дней.

Город помнит! Тогда он вставал на ноги, как неимоверно усталый боец после победного боя, — окровавленный, в изорванной одежде, может быть, с последней обоймой патронов и с последней коркой хлеба.

Потом эти солдатские руки стали рабочими руками. Целое поколение новых, молодых рабочих рук сменило бывших бойцов.

Они строили!

Новые заводы-гиганты выросли богатырями Родины.

Городу тесно. Город прочно обосновался уже и на левом берегу реки. Здесь он — юный город. Здесь прошлое — это всего лишь вчера истории.

Вчера. Что было вчера? О, вчера для города было самым тяжким из тяжкого и самым героическим из героического. Город помнит те ночи и дни…

Была тоже весна. Весна очищенного от фашистской скверны города. Был март тысяча девятьсот сорок третьего года. Война!

Ветер в ту ночь настойчиво и напористо завывал по городу, путался и визжал в пустых прокопченных коробках, вырываясь из зияющих глазниц-окон.

Война-а! — выл ветер.

Жутко погромыхивали полуоторванные листы железа: война-а!

Ныли, кому-то жалуясь, обрывки проводов на уцелевшем телеграфном столбе: война-а!

А над развалинами моросил дождь. Казалось, разрушенный город лежал и тихонько плакал — большой, разбитый.

Но он дышал, мой город! Люди, уже обессиленные люди, пробились через развалины в подвалы. Город жил в земле. Он дышал с перебоями. И слышно было в том дыхании: война-а!

Каждый камень окроплен кровью тех, кто вел здесь бой. Тогда поэт нашего времени бросал из своего беспокойного и непримиримого сердца слова-снаряды, как из мощного орудия:

Страшный бой идет, кровавый,
Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

И бой прошел. Победный бой!

А город?.. Кое-кому казалось, потребуется лет пятьдесят — семьдесят, чтобы он встал из руин.

Вставал он сначала со стоном. Слишком свежа была память о погибших. Но вот огласил степь первым гудком первого ожившего завода. О, это уже был призыв! Жизнь началась вновь. Живые стали делать жизнь. Солдатские руки вновь стали рабочими руками!

Новые, сильные, молодые руки пришли им на помощь, а потом — и на смену.

То было всего лишь вчера истории.

…Уже утро. Утро майского дня тысяча девятьсот шестьдесят девятого года. Я иду через весь город, такой зеленый, просторный, новый. И нет следов от жуткого вчера, разве что попадется ветеран-дерево с изуродованным войной стволом. А на самом краю города горит Вечный огонь у памятника защитникам Воронежа, павшим «не ради славы, ради жизни на земле». В это ясное утро преклоняю пред ними голову.

…Город древний.

Город — кораблестроитель.

Город — хлебодар России.

Город Кольцова и Никитина.

Город науки!

Город молодости и песен!

Город юный!

Где же та чудодейственная сила, поднявшая тебя, мой город, так быстро из руин? Воздвигшая на пепелище громады заводов и на пустырях новые жилые микрорайоны? Где она, эта сила? Где это чудо?

…День начался. Новый день.

И вот я стою уже у ворот завода. Плотной стеной идут рабочие. Течет людская река. Течет в завод. Идут плечом к плечу. Идут рука к руке. Идут сердце к сердцу.

И в этом потоке — великая мощь.

Город мозолистых рабочих рук! Вот она, чудо-сила, поднявшая израненные города и создающая новые!

Рабочие руки славлю!

Примечания

Во второй том Собрания сочинений Г. Н. Троепольского вошли произведения разных жанров (роман, очерки, рассказ), написанные в 1955–1961 годах.

ЧЕРНОЗЕМ

Впервые: кн. 1 — «Подъем», 1958, № 3–4, кн. 2 — «Подъем», 1961, № 1–2.

Роман «Чернозем» завершен в 1960 году. Выдержал четыре переиздания: в Воронеже (1964, 1968) и в Москве («Советский писатель», 1962, «Современник», 1973). Для московского издания 1973 года автор сделал в тексте романа некоторые исправления и сокращения.

Роман охватывает жизнь центрально-черноземной деревни с 1921 по 1930 год. На построении, сюжетных узлах, основных конфликтах «Чернозема», естественно, сказалось влияние советской романистики, посвященной теме коллективизации. В то же время, как писал К. Локотков («Литературная Россия», 1963, 18 октября), «Троепольский не повторил никого, он сказал свое слово, поднял новый жизненный пласт, открыл читателю те стороны нашего бытия, которых тот не встречал еще в литературе». Первые отзывы о «Черноземе» в периодической печати носили в основном беглый, информационный характер.

Обстоятельный разбор «Чернозема» был дан В. Сургановым в статье «Точка опоры» («Москва», 1962, № 9). Критик отмечал «многоцветье» в первой книге романа, которое «оправдывалось романтическим содержанием». Однако «стремительное развитие и крутые повороты фабулы мешали», на его взгляд, «пристальнее вглядеться в намеченные Троепольским интересные характеры, уловить главную мысль произведения». Такую мысль В. Сурганов находил во второй книге романа, считая, что здесь, как и в других произведениях писателя, ведущая «публицистическая идея»

направлена к «утверждению настоящих вожаков крестьянской массы не только в деле революционной перестройки хозяйства, но и вообще в развитии коммунистических отношений на селе». «Чернозем», это «большое эпическое повествование о первых днях сотворения нового мира…», по мысли критика, «…давал возможность приникнуть к тем народным родникам, которые положили начало этому беспокойному племени» («вожаков». — *И. Д.).*

В. Сурганов высоко оценивал обращенность творческого внимания писателя «непосредственно к людям земли». В образах крестьян-бедняков Виктора Шмоткова, Матвея Сорокина, кулака Семена Сычева, по его мнению, воплотились живые противоречия крестьянского характера. В. Сурганов считал также, что «железная, мужичья, консервативная логика» «уже облагорожена в Матвее воинствующим гуманизмом, высокой ленинской идеей лучшей жизни». Критику казалось, что именно рядом с Сорокиным оживают характеры «молодых крестьянских вожаков» Федора Землякова и Ивана Крючкова. «В результате, — подчеркивал В. Сурганов, — возникает убедительный образ маленького коллектива сельских коммунистов, воплощающий очень важную в наши дни мысль — о партийной инициативе, которая, поднимаясь из народных глубин навстречу идеям и постановлениям Центрального Комитета, в конечном счете решает успех этих постановлений».

Более конкретно анализировал роман Д. Николаев в статье «На историческую почву» («Вопросы литературы», 1965, № 10). Критик находил, что в романе происходит движение от историзма «констатации факта» к историзму «анализа эпохи». Писатель показал «влияние нэпа на психологию людей, на те подспудные процессы, которые совершаются в селе». «Заслуга писателя также и в том, что он… затрагивает и другое противоречие времени, связанное с различными методами проведения коллективизации, разными принципами руководства». Д. Николаев особо рассматривал сложную эволюцию Семена Сычева, сомнения и колебания коммуниста Андрея Вихрова, мужественные и разумные решения Федора Землякова и его товарищей в разгар коллективизации, справедливо видя в этих образах и сценах достоверное отражение трудных путей жизни. Написан роман, «верный исторической правде», заключал критик, однако «неровный». Д. Николаеву казалось, что писатель должен был

активнее осмысливать прошлое «с позиций современности», отвечая своей книгой и на те вопросы жизни, перед которыми его герои вставали в тупик. Этими и некоторыми другими пожеланиями (например, по смещению композиционного центра романа на события 1929–1930 годов) критик напрасно пытался ориентировать писателя на публицистическую проясненность смысла и не учитывал общего замысла романа, связанного не с какими-либо отдельными, пусть очень важными, событиями, а со всем ходом крестьянской жизни в двадцатые годы. В одном из позднейших отзывов на «Чернозем» верно говорится о том, что Г. Троепольский стремился «проследить связи характеров героев с глубинными тенденциями общественного развития» (Е. Владимирова. «Среди прекрасного и родного». — «Смена», 1974, № 6).

В общем же некоторым критическим суждениям о «Черноземе» повредило чрезмерное пристрастие некоторых критиков к отвлеченной социологической фразеологии, а нравственно-этическое содержание романа рассматривалось недостаточно.

ЛЕГЕНДАРНАЯ БЫЛЬ

Впервые — «Правда», 1957, 22 сентября; М., «Детгиз», 1960. 16 с. с ил. (Книга за книгой).

МИТРИЧ

Впервые — «Новый мир», 1955, № 10.

Много раз включался автором в сборники рассказом: «Советский писатель», 1956, 1961; «Молодая гвардия», 1961; Центрально-черноземное книжное издательство, 1966, 1969; «Современник», 1973, и в другие издания.

Рассказ был сразу же доброжелательно принят критикой. Однако в его истолкованиях проглядывали знаменательные для того времени разноречия. Характер Митрича, ход его мысли и образ жизни были

явно неожиданны, непривычны, нарушали установившиеся представления о положительных литературных героях.

В. Лукашевич так передавал свои впечатления о рассказе:

…«Слишком интересны люди, которые предстают перед вами. А люди всё простые, тысячу раз писанные и переписанные, но там они были полуживые-полусочиненные, а тут герои запросто входят в комнату, садятся за стол, живут, и вы живете с ними». («Литературная газета», 1955, 22 октября). Конечно, «писаны-переписаны» ли Митричи — вопрос еще и сегодня, но само удивление В. Лукашевича жизненностью и выразительностью рассказа, видимо, искренне, и разные оговорки (статичность образа Митрича) не помешали ему признать, что Митрич — «самое глубокое из его (Г. Троепольского. — *И. Д.)* проникновений в характер человека — нашего современника». Но тот же В. Лукашевич сетовал, что мы видим Митрича «не столько зачинателем всего доброго, сколько протестующим против зла», и упрекал писателя за то, что он «слукавил, стремясь приукрасить своего Митрича, сделать его мудрость непререкаемой». И наконец, окончательно впав в сомнения, В. Лукашевич решил отделить «подлинных» Митричей от «поддельных», «горлопанов и демагогов», «критиков озлобленных, шипящих по углам». Сама мысль об отделении «чистых» Митричей от «нечистых» выдавала явное непонимание критиком подлинной природы созданного писателем народного характера.

Однако в подавляющем большинстве в критических высказываниях о «Митриче» преобладала иная, более верная точка зрения. Митрич, писал С. Залыгин, это «рядовой колхозник, „без должности“, как говорят у нас в деревне. Занят он самыми обыкновенными делами — сеет, косит, убирает, ходит на колхозные собрания, на которых говорит, правда, редко, но уж метко. И вот ему, Митричу, мы верим…

Верим потому, что Митрич ко всякому мнению приходит огромным житейским опытом и поисками… Он труженик и смотрит на всё глазами труженика. И еще мы видим — это сильный характер» («Новый мир», 1956, № 1).

В. Кардин причислял Митрича к главным героям прозы Г. Троепольского, к людям «от земли», людям «реального понимания народных нужд и государственных возможностей» («Советская

Россия», 1956, 14 августа). Произведением, «заставляющим о многом подумать», назвал «Митрича» С. Журахович, особо отмечая, что Митрич — «человек правды и честного труда» («Жизнь колхозной деревни и литература». Творческая дискуссия в Союзе писателей СССР. М., 1956).

«Образ Митрича — открытие нового, дотоле не показанного в литературе, но реально существующего типа людей», — писал Д. Николаев. Г. Троепольский ставит в этом рассказе «важный вопрос — о доверии к человеку, о доверии к народу». И, как бы вступая в полемику с теми, кто «сомневался» в Митриче, критик продолжал: «Митричи — люди беспокойные, они никогда не удовлетворяются достигнутым, а потому „не дают житья“ равнодушным, неповоротливым руководителям… И вот эти последние… объявляют их людьми подозрительными, не доверяют им» («Вопросы литературы», 1958, № 12).

Возросшее художественное мастерство Г. Троепольского отмечала Т. Трифонова. «Этот глубоко положительный образ, — писала она о Митриче, — показывает, что художественные средства, которыми располагает писатель, очень богаты и многообразны. Он владеет и глубоким психологическим анализом, и острым сатирическим рисунком; и в том, и в другом случае он умеет точно подметить такие штрихи и детали, которые придают нарисованным им портретам выразительность и типичность» («Колхозная деревня в современной литературе». М., «Знание», 1956).

Переведен на болгарский и румынский языки.

ДОРОГА ИДЕТ В ГОРУ

Первоначальное название «Раздумья на подъеме». Впервые — «Правда», 1961, 30 августа; «Подъем», 1961, № 5. «Дорога идет в гору», — «Новый мир», 1961, № 11.

ГОРОД ПОМНИТ!

Впервые — в кн. «Воронеж», издательство газеты «Коммуна», 1969.

Лирико-публицистический очерк Г. Н. Троепольского «Город помнит!» — это взволнованные раздумья гражданина, сознающего свою причастность к прошлому и ответственность за будущее города.

Примечания

1

Обжи — оглобли сохи.

2

СОЗ — артель совместной обработки земли.

3

В старых деньгах.